



Джулиан Барнс

АРТУР И ДЖОРДЖ

Тонкий юмор,
отменная наблюдательность,
энергичный слог –
вот чем Барнс давно пленял
нас и продолжает пленять.

The Independent

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

Annotation

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Шум времени», «Предчувствие конца», «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «Любовь и так далее», «История мира в 10 1/2 главах» и многих других. Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое.

В романе «Артур и Джордж» – вошедшем, как и многие другие книги Барнса, в шорт-лист Букеровской премии – следствие ведет сэр Артур Конан Дойл собственной персоной. Литературный отец Шерлока Холмса решает использовать дедуктивный метод в расследовании самого скандального дела поздневикторианской Англии – дела о таинственном убийстве скота на фермах близ Бирмингема. Его цель – доказать, что обвиняемый в этом преступлении провинциальный юрист Джордж Эдалджи невиновен. Так насколько же действенны методы Шерлока Холмса в реальности?

В 2015 году на телеканале Би-би-си вышла одноименная экранизация (режиссер Стюарт Орм, в ролях Мартин Клунес, Аршер Али, Чарльз Эдвардс, Хэтти Морахэн, Эмма Филдинг).

Роман публикуется в новом переводе.

- [Джулиан Барнс](#)
 -
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Послесловие автора](#)
- [notes](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9



Джулиан Барнс

Артур и Джордж

Julian Barnes
ARTHUR & GEORGE

Серия «Большой роман»

Copyright © 2005 by Julian Barnes
All rights reserved

© Е. Петрова, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает

велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.

New Republic

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно... В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская (Psychologies)

Во всей этой детективной истории, несомненно, есть нечто шерлок-холмсовское – но Барнс строго контролирует степень этого «нечто»; Дойл работает Холмсом в барнсовском детективе, и поэтому атмосфера здесь именно барнсовская – а не шерлок-холмсовско-конан-дойловская; дьявольская разница.

Тем, кто знает, кто такой Барнс, нет смысла объяснять, как гармонично могут выглядеть его романы; и это произведение не исключение... «Артура и Джорджа» можно квалифицировать как биографию Конан Дойла, как исторический роман, как детектив, как судебную драму – галочку поставите там, где надо, сами.

В действительности, как всегда у Барнса, это вещь про то, что вымышленная история оказывается достовернее засвидетельствованных фактов, что литература более правдива, чем официальное расследование, результаты которого подтверждены судом и правительством.

Лев Данилкин (Афиша)

Роман Джулиана Барнса «Артур и Джордж» представляет собой пример книги и приятной и полезной. Приятной – потому что Барнсу свойственна легкая и увлекательная манера письма, способная скрасить хоть длинный перелет, хоть бессонную ночь, а также незатейливая, но щекочущая нервы ироничность. Полезной – потому что «Артур и Джордж» – книга познавательная. Читатель узнает не только о нравах поздневикторианской Англии, но и о реальных событиях, в которых был замешан не кто-нибудь, а Артур Конан Дойл.

Коммерсантъ-Weekend

Написав «Артура и Джорджа», Барнс не только явил нам байопик об Артуре Конан Дойле, но и предпринял еще один, возможно самый глубокий, экскурс в недра загадочной английской души. Перед нами исследование сути «английскости». Одним текстом Барнс решил ответить на множество вопросов разом. Получилась своеобразная энциклопедия нравов. Многослойный роман о долге и невиновности, правде и вымысле, любви и чести.

Книжная витрина

На русский язык перевели новую книгу знаменитого прозаика, «британского Умберто Эко», – «Артур и Джордж». На сей раз поклонник Флобера и мастер изложить библейский сюжет устами (жвалами?) жучка-древоточца взялся за легенду детективного жанра – Артура Конан Дойла. В новой книге Барнса создатель Шерлока Холмса, подобно своему герою, берется за расследование преступления, которое якобы совершил

робкий молодой юрист по имени Джордж.

Известия

Автор книги ненавязчиво подталкивает читателя к выводу: литература может быть точным или кривым (по выбору автора) зеркалом жизни, но вот организовать жизнь по законам литературы чаще всего не удастся вовсе. Стерев границу между детективными произведениями, где возможна мера условности, и реальностью, Конан Дойл взял на вооружение методы Великого Сыщика. И невольно заигрался.

Роман Арбитман (Волга)

Пожалуй, помимо темы вины и невинности, духовных поисков, национальной идентичности, границ реальности и литературы, надо упомянуть еще тему памяти. По признанию автора, история Эдалджи заставила его задуматься, почему одних людей помнят долго, а других тотчас забывают. На процессе обвинитель заявляет, что мотивом преступлений, якобы совершенных Джорджем Эдалджи, было желание обрести известность. Избегавший шумихи Джордж со временем начинает досадовать, что его слава – сомнительная слава жертвы судебной ошибки – меркнет. Англия забывает его. Джордж считает, что за свои страдания заслуживает большего. И Джулиан Барнс с ним согласен. Пусть спустя сто лет, но справедливость восстановлена. Имя скромного юриста теперь запомнят все.

Иностранная литература

Посвящается П. К.

Часть первая

Начала

Артур

Ребенку хочется посмотреть. С этого все начинается; точно так же началось и в тот раз. Ребенку захотелось посмотреть.

Он уже научился ходить и смог дотянуться до дверной ручки. Без особой, в общем-то, цели, просто из детского инстинкта первооткрывателя. Раз есть дверь, нужно ее толкнуть; вошел, застыл; огляделся. Никто за ним не следил; он развернулся и вышел, старательно затворив за собой дверь.

Увиденное стало для него самым ранним воспоминанием. Мальчонка, комната с кроватью, пробивающийся сквозь задернутые шторы послеполуденный свет. Прежде чем он поведал миру свою историю, минуло шесть десятилетий. Сколько же раз он проговаривал текст про себя, чтобы выстроить и подогнать простые слова, на которых в итоге остановил свой выбор? Сомнений нет: зрелище виделось ему столь же четко, как в тот памятный день. Дверь, комната, свет, кровать, а на кровати – «бело-восковое нечто».

Ребенок и труп: в Эдинбурге того времени подобные сцены были, вероятно, нередки. Из-за высокой смертности и стесненных жилищных условий дети постигали жизнь рано. Семья была католическая; на кровати покоилось тело бабки Артура, некой Кэтрин Пэк. Не исключено, что дверь оставили незапертой намеренно. Быть может, хотели приобщить ребенка к трагедии смерти; или, выражаясь более оптимистично, внушить, что смерти бояться не следует. Ясно же, что бабушкина душа улетела на небеса, оставив на земле только ненужное, брэнное тело. Мальчик хочет посмотреть? Что ж, пускай смотрит.

Наедине в затемненной комнате. Дитя и мертвое тело. Внук, который только что, с обретением памяти, вышел из состояния неодушевленности, и бабка, которая, утратив те способности, что развивались у мальчика, вернулась в упомянутое состояние. Ребенок смотрел в упор; много лет спустя точно так же смотрел в упор мужчина. Что представляло собой это «бело-восковое нечто», вернее, что представляла собой чудовищная перемена, оставившая по себе только «нечто», – этот вопрос приобрел для

Артура первостепенное значение.

Джордж

У Джорджа самых ранних воспоминаний нет, а к тому моменту, когда, по всем меркам, положено ими обзавестись, выясняется, что время упущено. Ну не помнит он, что происходило определенно раньше всего остального: как его брали на руки, ласкали, поддразнивали, шлепали. Есть смутное ощущение, что некогда он был единственным ребенком в семье, и твердая уверенность, что нынче существует еще и Хорас, но тот поворотный, тревожный момент, когда ему предъявили братика, что было равносильно изгнанию из рая, не запечатлелся в памяти. Ни самого первого зрелища, ни самого первого запаха, будь то мамин парфюмерный аромат или едкость служанкиной карболки.

Мальчик растет застенчивым, серьезным, чутким к ожиданиям других. Порой ему кажется, что родительских ожиданий он не оправдывает: сознательный ребенок должен помнить, какой заботой был окружен буквально с первого дня. Но родители никогда не упрекают его за это упущение. Кстати, если другие дети сами исправляют подобный недочет, целенаправленно вбивая себе в голову нежное лицо мамы или надежное отцовское плечо, то Джорджу это несвойственно. Прежде всего, фантазии не хватает. То ли он никогда ею не обладал, то ли родители зарубили ее на корню какими-то своими действиями – ответы на эти вопросы можно найти лишь в специализированном, покуда не написанном разделе психологии. Джордж не глух к историям, которые приходится слышать: про Жанну д'Арк, Давида и Голиафа, Поклонение волхвов, но сам, вообще говоря, лишен способностей к сочинительству.

Никакой вины он за собой не чувствует, поскольку родители не считают это недостатком. Говоря про кого-нибудь из деревенских ребятишек, что тот «сочиняет», они, безусловно, выражают свое неодобрение. На этой же шкале, только еще ниже, стоят «выдумщик» и «враль»; но самый скверный ребенок – это «отъявленный лжец»: к такому на пушечный выстрел приближаться нельзя. Самого Джорджа никогда не призывают говорить правду: в противном случае можно было бы подумать, что его требуется понукать. Дело обстоит проще: правду надо говорить потому, что в доме приходского священника иного не дано.

«Аз есмь путь и истина и живот»; он нередко слышит это из отцовских

уст. Дорога, правда, жизнь. Ты идешь по жизни своей дорогой и говоришь правду. Джордж знает, что библейское изречение несет иной смысл, но на первых порах толкует его именно так.

Артур

Расстояние от дома до церкви было данностью, зато в каждой из двух конечных точек присутствовало, рассказывалось и предписывалось нечто свое. В стилом каменном храме, куда он ходил раз в неделю, чтобы, стоя на коленках, помолиться, присутствовали Господь Бог, Иисус Христос, Двенадцать апостолов, Десять заповедей и Семь смертных грехов. Все строго упорядочено, раз и навсегда перечислено и пронумеровано, вкупе с псалмами, молитвами и библейскими стихами.

Он понимал: это и есть выученная назубок истина, но более созвучной его воображению оказывалась другая, параллельная версия, усвоенная в домашней обстановке. Мамины истории тоже повествовали о стародавних временах и тоже учили его различать добро и зло. Стоя у кухонной плиты и помешивая овсянку, мама, бывало, уберет волосы за уши, а он уже ждет, когда она постучит черенком поварешки о край кастрюли, помолчит, а затем обратит к нему свое круглое, улыбочивое лицо. И тогда взгляд серых маминых глаз возьмет его в плен, а голос ее полетит по дуге, то взмывая кверху, то опускаясь, и под конец замедлится, едва ли не прервется – в тот самый миг, когда сладостная мука или радость ожидания нахлынет не только на героя и героиню, но и на слушателя.

«И тут рыцаря подняли над ямой, где шипели и брызгали ядом змеи, что кишели среди белых костей прежних жертв...»

«И тут жестокосердый злодей с гнусными проклятьями выхватил из-за голенища спрятанный кинжал и двинулся на беззащитного...»

«И тут дева вытащила из прически шпильку, и золотистые пряди заструились из окна, лаская стену замка, все ниже и ниже, чтобы почти коснуться изумрудной травы в том месте, где стоял...»

Артуру, который рос подвижным и своевольным ребенком, нелегко было усидеть на месте; но стоило матушке поднять над кастрюлей поварешку, как он застывал, словно околдованный: можно было подумать, сказочный злодей подсыпал ему тайное зелье. Вот тогда-то в тесной кухоньке и появлялись рыцари со своими прекрасными дамами: здесь бросали перчатку, здесь любые поиски – о чудо! – увенчивались успехом,

бряцали латы, шелестела кольчуга и превыше всего ценилась честь.

Все истории были определенным образом (хотя поначалу он не понимал, как именно) связаны со стоявшим подле родительской кровати старинным деревянным сундуком, где хранились свидетельства происхождения их семьи. Это были совсем другие рассказы, больше напоминавшие школьное домашнее задание из истории рода герцогов Бретонских, ирландской ветви нортумберлендского рода Перси, а также некоего офицера, который возглавил бригаду Пэка в битве при Ватерлоо и приходился дядей чему-то бело-восковому, прочно засевшему в памяти. И все это скреплялось материнскими уроками геральдики. Из кухонного шкафа извлекались большие листы картона, расчерченные и раскрашенные одним из лондонских дядюшек. Мама объясняла значение гербов, а потом требовала: «Ну-ка, опиши этот гербовый щит!» И ждала четкого, как таблица умножения, ответа: шевроны, звезды с лучами, пентаграммы, пентады, серебряные полумесяцы вкуче с их сверкающими сородичами.

Помимо усвоенных в церкви Десяти заповедей, дома он выучил еще несколько. Например, «Пред сильными бесстрашен, пред слабыми кроток» или «Рыцарствен с женщинами любого сословия – высокого или низкого». Эти заповеди казались ему даже более важными, потому как исходили непосредственно от мамы, да к тому же требовали применения на практике.

Артур далеко не заглядывал. В квартирке у них было не повернуться, матушка уставала, отец чудил. Еще в детстве Артур дал клятву, а клятвы, как известно, нельзя нарушать ни под каким видом: «Когда ты будешь совсем старенькой, мамочка, я тебе куплю бархатное платье и золотые очки, чтобы ты могла спокойно отдыхать у камина». Сегодня ему уже видится начало рассказа и счастливый конец; вот только середины пока не хватает.

За советами он обращался к своему любимому писателю, капитану Майн Рида. Пролистал «Вольных стрелков, или Приключения офицера пехоты в Южной Мексике». Простудировал «Молодых путешественников», «Тропу войны», «Всадника без головы». Индейцы и бизоны смешались у него в голове с рыцарями в латах и пехотинцами из бригады Пэка. Но самой его любимой из всех книжек Майн Рида стали «Охотники за скальпами, или Романтические приключения в Северной Мексике». Артур толком не знал, где берутся очки в золотой оправе и бархатное платье, но подозревал, что за ними придется снарядить рискованную экспедицию в Мексику.

Джордж

Раз в неделю мать берет его с собой к двоюродному деду Компсону. Идти к нему недалеко – до низкой каменной оградки, за которую Джорджу вход заказан. Они еженедельно меняют цветы в дедовом кувшине. Дед Компсон двадцать шесть лет отслужил в приходе Грейт-Уэрли; нынче душа его на небесах, а тело на погосте. Объясняя эти подробности, мать убирает поникшие стебли, выплескивает затхлую воду и расправляет свежий, глянцевоый букет. Когда разрешают, Джордж помогает набирать чистую воду. Мать говорит, что скорбеть нужно в меру, иначе будет не по-христиански, но Джорджу такое не по уму.

Когда двоюродный дед Компсон отправился на небеса, место его занял отец. Тот в свое время женился на матери, год спустя получил приход, а еще год спустя родился Джордж. Так ему рассказывают; история понятная, правдивая и счастливая, как и заведено от века. Есть мама, которая постоянно присутствует в его жизни: учит грамоте, целует на ночь; есть отец, который больше отсутствует, потому как навещает старых и немощных или пишет проповеди, которые потом читает с амвона. Есть дом и церковь, есть воскресная школа, где учительствует мать, есть сад, кошка, куры, небольшая лужайка, которую пересекает тропа от дома до церкви, и еще погост. Таков хорошо знакомый мир Джорджа.

В доме викария царит тишина. Молитвы, книги, рукоделие – это пожалуйста. Кричать нельзя, бегать нельзя, пачкотню разводить нельзя. Бывает, правда, что шум исходит от очага, а еще от ножей и вилок, если кто не умеет их правильно держать, и, конечно, от брата Хораса, который недавно появился на свет. Но это лишь исключения из правил спокойного и надежного домашнего мира. А вот мир за пределами дома викария полон неожиданных шумов и неожиданных происшествий. К примеру, четырехлетнего Джорджа ведут на прогулку вдоль межи и знакомят с коровой. Его пугает не столько величина этой скотины и даже не набухшее вымя, что болтается на уровне его глаз, сколько хриплый вопль, беспричинно вырывающийся из ее глотки. Видно, не на шутку разозлилась корова. Джордж – в слезы, отец – за хворостину. Тогда животное поворачивается боком, задирает хвост – и давай разводить пачкотню. Джордж цепенеет при виде этого извержения, которое с завораживающим шлепком плюхается на траву и тем самым вмиг нарушает все правила. Но материнская рука тащит Джорджа прочь, не давая осмыслить странное происшествие.

Да разве одна только корова и иже с нею – лошадь, овцы, поросенок – вызывают подозрение к миру, что лежит за пределами дома викария? Джорджастораживает многое из того, что он видит и слышит. Достаточно посмотреть, с каким лицом возвращается домой отец, и сразу станет ясно: тот внешний мир населяют старики, неимущие, хворые, и живется им – хуже некуда; понизив голос, отец еще рассказывает про каких-то «горняцких вдов», но это Джорджу не по уму. А вдобавок там обретаются выдумщики и, еще того хуже, отъявленные лжецы. Ко всему прочему, в округе есть так называемая «Угольная Шахта» – оттуда привозят уголь для камина. Уголь ему как-то не по нраву. Пахнет скверно, пылит, да еще и тишину нарушает, когда его кочергой ворочают; а как разгорится – близко не подходи. Доставкой мешков с углем занимаются дюжие, свирепого вида дядьки в кожаных шлемах, спускающихся на спину. Когда внешний мир стучит в дверь колотушкой, Джордж обычно вздрагивает. Если рассудить, наружу лучше вообще не высовываться, а сидеть дома с матерью, братом Хорасом и новорожденной сестренкой Мод, покуда не настанет срок отправиться на небо и встретиться там с двоюродным дедом Компсоном. Но Джордж подозревает, что так не получится.

Артур

Они без конца переезжали: раз шесть за первые десять лет жизни Артура. Создавалось впечатление, что каждая новая квартира теснее предыдущей, так как семья постоянно росла. У Артура были старшая сестра Аннетт, младшие сестры Лотти и Конни, младший брат Иннес, а впоследствии добавились еще сестренки Ида и Джулия (уменьшительно – Додо). Производить детей отцу удавалось на славу, а вот содержать – несколько хуже. В раннем возрасте Артур понял, что папа не сможет обеспечить матушке достойную старость, и от этого только укрепился в своем решении позаботиться об этом самостоятельно.

Глава семейства – о герцогах Бретонских сейчас речи нет – происходил из артистического рода. Талантливый, наделенный тонким религиозным чутьем, он постоянно ходил взвинченным и не отличался крепким здоровьем. В Эдинбург он приехал из Лондона в возрасте девятнадцати лет. Получил место помощника топографа в Шотландской строительной инспекции, однако слишком рано погрузился в такую среду, которая встретила его приветливо, но оказалась разгульной и пьющей. Этот тихий

неудачник прятал добродушное лицо за мягкой окладистой бородой; к вопросам долга он подходил отстраненно и вообще давно сбился с жизненного пути.

Ни жестокости, ни злобы в нем не было; во хмелю он становился сентиментальным, щедрым, склонным к самобичеванию. Порой его, с замусоленной бородой, приволакивал домой кэбмен, который настырно требовал платы за свои труды и тем самым будил детей; наутро отец долго и слезливо каялся, что не способен обеспечить тех, кого так нежно любит. Однажды Артура на целый год отправили в школу-пансион, чтобы избавить от созерцания очередного этапа распада отцовской личности, но мальчик успел достаточно насмотреться, чтобы четко представлять, каким бывает и каким должен быть мужчина. В маминых рассказах о рыцарстве и романтических чувствах не находилось места для пьяниц-иллюстраторов.

Отец Артура рисовал акварелью и вечно надеялся на прибыли от продажи своих работ. Но ему мешала широта натуры: он раздавал эти рисунки даром или в лучшем случае за сущие гроши. Выбирая неистовые, устрашающие сюжеты, отец все же нередко проявлял свое врожденное чувство юмора. Но излюбленным мотивом, которым, собственно, и запомнилось отцовское искусство, были феи.

Джордж

Джорджа отдают в сельскую школу. Его свободно повязанный бантом шейный платок, скрывающий запонку туго накрахмаленного ворота, касается верхней пуговицы жилета; сюртучок примечателен высокими, почти не скошенными лацканами. Другие мальчики не столь щеголеваты: некоторые являются на уроки в фуфайках грубой ручной вязки или в куртках с чужого плеча, донашиваемых за старшими братьями. Считанные единицы могут похвалиться крахмальными воротничками, но шейный платок, как у Джорджа, носит один лишь Гарри Чарльзуорт.

Мать научила Джорджа грамоте, отец – несложным арифметическим действиям. Всю первую неделю Джордж волею случая просидел за задней партой. В пятницу предстоит проверочное испытание, и детей рассадят по степени умственного развития: толковые мальчики будут сидеть впереди, а бестолковые сзади; наградой за успехи в учении станет возможность оказаться поближе к учителю – светочу образованности, знаний, истины. Зовут его мистер Босток; он носит твидовый пиджак, вязаный жилет и

сорочку с пристежным воротником, уголки которого, прижатые галстуком, скреплены золотой булавкой. В любое время года мистер Босток ходит в коричневой фетровой шляпе, которую на уроках кладет перед собой на стол, как будто опасается выпустить из поля зрения.

На перемене мальчики выбегают, как принято говорить, в школьный двор, а по сути – на вытоптаный пятачок, откуда вдали, за открытыми полями, видны Угольные Копи. Те ребята, которые и раньше были меж собой знакомы, тут же устраивают потасовку – просто от нечего делать. Джордж никогда прежде не видел драк. Он глядит во все глаза, и тут перед ним возникает Сид Хеншоу, один из главных бузотеров. Хеншоу строит ему обезьяньи рожи: мизинцами растягивает себе рот, а большими пальцами оттопыривает уши – и давай ими шевелить.

– Приятно познакомиться, меня зовут Джордж. – Так ему наказывали говорить.

Но Хеншоу знай шевелит ушами, издавая какие-то булькающие звуки.

В классе есть фермерские сыновья, и Джорджу кажется, что от них пахнет коровой. Но большинство ребят – из шахтерских семей; у этих какой-то чудной говорок. Джордж запоминает имена однокашников: Сид Хеншоу, Артур Эрам, Гарри Боум, Хорас Найтон, Гарри Чарльзуорт, Уолли Шарп, Джон Гарриман, Альберт Йейтс...

Отец твердит, что в школе можно найти себе друзей, но Джордж плохо понимает, как это делается. А однажды утром подкрадывается к нему сзади Уолли Шарп и нашептывает:

– Ты не тутошний.

Развернувшись, Джордж говорит, как обучен:

– Приятно познакомиться, меня зовут Джордж.

В конце первой недели мистер Босток устраивает проверку по чтению, правописанию и арифметике. Результаты объявляются в понедельник утром, и учеников пересаживают. Джордж неплохо справился с чтением из хрестоматии, но правописание и арифметика подкачали. Его оставляют на задней парте. В следующую пятницу, да и через две недели ничего не меняется. Теперь он окружен фермерскими и шахтерскими сыновьями, которым все равно, где сидеть – в заднем ряду даже еще и лучше: подальше от мистера Бостока, чтобы тот не видел их проделок. У Джорджа такое ощущение, будто его медленно, но верно теснят с пути, от истины, из жизни.

Мистер Босток стучит мелом по классной доске.

– *Вот это*, Джордж, *плюс вот это* (тук) *будет... сколько* (тук-тук)?

В глазах у Джорджа мутится, и он выпаливает наугад: «Двенадцать»

или «Семь с половиной». Мальчишки за первыми партами смеются; тут даже фермерские сыновья соображают, что он дал маху, и тоже гогочут.

Мистер Босток со вздохом качает головой и спрашивает Гарри Чарльзуорта, который, сидя за первой партой, вечно тянет руку.

«Восемь», – чеканит Гарри или: «Тринадцать и одна четверть»; тогда мистер Босток дергает головой в сторону Джорджа, чтобы подчеркнуть, какую тот сморозил глупость.

Как-то раз по дороге домой из школы Джорджу случилось замарать штаны. Мать раздевает его догола, ставит в ванну, трет мочалкой, одевает в чистое и отводит к отцу. Но Джордж не может объяснить, почему в свои без малого семь лет он так осрамился, будто еще не вышел из пеленок.

Такое происходит с ним еще раз и еще. Родители не наказывают своего первенца, но их очевидное разочарование (в учебе отстает, по дороге домой опять замарался) хуже любой кары. Они обсуждают сына поверх его макушки.

- Этот ребенок пошел в тебя, Шарлотта: комок нервов.
- Но почему с ним такое происходит: у него ведь не зубы режутся?
- Простуду исключим сразу: на дворе только сентябрь.
- Кишечное расстройство – тоже: Хорас кушал все то же самое.
- Что еще можно предположить?
- Я читала, что единственной другой причиной может быть страх.
- Ты чего-нибудь боишься, Джордж?

Джордж смотрит на отца, на белоснежный пасторский воротничок, на круглое не улыбочивое лицо, на губы, которые с амвона церкви Святого Марка вещают непостижимую порой истину, на черные глаза, которые сейчас требуют истины от него. А что тут скажешь? Да, боится он и Уолли Шарпа, и Сида Хеншоу, и еще некоторых, но ябедничать негоже. Да и потом, есть кое-что пострашнее. В конце концов он говорит:

– Я боюсь остаться глупым.

– Джордж, – отвечает ему отец, – нам понятно, что ты неглуп. Мы с мамой обучили тебя грамоте и основам арифметики. Ты сообразительный мальчик. Дома с легкостью решаешь примеры, а в школе ходишь в отстающих. Ответь: почему?

- Не знаю.
- Возможно, мистер Босток учит вас как-то иначе?
- Нет, отец.
- Или ты ленишься?

– Нет, отец. Из учебника я любой пример могу решить, а с доски не получается.

– Полагаю, Шарлотта, нам придется свозить его в Бирмингем.

Артур

У Артура были дядюшки; они наблюдали распад личности своего брата и жалели его семью. Ими и было принято решение отправить Артура на учебу к английским иезуитам. В Эдинбурге его посадили в поезд; всю дорогу до Престона он, в ту пору девятилетний, проплакал. Ближайшие семь лет ему предстояло провести в Стонихерсте, и только во время летних каникул он на полтора месяца возвращался к матушке, а в эпизодических случаях – еще и к отцу.

Выходцы из Нидерландов, иезуиты принесли с собой всю учебную программу и систему воспитания. Образование включало семь циклов: грамота, арифметика, начала общих знаний, грамматика, синтактика, поэтика и риторика, по одному году на каждый цикл. Как и в обычных частных школах, там изучали Евклида, алгебру и античных авторов; незнание их истин грозило примерным телесным наказанием. Совершалось оно посредством специального орудия, тоже вывезенного из Нидерландов и называемого «тулий»: это был кусок натурального каучука длиной и толщиной с башмачную подошву. От одного удара, наносимого с подлинно иезуитским расчетом, кисть руки распухала и багровела. Ученикам старших классов обычно назначали девять ударов по каждой руке. После этого провинившийся еле-еле поворачивал дверную ручку, чтобы выйти из кабинета, где вершилось наказание.

Тулий, как объяснили Артуру, получил свое название от созвучия с латинским глаголом. *Fero*, «я ношу, или вынашиваю». Спрягаем: *fero, ferre, tuli, latum*. Стало быть, *tuli* – «я выносил», то бишь «тулий» – это штукавина, которую мы сами родили, так?

Юмор был жестоким, под стать наказаниям. На вопрос, кем он видит себя в будущем, Артур признался, что хочет стать инженером и строить дома.

– В инженеры ты, может, и выбьешься, – ответил священник, – а строить, уж поверь, будешь разве что козни.

Артур вымахал крупным, решительным парнем, который за успокоением шел в школьную библиотеку, а за радостями – на поле для игры в крикет. Раз в неделю мальчиков заставляли писать домой, и многие расценивали это как изощренную пытку, но Артур почитал наградой. В

течение отведенного часа он изливал душу матери. Не забывая ни Бога, ни Иисуса Христа, ни Библию, ни иезуитов, ни тулий, он подчинялся и доверял главному арбитру – своей хрупкой, но властной матушке. Она для него оставалась советчицей во всех вопросах, от нижнего белья до геенны огненной. «К телу носи фланель, – наставляла она, – и не верь в муки ада».

Помимо всего прочего, матушка, сама того не ведая, научила его завоевывать авторитет. С самого начала он рассказывал своим одноклассникам истории о рыцарстве и романтических чувствах, впервые услышанные им под занесенной поварешкой для овсяной каши. В ненастные часы досуга он забирался на парту, а слушатели садились в кружок на корточки. Вспоминая матушкины таланты, он умело понижал голос, затягивал свой рассказ и прерывался на самом драматическом, захватывающем эпизоде, чтобы продолжить на следующий день. Рослый и вечно голодный, за базовую единицу оплаты он принимал сдобную булочку. Но временами, умолкая в кульминационной точке, отказывался продолжать, пока не получит гонорар в размере яблока.

Так он обнаружил глубинную связь между повествованием и вознаграждением.

Джордж

Окулист не рекомендует младшим школьникам носить очки. Лучше подождать, – быть может, с возрастом зрение нормализуется само. А пока нужно пересадить мальчика за первую парту.

Из окружения фермерских сыновей Джордж перебирается к Гарри Чарльзуорту, отличнику. И с той поры на уроках больше не теряется. Он ясно видит, в какой точке барабанит по доске учительский мел, и, к слову сказать, по дороге домой никогда больше не марает исподнее.

Сид Хеншоу по-прежнему строит обезьяньи рожи, только Джорджу от этого ни жарко ни холодно. Сид Хеншоу – просто сельский дурень, который, скорее всего, даже не знает, как пишется «корова», хотя от самого коровой несет.

Однажды в школьном дворе Хеншоу с разбегу толкает Джорджа плечом, а сам, не дав ему опомниться, срывает с него галстук-бант и убегает. Слышится хохот. Перед началом урока мистер Босток спрашивает, куда делся галстук.

Джордж стоит перед трудным выбором. Он знает, что ябедничать –

последнее дело. Но знает он и то, что лгать еще хуже. У отца в этом вопросе очень твердая позиция. Единожды солгав, ты ступаешь на путь греха – и остановить тебя может разве что петля, накинутая на шею палачом. Разумеется, такими словами об этом не говорят, но Джорджу видится именно так. А потому солгать мистеру Бостоку невозможно. Джордж рассчитывает как-нибудь выкрутиться (что, между прочим, тоже нехорошо: отсюда до лжи – один шаг), а потом отвечает как на духу:

– Сид Хеншоу меня толкнул и галстук сорвал.

Мистер Босток за вихры выводит Хеншоу из класса, лупит, пока тот не начинает вопить, а потом возвращается с шейным платком Джорджа и читает ученикам нотацию про воровство.

После уроков Джорджу преграждает дорогу Уолли Шарп, который, не давая себя обойти, шипит:

– Ты не тутошний.

Остается только вычеркнуть Уолли Шарпа из числа возможных друзей.

Если Джордж чего-то лишен, то в большинстве случаев сам этого не осознает. К примеру, его родные никогда не участвуют в делах сельской общины, но Джордж не понимает последствий такого отстранения, не говоря уже о причинах родительской замкнутости или несостоятельности. Сам он никогда не заходит в гости к другим ребятам, а потому не может судить, какой уклад принят в чужих домах. Его жизнь самодостаточна. Денег у него нет – и не надо, тем более что стяжательство, как он недавно узнал, корень всех зол. Игрушек тоже нет – и пусть их. Для игр требуются ловкость и зоркость, которыми он не обладает; ему даже не доводилось чертить «классики», чтобы прыгать из одного квадрата в другой; от летящего в его сторону мяча он съеживается. Его вполне устраивает по-братски гонять Хораса или, более бережно, сестренку Мод, а еще бережней – цыплят.

Для него не секрет, что у большинства мальчиков есть друзья; даже в Библии описаны Давид и Голиаф, а Гарри Боум и Артур Эрам, отойдя на кромку школьного двора – Джордж сам видел, – достают из карманов и разглядывают какие-то сокровища, но ему такое неведомо. Нужно ли ему в связи с этим что-нибудь придумать или лучше выждать, когда что-нибудь придумают другие? Да какая, в сущности, разница: главное – чтобы мистер Босток был им доволен, а лебезить перед недоумками с задних парт он не собирается.

Когда к чаю приходит двоюродная бабушка Стоунхэм, а случается это в первое воскресенье каждого месяца, она шумно скребет чашкой по

блюдечку и сквозь морщинистые губы вопрошает, есть ли у Джорджа друзья.

– Гарри Чарльзуорт, – неизменно отвечает он. – Мой сосед по парте.

Услышав тот же самый ответ в третий раз, бабушка со стуком опускает чашку на блюдечко, хмурится и спрашивает:

– А еще?

– Все остальные – деревенские вонючки, – отвечает он.

По устремленному на отца взгляду двоюродной бабушки Стоунхэм он понимает, что оплошал. Перед ужином его вызывают в отцовский кабинет. Отец вытянулся у письменного стола на фоне расставленного по полкам авторитета веры.

– Сколько тебе лет, Джордж?

Распекания нередко начинаются с этого вопроса. Ответ известен обоим, но Джордж обязан произнести его вслух.

– Семь, отец.

– В этом возрасте от человека естественно ожидать некоторого уровня интеллекта и здравого смысла. Позволь спросить, Джордж: как по-твоему, в глазах Господа ты ценнее тех мальчиков, которые живут на фермах?

Ясное дело, правильно будет сказать «нет», но Джордж медлит с ответом. Неужто сын викария, который живет в доме викария и приходится внучатым племянником предыдущему викарию, не ценнее для Господа, чем глупый и вдобавок злобный мальчишка, который носу не кажет в церковь, как, например, Гарри Боум?

– Нет, – отвечает Джордж.

– Так почему же тех мальчиков ты называешь «деревенскими вонючками»?

Как тут выбрать правильный ответ? Джордж раздумывает. Правильный ответ, как ему внушили, – это ответ правдивый.

– Потому, что они такие и есть, отец.

Отец вздыхает:

– Допустим, Джордж; но почему они таковы?

– Каковы, отец?

– Дурнопахнущие.

– Потому что не моются.

– Нет, Джордж, если от них дурно пахнет, то лишь потому, что живут они в бедности. Нам, считай, повезло: у нас есть возможность покупать мыло, принимать ванну, спать на свежем белье, а не соседствовать с домашней скотиной. А те мальчишки – смиренные земли^[1]. Вот и ответь, кого Господь любит больше: смиренных земли или исполненных гордыни?

Этот вопрос уже полегче, хотя Джордж не вполне согласен с ответом.

– Смиранных земли, отец.

– Блаженны кроткие^[2], Джордж. Тебе известен этот стих.

– Да, отец.

Но что-то в душе Джорджа противится такому заключению. Не может он считать Гарри Боума и Артура Эрама кроткими. Равно как и не может поверить, что, согласно вечному Божьему промыслу, Гарри Боум и Артур Эрам когда-нибудь унаследуют землю. Против этого восстает присущее Джорджу чувство справедливости. Они всего лишь деревенские вонючки, в конце-то концов.

Артур

В Стонихерст-колледже предложили компенсировать стоимость образования Артура, если он начнет готовиться к принятию сана, но матушка отказалась. Артур вырос честолюбивым и вполне способным к лидерству; его уже прочили в капитаны команды по крикету. Однако матушка не видела своих детей в роли духовных наставников. В свою очередь, Артур понимал, что не сможет обеспечить маме обещанные очки в золотой оправе, бархатное платье и отдых у камина, если обречет себя на бедность и послушание.

По его оценкам, иезуиты были ничем не плохи. Они считали, что человек по натуре слаб, и Артуру их подозрения виделись оправданными: взять хотя бы его родного отца. Кроме того, они понимали, что греховность уходит корнями в детство. Мальчишкам запрещалось уединяться; гуляли они только в сопровождении учителя; по ночам темная фигура совершала обход дортуаров. Не исключено, что постоянный надзор мог подорвать всякую инициативу и самоуважение; зато безнравственность и грязь, процветавшие в других учебных заведениях, здесь свелись к минимуму.

В общем и целом Артур верил, что Бог существует, что мальчишки падки на все греховное и что в воспитательных целях святые отцы вправе использовать тулий. Что же касалось отдельных догматов веры, он обсуждал их накоротке со своим другом Партриджем. Впервые Партридж поразил его во время матча: как полевой игрок, он непостижимым образом поймал мяч после одного из самых мощных бросков Артура, в мгновение ока сунул в карман и развернулся, делая вид, что провожает глазами мяч, улетевший за пределы поля. Партридж мог обвести вокруг пальца кого

угодно, причем не только в крикете.

– Известно ли тебе, что концепция непорочного зачатия была причислена к догматам веры совсем недавно: в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году?

– Поздновато, я бы сказал, Партридж.

– Да, представь себе. Дебаты велись на протяжении веков, и все это время отрицание непорочного зачатия не считалось ересью. А теперь считается.

– Хм.

– Итак: почему вдруг Рим задним числом принизил роль биологического отца в таком событии?

– Погоди-ка, дружище.

Но Партридж уже перешел к догмату о папской непогрешимости, провозглашенному только пятью годами ранее: с какой стати всем папам прошлых веков по умолчанию приписываются слабости, в отличие от пап настоящего и будущего? В самом деле, почему? – эхом повторил Артур. Да потому, ответил Партридж, что это скорее вопрос церковной политики, нежели достижений богословия. Все объясняется тем, что высокие посты в Ватикане захватили влиятельные иезуиты.

– Ты послан мне, чтобы испытывать мою веру, – говорил порой Артур.

– Напротив. Я здесь для того, чтобы укреплять твою веру. Мыслить себя внутри Церкви – это путь истинного послушания. Когда Церковь чувствует какую бы то ни было угрозу, она отвечает ужесточением дисциплины. В краткосрочной перспективе это себя оправдывает, а в расчете на будущее – нет. Совсем как тулий. Сегодня тебя наказали – и день-два ты не будешь грешить. Но абсурдно было бы утверждать, что, памятуя об этом наказании, ты больше не согрешишь никогда в жизни, согласен?

– А если наказание подействовало?

– Да через год-другой нас уже здесь не будет. Тулий сгинет. Человека нужно учить сопротивляться греху и злодейству с помощью доводов разума, а не страха перед физической болью.

– Подозреваю, что на некоторых доводы разума не действуют.

– Для таких единственное средство – тулий. То же касается и мирского уклада. Естественно, ему необходимы тюрьмы, каторжные работы, палачи.

– Но Церковь, по-моему, сильна. Разве ей что-нибудь угрожает?

– Наука. Распространение скептицизма. Распад папских владений. Утрата политического влияния. Грядущий двадцатый век.

– Двадцатый век. – Артур немного поразмыслил. – Я так далеко не

загадываю. Новый век я встречу сорокалетним.

– И капитаном сборной Англии.

– Это вряд ли, Партридж. Но уж точно не священником.

Вроде бы Артур и не осознавал, как слабеет его вера. Но от размышлений о себе внутри Церкви он с легкостью перешел к мыслям о себе за ее пределами. Ему открылось, что его разум и совесть не всегда принимают то, что находится перед ними. В выпускном классе он слушал проповедь отца Мерфи. Яростный, багровый от гнева священник стоял высоко на кафедре, грозя неминуемым и безусловным проклятием всем невоцерковленным. Причина, по которой эти люди остаются вне лона Церкви, будь то злонамеренность, упрямство или банальное невежество, не влияет на конечный итог: неминуемое и безусловное проклятие на веки вечные. Потом он стал так пылко живописать все мерзости и муки ада, что мальчики заерзали на скамьях; Артур, однако, не вслушивался. Матушка ему растолковала, что к чему, и теперь он взирал на отца Мерфи как на рассказчика, которому больше не веришь.

Джордж

Мать учительствует в примыкающей к дому викария воскресной школе. Ромбическая кирпичная кладка этого строения напоминает, по словам матери, узорчатый вязаный плед и утешает взор. Джорджу это не по уму, хотя он задумывается: не идет ли речь об Утешителях Иова? Всю неделю он ждет не дождется занятий в воскресной школе. Неотесанные мальчишки туда не ходят – те носятся сломя голову по лугам, ставят силки на кроликов, говорят неправду и вообще выбирают для себя путь наслаждений, ведущий к проклятию на веки вечные. Мать предупредила, что на уроках не будет его выделять. И Джордж понимает: так она указывает всем ученикам – в равной степени – путь к Небесам.

В классе она рассказывает захватывающие истории, вполне доступные его пониманию: про Даниила в Львином Рву, про Устье Печи, Раскаленной Огнем. Правда, есть и другие истории, куда труднее для понимания. Иисус учил Притчами; Джордж ловит себя на том, что Притчи ему не по нраву. Взять хотя бы Притчу про пшеницу и плевелы. Джорджу ясно: враг может посеять плевелы среди пшеничного поля, и выпалывать их нельзя, чтобы случайно не вырвать с корнем пшеничные стебли... как-то оно неубедительно, ведь у него на глазах мать частенько пропалывает клумбу, а

что такое прополка, если не выдергивание плевел, покуда они еще не разрослись вместе с пшеницей? Но даже если оставить в стороне эту неувязку, дальнейшие рассуждения заходят в тупик. Ясно, что подразумевается в этой истории нечто иное, на то она и Притча, но что есть «нечто иное» – это Джорджу не по уму.

Он рассказывает про пшеницу и плевелы братишке Хорасу, но тот даже не понимает, что такое плевелы. Хорас на три года младше Джорджа, а Мод на три года младше Хораса. Мод, девочка, да еще самая младшая из детей, слаба здоровьем по сравнению с братьями; они усвоили, что их долг – ее защищать. Что именно под этим подразумевается, никто не уточнил; похоже, защита сводится к запретам: сестру нельзя тыкать палкой, нельзя дергать за волосы, нельзя громко фыркать ей в лицо, как наловчился Хорас.

Словом, защитники из Джорджа и Хораса никудышные. В дом зачастил врач, и его регулярные визиты держат семью в постоянной тревоге. Всякий раз Джордж испытывает неловкость и старается исчезнуть с глаз долой, чтобы его не сочли главным виновником сестренкиной болезни. А Хорас тут как тут: бойко вызывается отнести наверх докторский саквояж.

Когда Мод исполняется четыре года, родители, посоветовавшись с доктором, решают, что ее, такую хрупкую, нельзя оставлять без присмотра на всю ночь и что ни Джорджу, ни Хорасу, ни даже им обоим вместе нельзя поручать ночной догляд за сестрой. Отныне спать она будет в маминной комнате. Тут же принимается решение, что Джордж перейдет спать в комнату к отцу, а Хорас останется в детской. Джорджу сейчас десять лет, Хорасу – семь; видимо, резонно считать, что возраст греховности уже не за горами и двоих мальчиков не следует оставлять наедине. Разъяснений никто не дает, да никто и не просит. Джордж не интересуется, почему его отправляют на ночлег к отцу: в наказание или в награду. Так надо – вот и весь сказ.

Джордж с отцом вместе молятся, преклоняя колени на выскобленные добела половицы. Потом Джордж залезает в постель, а отец запирает дверь и гасит свет. Перед сном Джордж иногда обращается мыслями к этим половицам: вот бы душу его кто-нибудь точно так же отскоблил добела.

Отец спит беспокойно: то стонет, то кричит. А время от времени, уже под утро, когда за край шторы начинает заглядывать рассвет, устраивает проверку в форме вопросов и ответов.

- Где ты живешь, Джордж?
- В доме викария, в Грейт-Уэрли.
- И где это находится?

- В графстве Стаффордшир, отец.
- А оно где находится?
- В центре Англии.
- А что есть Англия, Джордж?
- Англия – это пульсирующее сердце Британской империи, отец.
- Неплохо. А что есть кровь, струящаяся по артериям и венам Империи к самым дальним берегам?
- Англиканская церковь.
- Неплохо, Джордж.

Вскоре отец вновь начинает стонать и кряхтеть. На глазах у Джорджа края шторы отвердевают. Он лежит и думает об артериях и венах, которые красными линиями на карте мира связывают Британию с другими территориями, закрашенными розовым: это Австралия, Индия, Канада, а также вездесущие пятнышки островов. Ему грезится, как по дну океана, подобно телеграфным кабелям, тянутся сосуды. Грезится, как в этих сосудах бурлит кровь, чтобы излиться в Сидней, Бомбей, Кейптаун. Кровопроводящие магистрали – где-то он слышал такое выражение. Под пульсацию крови в ушах его опять клонит в сон.

Артур

Выпускные испытания Артур выдержал с отличием; но поскольку ему исполнилось всего шестнадцать, он был еще на год отправлен к иезуитам в Австрию. В «Фельдкирхе», как он убедился, правила внутреннего распорядка были не столь жесткими: здесь разрешалось пить пиво и обогреть дортуары. Чтобы воспитанники-англичане практиковались в языке, к ним во время длительных прогулок специально приставляли двоих однокашников, говоривших только по-немецки. Артур вызвался быть редактором и единоличным автором рукописного научно-литературного журнала «Фельдкирхиан газетт». Кроме всего прочего, он теперь играл в футбол на ходулях и учился музицированию на тубе-бомбардоне: этот инструмент, дважды закрученный вокруг торса, звучал как труба иерихонская.

По возвращении в Эдинбург Артур узнал, что отец помещен в лечебницу, якобы с диагнозом «эпилепсия». Доходов больше не предвиделось, даже той малости, которую изредка приносили акварели с изображениями фей. В связи с этим Аннетт, старшая сестра, уже

переселилась в Португалию, где нашла место гувернантки; к ней готовилась присоединиться и Лотти, чтобы сообща отсылать семье хоть какие-то средства. Матушка пошла даже на то, чтобы пускать жильцов. Артур смущался и негодовал. Уж кому-кому, а его матери не пристало опускаться до сдачи меблированных комнат.

– Помилуй, Артур, кабы никто не сдавал жилье внаем, твой отец не смог бы поселиться у бабушки Пэк и мы с ним никогда бы не повстречались.

По мнению Артура, это как раз был очень веский довод против сдачи комнат жильцам. Поскольку отца критиковать недопустимо, он смолчал. Но зачем же притворяться, будто матушка не смогла бы сделать более удачную партию?

– А в таком случае, – продолжала она, улыбаясь ему серыми глазами, которые его обезоруживали, – не появился бы на свет Артур; да что там говорить – не было бы ни Аннетт, ни Лотти, ни Конни, ни Иннеса с Идой.

Несомненно, такова была истинная правда, но вместе с тем и одна из неразрешимых метафизических загадок. Окажись поблизости Партридж, они бы с ним обсудили вопрос: возможно ли сохранить свою идентичность (хотя бы в некоторой степени), если бы ты родился от другого отца? Если нет, то, следовательно, и сестры его тоже не остались бы самими собой, особенно Лотти, которая всегда была отцовской любимицей, хотя внешностью и уступала, как считалось, Конни. Притом что он еще мог кое-как представить другим самого себя, мозг его не соглашался ни на йоту изменить Лотти.

Вероятно, Артур более терпимо воспринял бы весть о падении статуса их семьи, не попадись ему на глаза первый матушкин жилец. Брайан Чарльз Уоллер: всего на шесть лет старше Артура, но уже дипломированный врач. Да к тому же публикуемый поэт, племянник человека, которому посвящена «Ярмарка тщеславия». Артур не возражал против начитанности, а точнее, учености этого парня и даже против его ярого безбожия; но не мог простить, что в их доме жилец показал себя обаятельным и легким в общении. Как он произнес: «Стало быть, это Артур» – и с улыбкой протянул руку. Будто давал понять, что уже стоит на шаг впереди тебя. Как носил два своих лондонских костюма, как изрекал общие суждения и эпиграммы. Какой подход нашел к Лотти и Конни. Какой подход нашел к матушке.

Он и с Артуром был обаятелен и легок в общении, чего не мог простить ему рослый, неуклюжий, упрямый абитуриент, недавно вернувшийся из Австрии. Уоллер держался так, будто понимал Артура

даже в тех случаях, когда Артур, похоже, сам себя не понимал и, стоя у своего собственного камина, виделся себе таким нелепым – словно зажатый в двойные кольца тубы-бомбардона. Так и хотелось извлечь из нее протестующий рев, тем более что Уоллер деликатно заглянул Артуру в душу и – что самое неприятное – воспринял ее состояние всерьез и одновременно не полностью всерьез, с улыбкой, как будто замеченное им смятение – дело житейское, не стоящее большого внимания.

Слишком уж обаятелен и легок в общении с самой жизнью, черт бы его побрал.

Джордж

Сколько помнится Джорджу, в доме всегда была прислуга «за все», которая где-то на заднем плане драит полы, вытирает пыль, начищает медь, разжигает очаг, чернит каминную решетку и кипятит воду в котле. Прислуга меняется ежегодно: одна девушка выходит замуж, другая переезжает в Кэннок или Уолсолл, а то и в Бирмингем. Джордж и раньше-то их не замечал, а нынче тем более: средняя школа находится в Ружли, каждый день туда и обратно поездом.

Он рад, что распрощался с деревенской школой, с глупыми мальчишками из фермерских семей и с косноязычными – из шахтерских; даже имена их выбросил из головы. В Ружли по большому счету ребята сделаны совсем из другого теста, а учителя считают, что умным быть полезно. Он неплохо ладит с одноклассниками, хотя близких друзей не завел. Гарри Чарльзуорт нынче учится в Уолсолле, и они лишь кивают друг другу, сталкиваясь на улице. Для Джорджа теперь на первом месте учеба, его родные, его вера и соответствующие обязанности. Все прочее можно отложить на потом.

Однажды субботним вечером Джорджа призывают в отцовский кабинет. На столе раскрыт внушительный алфавитный указатель библейских изречений, рядом – заметки для воскресной проповеди. Отец собран, как на кафедре. Так или иначе, Джордж предугадывает первый вопрос.

– Сколько тебе лет, Джордж?

– Двенадцать, отец.

– В этом возрасте от человека естественно ожидать некоторого уровня рассудительности и благоразумия.

Джордж не понимает, что это было: вопрос или утверждение, а потому молчит.

– Элизабет Фостер жалуется, Джордж, что ты на нее как-то странно поглядываешь.

Он озадачен. Элизабет Фостер – это новая прислуга, работает у них месяца два-три. Ходит в форменном платье горничной, как и ее предшественницы.

– В каком смысле отец?

– А сам ты как думаешь: в каком смысле?

Некоторое время Джордж размышляет.

– В греховном?

– Допустим; а точнее?

– Единственный мой грех, отец, состоит в том, что я ее почти не замечаю, хотя и знаю, что она частица Творения Господня. Заговаривал я с ней только два раза – когда она неизвестно куда рассовала вещи. А поглядывать на нее у меня нет причин.

– Совсем никаких причин, Джордж?

– Совсем никаких, отец.

– В таком случае я скажу ей, что она, неумная и злонамеренная девица, будет уволена, если не прекратит свои кляузы.

Джорджа ждут латинские глаголы; судьба Элизабет Фостер ему безразлична. Он даже не задается вопросом: а не грешно ли проявлять такое безразличие к чужой судьбе?

Артур

Созрело решение, что Артур будет изучать медицину в Эдинбургском университете. Он вырос ответственным и трудолюбивым, а со временем обещал приобрести невозмутимость, которая внушает доверие пациентам. Это решение Артур воспринял благосклонно, хотя и подозревал, от кого оно исходит. О медицине первой заговорила матушка: мистер Уоллер не прожил у них и месяца, как она обратилась с письмом в «Фельдкирх». Простое совпадение? Артур надеялся, что это так; он даже боялся представить, как его будущее становится предметом обсуждения между матушкой и этим самозванцем. Даром что он (как постоянно напоминали Артуру) дипломированный специалист и публикуемый поэт. Даром что «Ярмарке тщеславия» предпослано посвящение его дядюшке.

Помимо всего прочего, выходило чертовски ловко, что Уоллер теперь сам предлагал подготовить Артура к вступительным экзаменам, дающим право на стипендию. Артур согласился по-юношески хамовато, за что без свидетелей получил реприманд от матушки. Он перерос ее на целую голову; убранные за уши материнские волосы потускнели и подернулись сединой, но серые глаза и негромкий голос по-прежнему таили неослабный нравственный авторитет.

Уоллер оказался сильным репетитором. Под его руководством Артур зубрил античную литературу, рассчитывая на стипендию Грирсона для малоимущих: сорок фунтов в год сроком на два года были бы значительным подспорьем для семьи. Получив результаты и выслушав дружные похвалы родных, Артур понял, что это его первое серьезное достижение: он впервые сумел отблагодарить маму за ее многолетние жертвы. Рукопожатиям и поцелуям не было конца; Лотти и Конни от избытка чувств расплакались – девчонки, что с них возьмешь, а сам Артур от нахлынувшего великодушия решил отбросить подозрения в адрес Уоллера.

Через несколько дней Артура вызвали в стипендиальный отдел. Принял его невзрачный, сконфуженный чиновник, чья должность осталась тайной. Произошла, видите ли, неувязка. Не могу сказать, как это получилось. Видимо, вследствие канцелярской ошибки. На стипендию Грирсона могут претендовать только студенты гуманитарных специальностей. Артуру присудили ее ошибочно. Впоследствии будут приняты меры и так далее и тому подобное.

Но существуют другие поощрения и другие стипендии, указал Артур, – вот же, целый список. Наверно, ему смогут выделить стипендию из другого источника. Ну... да... теоретически такое возможно, вот, к примеру, следующая стипендия в этом списке как раз предназначена для студентов-медиков. К сожалению, она уже присуждена другому кандидату. Как и все прочие.

– Но это грабеж среди бела дня! – вскричал Артур. – Грабеж среди бела дня!

Конечно, ситуация весьма прискорбная; видимо, что-то еще можно исправить. И на следующей неделе положение было исправлено. Артур узнал, что ему назначили компенсацию в размере семи фунтов стерлингов, которые застряли в каком-то всеми забытом фонде и с любезного согласия руководства были предоставлены в его распоряжение.

Он впервые столкнулся с такой вопиющей несправедливостью. Когда его лупили тулием, на то почти всегда была веская причина. Когда отца

упекли в лечебницу, сыновнее сердце отозвалось болью, но никто не взялся бы утверждать, что отец безгрешен: да, произошла трагедия, однако несправедливости в ней не было. Но здесь-то, здесь! Все сошлись во мнении, что университету нужно вчинить иск. Пусть Артур засудит руководство и вернет себе стипендию. И только доктор Уоллер сумел убедить его в нецелесообразности тяжбы с учебным заведением, которому ты вверяешь свое образование. Делать нечего: нужно проглотить гордость и по-мужски пережить обиду. Артур внял этому совету, хотя до мужчины пока не дорос. Но слова утешения, которые якобы его убедили, на самом деле оказались пустым звуком. Душа у него гноилась, полыхала, смердела, как частица ада, в который он более не верил.

Джордж

Отец, как правило, не ведет разговоров с Джорджем после того, как прочитаны молитвы и погашен свет. Перед сном, на лоне Господа, полагается размышлять о смысле произнесенных слов. Если честно, Джордж более склонен размышлять о завтрашних уроках. Не может же быть, чтобы Господь считал это грехом.

– Джордж, – внезапно заговаривает отец, – ты не заметил возле дома празднующихся лиц?

– Сегодня, отец?

– Нет, не сегодня. Вообще. В последнее время.

– Нет, отец. А кто может здесь шататься?

– Нам с твоей матерью стали поступать анонимные письма.

– От празднующихся лиц?

– Да. То есть нет. Если заметишь нечто подозрительное, Джордж, сразу сообщи мне. Если прохожий оставит что-нибудь под дверью. Если поблизости будут топтаться незнакомые люди.

– Так от кого же приходят письма, отец?

– Письма анонимные, Джордж. – Даже в темноте заметно отцовское раздражение. – Анонимные. Из греческого, через латынь: «безымянные».

– И что в этих письмах, отец?

– Нечестивые слова. Про... всех.

Джордж понимает, что должен встревожиться, но его охватывает радостное волнение. Ведь это возможность побыть сыщиком, и он пользуется ею на полную катушку, причем не в ущерб школьным занятиям.

Заглядывает за стволы деревьев, прячется в чулане под лестницей, откуда видно парадное крыльцо, приглядывается к каждому, кто заходит в дом, подумывает, где бы раздобыть увеличительное стекло, а еще лучше – телескоп. Но ничего подозрительного не обнаруживает.

И не понимает, кто повадился писать мелом нечестивые слова о его родителях на сарае мистера Гарримена и надворных постройках мистера Эрама. Стоит только смыть эту гадость, как она таинственным образом появляется вновь. Джорджу никто не сообщает, что именно там понаписали. Однажды в послеобеденный час он, как заправский сыщик, идет кружным путем, подкрадывается к сараю мистера Гарримена, но видит только стену с высыхающими мокрыми пятнами.

– Отец, – шепчет Джордж, когда погашен свет; с его точки зрения, в это время позволительно говорить о таких материях. – Есть идея. Мистер Босток.

– При чем тут мистер Босток?

– У него мела полно. У него всегда под рукой мел.

– Так-то оно так, Джордж. Но с моей точки зрения, мы можем спокойно исключить мистера Бостока.

Через пару дней у матери Джорджа случается растяжение запястья; она бинтует руку. Просит Элизабет Фостер написать под ее диктовку, какие продукты требуется заказать в мясной лавке, но вместо того, чтобы вручить этот листок девушке и отправить ее к мистеру Гринсиллу, мать относит список отцу. После сличения почерка с письмами, которые хранятся в запертом ящике стола, горничной дают расчет.

Через некоторое время отца вызывают к мировому судье в Кэннок для выяснения подробностей. Джордж втайне надеется, что и его вызовут как свидетеля. По рассказам отца, эта негодяйка утверждает, будто неудачно пошутила; ее призвали к порядку.

Элизабет Фостер больше в округе не появляется, и ее место вскоре занимает новая горничная. Джордж чувствует, что не до конца справился с ролью сыщика. К сожалению, он даже не узнал, какие надписи мелом были сделаны на сарае мистера Гарримана и надворных постройках мистера Эрама.

Артур

Ирландец по крови, шотландец по рождению, воспитанный в Римской

вере голландцами-иезуитами, Артур сделался англичанином. Его вдохновляла история Англии; английские свободы внушали гордость, английский крикет – патриотизм. Величайшим периодом (а выбирать было из чего) в истории Англии оставался четырнадцатый век – эпоха, когда на полях сражений властвовали лучники, а французский и шотландский короли томились в лондонском плену.

Не забывал он и тех историй, которые звучали при занесенной поварешке. Для Артура колыбелью английского духа был канувший в небытие, приснопамятный, благоизобретенный мир рыцарства. Свет не знал рыцаря более верного, чем сэр Кей, более храброго и романтического, чем сэр Ланселот, более добродетельного, чем сэр Гэлахед. Ни одна влюбленная пара не могла сравниться силой чувства с Тристаном и Изольдой, ни одна супруга не превзошла Гвиневеру красотой и дерзновенностью. И уж конечно, от века не бывало монарха более смелого и благородного, чем король Артур.

Христианских добродетелей могли придерживаться все – как простолюдины, так и знатные господа. Но рыцарство было прерогативой облеченных властью. Рыцарь защищал даму сердца; сильные помогали слабым, честь была живой ценностью, за которую шли на смерть. Как ни грустно, для новоиспеченного медика число граалей и странствий оказалось весьма ограниченным. В современном мире бирмингемских фабрик и шляп-котелков понятие рыцарства зачастую вырождалось, похоже, в банальное любительство. Но Артур елико возможно придерживался рыцарского кодекса чести. Человек слова, он приходил на помощь бедным, не поддавался низменным чувствам, проявлял обходительность с женщинами, продумывал наперед, как спасти и окружить заботой мать. Притом что четырнадцатое столетие, к несчастью, давным-давно кануло в небытие, а из Артура не вышел Уильям Дуглас, лорд Лиддесдейл, Цвет Рыцарства, сам он поднялся до тех пределов, какие нынче были ему доступны.

В своих первых контактах с прекрасным полом он руководствовался не учебниками физиологии, а рыцарскими правилами. Достаточно привлекательный, он не гнушался здорового флирта и как-то раз с гордостью объявил матушке о благородной любви сразу к пятерке девушек. Подобные отношения близко не стояли к закадычной дружбе с однокашниками, хотя многие правила повторялись. Например, если девушка тебе нравится, ты даешь ей прозвище. Взять хотя бы миловидную, крепенькую Элмор Уэлдон, с которой он пару месяцев отчаянно флиртовал. Она получила у него прозвище Эльма – в честь таинственных огней

Святого Эльма, которые в шторм играют на корабельных мачтах и реях. Артур любил вообразить себя мореходом, бороздящим опасные житейские просторы под мрачными небесами, озаренными светом этой девушки. С Эльмой он даже хотел обручиться, но через некоторое время передумал.

Кстати, в ту пору его немало тревожили ночные поллюции, о которых ничего не говорилось в книге «Смерть Артура». По утрам влажно-липкие простыни сильно отвлекали от рыцарских мечтаний, а также от осознания того, что представляет собой мужское начало и как его можно в себе воспитать с помощью ума и силы воли. Чтобы даже во сне держать себя в узде, Артур увеличивал физические нагрузки. Он и прежде занимался боксом, играл в крикет и в футбол. Теперь к этому прибавился гольф. Пока всякие ничтожные личности зачитывались грязными книжонками, Артур штудировал «Крикетный альманах Уисдена».

Кроме того, он начал писать для журналов. Вновь превратившись в школяра, стоящего на парте, он будто бы пускал в ход свои голосовые чары и вращал глазами, дабы публика раскрывала рты в доверчивом нетерпении. Сочинял он такого рода истории, какие сам любил читать, – этот подход к игре в писательство казался ему самым разумным. Действие разворачивалось в дальних странах, где искатели приключений то и дело находят клады, а среди местных жителей не переводятся жестокосердые злодеи, равно как и жаждущие спасения девы. Для выполнения задуманной Артуром опасной миссии годился не каждый герой. Прежде всего, безоговорочно отвергались хилые телом, а также склонные к самобичеванию и пьянству. Отец Артура не выполнил свой рыцарский долг по отношению к матушке; теперь этот долг перешел от отца к сыну. Тот при всем желании не мог спасти ее методами четырнадцатого века; оставалось прибегнуть к методам других, менее блистательных столетий. Он решил писать, дабы спасти матушку рассказами о спасении других. Эти повествования сулили ему богатство, а уж богатство могло обеспечить все остальное.

Джордж

До Рождества всего две недели. У Джорджа, нынче шестнадцатилетнего, близкий праздник не вызывает прежних восторгов. Юноша понимает, что рождение нашего Спасителя – торжественная, ежегодно отмечаемая истина, но уже перерос то нервическое возбуждение,

которому поддаются и Хорас, и Мод. Не разделяет он и убогих надежд своих бывших соучеников из «Ружли»: те в открытую грезят о фривольных подарках, коим не место в доме викария. А вдобавок его однокашники каждую зиму мечтают и, более того, молятся – тем самым принижая веру, – чтобы выпал снег.

Джордж не опускается до того, чтобы кататься на коньках или на салазках и лепить снеговиков. Он уже делает первые шаги в избранной профессии. Перебравшись после окончания ружлийской школы в Бирмингем, он теперь изучает юриспруденцию в Мейсон-колледже. Если приналечь и успешно сдать первую сессию, можно будет устроиться стажером в адвокатскую контору, что позволит учиться дальше бесплатно. Пятилетняя стажировка заканчивается выпускными экзаменами на звание частного поверенного. Джордж представляет, как в солидном костюме сидит за письменным столом, на котором красуется переплетенный свод законов, а из одного кармана в другой блестящим канатиком тянется золотая цепочка. Он уже видит, как его уважают. Он уже видит, что носит шляпу.

Двенадцатого декабря он приезжает домой затемно. На крыльце лежит какой-то предмет. Джордж наклоняется, а затем приседает на корточки, чтобы рассмотреть поближе. Перед ним огромный ключ, холодный на ощупь, тяжелый. Джордж теряется в догадках. Ключи от дома куда меньшего размера, как и ключи от воскресной школы. От церкви ключ совсем другой, да и на фермах такие вроде бы не в ходу. Но одним своим весом этот ключ заявляет, что служит серьезной цели.

Джордж относит находку отцу. Тот озадачен не меньше.

– На крыльце, говоришь? – Очередной вопрос, ответ на который известен отцу наперед.

– Да, отец.

– И ты не видел, кто его подбросил?

– Нет, не видел.

– И никого не заметил по дороге от станции к дому?

– Нет, отец.

Ключ сопровождают запиской и отправляют в Хеднесфорд, где находится полицейский участок, а через три дня, вернувшись из колледжа, Джордж застаёт сидящего у них на кухне сержанта Аптона. Отец задерживается в приходе; мать нервничает. Джордж решает, что его, как нашедшего ключ, ждет награда. В Ружли подобные истории передавались из уст в уста: ключом открывается сейф или кованый сундук, а дальше в руках героя оказывается измятая карта с пометкой крестиком. Джордж

никогда не увлекался такими рассказами: уж очень они далеки от жизни.

Сержант Аптон – краснолицый здоровяк с торсом кузнеца; серая суконная форма ему тесновата: не оттого ли он сопит? Кивая в ответ своим мыслям, он окидывает взглядом Джорджа.

– Стало быть, это ты нашел ключ, парень?

Джордж припоминает, как играл в сыщика, когда Элизабет Фостер повадилась писать гадости на стенах. И вот новая загадка, но на сей раз в ней сошлись полисмен и будущий поверенный. Вполне логично и в то же время интригующе.

– Да. Он у порога лежал.

Не реагируя на это сообщение, сержант все так же кивает. Ему, похоже, не по себе, и Джордж пытается прийти на выручку:

– Награда за него объявлена?

Сержант удивлен.

– А тебя с какого боку интересует награда? Ты-то при чем?

Отсюда Джордж заключает, что никакой награды не объявлено. Видимо, полисмен зашел похвалить его за возврат чьей-то утерянной вещи.

– Вы установили, откуда взялся этот ключ?

И вновь сержант Аптон не дает ответа. Вместо этого он достает блокнот и карандаш.

– Имя?

– Вы же знаете, как меня зовут.

– Я сказал: имя.

По мнению Джорджа, сержант мог бы изъясняться повежливей.

– Джордж.

– Ну. Дальше.

– Эрнест.

– Дальше.

– Томпсон.

– Дальше давай.

– Фамилия моя вам известна. Такая же, как у моего отца. И матери.

– Дальше давай, кому сказано? Ишь, строптивец какой.

– Эдалджи.

– Ну и ну, – тянет сержант. – По буквам диктуй.

Артур

Брак Артура, как и сохраненный памятью ранний этап жизни, начался со смерти.

Артур пошел по медицинской линии: работал на подхвате в Шеффилде, Шропшире и Бирмингеме; потом завербовался корабельным врачом на китобойное судно «Надежда». После отбытия из Питерхеда в направлении полярных льдов судно вело промысел тюленей и любой морской живности, какую только удавалось выследить и настичь. Предусмотренные судовой ролью обязанности Артура оказались несложными, а поскольку он, как любой нормальный парень, любил выпить и в случае чего мог за себя постоять, весь экипаж вскоре проникся к нему доверием; прозвище ему дали – Великий Северный Нырятьщик, потому что он несколько раз соскальзывал за борт. Ко всему прочему, Артур, как любой здоровый британец, любил всласть поохотиться: к концу рейса на его счету было пятьдесят пять нерп.

Когда в бескрайних льдах промысловики забивали тюленей, он не испытывал ничего, кроме мужского состязательного духа. Но как-то раз им попался гренландский кит, и у Артура возникли дотоле неведомые ощущения совсем иного порядка. Допустим, вываживать лосося – это королевская забава, но добыча весом с добрую загородную виллу не поддается никакому сравнению. С расстояния вытянутой руки Артур наблюдал, как китовый глаз (что удивительно, размером не более бычьего) постепенно затуманивается смертью.

Вот загадка: с этой жертвой у Артура изменился образ мыслей. Он по-прежнему стрелял уток в снежной вышине и гордился своей меткостью; однако за этим стояло некое чувство, которое можно уловить, но нельзя сдержать. У каждой подстреленной птицы в желудке были камешки из дальних краев, не обозначенных на карте.

Потом судьба занесла его в южные моря: сухогруз «Маюмба» шел из Ливерпуля курсом на Канары и западное побережье Африки. На борту и здесь выпивали, но постоять за себя удавалось разве что за игрой в бридж или криббедж. Артур с неохотой сменил резиновые сапоги и робу китобоя на костюм добротного сукна с золотыми пуговицами – форму командного состава, но, по крайней мере, получил компенсацию в виде женского общества. Однажды дамочки перед сном шутики ради сшили мешком простыню у него на койке, а он в качестве столь же комичного акта мести засунул под ночную рубашку одной из тех шутниц летающую рыбку.

Потом он списался на берег – поближе к здравому смыслу и карьере. На дверях его кабинета в Саутси появилась бронзовая именная табличка. Примкнув к масонам, он стал магистром ложи «Феникс» номер 257.

Возглавил крикетный клуб Портсмута и прослыл одним из самых надежных уикет-киперов во всей гемпширской Ассоциации. К нему направлял пациентов доктор Пайк, его знакомый по боулинг-клубу в Саутси; страховая компания «Грэшем» поручала Артуру медицинские освидетельствования.

Как-то раз доктор Пайк обратился к Артуру за дополнительной консультацией по поводу одного молодого пациента, который недавно переехал в Саутси вместе с овдовевшей матерью и старшей сестрой. Дополнительная консультация оказалась чистой формальностью: невооруженным глазом было видно, что у Джека Хокинса церебральный менингит – заболевание, против которого бессильно все медицинское сообщество, не говоря уже об Артуре. Гостиницы и пансионаты закрывали двери перед несчастным больным, и Артур предложил пустить его к себе на правах стационарного пациента. Оказалось, что Хокинс всего на месяц старше хозяина дома. Несмотря на сотни порций крахмального напитка из аррорута (не более чем полумера), болезнь стремительно прогрессировала, пациент лишился рассудка и разгромил всю комнату. Через считанные дни его не стало.

Артур взгляделся в его труп еще внимательнее, чем ребенком взглядывался в «бело-восковое нечто». Изучая медицину, он давно заметил, что на лицах покойных зачастую отражаются высокие помыслы, как будто тяжесть и напряжение жизни пересилил покой. На языке науки такое явление называлось посмертной мышечной релаксацией, но где-то в уголке сознания Артура теплилась мысль, что термин этот не вполне точен. После смерти у человека внутри тоже остаются камешки из дальних краев, не обозначенных на карте.

Когда похоронная процессия из одной кареты двигалась от дома в сторону Хайленд-роудского кладбища, в душе Артура пробудились рыцарские чувства от вида скорбящих матери и сестры, оставшихся наедине со своим горем, без мужского плеча, да еще в чужом городе. У Луизы под траурной вуалью скрывалось застенчивое круглое личико, на котором выделялись голубые глаза с зеленоватым оттенком морской волны. По истечении надлежащего срока Артуру было дозволено ее навестить.

Для начала молодой доктор объяснил, что остров (видите ли, Саутси, вопреки первому впечатлению, – это остров) можно уподобить игровому набору китайских колец: в центре открытое пространство, затем среднее кольцо – сам город, а далее внешнее кольцо – море. Он поведал своей собеседнице, что подобное расположение имеет своим следствием крупнопесчанистую почву и хороший дренаж; что сэр Фредерик Браммуэлл

эффективно усовершенствовал здешнюю канализационную систему и что город славится целительным климатом. Последняя деталь почему-то вызвала у Луизы нешуточную горечь, которую она замаскировала расспросами про Брамуэлла – и выслушала подробную лекцию про этого видного инженера.

Иными словами, лед тронулся; настало время как следует познакомиться с городом. Они посетили оба пирса, где, похоже, днями напролет играли военные духовые оркестры. Засвидетельствовали вынос знамени на Губернаторском лугу и показательный бой в городском парке; разглядели в бинокль военные корабли на рейде Спитхеда. Во время прогулки по Эспланаде Кларенса Артур подробно объяснил важность каждого выставленного там трофея и памятника воинской славы. Вот русская винтовка, там – японская пушка и мортира, повсюду мемориальные доски и стелы в память моряков и пехотинцев, которые пали в разных концах Империи от разных причин: кто подхватил желтую лихорадку, кто утонул при кораблекрушении, кто погиб от руки вероломных мятежников-индусов. Луиза уже стала думать, что доктор малость не в себе, но сочла за лучшее до поры до времени полагать, что такая неумемная дотошность сродни его физической выносливости. Он довез ее на конке до Продовольственной базы снабжения флота, чтобы показать весь процесс изготовления морских галет, от мешка муки до теста, отправки его в горячую печь и превращения в сувениры, которые посетители уносили с собой в зубах.

Мисс Луиза Хокинс даже не подозревала, что ухаживание – если это было ухаживание – способно изматывать сильнее, чем пешие походы. Далее они обратили свой взор в южную сторону – на остров Уайт. С эспланады Артур указал на изумрудные холмы, которыми славится, как он выразился, *Vectis insula*; это именование острова прозвучало для Луизы высокой поэзией. Издалека они рассмотрели Осборн-Хаус, и Артур объяснил, как по интенсивности движения морского транспорта можно судить о присутствии королевы в здешней резиденции. На пароходике они пересекли пролив Солент и обогнули весь остров: Луиза послушно разглядывала меловые «Иглы», бухту Алум, замок Кэрисбрук, оползень, глинистый сланец, но в конце концов взмолилась, чтобы ей принесли шезлонг и плед.

Однажды вечером, когда они смотрели на море с Южного Парадного пирса, Артур взялся описывать свои подвиги в Африке и в Арктике; но при упоминании той цели, которая стояла перед командой во льдах, у Луизы навернулись такие слезы, что он не решился хвалиться своей добычей.

Луизу, как он убедился, не обошла врожденная жалостливость, какую Артур считал типичной – при ближайшем рассмотрении – для всех женщин. Луиза всегда с готовностью улыбалась, но не выносила шуток, в которых смаковались жестокости или выпячивалось превосходство рассказчика. Ее отличали от многих открытй, великодушный нрав, прелестная кудрявая головка и небольшой личный доход.

Прежде в отношениях с женщинами Артур изображал из себя пример благородства. Теперь, по мере того, как они прогуливались по этому концентрическому курорту и она училась опираться на его руку, по мере того, как ее имя, Луиза, менялось на Туи, а он, стоило ей только отвернуться, исподтишка обшаривал глазами ее бедра, Артур стал понимать, что желает чего-то большего, нежели флирт. Понял он также и то, что она возвысит его как мужчину; а ведь в этом по большому счету и состоит одно из главных предназначений брака.

Но первым делом юной претендентке требовалось получить одобрение его матушки: та приехала в Гемпшир, где и были устроены смотрины. Она сочла, что Луиза скромна, уступчива и происходит из приличной, хотя и не аристократической семьи. Матушкиному любимцу не грозило связать свою жизнь с вульгарной девицей сомнительных моральных качеств, способной его опозорить. К тому же материнский глаз не усмотрел в этой девушке никаких признаков зарождающегося тщеславия, которое могло бы со временем подавить авторитет Артура. Будущая сватья, миссис Хокинс, оказалась уважительной, приятной в общении. Давая свое благословение, матушка даже позволила себе поразмышлять о том, что в Луизе, пожалуй, сквозит некоторое сходство – если посмотреть вот так, против света, – с нею самой в молодости. О чем еще мечтать матери, в конце-то концов?

Джордж

После начала занятий в Мейсон-колледже у Джорджа входит в привычку по возвращении из Бирмингема совершать вечерний моцион. Даже не ради физической нагрузки – этого ему хватило в Ружли, – а просто чтобы проветрить мозги перед тем, как вновь засесть за учебники. Чаще всего толку все равно нет: он чувствует, что увяз в тонкостях контрактного права. В этот морозный январский вечер, когда в небе сияет месяц, а покатые крыши поблескивают вчерашним ночным инеем, Джордж бормочет себе под нос аргументы для завтрашних учебных прений (дело о

заражении муки в зернохранилище), и вдруг на него из-за дерева выскакивает какая-то фигура.

– В Уолсолл, что ли, намылился? – Сержант Аптон багровеет и отдувается.

– Прошу прощения?

– Ты меня услышал. – Аптон стоит едва ли не вплотную, сверля Джорджа взглядом, который внушает тревогу. Сержант, по мнению Джорджа, немного чокнутый; а следовательно, лучше ему поддакивать.

– Вы спросили: в Уолсолл я, что ли, намылился?

– Ага, стало быть, не оглох покуда. – Он хрипит, словно жеребец, или боров, или неведомо кто.

– Просто я не понял, чем вызван такой вопрос, поскольку дорога эта в Уолсолл не ведет. Как мы оба знаем.

– Как мы оба знаем. Как мы оба знаем. – Делая шаг вперед, Аптон хватается Джорджа за плечо. – Мы вот что знаем, вот что мы знаем: тебе известна дорога в Уолсолл, и мне известна дорога в Уолсолл, и в Уолсолле ты обстрипываешь свои делишки, верно?

Нынче сержант определенно не в себе, да к тому же плечо стиснул так, что хоть кричи от боли. Джордж не видит смысла объяснять, что в Уолсолл его в последний раз заносило два года назад – за рождественскими подарками для Хораса и Мод.

– Ты наведалься в Уолсолл, выкрал ключ от гимназии, притащил домой и оставил на крыльце, так?

– Вы делаете мне больно, – говорит Джордж.

– Нет, ошибаешься. Это не называется больно. Если захочешь, чтоб сержант Аптон сделал тебе больно, – только скажи.

Точно такое же ощущение возникало у Джорджа давным-давно, когда он с задней парты смотрел на классную доску и не мог дать правильный ответ. Точно такое же ощущение возникало у него и перед тем, как замарать штаны. Ни к селу ни к городу он выпаливает:

– Я учусь на адвоката-солиситора.

Ослабив хватку, сержант делает шаг назад и гогочет ему в лицо. А потом сплевывает в сторону ботинка Джорджа.

– Ты так считаешь? На адвоката-со-ли-си-то-ра? Не слишком ли длинно для такого недомерка? Думаешь, тебе дадут диплом адвоката-со-ли-си-то-ра, если сержант Аптон скажет, что этому не бывать?

У Джорджа вертится на языке, что решение будут принимать Мейсон-колледж, экзаменаторы и Объединенная коллегия адвокатов – только они вправе определять, достоин он быть солиситором или нет. Но сейчас ему не

терпится прибежать домой и поделиться с отцом.

– Позволь спросить. – Аптон, судя по его тону, смягчился, а потому Джордж решает, что напоследок можно будет еще раз ему поддакнуть. – Что это у тебя на руках?

Джордж, подняв перед собой руки в печатках, машинально растопыривает пальцы.

– Вот это? – уточняет он. Сержант явно не в себе.

– Да-да.

– Перчатки.

– Что ж, коль скоро ты обезьянка смышленная, да еще и метишь в соли-си-то-ры, да будет тебе известно, что перчатки выдают Преступный Умысел, понятно?

С этими словами он еще раз сплевывает и топает дальше по переулку. Джордж не в силах сдержать слезы.

Подходя к дому, он сгорает от стыда. В шестнадцать лет плакать не дозволяется. Хорас, например, с восьми лет не плачет. Зато Мод плачет все время, но ведь она девочка, да еще слаба здоровьем.

Выслушав его рассказ, отец заявляет, что будет писать главному констеблю – начальнику полиции графства Стаффордшир. Это форменное безобразие: на дороге общественного пользования какой-то сержант распускает руки и объявляет юношу вором. Такому служителю порядка не место в полицейском корпусе.

– По-моему, он чокнутый, отец. Он два раза в меня плюнул.

– Он в тебя плюнул?

Джордж задумывается. Его все еще трясет от страха, но это, понятно, не дает ему права отступить от истины.

– Точно сказать не берусь, отец. Он стоял в шаге от меня и дважды плюнул совсем рядом с моей ногой. Возможно, он просто отхаркивался, как делают невоспитанные люди. Но при этом было видно, что он на меня сердит.

– Ты считаешь, это веское доказательство злонамеренности?

Джордж доволен: с ним беседуют как с будущим адвокатом-солиситором.

– Вероятно, нет, отец.

– Согласен. Хорошо. Я воздержусь от упоминания плевков.

Через три дня на имя преподобного Шапурджи Эдалджи приходит датированный двадцать третьим января тысяча восемьсот девяносто третьего года ответ от капитана, почтенного Джорджа А. Энсона, начальника полиции графства Стаффордшир. Ответ не содержит

ожидаемых извинений и обещаний принять меры. Энсон пишет:

Будьте любезны спросить у вашего сына Джорджа, от кого был получен ключ, лежавший у вас на крыльце 12 дек. Вышеуказанный ключ был похищен, но если будет доказано, что здесь имела место бездумная проделка или скверная шутка, я не буду настаивать на открытии дела. Если же лица, причастные к хищению ключа, откажутся дать надлежащие разъяснения, мне неизбежно придется заняться этой историей вплотную и квалифицировать ее как кражу.

Сразу заявляю, что не стану изображать доверие, если ваш сын вздумает отговариваться неведением. Я располагаю информацией, полученной из источника, не связанного с полицией.

Викарий уверен в своем сыне: это порядочный, достойный юноша. Ему бы только закалить нервную систему, унаследованную, похоже, от матери, но он старается и уже близок к достижению цели. Настало время обращаться с ним как со взрослым. Отец показывает Джорджу полученный ответ и просит высказать свое мнение.

Дважды перечитав письмо, Джордж берет паузу, чтобы собраться с мыслями.

– На дороге, – медленно начинает он, – сержант Аптон обвинил меня в том, что я, оказавшись в Уолсолле, похитил ключ от школы. В свою очередь, главный констебль обвиняет меня в сговоре с другим лицом или с несколькими лицами. Один из сообщников якобы выкрал ключ, а затем я принял у него похищенный предмет, с тем чтобы подбросить его нам на крыльцо. По всей вероятности, полицейские выяснили, что в Уолсолле я не бывал уже два года. Во всяком случае, свою версию они изменили.

– Да. Хорошо. Согласен. Что еще приходит тебе на ум?

– Мне приходит на ум, что оба они наверняка чокнутые.

– Это детское словечко, Джордж. Но так или иначе, наш христианский долг – пожалеть и возлюбить слабых рассудком.

– Прощу меня простить, отец. Тогда мне приходит на ум только вот что: они... они явно меня подозревают, но в чем – непонятно.

– А как по-твоему, на что он намекает, когда пишет: «Я располагаю информацией, полученной из источника, не связанного с полицией».

– Должно быть, он намекает, что ему прислали порочащее меня

письмо. А впрочем... впрочем, нельзя исключать, что он искажает истину. Притворяется, будто знает то, о чем в действительности не имеет представления. Возможно, это попросту блеф.

Шапурджи улыбается сыну:

– С твоим зрением, Джордж, сыщиком не стать. Но с такими мозгами ты станешь отличным адвокатом.

Артур

Артур с Луизой не стали венчаться в Саутси. Не стали они венчаться и в графстве Глостершир, а именно в Минстеруорте, родном приходе невесты. Не стали венчаться и в том городе, где появился на свет Артур.

Уехав из Эдинбурга новоиспеченным медиком, Артур покинул матушку, брата Иннеса и трех младших сестер: Конни, Иду и крошку Джулию. При них остался еще один домочадец – доктор Брайан Уоллер, предполагаемый поэт, бессменный квартирант, субъект, чертовски легко ладивший со всем миром. Хотя Артур был признателен Уоллеру за репетиторство, душу ему до сих пор точил какой-то червячок. Жилец, как подозревал Артур, помогал ему не вполне бескорыстно; а в чем именно заключалась корысть, дознаться так и не удалось.

После отъезда Артур представлял, как Уоллер, недолго думая, откроет в Эдинбурге частную практику, женится, заработает себе репутацию местного масштаба и превратится в туманное воспоминание. Однако все обернулось иначе. Ринувшись в необъятный мир, чтобы прокормить свою беззащитную родню, Артур очень скоро узнал, что его семью уже взял под покровительство Уоллер – сунулся, черт бы его побрал, куда не просят. Освоился, точно кукушонок в чужом гнезде (в письмах к матушке Артур старательно избегал этого образа). Приезжая навестить родных, Артур доверчиво ждал, что фамильная сага, приостановленная после его прошлого визита, возобновится ровно с того места, где прервалась. И всякий раз убеждался, что эта семейная история – его любимая история – благополучно продолжалась в обход его. Он выхватывал то какое-нибудь словцо, то неожиданный взгляд или намек, то забавный эпизод, в котором сам уже не фигурировал. В его отсутствие здесь текла какая-то иная жизнь, воодушевляемая, судя по всему, фигурой квартиранта.

Частную практику Брайан Уоллер не открыл, да и стишки пописывал сугубо дилетантски. Получив в наследство усадьбу в Инглтоне, что в

западной части Йоркшира, он стал вести праздную жизнь английского сквайра. В распоряжении кукушонка оказалось двадцать четыре акра лесистой местности, окружавшей серое каменное гнездо под названием Мейсонгилл-хаус. Что ж, оно бы и к лучшему, да только Артур, едва свыкнувшись с этой доброй вестью, получил от матушки письмо, где говорилось, что они с Идой и Додо тоже прощаются с Эдинбургом – и тоже перебираются в усадьбу Мейсонгилл, где для них уже почти готов отдельный домик. Матушка даже не пыталась приводить доводы – хотя бы такие, как здоровый воздух и болезненное дитя, – а просто поставила сына перед фактом. Точнее, перед свершившимся фактом. Впрочем, нет, одно оправдание все же нашлось: баснословно низкая арендная плата.

Устроив этот переезд, Уоллер, по мнению Артура, совершил похищение вкупе с предательством. Истинно благородный рыцарь представил бы дело так, будто это таинственное наследство свалилось непосредственно на матушку и ее дочерей, а сам уехал бы куда подальше в поисках долгих и желательно рискованных приключений. Помимо всего прочего, истинно благородный рыцарь не обольстил бы ни Лотти, ни Конни – уж одна-то из них наверняка пала его жертвой. Доказательствами Артур не располагал, – возможно, дело не зашло дальше флирта, внушившего бедняжкам напрасные надежды, но что-то здесь было нечисто, если определенные намеки и женские умолчания могли считаться подтверждением его догадок.

Увы, на этом подозрения Артура не заканчивались. При всей своей тяге к ясности и определенности молодой человек попал туда, где ясности недоставало, а кое-какие определенности оказались попросту неприемлемы. Что Уоллер стал более чем жильцом, было ясно как день. Из разговоров следовало, что он друг дома, а то и член семьи. Разумеется, сам Артур такого не говорил: ему не требовался старший брат, свалившийся как снег на голову, а тем более матушкин любимчик, которому предназначалась совершенно особая улыбка. Шестью годами старше Артура, Уоллер был моложе матушки на пятнадцать лет. Чтобы защитить материнскую честь, Артур сжег бы себе руку; его принципы, семейные ценности, чувство долга перед родными – всем этим он был обязан матери. И все же порой его посещала мысль: а как на такое положение вещей посмотрели бы в суде? Какие можно было бы дать показания, какие предположения возникли бы у присяжных? Да вот хотя бы по такому поводу: его отец, горький пьяница, не вылезал из лечебниц, а последнего ребенка мать родила в ту пору, когда Брайан Уоллер уже внедрился к ним в семью, и малютка-дочь получила четыре христианских имени. Последние три – Мэри-Джулия-Жозефина;

в быту ее называли уменьшительно: Додо. Но первое имя новорожденной было Брайан. Не говоря уже об очевидном, Артур не мог согласиться, что Брайан – это женское имя.

Пока Артур ухаживал за Луизой, отец его в стенах лечебницы исхитрился раздобыть спиртное и, пытаясь сбежать, выбил окно, после чего был переведен в дом хроников «Монтроуз ройал». Шестого августа тысяча восемьсот восемьдесят пятого года Артур и Туи обвенчались в церкви Святого Освальда, в йоркширском городке Торнтон-ин-Лонсдейл. Жениху было двадцать шесть лет, невесте двадцать восемь. Свидетель со стороны жениха не принадлежал ни к боулинг-клубу города Саутси, ни к Портсмутскому научно-литературному обществу, ни к масонской ложе «Феникс» номер 257. Всеми приготовлениями ведала матушка, а потому шафером Артура стал Брайан Уоллер, который, похоже, успел взять на себя миссию поставщика бархатных платьев, очков в золотой оправе и удобных кресел у камина.

Джордж

Отдергивая шторы, Джордж видит посреди лужайки большой молочный бидон и подзывает отца. Они одеваются и выходят посмотреть. Крышки у бидона нет; Джордж заглядывает внутрь – на дне лежит мертвая птица. Они поспешно хоронят ее за компостной кучей. Джордж согласен, что матери следует рассказать только про бидон, который уже вынесен в переулок, но не про его содержимое.

На другой день Джордж получает открытку с видом гробницы в церкви поселка Бруд и портретом мужчины с двумя женами. На обороте сказано: «Может, тряхнешь стариной и продолжишь писать гадости на стенах?»

На имя отца приходит письмо, нацарапанное тем же самым неряшливым почерком: «С каждым днем, с каждым часом крепнет моя ненависть к Джорджу Эдалджи. И к твоей жене, будь она проклята. И к вашей мерзкой девчонке. Неужели ты, фарисей, возомнил, что тебе, как пастору, Господь простит все прегрешения?» Это письмо Джорджу не показывают.

Отцу с сыном приходит послание, адресованное обоим:

Ха-ха-ха!

Аптону – ура! Добрый старый Аптон!
Благословенный Аптон.
Добрый старый Аптон!
Хвала тебе!
Милый старый Аптон!
Встанем за Аптона,
Все горой за Аптона.
Вы, рыцари Креста,
Несите выше королевский стяг.
Чтоб он не пострадал.

Викарий с женой принимают решение отныне собственноручно вскрывать всю корреспонденцию, поступающую к ним в дом. Нужно любой ценой оградить Джорджа от возможных помех в учебе. Поэтому он остается в неведении относительно письма, которое начинается так: «Богом клянусь я кой с кем поквитаюсь ибо в этом мире мне нужна только месть, месть, сладкая месть, а потом взрадуюсь в аду». Не видел он и другого письма, где сказано: «Не пройдет и года, как твой щенок будет либо похоронен, либо навек опозорен». Зато Джорджа знакомят с первыми строками другого послания: «Ты фарисей и ложный пророк ты оклеветал и выжил Элизабет Фостер все ты со своей проклятой бабой».

Письма приходят все чаще. Написанные на дешевой линованной бумаге, вырванной из тетрадки, отправлены они из Кэннока, Уолсолла, Ружли, Вулвергемптона, а то и прямо из Уэрли. Что с ними делать, викарий не знает. Учитывая, как повел себя Аптон, а следом и главный констебль, жаловаться в полицию бесполезно. По мере того как стопка писем растет, викарий берет на карандаш основные темы: выгораживание Элизабет Фостер, неумные восхваления сержанта Аптона и всего полицейского корпуса, жгучая ненависть к семье Эдалджи, а между строк – явный или притворный религиозный фанатизм. Рука всякий раз немного иная: так бывает, когда нужно изменить свой почерк.

Шапурджи молится о просветлении. Молится о терпении, о своей семье и – с некоторой неохотой, просто из чувства долга – об отправителе этих писем.

Джордж уезжает в Мейсон-колледж еще до утренней доставки почты, но по возвращении домой, как правило, безошибочно определяет, поступило ли в этот день анонимное письмо. Мать держится с напускным оживлением и перескакивает с одной темы на другую, как будто молчание, подобно силе тяготения, способно вдавить их всех в землю, в грязь и

мерзость. Отец, хуже владеющий светским притворством, с отрешенным видом сидит во главе стола, как гранитный памятник самому себе. Такая реакция каждого из родителей действует на нервы другому; Джордж, пытаясь придерживаться золотой середины, говорит больше, чем отец, но меньше, чем мать. Что же до Хораса и Мод – эти, никем не одергиваемые, болтают напропалую; лавина писем им только на руку, но это до поры до времени.

Вслед за ключом и бидоном вокруг дома викария появляются и другие предметы. На приоконном выступе – оловянный половник, на газоне – пригвожденная садовыми вилами кроличья тушка, на ступеньках парадного входа – три разбитых яйца. Каждое утро Джордж с отцом обыскивают весь участок; только после этого матери и обоим младшим детям разрешают выйти за порог. Однажды на газоне обнаруживаются лежащие через равные промежутки двадцать мелких монет; викарий принимает решение считать их пожертвованием на нужды церкви. Время от времени появляются мертвые, в основном задушенные птицы, а однажды на самом видном месте вырастает кучка экскрементов. Изредка Джордж ощущает не то чтобы присутствие неведомого наблюдателя, а скорее близкое отсутствие, чье-то стремительное исчезновение. Но выследить, а тем более задержать никого не удастся.

Далее в ход идут фальшивки. После воскресной службы мистер Бекуорт с фермы «Хэнговер», пожав руку викарию, подмигивает и говорит: – Вы, как я погляжу, прибыльное дельце затеяли.

Видя недоумение Шапурджи, Бекуорт протягивает ему вырезку из «Кэннокского скорохода». Это рекламное объявление в затейливой рамочке:

*Достойные, благовоспитанные барышни
из хороших семей готовы сочетаться узами брака
с обеспеченными, порядочными джентльменами.
Желающие познакомиться могут обращаться
к преподобному Ш. Эдалджи, приход Грейт-Уэрли.
Оплата по таксе.*

Викарий отправляется в редакцию газеты и узнает, что некто оплатил еще три публикации этого объявления. Рекламодателя никто в глаза не видел: текст прислали в почтовом конверте вместе с квитанцией о денежном переводе. Заведующий коммерческим отделом выражает свое сочувствие и предлагает, естественно, приостановить размещение этой

рекламы. Пусть только злоумышленник попробует скандалить или требовать назад свои деньги – редколлегия, поверьте, тут же вызовет полицию. Нет-нет, на редакционной полосе, надо думать, этот казус освещаться не будет. При всем уважении к духовенству газета дорожит своей репутацией, но если раструбить на весь свет, что здесь напечатана фальшивка, это подорвет доверие ко всем другим материалам. Шапурджи возвращается домой; на крыльце, с трудом сдерживая праведный гнев, его ждет прибывший из Норфолка молодой рыжеволосый помощник приходского священника. Ему не терпится выяснить, как мог собрат во Христе призвать его в другое графство по какому-то важному духовному делу, связанному, видимо, с необходимостью изгнания бесов, даже не поставив в известность свою благоверную. Да вот же оно, ваше письмо, вот ваша подпись. Шапурджи объясняет, что к чему, и приносит свои извинения. Молодой священнослужитель просит возместить ему дорожные расходы.

Затем единственную служанку в доме вызывают в Вулвергемптон для опознания ее несуществующей сестры, якобы упавшей замертво в пивной. Одна за другой приходят посылки: полсотни льняных салфеток, дюжина грушевых саженцев, двойной толстый филей говяжьей туши, шесть ящиков шампанского, пятнадцать галлонов черной краски; приходится оформлять возврат. В газетах публикуются объявления о сдаче внаем комнат в доме викария, причем по таким бросовым ценам, что от желающих нет отбоя. Рекламируется также аренда конюшни; предлагается конский навоз. От имени викария рассылаются письма частным сыщикам с просьбой об оказании профессиональных услуг.

Через несколько месяцев такой травли Шапурджи решает нанести ответный удар и подготавливает протест, в котором описывает не только эти события, но и анонимные письма – их содержание, особенности почерка и стиля, а также указывает место и время отправления. Он дает право редакторам газет отклонять от его имени все подобные публикации, просит читателей сообщать о любых своих подозрениях и вызывает к совести злоумышленников.

Через двое суток, ближе к вечеру, под дверью черного хода обнаруживается битая супница с мертвым дроздом внутри. На другой день в дом заявляется судебный пристав, дабы описать имущество в счет какого-то мифического долга. Вслед за тем из Стаффорда приезжает портной, чтобы снять мерку с Мод для пошива свадебного платья. Когда же к нему без единого слова подводят Мод, он вежливо интересуется, не отдадут ли ее, как малолетнюю невесту, замуж по некоему индуистскому обряду. Во

время этой сцены на имя Джорджа доставляют пять водонепроницаемых курток.

А через неделю в трех газетах помещают ответ на заявление vicария. Обведенный жирной рамкой текст озаглавлен «Извинение». Там сказано:

Мы, нижеподписавшиеся, оба – жители прихода Грейт-Уэрли, настоящим берем на себя ответственность за сочинение и написание ряда оскорбительных анонимных писем, направленных различным адресатам за истекшие двенадцать месяцев. Сожалеем о своих инсинуациях, а также о выпадах против мистера Аптона, сержанта полиции из Кэннока, и против Элизабет Фостер. Мы усовестились, как нам было рекомендовано, и приносим извинения всем затронутым лицам, включая представителей духовенства и преступного мира.

*Подписано: Дж. Э. Т. Эдалджи и
Фред-к Брукс.*

Артур

Артур любил разглядывать все, будь то мутный глаз умирающего кита, содержимое желудка подстреленной птицы или посмертная релаксация несостоявшегося шурина. К такой привычке надо относиться без предрассудков: для врача это насущная необходимость, а для простого обывателя – моральный императив.

В эдинбургской городской больнице, как он охотно рассказывал, его приучали развивать у себя внимательный взгляд. Тамошний хирург, Джозеф Белл, который симпатизировал этому крупному, увлеченному молодому человеку, доверил ему первичный амбулаторный прием. Артур должен был осмотреть больного, оформить медицинскую карту, внести туда первоначальные сведения и проводить человека в кабинет доктора Белла, где тот восседал в окружении своих ассистентов. Поприветствовав очередного пациента, Белл умолкал, а сам с необычайной проникательностью старался сделать как можно больше выводов относительно его наклонностей и образа жизни. Потом, к изумлению присутствующих, а особенно самого пациента, хирург объявлял: перед

нами – француз, по профессии шлифовальщик; перед нами – сапожник, причем левша. Артуру врезался в память следующий диалог^[3]:

– Что, приятель, служили в армии?

– Да, сэр.

– Вышли в отставку не так давно?

– Недавно, сэр.

– Хайлендский полк?

– Да, сэр.

– Сержант?

– Да, сэр.

– Стояли на Барбадосе?

– Да, сэр.

Это был трюк, но трюк без обмана: вначале таинственный, а после некоторых объяснений – элементарный.

– Видите, джентльмены, держится и выглядит этот человек прилично, но шляпу не снял. Так ведут себя армейские, хотя, будь он в отставке не первый год, усвоил бы штатские манеры. Смотрит властно, на вид явный шотландец. Что касается Барбадоса, то слоновая болезнь, которою он страдает, распространена в Вест-Индии, а не в Британии.

В свои самые восприимчивые годы Артур набирался знаний в этой школе медицинского материализма. Весь донный осадок официальной религии был вычищен, но метафизическое уважение к ней сохранилось. Артур допускал существование единого разумного начала, но определить это начало затруднялся, а кроме того, не мог понять, почему замыслы Его осуществляются столь косвенным, а иногда просто чудовищным образом. Что же касается рассудка и души, здесь Артур склонялся к современным ему научным воззрениям. Рассудок является эманацией мозга, точно так же как желчь является экскрецией печени, то есть сугубо физической субстанцией; душа, в свою очередь, если такой термин вообще имеет право на существование, – это результат совокупного взаимодействия всех наследственных и индивидуальных проявлений рассудка. Но признавал он и то, что знания никогда не стоят на месте и что сегодняшние неоспоримые мнения – это завтрашние предрассудки. А следовательно, интеллектуальная обязанность смотреть со всем вниманием никогда не утрачивает своей силы.

Портсмутское научно-литературное общество, собиравшееся во второй вторник каждого месяца, объединяло в своих рядах наиболее способные к абстрактному мышлению умы города. Коль скоро у всех на устах была телепатия, Артур однажды оказался вместе с городским

архитектором Стэнли Боллом в комнате без зеркал, с наглухо зашторенными окнами. Мужчины уселись спиной друг к другу на расстоянии нескольких шагов; держа на колене блокнот, Артур набросал в нем определенное изображение и попытался за счет мощной концентрации передать этот образ Боллу. В свою очередь архитектор тоже нарисовал некую форму, подсказанную, видимо, его собственным рассудком. Поменявшись ролями, они повторили процедуру: архитектор выступил как отправитель мыслительного образа, а врач – как получатель. К их обоюдному изумлению, результаты выходили далеко за рамки случайных совпадений. Эксперимент был повторен многократно, что позволило сделать научно обоснованный вывод, а именно: при условии взаимного душевного расположения отправителя и получателя передача мысли на расстоянии действительно возможна.

Что же отсюда следовало? Если мысль способна передаваться на расстоянии без каких-либо явных вспомогательных средств, то голый материализм наставников Артура оказывался по меньшей мере слишком формалистическим. Степень совпадения изображений, какой достигли Артур и Стэнли Болл, еще не допускала возвращения ангелов со сверкающими мечами, но уже вызвала вопрос, причем неумолимый.

Одновременно многие другие тоже налегали на бронированные стены материалистической вселенной. Профессор де Мейер, гипнотизер, известный, если верить портсмутским газетам, всей Европе, приехал в город и подчинил своей воле целый ряд здоровых молодых людей. Одни под хохот публики стояли разинув рты и не могли сомкнуть челюсти; другие падали на колени и не могли встать без разрешения профессора. Артур тоже занял очередь на сцену, но приемы Мейера на него не подействовали и не произвели впечатления. Они больше подходили для водевиля, нежели для научного показа.

Вдвоем с Туи они начали посещать спиритические сеансы. Нередко туда приходил Стэнли Болл, а еще генерал Дрейсон, астроном из Саутси. В парапсихологическом еженедельнике «Лайт» они нашли руководство по ведению сеанса. Процедура начиналась с чтения первой главы Иезекииля: «Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух». Видение пророка – бурный ветер и великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, четыре херувима, и у каждого четыре лица, и у каждого четыре крыла – обостряло восприятие присутствующих. Потом – огонек свечи, фетровая полутьма, сосредоточенность, опустошение себя и совместное ожидание. Однажды за спиной у Артура появился дух, откликнувшийся на имя его двоюродного деда; в другой раз – чернокожий с

копьем. Через несколько месяцев каждый, даже Артур, время от времени получал возможность увидеть призрачное мерцание.

Артур сомневался, что эти коллективные сеансы доказательны. Убедил его престарелый медиум, с которым он познакомился в гостях у генерала Дрейсона. После всевозможных приготовлений, не лишенных налета театральности, этот старик, тяжело дыша, впал в транс и начал раздавать притихшим участникам свои советы и сообщения духов. Артур пришел туда с изрядной долей скепсиса, но в какой-то момент на нем остановился затуманенный взор, и слабый, далекий голос произнес: «Не читай Ли Ханта».

Это было поистине сверхъестественно. Вот уже несколько дней Артур не мог решить, браться ему или нет за книгу Ханта «Комедиографы Реставрации». Вопрос этот он не обсуждал ни с кем; не такая уж это была дилемма, чтобы обращаться с ней к Туи. Но получить столь уверенный ответ на невысказанный вопрос... О подтасовке нечего было и думать; такое могло осуществиться только за счет проникновения сознания одного человека в сознание другого каким-то необъяснимым на сегодняшний день способом.

Новый опыт оказался столь убедительным, что Артур описал его в еженедельнике «Лайт». Просто чтобы лишний раз подтвердить существование телепатии; пока не более того. Этот случай засвидетельствовал он сам: каков же не максимум, а минимум, необходимый и достаточный? Впрочем, по мере накопления достоверных сведений могла возникнуть необходимость рассмотреть нечто большее, чем минимум. Что, если прежние его убеждения окажутся не столь убедительными? И, к слову, каким будет максимум?

Увлечение мужа телепатией и спиритизмом Туи воспринимала с тем же сочувственным и внимательным интересом, какой проявляла к его другой страсти – спорту. Законы парапсихологии оставались для нее столь же мистическими, как и правила крикета, но она чувствовала, что в обоих случаях важен результат, и благодушно полагала, что Артур, добившись результата, непременно ей сообщит. А кроме того, ее вниманием теперь полностью завладела их дочь, Мэри Луиза, которая появилась на свет благодаря действию наименее мистических и наименее телепатических законов из всех, какие только известны человечеству.

Джордж

Газетное «извинение» Джорджа открывает викарию новое направление поисков. Он заходит к хозяину скобяной лавки Уильяму Бруксу, отцу Фредерика Брукса, якобы одного из двух «нижеподписавшихся». Лавочник, приземистый толстячок в зеленом фартуке, проводит Шапурджи в подсобное помещение, где по стенам развешаны щетки, ведра и оцинкованные корыта. Сняв фартук, он достает из ящика стола с полдюжины подметных писем, полученных его семьей, и протягивает их посетителю. Тот видит знакомые тетрадные листки; почерк, правда, немного другой. «Если не дашь отлуп черномазому я тебя прикончу и миссис брукс тоже ваши имена я знаю и скажу что вы мне писали». Остальные листки исписаны более уверенной рукой, хотя почерк, по всей видимости, изменен. «На вокзале в Уолсолле двое щенков, твой и Уинна, плевали в лицо старушке». В качестве возмещения отправитель требует перевести денежную сумму на адрес почты в Уолсолле. В следующем письме, подколотом к этому, содержится угроза подать в суд, если требование не будет выполнено.

– Полагаю, никаких денег вы не отправляли.

– Еще не хватало.

– Но письма-то предъявили полицейским?

– Полицейским? Только время тратить, ихнее и мое. Делов-то – это ж мальчишки, верно? Как в Библии сказано: от палок да камней не соберешь костей, а брань, известное дело, на воротах не виснет.

Викарий даже не пеняет ему за ошибку в указании источника. По его мнению, лавочник ведет себя как-то беспечно.

– Неужели вы просто убрали письма в ящик – и все?

– Ну, поспрошал в округе. У Фреда, опять же, вызнал, что ему известно.

– А кто такой этот мистер Уинн?

Оказывается, Уинн – торговец мануфактурой, живет дальше по дороге, в Блоксвиче. Сын его – одноклассник Фреда Брукса. Каждое утро мальчишки вместе садятся в поезд, а потом вместе возвращаются. Было дело – лавочник не уточняет, насколько давно, – ребят задержали, когда они якобы разбили окно в вагоне. Оба божились, что это сделал совсем другой парень, по фамилии Шпек, и в конце концов управление железной дороги решило не доводить дело до суда. И первое письмо пришло аккуратно через пару недель после этих событий. Может, и есть тут какая-то связь. А может, нету.

Теперь викарий понимает причину такого равнодушия. Нет, лавочник понятия не имеет, кто такой Шпек. Нет, мистер Уинн никаких писем не получал. Нет, сын Уинна и сын Брукса не водятся с Джорджем. Оно и

неудивительно. Перед ужином Шапурджи передает этот разговор Джорджу и заявляет, что окрылился.

– Что вас окрылило, отец?

– Чем больше народу будет вовлечено в эту историю, тем выше вероятность, что негодяя найдут. Чем большему числу людей он станет отравлять жизнь, тем вероятнее, что где-то у него выйдет осечка. Тебе что-нибудь говорит фамилия Шпек?

– Шпек? Нет. – Джордж мотает головой.

– В некотором отношении меня окрылило и то, что на семью Брукса тоже велись нападки. Они доказывают, что дело не ограничивается расовыми предрассудками.

– Разве это хорошо, отец? Когда для ненависти находится более одной причины?

Шапурджи мысленно улыбается. Его всегда восхищают такие вспышки интеллекта у послушного и преимущественно замкнутого подростка.

– Не боюсь повториться: с такими мозгами ты станешь отличным адвокатом.

Однако даже сейчас ему вспоминается строчка из одного письма, которое он скрыл от сына: «Не пройдет и года, как твой щенок будет либо похоронен, либо навек опозорен».

– Джордж, – заговаривает он, – хочу, чтобы ты запомнил одну дату. Шестое июля тысяча восемьсот девяносто второго года. Как раз два года назад. В тот день мистер Дадабхой Наороджи был избран в парламент от лондонского округа Финсбери-Сентрал.

– Понимаю, отец.

– Мистер Наороджи много лет преподавал гуджарати в лондонском Университетском колледже. Одно время мы с ним переписывались, и я горжусь, что он похвалил мою «Граматику языка гуджарати».

– Да, отец. – Джордж не раз видел это письмо, когда оно извлекалось на свет.

– Его избрание стало почетным завершением весьма позорной истории. Премьер-министр, лорд Солсбери, заявил, что темнокожие не должны и никогда не будут избираться в парламент. За эти слова его упрекнула сама королева. А по прошествии всего четырех лет избиратели округа Финсбери-Сентрал встали на сторону королевы Виктории, а не лорда Солсбери.

– Но я же не парс, отец.

В голове у Джорджа всплывают заученные слова: в центре Англии;

пульсирующее сердце Британской империи; кровь, струящаяся по артериям и венам Империи – Англиканская церковь. Он – англичанин, изучает английские законы и когда-нибудь, Бог даст, женится по обряду Англиканской церкви. Так его воспитали родители.

– Это, в сущности, верно, Джордж. Ты – англичанин. Однако порой находятся люди, которые не до конца с этим согласны. А там, где мы живем...

– В центре Англии, – подхватывает Джордж, словно отец наставляет его, как в детстве перед сном.

– Вот именно, в центре Англии, где нам довелось обосноваться и где я служу без малого двадцать лет, в центре Англии – притом что все рабы Божии в равной степени благословенны – еще встречается некоторая косность, Джордж. И в дальнейшем тебе придется сталкиваться с человеческой косностью там, где меньше всего ее ожидаешь. Она бытует во всех слоях общества и зачастую трудно предсказуема. Но если мистер Наороджи стал профессором университета и прошел в Палату общин, то и тебе, Джордж, по плечу стать адвокатом-солиситором и уважаемым членом общества. А случись тебе столкнуться с несправедливостью или даже с подлостью, непременно вспомни эту дату: шестое июля тысяча восемьсот девяносто второго года.

Джордж задумывается, а потом негромко, но твердо повторяет:

– Я же не парс, отец. Вы с мамой сами меня так учите.

– Ты, главное, запомни эту дату, Джордж, запомни дату.

Артур

Артур стал писать более профессионально. По мере того как он накачивал литературные мускулы, его рассказы перерастали в романы, а лучшие сюжеты разворачивались, естественно, в героическом четырнадцатом столетии. После ужина каждая написанная страница прочитывалась вслух для Туи, а законченное произведение отсылалось на отзыв матушке. Кроме того, у Артура появился личный секретарь и переписчик: Альфред Вуд, учитель портсмутской гимназии, тактичный и старательный, с честным взглядом аптекаря, да к тому же заядлый спортсмен, неплохо проявивший себя в крикете.

Тем не менее средства к существованию Артур пока добывал медициной. Но для того, чтобы двигаться к вершинам профессии,

требовалась специализация, для которой он как раз созрел – и сам это понял. Он всегда гордился своей способностью внимательно всматриваться, а потому без подсказки голоса свыше и вздрагивающего стола озвучил собственный выбор: офтальмология. Уклоняться и медлить было не в его натуре, и он сразу наметил самое подходящее место стажировки.

– Вена? – недоуменно переспросила Туи, ни разу не выезжавшая за пределы Англии. Стоял ноябрь, приближалась зима, крошка Мэри только-только начала делать первые шаги, да и то если держать ее за пояс. – Когда отправляемся?

– Незамедлительно, – отозвался Артур.

И Туи – храни ее Господь – прошептала, отложив рукоделие:

– Тогда мне нужно поторопиться.

Они продали дом, оставили Мэри на попечение миссис Хокинс и уехали на полгода в Вену. Артур записался на курс лекций по глазным болезням, объявленный клиникой «Кранкенхаус», но вскоре понял, что знаний немецкого, полученных во время прогулок с двумя школярами-немцами, чья разговорная речь была далека от изящества, не вполне хватает для восприятия беглой профессорской речи, насыщенной узкоспециальными терминами. При этом австрийский морозец обещал великолепные катки, а город – великолепные пирожные; Артур успел настроичить повесть «Открытие Рафлза Хоу», покрывшую все венские расходы. Впрочем, через пару месяцев он признал, что куда полезнее было бы пройти стажировку в Лондоне. Туи откликнулась на изменение планов со своей обычной невозмутимостью и собранностью. Возвращались они через Париж, где Артур сумел посетить несколько семинаров Ландольта.

Представив дело так, будто он прошел стажировку в двух странах, Артур снял помещение на Девоншир-Плейс, вступил в Офтальмологическое общество и подготовился к приему пациентов. Он также рассчитывал на заказы от светил науки, которым недосуг высчитывать диоптрии. Не каждый согласится ишачить на других, но Артур считал, что, став специалистом, без работы всяко не останется.

На Девоншир-Плейс его практика состояла из закутка, где могли ожидать приема больные, и собственно кабинета. Через пару недель Артур стал шутить, что на самом деле это две приемные, поскольку приема ожидает он сам. Чтобы не томиться от безделья, он садился за стол и писал. Набив руку в литературной игре, Артур отдал дань одному из тогдашних поветрий: журнальной беллетристике. Он любил преодолевать трудности, а трудность заключалась в следующем. Журналы печатали два вида

произведений: либо длинные романы с продолжением, которые неделями, а то и месяцами удерживали внимание читающей публики, либо законченные по содержанию короткие рассказы. Недостаток второй формы состоял в том, что она не всегда давала возможность прокормиться. А кто останавливался на первой форме, тот не мог пропустить ни единого номера без ущерба для сюжета. Практический склад ума подсказал Артуру, как обойти эту дилемму: взять да объединить преимущества обеих форм и создать цикл рассказов, цельных по содержанию, но объединенных сквозными персонажами для подогрева читательских симпатий или антипатий.

Итак, ему требовался такой главный герой, который с необходимостью пускается в разные авантюры, как запланированные, так и внезапные. Понятно, что большинство профессий отпадало сразу. Обдумывая этот план у себя на Девоншир-Плейс, он сообразил, что уже создал подходящего кандидата. В паре его произведений – правда, не слишком удачных – фигурировал детектив-аналитик, списанный, по сути, с эдинбургского клинициста Джозефа Белла: острая наблюдательность вкупе с беспронимчивой дедукцией давала ему ключ к медицинским и криминалистическим заключениям сразу. Вначале Артур назвал своего персонажа Шеридан Хоуп. Но это звучало неудобоваримо, и по ходу дела герой был переименован в Шеррингфорда Холмса, а затем получил, как впоследствии стало казаться, единственно возможное имя: Шерлок Холмс.

Джордж

Письмам и фальшивкам нет конца; призвав злоумышленника иметь совесть, Шапурджи, похоже, только спровоцировал продолжение. В газетах сообщается, что дом викария превращен в ночлежку; что в нем устроена скотобойня; что там можно заказать по почте бесплатные образцы дамских корсетных изделий. Джордж фигурирует то как окулист, то как законник, предлагающий безвозмездные консультации, то как организатор поездок в Индию и на Дальний Восток, готовый позаботиться о билетах и проживании. Угля доставляют столько, что хоть снаряжай в плаванье линкор; наряду с энциклопедиями в дом приносят живых гусей.

Существовать в постоянном нервном напряжении больше нет сил, и через некоторое время домочадцы кое-как приспособляются к этим издевательствам. С первыми лучами солнца у ворот выставляется пост:

рассыльных либо тут же разворачивают, либо заставляют оформить возврат; жаждущим приобщиться к эзотерическим практикам отказывают, принося извинения. Шарлотта даже приноравливается успокаивать служителей культа, которых вызвали из дальних стран просьбами о безотлагательной помощи.

По окончании Мейсон-колледжа Джордж устраивается стажером в одну из бирмингемских адвокатских контор. По утрам, садясь в поезд, он терзается муками совести, поскольку оставил родных; да и вечер не приносит облегчения, а лишь внушает новые тревоги. Отец, по мнению Джорджа, в этих критических обстоятельствах ведет себя своеобразно: читает ему краткие лекции о всегдашнем чрезвычайно благосклонном отношении англичан к парсам. От него Джордж узнает, что самый первый индус, посетивший Британию, был парсом; что первый индус, изучавший христианское богословие в британском университете, тоже был из парсов, равно как и первый индийский юноша – выпускник Оксфорда, а вслед за ним и первая индийская девушка-выпускница; равно как и первый уроженец Индии, заседавший в суде, и первая женщина-судья – уроженка Индии. Первым индусом среди английских чиновников в Индии стал парс. Шапурджи рассказывает сыну о врачах и адвокатах, учившихся в Британии; о благотворительной деятельности парсов во время картофельного голода в Ирландии, об их бескорыстной помощи бедствующим фабричным рабочим Ланкашира. Рассказывает он даже о том, как в Англию впервые приехала индийская сборная по крикету – сплошь парсы. Но Джордж совершенно не интересуется крикетом; отцовские маневры не могут поддержать его дух, а только повергают в отчаяние. Когда их семья получает приглашение на торжества по случаю избрания в парламент по округу Северо-Восточный Бетнал-Грин еще одного парса, Мунчерджи Бхаунагри, Джордж чувствует, как в нем закипает постыдный сарказм. Почему бы не обратиться к этому новоиспеченному парламентарии – пусть избавит их от поставок угля, энциклопедий и живых гусей.

Шапурджи больше тревожат не поставки, а письма. В них все явственнее просматривается религиозный маньяк. Подписаны они то «Бог», то «Вельзевул», то «Дьявол»; их автор заявляет, что навечно затерялся в аду или всерьез жаждет туда сойти. Когда эта мания выливается в угрозу насильственными действиями, викарий начинает опасаться за свою семью. «Богом клянусь, я скоро прикончу Джорджа Эдалджи». «Разрази меня Господь, если вот-вот не начнется хаос и кровопролитие». «Я сойду в Преисподнюю, осыпая проклятьями ваш род, а когда будет

угодно Господу, встречу там вас всех». «Ты зажился на этом свете, и я это исправлю, став орудием в руках Божьих».

Еще через два года такой травли Шапурджи решает вновь обратиться к главному констеблю. Он описывает события, прикладывает образцы писем, уважительно привлекает внимание к явной угрозе убийством и просит защитить от гонений ни в чем не повинную семью. На его просьбу капитан Энсон не реагирует. Вместо этого он пишет:

Я не говорю, что знаю имя виновного, хотя определенные подозрения у меня имеются. Предпочитаю держать их при себе до получения доказательств и верю, что смогу отправить виновного на каторжные работы, поскольку, при всем старании всячески избегать каких бы то ни было серьезных нарушений закона, лицо, написавшее данные письма, в двух или трех случаях преступило черту, подставив себя таким образом под угрозу самого сурового наказания.

Не сомневаюсь, что виновный будет уличен.

Письмо это Шапурджи показывает сыну и хочет услышать его мнение.

– С одной стороны, – говорит Джордж, – начальник полиции утверждает, что хулиган умело пользуется знаниями закона, дабы не совершать реального преступления. С другой стороны, начальник полиции, как явствует из его ответа, осведомлен об уже имевших место преступлениях, наказанных каторжными работами. Следовательно, виновный по большому счету не слишком изворотлив. – Джордж умолкает, глядя на отца. – Разумеется, главный констебль намекает на меня. По его мнению, вначале я украл ключ, а теперь взялся писать письма. Ему известно, что я изучаю право, – он указывает на это со всей определенностью. Если честно, отец, я считаю, что для меня главный констебль опаснее, чем этот хулиган.

У Шапурджи нет такой уверенности. Один угрожает каторжными работами, другой угрожает физической расправой. Ему не отделаться от неприязни к начальнику полиции. А ведь Джордж еще не видел самых больших гнусностей. Неужели Энсон поверил, что их тоже написал Джордж? В таком случае хотелось бы узнать, в чем заключается состав преступления, если человек шлет анонимные письма на свое имя, угрожая самому себе физической расправой. Шапурджи сутками напролет тревожится о своем первенце. Он плохо спит и постоянно вскакивает с

постели, чтобы торопливо и без всякой необходимости проверить, хорошо ли заперта дверь.

В декабре тысяча восемьсот девяносто пятого года одна из газет, выходящих в Блэкпуле, объявляет, что все имущество из дома викария пойдет с молотка, причем отправная цена отдельных предметов назначаться не будет, поскольку викарий с женой хотят поскорее избавиться от своего скарба перед отъездом в Бомбей.

До Блэкпула как минимум сотня миль по прямой. Шапурджи воочию видит, как травля распространяется в масштабах страны. Вероятно, Блэкпул – это только начало; следующие на очереди Эдинбург, Ньюкасл, Лондон. И далее: Париж, Москва, Тимбукту – почему бы и нет?

А потом, так же внезапно, как начались, издевательства прекращаются. Ни писем, ни непрошенных посылок, ни газетных фальшивок, ни стоящих на пороге гневных братьев во Христе. И так целый день, потом целую неделю, месяц, два месяца. Ничего. Все прекратилось.

Часть вторая

Начиная с конца

Джордж

На тот месяц, когда прекратилась травля, приходится двадцатая годовщина со дня назначения Шапурджи Эдалджи в приход Грейт-Уэрли; а там недалеко и до Рождества, которое в двадцатый... нет, в двадцать первый раз его семья встречает в здешнем пасторском доме. Мод получает в подарок гобеленовую книжную закладку, Хорас – единоличный экземпляр отцовских «Лекций о послании святого Петра галатам», а Джордж – сепиевую копию с гравюры Хольмана Ханта «Свет мира» с пожеланием повесить ее у себя в кабинете. Джордж благодарит родителей, но отчетливо представляет, что подумают старшие партнеры: стажер, который в конторе без году неделя, который занят лишь переписыванием бумаг начисто (другого ему не доверяют), слишком много на себя берет, если начинает заниматься украшательством, и что клиентов, приходящих в контору по конкретному вопросу, может увести в сторону чужеродный наглядный материал.

Проходят первые месяцы наступившего года; по утрам, когда раздвигаются шторы, можно с крепнущей день ото дня уверенностью полагать, что за окном будет лишь пустая лужайка, сверкающая Божьей росой, и без содрогания ожидать прихода почтальона. Викарий твердит, что их семье было послано испытание огнем и вера в Господа помогла им выстоять. От Мод, слабенькой и богобоязненной, скрывали все, что только возможно; Хорас, ныне крепко сбитый прямолинейный подросток шестнадцати лет, осведомлен лучше и по секрету признается Джорджу, что считает старинный девиз «око за око» незыблемой основой справедливости, а потому, случись ему поймать злоумышленника, бросающего через изгородь мертвых дроздов, он своими руками свернет такому шею.

В фирме «Сангстер, Викери энд Спейт» у Джорджа, вопреки родительским представлениям, нет своего кабинета. Он довольствуется табуретом и конторкой в углу, куда не дотягивается ковровая дорожка и даже не попадает солнечный свет, разве что по доброй воле удаленного

мансардного оконца. Не обзавелся он покамест и карманными часами с цепочкой, не говоря уже о собственном комплекте юридических справочников. Зато успел приобрести правильную шляпу-котелок: выложил за нее три шиллинга шесть пенсов у «Фентона» на Грейндж-стрит. Хотя кровать его по-прежнему стоит в паре метров от отцовской, он уже чувствует, как в нем зреет независимость. Он даже свел знакомство с двумя стажерами из соседних контор, годами слегка постарше. Как-то раз во время обеденного перерыва Гринуэй и Стентсон зазвали Джорджа в паб, где он, изображая удовольствие, давился – спасибо, хоть недолго – отвратительным кислым пивом, за которое сам же заплатил.

Во время учебного года в Мейсон-колледже он почти не обращал внимания на великий город, куда привела его судьба, и ощущал его как баррикаду из шума и суеты между вокзалом и учебниками; если честно, город даже внушал ему страх. Но сейчас он осваивается, ему здесь интересно. Если город не раздавит его своей мощью и энергией, то в один прекрасный день Джордж, быть может, и впишется в здешнюю жизнь.

Он прорабатывает литературу по истории города. Начинает со скучных изданий о ножовщиках, кузнецах и обработке металла, затем на очереди Английская буржуазная революция и Великая чума, паровой двигатель и «Лунное общество», конфликты между Церковью и престолом, чартистский конвент. Но потом, лет десять назад, Бирмингем преобразуется в средоточие современной городской жизни, и Джордж ловит себя на том, что читает про значимые для реальной действительности события. Он переживает, что не застал одного из величайших моментов в жизни Бирмингема, когда в 1887 году Ее Величество заложила здание Викторианского суда. С той поры в городе как грибы растут новые здания и учреждения: клиническая больница, арбитраж, мясной рынок. Полным ходом идет сбор средств на открытие университета; планируется строительство нового здания общества трезвости, всерьез ставится вопрос об отделении Бирмингема от Вустерской епархии.

Встречать королеву Викторию вышло полмиллиона человек; в толпе никто не пострадал, беспорядков не было. Джордж приятно поражен, но не удивляется. По расхожему мнению, в больших городах только и есть что скученность и насилие, зато в деревнях тишь да гладь. Но его личный опыт свидетельствует об ином: сельская местность отличается косностью и сулит неприятности, тогда как большой город стремится к порядку, идет в ногу со временем. Конечно, в Бирмингеме тоже есть и преступность, и пороки, и раздоры (иначе адвокаты пошли бы по миру), однако Джорджу представляется, что люди здесь более разумны, более законопослушны –

словом, более цивилизованны. Для Джорджа ежедневная поездка в город – дело серьезное и вместе с тем успокоительное. Есть дорога, есть конечный пункт: именно так его учили понимать жизнь. Когда он дома, конечный пункт – это Царствие Небесное; в конторе – это справедливость, то есть решение дела, благоприятное для твоего клиента; но на этих двух дорогах подстерегают многочисленные развилки и вражьи капканы. А железная дорога показывает нечто иное: ровное движение до платформы по аккуратно уложенным рельсам, согласно утвержденному расписанию, с делением вагонов, а вместе с ними и пассажиров на первый, второй и третий классы.

Вероятно, поэтому Джордж внутренне закипает, когда кто-нибудь наносит ущерб железной дороге. Есть юнцы (а возможно, и взрослые мужчины), которые кромсают ножами и бритвенными лезвиями кожаные уплотнители оконных рам, тупо ломают рамки висящих над сиденьями репродукций, топчутся, поджидая поезд, на пешеходных мостиках, чтобы метнуть кирпич в паровозную трубу. Такое не укладывается у Джорджа в голове. Наверное, бросить на рельс монетку, чтобы она расплющилась и вдвое увеличилась в диаметре под колесами проносящегося состава, – довольно безобидная затея, но Джордж считает, что даже это скользкая дорожка, способная вызвать крушение поезда.

Подобные действия, естественно, предусмотрены уголовным правом. Джордж сам замечает, что все более интересуется правовыми отношениями между пассажирами и железнодорожной компанией. Покупка билета, требующая должного внимания обеих сторон, тут же приводит в действие контракт. Но спроси пассажира, что это за контракт, какие обязательства он налагает на каждую из сторон, какую компенсацию можно потребовать от железнодорожной компании в случае опоздания, неисправности или крушения поезда – ответа ты не услышишь. Причем, вероятно, не по вине пассажира: билет – лишь сигнал контракта, однако с условиями последнего можно ознакомиться только на определенных центральных станциях или непосредственно в управлении компании, но разве пассажир, человек занятой, станет тратить время на их изучение? И все равно Джордж удивляется, почему англичане, подарившие миру железную дорогу, расценивают ее исключительно как удобное средство передвижения, но не видят в ней плотного узла многочисленных прав и обязанностей.

Он решает назначить Хораса и Мод воображаемыми присяжными, «людьми с улицы», точнее, рядовыми пассажирами поезда, курсирующего между Уолсоллом, Кэнноком и Ружли. В качестве зала суда ему позволяют использовать домашнюю комнату для занятий. Усадив брата с сестрой за

столы, он излагает им содержание дела, которое не так давно освещалось в зарубежной судебной хронике.

– Давным-давно, – начинает он, не забывая расхаживать туда-сюда, – жил да был толстый-претолстый француз по фамилии Пайель: весил он под сто шестьдесят кило.

Хораса разбирает смех. Джордж хмурится и, как судебный адвокат, берется за лацканы.

– Тишина в зале, – требует он. И продолжает: – Мсье Пайель у себя во Франции купил железнодорожный билет третьего класса.

– А куда он ехал? – интересуется Мод.

– Это к делу не относится.

– А почему он так растолстел? – вопрошает Хорас.

Эти новоявленные присяжные считают, как видно, что могут встречать со своими вопросами когда заблагорассудится.

– Понятия не имею. Наверное, покушать любил примерно как ты. Так вот: он до того разъялся, что по прибытии поезда не смог протиснуться в вагон третьего класса. – Хорас подхихикивает, рисуя себе эту картину. – Тогда он бросился к дверям вагона второго класса, но и туда не сумел войти. В конце концов он добрался до вагона первого класса...

– ...но и туда не протиснулся! – выкрикивает Хорас, будто завершая анекдот.

– Нет, господа присяжные, на самом-то деле дверной проем оказался достаточно широк. Мсье Пайель занял место в купе, и поезд тронулся – для нас не существенно, в каком направлении. Через некоторое время появился контролер, проверил у него билет и потребовал оплатить разницу в стоимости между первым и третьим классом. Мсье Пайель платить отказался. Железнодорожная компания подала на него в суд. Итак, вам ясна суть проблемы?

– Проблема в том, что он толстяк, – говорит Хорас и вновь давится от смеха.

– У него не оказалось денег, – говорит Мод. – Жалко его.

– Нет, ни то ни другое проблемы не составляет. Он был при деньгах, но платить отказался. Позвольте мне пояснить. Адвокат Пайеля заявил, что его клиент, купив билет, выполнил свои юридические обязательства, а если дверные проемы, за исключением вагонов первого класса, слишком узки, то виновата компания. Компания же настаивала, что пассажир, неспособный протиснуться в двери вагона, должен приобрести билет в вагон другого класса. Что вы на это скажете?

Хорас стоит на своем.

– Зашел в вагон первого класса – пусть раскошелится. Это логично. Нечего было пирожные лопать. Компания не виновата, что он такой толстый.

Мод, вечная заступница безвинно пострадавших, придерживается мнения, что француз как раз попадает в эту категорию.

– Он не виноват, что толстый, – начинает она. – Может, это болезнь. Может, у него мать умерла, и он заедал горе. Да мало ли какие бывают причины. Он же никого не согнал с места, не отправил в третий класс.

– Суд не вникал в причины его тучности.

– Значит, суд глуп как пуп, – говорит Хорас, недавно подхвативший это выражение.

– А раньше он уже так поступал? – спрашивает Мод.

– Вот это вопрос по существу. – Джордж кивает, как судья. – Все упирается в умысел. Либо пассажир из опыта знал, что по причине своей тучности не втиснется в вагон третьего класса, и тем не менее купил туда билет, либо он, покупая билет, пребывал в добросовестном заблуждении, что втиснется в дверь.

– Ну а на самом-то деле как? – нетерпеливо спрашивает Хорас.

– Не знаю. В сообщении не уточняется.

– Так каков же ответ?

– Здесь мнения присяжных разделились. Вам придется дебатировать между собой.

– Я не собираюсь дебатировать с Мод, – заявляет Хорас. – Она девчонка. Говори: каков на самом деле ответ?

– Ну, кассационный суд в Лилле решил дело в пользу компании. Пайель выплатил разницу.

– Я победил! – кричит Хорас. – Мод сглупила!

– Никто не сглупил, – отвечает Джордж. – Этот случай неоднозначен. Потому-то он и рассматривался в суде.

– Все равно я победил, – твердит Хорас.

Джордж доволен: ему удалось заинтересовать юных присяжных, и теперь субботними вечерами он предлагает им на рассмотрение новые казусы и проблемы. Если в вагоне заняты все места, имеют ли право пассажиры удерживать дверь изнутри, чтобы в вагон не заходили те, кто ожидает на перроне? С правовой точки зрения существует ли разница между обнаружением в купе чужого бумажника и находкой монеты, застрявшей под подушкой мягкого сиденья? Каковы должны быть последствия, если ты, возвращаясь домой, сел в последний поезд, а он проскочил твою станцию без остановки, из-за чего тебе пришлось отмахать

пять миль под дождем в обратную сторону?

Если внимание присяжных ослабевает, Джордж развлекает их любопытными фактами и необычными случаями. Рассказывает, к примеру, как в Бельгии решается вопрос перевозки собак. В Англии правилами определено, что собаки должны перевозиться в намордниках, причем в багажном вагоне, тогда как в Бельгии собака может получить статус пассажира – достаточно взять на нее отдельный билет. Джордж вспоминает случай с неким охотником, который ехал в поезде со своим ретривером, а когда животное согнали с сиденья, чтобы дать место человеку, хозяин подал в суд. К восторгу Хораса и огорчению Мод, вердикт был вынесен в пользу истца, а это означало, что в Бельгии пятеро пассажиров с собаками при наличии билетов могут занять десятиместное купе, которое будет юридически считаться полным.

Младший брат с сестрой дивятся на Джорджа. В комнате для занятий у него вдруг появляется авторитет и в то же время непринужденность – можно подумать, он вот-вот расскажет анекдот, чего на их памяти не случилось ни разу. Джордж, в свою очередь, считает, что от его присяжных есть польза. Хорас выносит решение скоропалительно и, как правило, в пользу железнодорожной компании, после чего не идет ни на какие уступки. Мод раздумывает дольше, задает больше вопросов по существу дела и сочувствует пассажирам, испытавшим какие-либо неудобства. Хотя брат с сестренкой вряд ли могут сойти за среднестатистических пассажиров, их реакция, по мнению Джорджа, типична вследствие почти полного незнания ими своих прав.

Артур

Он осовременил детективный жанр. Избавил его от тугодумов-следователей старой школы, этих простых смертных, которым аплодировали за одно лишь истолкование улики, лежавших у них под ногами. На смену им пришел хладнокровный, расчетливый персонаж, способный в клубке шерсти распознать прямую улику, а в блюдце молока – изобличающее доказательство.

Шерлок Холмс принес Артуру внезапную славу, а вместе с ней и деньги, о каких даже не мечтает капитан сборной Англии по крикету. На них был куплен приличных размеров особняк в Саут-Норвуде, с обнесенным глухой стеной садом, где вполне хватило места для теннисного

корта. В холле Артур поставил бюст своего деда, а собственные арктические трофеи задвинул на книжный шкаф. Вуду, который по всем меркам считался штатным работником, был отведен личный офис. Лотти вернулась из Португалии, оставив должность гувернантки, а Конни, хотя и более привлекательная, была усажена за пишущую машинку и показала себя незаменимой сотрудницей. Устройство это Артур приобрел еще в Саутси, но так и не научился толком с ним управляться. А вот двухместный велосипед пришелся ему по душе, и он чувствовал себя вполне уверенно, крутя педали вместе с Туи. Когда жена вновь забеременела, он сменил тандем на трицикл и приводил его в движение одной лишь мужской мышечной силой. В погожие дни он вывозил жену кататься по холмам Суррея и накручивал по тридцать миль кряду.

Успех, известность и внимание к своей персоне Артур стал принимать как должное; он не уклонялся от интервью, привыкнув и к приятным, и к щекотливым моментам.

– Здесь сказано, что ты – «веселый, общительный, скромный человек». – Туи улыбалась, глядя на журнальную страницу. – «Высокий и широкоплечий, готовый сердечно пожать вам руку (от избытка искреннего радушия даже до боли)»^[4].

– Где ты такое вычитала?

– В «Стрэнде».

– Как же, как же, помню. Мистер Хау. Не то чтобы прирожденный спортсмен – я сразу это заподозрил. Рука – что дохлая рыба. А как он отзывается о тебе, дорогая?

– Он пишет... Нет, это невозможно читать.

– Я настаиваю. Обожаю, когда ты краснеешь.

– Он пишет, что я... «очаровательнейшая женщина». – Как по заказу, Туи вспыхнула румянцем и поспешила сменить тему. – По мнению мистера Хау, «доктор Дойл неизменно придумывает сначала концовку – и уже затем пишет сам рассказ». Ты никогда мне в этом не признавался, Артур.

– Неужели? Вероятно, потому, что это ясно как день. Разве возможно написать осмысленное начало, не зная развязки? Если вдуматься, все совершенно логично. Вот интересно: наш друг хоть до чего-нибудь дошел своим умом?

– До того, что идеи посещают тебя в самое разное время: когда ты гуляешь, катаешься на трицикле, играешь в крикет или в теннис. Это действительно так, Артур? Не потому ли на корте ты порой рассеян?

– Да это я, наверное, для отвода глаз.

– Взгляни-ка: малышка Мэри стоит на этом самом стуле.

Он подался вперед.

– Я сам сделал эту фотографию, видишь? И потребовал, чтобы к иллюстрации подтекстовали мое имя.

Артур приобрел вес в литературных кругах. Джерома и Барри он числил своими добрыми приятелями, свел знакомство с Мередитом и Уэллсом. Отужинал с Оскаром Уайльдом, которого объявил безупречно интеллигентным и приятным в общении – не в последнюю очередь вследствие того, что драматург прочел и похвалил «Приключения Михея Кларка». Для себя Артур уже решил, что будет эксплуатировать Холмса года два, максимум три, а потом прикончит, чтобы сосредоточиться на исторических романах, которые, вне сомнения, удаются ему лучше всего остального.

Все написанное вплоть до этого времени наполняло Артура гордостью. Иногда он размышлял: а не почетнее ли воплотить в жизнь пророчество Партриджа и возглавить сборную Англии по крикету? Понятно, что это были несбыточные мечтания. Он обладал приличным ударом справа и отбивал медленные мячи с такой мощью, что кое-кого ставил в тупик. Вероятно, он с успехом мог бы взять на себя любое амплуа в Мэрилебонском крикетном клубе, но его устремления были теперь более скромными: увидеть свое имя в справочнике Уисдена.

Туи родила ему сына, Аллейна Кингсли. Артуру всегда хотелось, чтобы семья у них только прибывала. Но бедная малютка Аннетт умерла в Португалии, а матушка, отказываясь покидать свой домик в поместье того субъекта, упрячилась, как никогда. И все же у него были сестры, дети, жена; неподалеку, в Вулидже, жил его брат Иннес, готовивший себя к армейской службе. Став кормильцем и главой семьи, Артур делал родным щедрые подарки, охотно выписывал чеки на предъявителя. Раз в году для этого находилась официальная причина: он неизменно изображал Санта-Клауса.

Приоритеты, как он понимал, должны расставляться иначе: жена, дети, сестры. Сколько времени он женат: лет семь, восемь? Туи – образцовая супруга. А вдобавок очаровательнейшая женщина, как отметил журнал «Стрэнд». Уравновешенная, набравшаяся опыта, она подарила ему сына и дочь. Одобряла его произведения до последней запятой, поддерживала любое начинание. Захотелось ему в Норвегию – они поехали в Норвегию. Полюбились ему званые ужины – она устраивала их в его вкусе. Он обвенчался с ней, дабы оставаться вместе в горе и радости, в богатстве и бедности. До сих пор ни горя, ни бедности на их долю не выпадало.

И все же... Теперь, если быть честным с самим собой, все стало как-то

по-другому. В пору их знакомства он был молод, неловок и безвестен; она его полюбила и никогда не жаловалась. Сейчас он по-прежнему молод, но при этом еще и благополучен, и знаменит; в Сэвил-клубе ему случается часами занимать многочисленных сотрапезников увлекательной беседой. Он сохранил самостоятельность и – не в последнюю очередь благодаря своему браку – здравый рассудок. Успех его стал закономерным результатом упорного труда, и люди, не прошедшие испытание успехом, считали, что таков достойный финал любой истории. А между тем Артур не был готов к завершению своей истории. Если жизнь складывается из рыцарских подвигов, то он спас прекрасную Туи, покорил город и в награду получил злато. Но должно было пройти немало лет, прежде чем он согласился бы взять на себя роль мудрого старейшины своего племени. А чем занимать себя странствующему рыцарю по возвращении домой, в Саут-Норвуд, где ожидают жена и двое детей?

Проблема, пожалуй, не из самых сложных. Он должен их защищать, вести себя с честью, внушать детям правила достойной жизни. Можно также пуститься в новые странствия, не связанные, естественно, со спасением прекрасных дев. Покорить множество вершин на литературном поприще, в свете, путешествиях и политике. Как знать, куда приведут внезапные порывы? Он всегда будет окружать Туи вниманием и заботой; он ни на минуту не сделает ее несчастной.

И все же...

Джордж

Гринуэй и Стентсон всегда заодно; впрочем, Джорджа это не волнует. В обеденный перерыв его совершенно не тянет в питейное заведение – куда приятней сидеть под деревом на Сент-Филипс-Плейс и подкрепляться материнскими сэндвичами. Ему нравится, когда новые знакомцы просят его разъяснить какие-нибудь тонкости гражданского права, но порой они секретничают между собой про скачки, букмекерские конторы, девиц и танцульки – это не вызывает ничего, кроме удивления. А в последнее время у них не сходит с языка Бечуаналенд, откуда с официальным визитом прибыли в Бирмингем вожди племенных союзов.

Когда они собираются втроем, этих парней хлебом не корми – дай им засыпать тебя вопросами да подразнить.

– Признайся, Джордж, сам-то ты из каких мест?

– Из Грейт-Уэрли.

– Да нет, где *конкретно* твои корни?

Джордж задумывается.

– В доме викария, – отвечает он, и эти жеребцы ржут.

– А девушка у тебя есть, Джордж?

– Не понял?

– Наш вопрос перегружен незнакомой юридической терминологией?

– Да нет, мне просто подумалось, что негоже совать нос в чужие дела.

– Ой, какие мы чувствительные.

Гринуэя и Стентсона особенно увлекает и веселит именно эта тема.

– Небось, она красотка, Джордж?

– Вылитая Мэри Ллойд, я угадал?

Не дождавшись ответа, они склоняются друг к другу головами, сдвигают шляпы набекрень и заводят серенаду: «С га-лер-ки смотрит любимый мой».

– Ну же, Джордж, открой нам ее имя.

Через пару недель Джордж выходит из терпения. Хотят – пусть получают:

– Ее имя – Дора Чарльзуорт, – выпаливает он экспромтом.

– Дора Чарльзуорт, – повторяют они. – Дора Чарльзуорт. Дора Чарльзуорт?

В их устах это звучит все более надуманно.

– Она сестра Гарри Чарльзуорта, моего друга.

Джордж надеется, что теперь его оставят в покое, но они, как видно, раззадорились еще сильнее.

– Какого же цвета у нее волосы?

– Ты с ней целовался, Джордж?

– Сама-то она из каких мест?

– Нет, где *конкретно* ее корни?

– Ты готовишь для нее валентинку?

И как им только не надоест?

– Послушай, Джордж, у нас вопросик есть насчет Доры. Она черненькая?

– Она такая же, как я, и живет в Англии.

– Такая же, как ты, Джордж? Один в один?

– Когда ты нас познакомишь?

– Готов поспорить, она бечуанка.

– Неужели нам частного сыщика нанимать? Который на бракоразводных делах специализируется? Шастает по гостиницам, чтобы

застукать неверного мужа с горничной. Ты же не хочешь, чтобы тебя таким манером застукали, а, Джордж?

Джордж полагает, что его признание и дальнейшие подробности – это по большому счету не ложь; он просто дал им возможность поверить в то, во что им хотелось, а это не одно и то же. К счастью, живут они на другом конце города, и как только поезд Джорджа отходит от Нью-стрит, он выбрасывает их из головы.

Утром тринадцатого февраля Гринуэй и Стентсон пребывают в особенно игривом настроении, но Джорджу не говорят, в чем причина. Оказывается, эти двое отправили валентинку на имя мисс Доры Чарльзуорт в деревню Грейт-Уэрли, что в графстве Стаффорд. Это не на шутку озадачило почтальона, а еще больше – Гарри Чарльзуорта, который всегда жалел, что у него нет сестры.

Джордж сидит в поезде, развернув на колене газету. Портфель его лежит на верхней, более широкой из двух веревочных багажных полок, а шляпа – на нижней, узкой, куда пассажиры кладут головные уборы, зонты, трости и небольшие свертки. Джордж размышляет о жизненном пути, который суждено пройти каждому. Например, жизненный путь его отца начался в Бомбее, на дальнем конце бурлящих кровеносных сосудов Империи. Там он воспитывался, там принял христианство. Там же написал грамматику языка гуджарати, получил гонорар и смог добраться до Англии. Окончил колледж Святого Августина в Кентербери, получил сан от епископа Макарнесса, затем служил помощником vicar в Ливерпуле и в конце концов был направлен в приход Уэрли. По всем меркам – великое путешествие; ему самому, размышляет Джордж, предстоит, вне сомнения, путь не столь далекий. Скорее, подобный тому, какой выпал его матери: из родной Шотландии – в графство Шропшир: там ее отец тридцать девять лет служил vicar прихода Кетли; оттуда – в соседний Стаффордшир, где ее муж, Бог даст, прослужит такой же долгий срок. А чем окажется Бирмингем для Джорджа: конечной точкой или перевалочным пунктом? Пока трудно сказать.

Джордж привыкает смотреть на себя не как на деревенского парня с сезонным проездным билетом, а как на будущего жителя Бирмингема. В ознаменование своего нового статуса он решает отрастить усы, но вскоре понимает, что быстро это не делается; Гринуэй и Стентсон не упускают случая предложить, что скинутся и подарят ему флакон бальзама для роста волос. Когда же наконец его кожу над верхней губой полностью скрывает растительность, дружки дают ему прозвище Чингисхан.

Наевшись этой шуткой, они придумывают новую.

- Слышь, Стентсон, знаешь, кого напоминает мне Джордж?
- Намекни хотя бы.
- Ну, где он учился в школе?
- Где ты учился в школе, Джордж?
- Будто сам не знаешь, Стентсон.
- Нет, ты скажи.

Джордж отрывается от Акта тысяча восемьсот девяносто седьмого года об отчуждении земель и характеристики его влияния на завещание недвижимости.

- В Ружли.
- Прикинь, Стентсон.
- Ружли. Не припоминаю... Погоди-ка... Не может быть... Уильям Пальмер?

- Вот именно! Ружлийский Отравитель!
- И где же он ходил в школу, Джордж?
- Ребята, вы сами знаете.
- Там всех мальчиков учат на отравителей? Или только самых умных?

Пальмер отправил на тот свет жену и брата, предварительно застраховав обоих на кругленькую сумму, а потом добрался и до букмекера, которому задолжал. Возможно, были и другие жертвы, но полицейские удовлетворились эксгумацией родственников. Улик оказалось достаточно, чтобы приговорить Отравителя к публичной казни, на которую в Стаффорд стянулось пятьдесят тысяч зрителей.

- У него и усы были, как у Джорджа?
- Один в один.
- Да что ты можешь о нем знать, Гринуэй?
- Я знаю, что он твой однокашник. Наверняка его портрет висел на доске почета. А фамилия была занесена в список знаменитых выпускников и всякое такое, правильно я говорю? – Джордж нарочито затыкает уши. – Одно могу сказать насчет Отравителя, Стентсон: он был дьявольски изворотлив. Следствие так и не установило, какой яд он использовал. Как по-твоему, этот Пальмер был восточных кровей?

– Есть основания полагать, что происходил он из Бечуаналенда. Имя ведь не показательно, правда, Джордж?

– Известно ли тебе, что ходоки из Ружли побывали на Даунинг-стрит и были приняты самим лордом Пальмерстоном? Они требовали переименовать их городок, чтобы отмежеваться от такого позора. Премьер-министр немного поразмыслил над их просьбой и ответил: «Какое название вас устроит: Пальмерстаун?»

Молчание.

– Ну? Чего-то я не понял.

– Если бы «Пальмерстон», а то «Пальмерс-таун».

– А! Чудо как остроумно, Гринуэй!

– Даже наш друг Чингисхан смеется. Из-под усов.

Впервые Джордж выходит из себя:

– Закатай рукав, Гринуэй.

Гринуэй ухмыляется:

– Это еще зачем? Вздумал сделать мне маньчжурскую «крапивку»?

– Закатай рукав.

Джордж и сам оголяет руку, а потом приближает ее к руке Гринуэя, который две недели загорал в Аберистуите. Кожа у обоих одинакового цвета. Ничуть не смущаясь, Гринуэй ждет, чтобы Джордж высказался первым, однако тот полагает, что здесь все предельно ясно, и вдевает на место запонку.

– Что это было? – недоумевает Стентсон.

– Джордж, похоже, решил доказать, что я тоже отравитель.

Артур

В путешествие по Европе они взяли с собой Конни. Кровь с молоком, на пароходе она оказалась единственной пассажиркой, не подверженной морской болезни. Такая выносливость раздражала остальных дам – те мучились не на шутку. Видимо, раздражала их и здоровая красота Конни: Джером говорил, что с нее впору писать Брунгильду. В той поездке Артуру открылось, что его сестра своей легкой танцующей походкой и длинной каштановой косой, спускающейся корабельным канатом по спине, привлекает совершенно неподходящих мужчин: ловеласов, шулеров, соломенных вдовцов с масляными глазками. Пару раз Артур едва сдержался, чтобы не схватиться за трость.

Зато по возвращении домой ее вниманием наконец-то завладел вполне презентабельный, судя по всему, человек двадцати шести лет, Эрнест Уильям Хорнунг, астматик, высокий, щеголеватый, неплохой уикет-кипер, а когда требовалось, то и боулер, с хорошими манерами, только излишне словоохотливый: при малейшем поощрении мог разглагольствовать без умолку. Артур сам признавал, что вряд ли одобрит кого бы то ни было из ухажеров Лотти и Конни, но тем не менее, будучи главой семьи, учинил

сестре допрос с пристрастием.

– Хорнунг. Да кто он такой, этот Хорнунг? Говорюк – смесь монгольского со славянским. Неужели нельзя найти себе стопроцентного британца?

– Он родился в Миддлсборо, Артур. В семье солиситора. Учился в Аппингеме.

– Есть в нем что-то нездешнее. Нутром чую.

– Он три года прожил в Австралии. По причине астмы. Не иначе как ты нутром чувствуешь запах эвкалипта.

Артур подавил смешок. Из двух сестер именно Конни чаще давала ему отпор; любимицей его была Лотти, но зато Конни умела и осадить, и удивить. Он благодарил Бога, что Конни (не говоря уже о Лотти) не вышла за Уоллера.

– И чем же он занимается, этот субъект из Миддлсборо?

– Он писатель. Как и ты, Артур.

– Слыхом не слыхивал.

– Десяток романов напечатал.

– Десяток? Да он зелен еще. – Зелен, но хотя бы не лоботряс.

– Если хочешь оценить его способности, могу дать тебе что-нибудь почитать. У меня есть «Под двойными небесами» и «Хозяин Тарумбы». В его романах действие обычно происходит в Австралии; с моей точки зрения, пишет он мастерски.

– Да неужели, Конни?

– Но при этом отдает себе отчет, что писательским трудом прожить нелегко, а потому еще подрабатывает журналистом.

– Что ж, фамилия броская, – фыркнул Артур.

И позволил Конни пригласить кавалера в дом. А книг его решил не читать, чтобы раньше времени не портить себе впечатление.

В тот год весна пришла рано, и к концу апреля на теннисном корте уже белела свежая разметка. Сидя у себя в кабинете, Артур слышал отдаленные удары ракеткой по мячу и раздражался от знакомых женских выкриков, сопровождавших каждый пропуск несложной подачи. Позднее он вышел размяться и увидел Конни в летящих юбках и Уилли Хорнунга в соломенной шляпе-канотье и тонких белых шерстяных брюках, схваченных внизу прищепками. Артур отметил, что Хорнунг не поддается, но вместе с тем и не лупит по мячу в полную силу. Это пришлось ему по нраву: именно так мужчина и должен играть против девушки.

Неподалеку сидела в шезлонге Туи, греясь не столько под робким, еще не летним солнцем, сколько в жарких лучах молодой любви. Судя по всему,

ей доставляли удовольствие их смешливые переговоры через сетку и взаимное смущение после игры; Артур подумал, что надо бы сменить гнев на милость. Если честно, ему нравилась роль ворчливого отца семейства. Кстати, Хорнунг оказался довольно остроумным. Временами даже чересчур, но это можно было списать на молодость. Что там он отмочил в первый раз? Ах да: читая спортивную рубрику газеты, Артур поразился сообщению о том, что некий спринтер пробежал сто ярдов всего за десять секунд.

– Этот спринтер – что он за птица, мистер Хорнунг?

И Хорнунг не раздумывая ответил:

– Наверно, газетная утка.

В августе того же года Артура пригласили с лекциями в Швейцарию; Туи еще не вполне окрепла после рождения Кингсли, но, естественно, поехала вместе с мужем. Они увидели величественный, но устрашающий Рейхенбахский водопад, вполне достойный стать могилой Холмсу. Сыщик уже гирей висел у Артура на шее. Но теперь, с помощью архизлодея, Артур намеревался стряхнуть с себя этот груз.

В конце сентября Артур повел Конни к алтарю; когда они шли по проходу, она незаметно тянула брата назад, чтобы умерить его поистине армейскую прыть. У алтаря состоялась символическая передача невесты жениху; Артур понимал, что должен быть горд и счастлив. Но он чувствовал, как среди флердоранжа, дружеских похлопываний по спине и шуток насчет счастливого избавления тают его мечты о растущей вокруг него семье.

А через десять дней ему пришло сообщение, что в Шотландии, в психиатрической лечебнице города Дамфрис, скончался его отец. Причиной смерти значилась эпилепсия. Артур, не навещавший отца много лет, на похороны не поехал, равно как и никто из родных. Чарльз Дойл не оправдал ожиданий матушки и обрек своих детей на честную бедность. Ему не доставало силы и твердости характера; бой с алкоголем он проиграл. Бой? Да он даже не поднял боксерские перчатки на эту пагубную страсть. Кто-то пытался его оправдывать, но Артур считал, что ссылки на художественную натуру неубедительны. Виной всему было потакание собственным слабостям и самооправдание. Художнику никто не мешает проявлять решимость и нести ответственность за родных.

У Туи развился хронический осенний кашель; она жаловалась на боли в боку. Артур не увидел в этом ничего серьезного, но через некоторое время все же вызвал на дом местного эскулапа, Дальтона. Хозяину дома стало не по себе, когда он из доктора превратился всего лишь в мужа

пациентки и вынужденно томился внизу, пока у него над головой посторонний человек решал его судьбу. Дверь спальни долго не отворялась; потом на пороге возник Дальтон, столь же знакомый, сколь и мрачный. Артур и сам не раз надевал подобную маску.

– У нее серьезно поражены легкие. Все симптомы указывают на скоротечную чахотку. С учетом ее состояния и наследственности... – Продолжать не имело смысла; терапевт лишь добавил: – Вы, наверное, захотите показать ее кому-нибудь еще.

Не кому-нибудь, а лучшему специалисту. В ближайшую субботу в Саут-Норвуд прибыл Дуглас Пауэлл, консультант из Лондонской королевской клиники Бромптона, специализирующейся на лечении туберкулеза и заболеваний грудной клетки. Бледный, аскетичного вида человек, чисто выбритый, подчеркнута корректный, Пауэлл с сожалением подтвердил диагноз.

– Вы, насколько мне известно, тоже врач, мистер Дойл?

– Не могу себе простить, что недосмотрел.

– Но ведь пульмонология не ваша специальность?

– Моя специальность – глазные болезни.

– Тогда вам не в чем себя упрекнуть.

– Наоборот. Где были мои глаза? Я не заметил признаков треклятой бациллы. Не уделял должного внимания жене. Был слишком поглощен своими... успехами.

– Но вы же специализировались на глазных болезнях.

– Три года назад я ездил в Берлин, чтобы ознакомиться с открытиями – предполагаемыми открытиями – Коха в области этого конкретного заболевания. Затем опубликовал свой отчет в журнале «Стед» под рубрикой «Обзор обзоров».

– Так-так.

– А у собственной жены не сумел распознать скоротечную чахотку. Хуже того: я позволял ей вместе со мной заниматься физическими упражнениями, которые только усугубили ее состояние. Мы с ней в любую погоду катались на трицикле, путешествовали по холодным странам, она посещала мои матчи под открытым небом...

– Но с другой стороны, – произнес Пауэлл, и такое начало на миг приободрило Артура, – уплотнения вокруг очагов – признак благоприятный. К тому же второе легкое увеличено, что в некоторой степени компенсирует дыхательную функцию. Ничего более утешительного сообщить не могу.

– Я отказываюсь этому верить! – прошептал Артур, хотя ему хотелось

кричать во все горло.

Пауэлл не обиделся. При вынесении самого мягкого, самого деликатного смертного приговора ему не впервой было видеть реакцию близких.

– Это понятно. Могу направить вас к...

– Нет-нет. Я верю всему, что вы сказали. Но отказываюсь верить тому, о чем вы умалчиваете. Вы даете ей считанные месяцы.

– Вам не хуже моего известно, мистер Дойл, что прогнозы – неблагодарная штука...

– Мне не хуже вашего известно, доктор Пауэлл, какими фразами мы обнадеживаем пациентов и их семьи. А кроме того, я знаю, какие фразы звучат у нас в уме, когда мы делаем хорошую мину при плохой игре. Значит, месяца три.

– Да, с моей точки зрения, примерно так.

– Тогда, повторяю, я отказываюсь этому верить. Завидев дьявола, я вступаю с ним в схватку. И сейчас – куда бы нам ни пришлось ехать, сколько бы ни пришлось заплатить – не позволю лукавому отнять у меня жену.

– Желаю всяческой удачи, – ответил Пауэлл, – и остаюсь к вашим услугам. Но напоследок хочу дать вам две рекомендации. Возможно, это излишне, но того требует мой долг. Надеюсь, они вас не оскорбят.

Артур выпрямил спину – ни дать ни взять солдат, готовый выслушать приказ.

– Насколько мне известно, у вас есть дети?

– Двое: мальчик и девочка. Сыну год, дочке четыре.

– Чтобы вы понимали: возможность...

– Да, я понимаю.

– Речь идет не о возможности зачатия...

– Мистер Пауэлл, я не идиот. И не животное.

– Поймите, здесь не должно быть недомолвок. А второй вопрос, вероятно, не столь очевиден: это проявления... возможные проявления заболевания у конкретного пациента. У миссис Дойл.

– А именно?

– Наш опыт показывает, что чахотка протекает не так, как другие изнурительные болезни. Обычно пациент практически не испытывает боли. По степени причиняемых неудобств это заболевание в ряде случаев сопоставимо с кариесом или запором. Но в отличие от них затрагивает мыслительные способности. Больной нередко проявляет оптимизм.

– Вы имеете в виду слабоумие? Помешательство?

– Нет-нет, оптимизм. Безмятежность; я бы даже сказал, бодрость.
– Под воздействием назначенных медикаментов?
– Ничуть. Под воздействием заболевания как такового. Независимо от того, в какой мере пациент осознает серьезность своего положения.
– Что ж, это снимет груз с моей души.
– Вероятно, да. Но только на первых порах, мистер Дойл.
– К чему вы клоните?
– Да к тому, что больной, который не страдает, не жалуется, не теряет бодрости духа перед лицом тяжелой болезни, перекладывает страдания и жалобы на плечи других.
– Вы меня плохо знаете, сэр.
– Да, согласен. И все же мой вам совет: запаситесь мужеством.
В горе и радости, в богатстве и бедности. Он забыл, что дальше говорится: в болезни и здравии.

Из психиатрической лечебницы прислали альбомы Чарльза Дойла. В последние годы жизни отец Артура являл собой жалкое зрелище: всеми покинутый, он лежал в своем унылом последнем пристанище, но чудом сохранил рассудок, продолжал заниматься акварельной живописью, делал карандашные наброски, вел дневник. Артура осенило: его отец, крупный художник, недооцененный в своем кругу, заслуживает посмертной выставки в Эдинбурге, а возможно, и в Лондоне. Поневоле Артур задумался над контрастом их судеб: если сын наслаждался объятиями славы и высшего света, то на долю брошенного отца время от времени доставались только крепкие объятия смирительной рубашки. Никакой вины Артур за собой не чувствовал – разве что начатки сыновнего сострадания. А в отцовском дневнике он вычитал фразу, способную разбередить душу любого сына. «Я убежден, – говорилось там, – меня заклемили сумасшедшим лишь потому, что у шотландцев нет чувства юмора».

В декабре того же года Холмс в связке с Мориарти нашел свою смерть: нетерпеливая авторская рука столкнула обоих с утеса. Лондонские газеты не удостоили некрологом Чарльза Дойла, но пестрели излишними протеста и смятения по случаю смерти вымышленного сыщика-консультанта, чья популярность стала вызывать смущение и даже неприязнь у его создателя. Артуру казалось, что мир сошел с ума: отец его лежит в сырой земле, жене вынесен смертный приговор, а всякие хлыщи из Сити носят на шляпах черные креповые ленточки в знак траура по Шерлоку Холмсу.

Под занавес этого тяжелого года произошло еще одно событие: через месяц после смерти отца Артур стал членом Общества парапсихологических исследований.

Джордж

Выпускные экзамены на чин адвоката-солиситора Джордж сдает с отличием второй степени и получает бронзовую медаль Бирмингемского юридического общества. Он открывает собственную контору в доме номер пятьдесят четыре по Ньюхолл-стрит, предварительно заручившись обещанием приработка от фирмы «Сангстер, Викери энд Спейт». Ему исполнилось двадцать три; мир для него меняется.

Невзирая на детство, проведенное в пасторском доме, несмотря на неослабное сыновнее внимание к проповедям, звучавшим с кафедры в церкви Святого Марка, Джордж порой ловит себя на непонимании Библии. Не целиком, конечно, и не всегда; точнее будет сказать, на недостаточном понимании, но достаточно часто. Ему и раньше виделся некий зазор между реальностью и верой, а нынче зазор этот стал непреодолимым. От этого Джордж чувствует себя мошенником. Догматы Англиканской церкви, оставаясь данностью, все более отдаляются. Он не ощущает их близкими истинами, не видит, чтобы они день за днем, миг за мигом подтверждались. С родителями он, естественно, этим не делится.

В школе перед ним открывались дополнительные сюжеты и объяснения бытия. Как гласит наука...; как гласит история...; как гласит литература... Джордж без труда сдавал экзамены по этим предметам, далеким, с его точки зрения, от жизни. Но теперь, когда ему открылась юриспруденция, мир наконец-то приобретает осмысленность. В нем проявляются невидимые прежде связи: между людьми, между идеями, между принципами.

Взять хотя бы поездку из Блоксвича в Бёрчхиллз: из окна вагона Джордж провожает глазами живую изгородь. Однако, в отличие от своих попутчиков, он видит не переплетение послушных ветру кустарников, где гнездятся пернатые, а официальное размежевание земельных участков, границу, определенную договором многолетней давности, активную сущность, способную как закрепить мирные отношения, так и разжечь конфликт. Дома он смотрит, как служанка скоблит деревянную столешницу, но вместо грубоватой и неловкой девицы, которая норовит рассовать куда попало его книги, видит договор найма и предусмотренные им обязанности в их сложной и хрупкой взаимосвязи, поддерживаемой веками прецедентного права, но совершенно не знакомой ни одной из сторон.

В юриспруденции он чувствует себя уверенно и комфортно. Здесь есть широкое поле для толкований: ведь нужно понимать, как и почему слова

могут нести и несут разный смысл; а комментарии к текстам законов существует, пожалуй, немногим меньше, чем к Библии. Только в конце не остается того самого зазора. Здесь в итоге – достигнутое согласие, непреложное решение, понимание смыслов. Допустим, пьяный матрос написал свою последнюю волю на страусином яйце; матрос утонул, яйцо сохранилось, и тут в дело вступает закон, который придает связность и объективность выцветшим от морской воды словам.

Другие молодые люди делят свою жизнь между трудом и удовольствием, а точнее, занимаясь первым, грезят о втором. От юриспруденции Джордж получает и первое, и второе. У него нет ни желания, ни потребности участвовать в спортивных состязаниях, кататься на лодке, ходить по театрам, ему неинтересно дурманить себя алкоголем, чревоугодничать или наблюдать за бегущими наперегонки лошадьми; не тянет его и путешествовать. У него есть собственное дело, а для удовольствия он занимается железнодорожным правом. Не удивительно ли: десятки тысяч людей, которые изо дня в день ездят поездом, даже не имеют под рукой удобного карманного справочника, из которого можно узнать свои права в сопоставлении с правами железнодорожной компании. Джордж обращается в издательский дом Эффингема Уилсона, выпускающий серию «Карманные юридические справочники издательства „Уилсон“», отсылает туда пробную главу – и узнает, что его заявка принята.

В силу своего воспитания Джордж ценит усердие, честность, бережливость, благотворительность и любовь к семье; он убежден, что добродетель сама по себе – уже награда. Как старший брат, он должен подавать пример Хорасу и Мод. Чем дальше, тем больше Джордж убеждается, что родители, любящие всех троих детей одинаково, именно на него возлагают весь груз своих ожиданий. Мод, как всегда, остается источником тревог. Хорас – паренек вполне достойный, но способностей к учебе не обнаруживает. Он теперь живет самостоятельно, устроившись по протекции маминой кухни на государственную службу – самым мелким клерком.

И все же в какие-то моменты Джордж ловит себя на том, что завидует Хорасу, который снимает угол в Манчестере и время от времени присылает домой веселую открытку с какого-нибудь приморского курорта. А в иные моменты Джордж сокрушается, что на свете не существует Доры Чарльзуорт. Знакомых барышень у него так и не появилось. Домой к ним никто не заходит; у Мод нет друзей, с которыми можно было бы завести знакомство. Гринуэй и Стентсон бахвалятся своими успехами на личном фронте, но Джордж не больно-то им верит и без сожаления отдаляется от

этих дружков. Сидя на скамье на Сент-Филипс-Плейс и жуя бутерброды, он восхищенно поглядывает на проходящих мимо девушек; порой запоминает какую-нибудь милашку и вожделет ее по ночам, под отцовские стоны и посапывания. Дела плоти Джорджу известны – они перечислены в Послании к Галатам, глава пятая: это, прежде всего, прелюбодеяние, блуд, нечистота и непотребство. Но он отказывается верить, что его робкие чаяния могут быть расценены как два последних греха.

Настанет день – и он женится. Будут у него и часы с цепочкой, и младший партнер; а возможно, еще и стажер; и супруга, и детишки, и собственный дом, при покупке которого он использует все свои навыки совершения сделок. Он уже воображает, как будет за ланчем обсуждать со старшими партнерами других бирмингемских юридических фирм Закон о продаже товаров и услуг от 1893 года. Коллеги почтительно выслушают его краткое изложение современных толкований этого закона, а когда он пододвинет к себе счет, дружно воскликнут: «Браво, старина Джордж!» Вот только он не вполне понимает, как именно можно достичь такого уровня: либо сперва обзавестись женой, а затем домом, либо сперва домом, а уж потом женой. Не важно: он уже представляет, как оба эти приобретения появятся у него в той или иной, не обозначенной пока очередности. Конечно, и одно и другое потребует прощания с Уэрли. Отцу он не задает вопросов на сей счет. Равно как и не любопытствует, с какой целью отец по-прежнему вечерами запирает дверь спальни.

Когда Хорас съехал из родительского дома, Джордж понадеялся, что ему разрешат занять освободившуюся комнату. Небольшой письменный стол, купленный для него при поступлении в Мейсон-колледж и втиснутый в отцовскую комнату, давно не отвечает его потребностям. Джордж уже воображал, как передвинет в комнату брата и свою кровать, и этот письменный стол, чтобы получить возможность уединения. Но когда он высказывает свою просьбу матери, та мягко разъясняет, что Мод теперь, по мнению врачей, достаточно окрепла, чтобы спать в отдельной комнате; не лишать же девочку такой возможности, правда? Он понимает: жалобы на отцовский храп, который усилился до такой степени, что порой не дает ему заснуть, уже ни к чему. Поэтому Джордж, как прежде, и ночует, и работает на расстоянии вытянутой руки от отца. Правда, ему делается поблажка: возле письменного стола появляется маленький придвижной столик для необходимых книг.

Джордж не отказывается от привычки (которая уже переросла в потребность) каждый вечер совершать часовую прогулку. Это единственная сторона его жизни, установленная раз и навсегда. У двери черного хода он

держит пару разношенных башмаков и в любую погоду, хоть под дождем, хоть под солнцем, хоть в град, хоть в снегопад, выходит на проселочные дороги. Местные пейзажи ему неинтересны, равно как и крупный, ревущий домашний скот. Что же касается человеческого присутствия, иногда ему мнится, что навстречу попался кто-то из его деревенских однокашников, еще из времен мистера Бостока, но твердой уверенности нет. Вне всякого сомнения, фермерские сыновья уже сами трудятся на фермах, а шахтерские сыновья спускаются в забой. Изредка Джордж бормочет какие-то полуприветствия каждому встречному, слегка отворачивая поднятую голову, а бывает, что вообще не здоровается ни с кем из прохожих, даже если вспоминает, что накануне им кивал.

Как-то раз выход на прогулку задерживается: на кухонном столе Джордж замечает бандероль. Ее размеры, вес и лондонский штемпель мгновенно сигнализируют о содержимом. Джордж хочет, насколько возможно, продлить это мгновение. Он развязывает бечевку и аккуратно наматывает ее на пальцы. Снимает и разглаживает вощеную оберточную бумагу, которая еще может пригодиться. Мод едва не прыгает от радости; даже мать выражает определенное нетерпение. Джордж открывает книжку на титульном листе:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПРАВО

ДЛЯ

«ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПОЕЗДА»

Рекомендуется в качестве справочника по всем вопросам, возникающим у широкой публики в связи с поездками по железной дороге

ДЖОРДЖ Э. Т. ЭДАЛДЖИ,

солиситор;

Диплом с отличием второй степени, ноябрь 1898;

бронзовая медаль Бирмингемского юридического общества.

ЛОНДОН

ЭФФИНГЕМ УИЛСОН

Королевская биржа

1901

(авторское право зарегистрировано)

Далее он обращается к «Содержанию». *Подзаконные акты и область их действия. Сезонные проездные документы. Сбои в движении поездов и др. Багаж. Перевозка велосипедов. Несчастные случаи. Разное.* Он показывает Мод те казусы, которые они обсуждали вместе с Хорасом в комнате для занятий. Вот, пожалуйста: тучный мсье Пайель; вот бельгийцы со своими собаками.

Сегодня, как понимает Джордж, он может собой гордиться; за ужином развеиваются все сомнения – родители считают, что определенная доля гордости, если она оправданна, христианством не возбраняется. Он выучился, сдал экзамены. Открыл собственное дело, а теперь показал себя специалистом в той области права, где можно оказать реальную помощь множеству людей. Он выбрал свою стезю: вот истинное начало жизненного пути.

Джордж едет в типографию «Хорнимен и компания» заказывать рекламные листки. Подробно обсуждает расположение текста и шрифт с самим мистером Хорнименом – как профессионал с профессионалом. Через неделю он получает в свое распоряжение весь тираж – четыреста оповещений о выходе книги. Триста экземпляров он оставляет у себя в конторе, чтобы не выглядеть тщеславным, а сотню привозит домой. Бланк заказа предлагает заинтересованным лицам присылать почтовым переводом 2 шиллинга 3 пенса (три пенса – на покрытие почтовых расходов) по адресу: 54, Ньюхолл-стрит, г. Бирмингем. Джордж вручает пачки листов родителям, чтобы те раздавали их перспективного вида «людям из поезда», мужчинам и женщинам. На следующее утро он презентует три экземпляра начальнику станции «Грейт-Уэрли – Чёрчбридж», а остальные сам раздает уважаемым попутчикам.

Артур

Мебель они сдали на товарный склад, а детей вверили заботам миссис Хокинс. Из туманного, сырого Лондона – в чистый, сухой и прохладный Давос, где Туи расположилась под кипой одеял в отеле «Курхаус». Как и предрекал доктор Пауэлл, ее недуг сопровождался непонятным оптимизмом; от этого Туи, по натуре безмятежная, держалась даже не стоически, а с душевным подъемом. Было предельно ясно, что в считанные недели произойдет ее превращение из жены и спутницы в беспомощную иждивенку, однако Туи не сетовала на свое состояние и тем более не впадала в бешенство, как повел бы себя Артур. Тот бесился за двоих, но молча и в одиночку. При этом ему удавалось скрывать самые мрачные мысли. Каждое безропотное покашливание Туи пронзало его болью; когда у нее в мокроте появилась кровь, угрызения совести стали нестерпимыми.

Какова бы ни была степень его вины и небрежения, пути назад не было; ему оставался единственный образ действий: беспощадная атака на треклятую бациллу, разъедавшую Туи изнутри. А когда его присутствия не требовалось, ему оставался единственный вид отдыха: беспощадные физические нагрузки. В Давос он захватил купленные в Норвегии лыжи и стал брать уроки у двух братьев по фамилии Брангер. Когда их ученик приобрел навыки, сопоставимые со своей зверской решимостью, они устроили ему испытание на склоне горы Якобсхорн; с вершины он увидел далеко внизу приспущенные городские флаги. В ту же зиму, но несколько позднее Брангеры повели его на Фуркапасс, расположенный на высоте без малого двух с половиной километров. Выдвигаться пришлось в четыре часа утра, чтобы к полудню добраться до Арозы; таким образом, Артур стал первым англичанином, преодолевшим альпийский перевал на лыжах. В местной гостинице Тобиас Брангер зарегистрировал всех троих. В графе «род занятий» против имени Артура он написал: *Sportesmann*.

Альпийский воздух, лучшие врачи, свобода в денежных средствах, помощь Лотти, взявшей на себя обязанности сиделки, и настойчивость Артура в борьбе с дьяволом – все это способствовало стабилизации, а затем и улучшению состояния Туи. В конце весны она окрепла настолько, что ей разрешили вернуться в Англию; у Артура появилась возможность уехать в рекламный тур по Америке. Следующей зимой они вернулись в Давос. Первоначальный приговор сроком в три месяца был опровергнут; доктора в один голос подтверждали, что здоровье пациентки теперь внушает куда меньше опасений. Третью зиму Артур и Туи провели в пустыне близ Каира,

поселившись в отеле «Мена-хаус» – невысоком белом строении, за которым в отдалении маячили пирамиды. Артур с раздражением вдыхал колючий воздух, но успокаивался игрой на бильярде, а также партиями в теннис и гольф. Ему светили ежегодные зимние ссылки, каждая чуть длиннее предыдущей, а после... Нет, он не позволял себе загадывать дальше весны, дальше лета. Хорошо еще, что в этих неустроенных гостиничных буднях, в переездах по морю и по железной дороге Артур умудрялся писать. А когда ему не работалось, он шел в пустыню и колотил битой по мячу, отправляя его как можно дальше. В сущности, это песчаное поле для гольфа представляло собой один необъятный песчаный бункер; куда ни попадешь – все едино. Такой же, по всей видимости, сделалась и его жизнь.

Однако в Англии судьба свела его с Грантом Алленом: подобно Артуру, тот был писателем; подобно Туи – легочным больным. Он заверил Артура, что для борьбы с недугом вовсе не обязательно уезжать в ссылку, и в качестве живого доказательства предъявил самого себя. Разгадку дал его адрес: Хайндхед, графство Суррей. Деревня на Портсмутском тракте – как оказалось, на полпути между Саутси и Лондоном. Что важно: ее отличал уникальный микроклимат. Это была возвышенная, защищенная от ветров местность, сухая, лесистая, с песчаными почвами. Ее называли суррейской Швейцарией.

Артура не пришлось долго убеждать. Он жаждал деятельности и насущных планов, не терпел промедлений и опасался пустоты, неизбежной во время любой ссылки. Хайндхед предлагал решение всех вопросов. Оставалось купить землю и заказать проект особняка. Артур подыскал участок площадью в четыре акра, поросший елями, уединенный, спускавшийся к небольшой долине. Поблизости находились возвышенность Гиббет-Хилл и впадина «Чертова ступа»; на расстоянии пяти миль, в Хэнкли, располагалось поле для гольфа. Артура обуревали идеи: предусмотреть бильярдную, и теннисный корт, и конюшню; обустроить жилье для Лотти, а возможно, и для миссис Хокинс, и, конечно, для Вуди, с которым был заключен бессрочный контракт. Особняк должен быть внушительным и в то же время приветливым, как и положено дому именитого писателя, но вместе с тем удобным для всей семьи и для больной женщины. Пусть в нем будет много света, а из комнаты Туи пусть открывается самый лучший вид. Каждая дверь пусть будет оснащена электрической кнопкой – когда-то Артур пытался подсчитать, сколько времени человечество тратит на возню с обычными дверными ручками. Вполне возможно установить здесь собственный электрогенератор;

а учитывая, что владелец особняка достиг определенного уровня, здесь будет уместен витраж с изображением фамильного герба.

Набросав план, Артур вручил его архитектору. Причем не первому попавшемуся, а самому Стэнли Боллу, его старинному знакомцу-телепату из Саутси. Те ранние эксперименты по передаче мыслей на расстоянии он теперь считал неплохой разминкой. Из Давоса, куда придется в очередной раз вывезти Туи, можно будет поддерживать с Боллом почтовую, а то и телеграфную связь. Но кто знает, добьются ли они архитектурного единомыслия, если физически окажутся за сотни миль друг от друга?

Витражное окно хорошо бы сделать во всю высоту двухэтажного холла. В верхней части – английская роза, в нижней – шотландский чертополох, а по центру – вензель А. К. Д. Под ним – три уровня геральдических щитов. Первый уровень: Перселлы Фоулкс-Ротские, Пэки Килкеннийские, Махоны Шивернийские. Второй уровень: Перси Нортумберлендские, Батлеры Ормондские, Коклафы Тинтернские. И на уровне глаз: Конаны Бретонские (горизонтальная перекладина на серебряном фоне и красный лев на задних лапах, со сменой тинктуры), Хокинсы Девонширские (дань происхождению Туи) и, наконец, герб Дойлов: три оленьи головы и ольстерская красная рука. Изначально девиз Дойлов гласил: *Fortitudine Vincit*; но здесь, под геральдическим щитом, Артур расположил другой вариант: *Patientia Vincit*. Это и будет ответом нового дома всему миру и треклятой бацилле: побеждает терпение.

Стэнли Болл и его строители видели одно лишь нетерпение. Устроив себе штаб-квартиру в ближайшей гостинице, Артур то и дело приезжал на строительную площадку и донимал всех. Но в конце концов особняк приобрел узнаваемые очертания: длинная, как сарай, постройка из красного кирпича со множеством изразцов и тяжеловесными фронтонами стянула узкую часть долины. Стоя на новенькой террасе, Артур окидывал хозяйским глазом широкую, только что раскатанную и засеянную лужайку. За ней участок острым клином уходил вдаль и терялся в лесу. Зрелище было магическое: Артуру оно сразу напомнило какую-то германскую сказку. Оставалось только высадить здесь рододендроны.

На торжественное открытие витража Артур привез с собой Туи. Она обвела глазами цвета, имена, а потом остановила взгляд на девизе дома.

– Матушка будет довольна, – заметил Артур. И только мимолетная пауза, предшествовавшая улыбке жены, заронила в его душу сомнение. – А ведь ты права, – спохватился он, хотя она не произнесла ни слова.

Ну не болван ли он? Как можно было, увековечивая свою блистательную генеалогию, забыть о родословной собственной матери? На

мгновение Артуру захотелось приказать рабочим тут же размонтировать эти стекла, будь они неладны. Затем, после виноватых размышлений, он заказал еще один, более скромный витраж для лестничной клетки. В его центральной части предполагалось расположить упущенный герб с именем рода: Фоули Вустерширские.

Свои владения он решил назвать «Подлесьем» (в знак нависающих древесных крон), дабы придать современной постройке элегантный англосаксонский колорит. Жизнь здесь можно было вести как раньше, только с оглядкой и в ограниченных пределах.

Жизнь. Как легко слетало у всех с языка – в том числе и у него – это слово. Жизнь должна продолжаться, с этим никто не спорит. И лишь немногие задаются вопросами: а что есть жизнь, и почему она есть, и единственная ли она – или это всего лишь амфитеатр, ведущий в совершенно иные пределы. Артура нередко озадачивала легкость, с которой люди относятся к тому, что привычно именуют своей... своей жизнью, будто отчетливо понимают и само слово, и его обозначаемое.

Его старинный друг из Саутси, генерал Дрейсон, уверовал в спиритуалистские доводы после того, как с ним во время сеанса заговорил покойный брат. С той поры астроном утверждал, что жизнь после смерти – это не предположение, а доказуемый факт. Поначалу Артур вежливо спорил, но до конца года в его списке «Читать обязательно» появилось семьдесят четыре источника на темы спиритуализма. Он проработал все и даже выписал для себя особо понравившиеся фразы и максимы. Как, например, вот это, из Гелленбаха: «Бывает такой скепсис, который своим идиотизмом превосходит даже тупость деревенского увальня».

Пока Туи не заболела, у Артура было все, что, по мнению света, приносит мужчине удовлетворение. Однако при этом он не мог избавиться от чувства, что его успехи – это не более чем тривиальное, показное начало; что создан он для чего-то другого. Но для чего? Он вернулся к изучению религий мира, но каждая оказывалась ему тесна, как детский костюм. Вступив в члены Ассоциации рационалистов, он счел ее деятельность бесполезной, хотя и разрушительной по своей сути, а потому бесплодной. Для прогресса человечества требовалось низвержение прежних верований, однако теперь, когда эти обветшалые здания сровнялись с землей, где может отдельно взятый человек укрыться на этом искореженном ландшафте? Неужели у кого-то хватало легковерия считать, что история той сущности, которую человечество миллионы лет по уговору называло душой, близка к своему окончанию? Человеческие существа будут развиваться и впредь, а вместе с ними неизбежно будет развиваться и

то, что у них внутри. Это понимает даже деревенский увалень-скептик.

Неподалеку от Каира, пока Туи полной грудью вдыхала воздух пустыни, Артур осматривал гробницы фараонов и читал книги по истории египетской цивилизации. Он заключил, что древних египтян, которые безусловно подняли науку и искусство на новый уровень, отличало примитивное во многих отношениях мышление. Особенно в вопросах отношения к смерти. Их традиция любой ценой сохранять мертвое тело – старое, выношенное одеяние, некогда укрывавшее душу, – была даже не смехотворной: она была сугубо материалистической. А чего стоили эти корзины с провизией, помещаемые в гробницы, дабы в процессе своего перемещения душа утоляла голод. Возможно ли, что у тех людей, столь разносторонних, был такой выхолощенный ум? Вера, подкрепленная материализмом: двойное проклятие. И то же самое проклятие отравляло все последующие народы, попадавшие под власть духовенства.

Тогда, в Саутси, Артур счел доводы генерала Дрейсона несостоятельными. Но теперь к признанию паранормальных явлений склонялись маститые, кристально честные ученые: Уильям Крукс, Оливер Лодж и Альфред Рассел Уоллес. Одно перечисление этих имен означало, что великие физики и биологи, лучше других понимающие естественный мир, стали вместе с тем нашими проводниками в мир сверхъестественного.

Взять хотя бы Уоллеса. Сооткрыватель сегодняшней теории эволюции, он стоял бок о бок с Дарвином, когда на заседании Линнеевского общества они делали совместный доклад на тему естественного отбора. Боязливые и недалекие тогда заключили, что Уоллес и Дарвин ввергли человечество в безбожную, механистическую бездну и бросили в потемках на произвол судьбы. Но если вдуматься: какого мнения придерживался сам Уоллес? Этот крупнейший деятель современной науки утверждал, что естественный отбор ответствен только за развитие человеческого организма, но в сам процесс эволюции на каком-то этапе безусловно произошло вмешательство свыше: именно тогда грубому развивающемуся животному было даровано пламя Духа. И кто после этого посмеет заявить, что наука – враг души?

Джордж и Артур

Тьму холодной и ясной февральской ночи прорезал полумесяц, окруженный небесной россыпью звезд. Вдалеке, у горизонта, четко вырисовывались отвалы уэрлийских шахт. Поблизости находилась ферма

Джозефа Холмса: дом, хлев, надворные постройки – нигде ни огонька. Люди спали; даже птицы еще не проснулись.

Но кобылу разбудило появление в дальнем конце лужайки какого-то человека, пробравшегося сквозь лаз в живой изгороди. У пришельца через руку была переброшена торба. Понимая, что лошадь уже начеку, он остановился и тихо заговорил. Слова лились бессмысленным потоком; важен был тон: спокойный, ласковый. Через пару минут человек начал потихоньку двигаться. Но стоило ему сделать несколько шагов, как лошадь дернула головой, да так, что грива взметнулась мутным пятном. Человек опять замер.

При этом он, не сводя глаз с лошади, по-прежнему нес всякую бессмыслицу. Земля ночью промерзла, и ботинки не оставляли следов. Продвигался он медленно, по несколько шагов зараз, и останавливался, как только лошадь начинала проявлять хоть малейшие признаки беспокойства. Держался он прямо, в полный рост, не таясь. Переброшенная через руку торба была второстепенной деталью. Куда важнее оказались спокойные и настойчивые ноты в голосе, уверенность в движениях, пристальный взгляд, мягкие повадки.

Таким манером он и пересек лужайку, на что ушло минут двадцать. А потом, не сводя глаз с лошади, остановился уже в считаных ярдах от стойла. Все так же: в полный рост, без резких движений, бормоча неизвестно что, пристально глядя перед собой, выжидая. И в конце концов случилось то, что ему требовалось: вначале неохотно, а потом решительно лошадь опустила голову.

Даже сейчас посторонний обошелся без резких движений. Постояв минуту-другую, он преодолел последние ярды и любовно повесил торбу на лошадиную шею. Животное не поднимало головы; человек, безостановочно бормоча, стал его гладить. Потрепал гриву, затем бока, спину; временами он просто задерживал руку в неподвижности, чтобы только продлить касания.

Все так же, поглаживая теплую кожу и бормоча, мужчина снял с лошадиной шеи торбу и повесил себе на плечо. Все так же, поглаживая теплую кожу и бормоча, полез за пазуху. Все так же, поглаживая теплую кожу и бормоча, обнял животное за шею одной рукой, а другую завел под конское брюхо.

Лошадь едва заметно вздрогнула; человек умолк и в этой новой тишине размеренно зашагал назад, к лазу в живой изгороди.

Джордж

Каждое утро Джордж выезжает в Бирмингем самым ранним поездом. Расписание он выучил назубок и полюбил. Уэрли-Чёрчбридж – 7:39. Блоксвич – 7:48. Бёрчхиллз – 7:53. Уолсолл – 7:58. Бирмингем, Нью-стрит – 8:35. У него больше не возникает потребности спрятаться за газетой; более того, ему порой кажется, что кое-кто из попутчиков узнает в нем автора издания «Железнодорожное право для „человека из поезда“» (продано 237 экземпляров). Он приветствует контролеров и дежурных по вокзалу; те салютуют ему в ответ. У него нынче респектабельные усы, портфель, скромные часы с цепочкой, а в дополнение к шляпе-котелку на летний период прикуплено канотье. Имеется и зонт. Этим последним приобретением он особенно горд и нередко берет его с собой назло барометру.

В вагоне Джордж читает газету и пытается сформировать собственное мнение о событиях всемирного масштаба. В прошлом месяце мистер Чемберлен выступил в бирмингемской ратуше с важной речью на тему колоний и льготных тарифов. Джордж занимает позицию сдержанного одобрения (хотя его мнением пока никто не интересуется). В следующем месяце граф Робертс Кандагарский должен получить почетное гражданство – ни один человек в здравом уме не станет оспаривать эту привилегию.

Из газеты он узнает и другие новости, более тривиальные, местного значения: близ Уэрли вновь полоснули домашнее животное. У Джорджа возникает мимолетный вопрос: каким разделом уголовного права предусмотрена ответственность за подобные деяния: следует ли квалифицировать их как уничтожение частной собственности, согласно Закону о краже, или же существуют какие-либо другие законодательные акты, где прописаны конкретные виды животных? Его радует, что трудится он в Бирмингеме и жить будет там же – это лишь дело времени. Понятно, что нужно будет объявить о своем решении, переступив через отцовское недовольство, мамины слезы и молчаливое, а от этого еще более мучительное отчаяние Мод.

Сегодня утром, по мере того как луга, испещренные стадами, уступают место аккуратным пригородам, Джордж ощущает заметный прилив бодрости. Много лет назад отец сказал, что фермерские сыновья и батраки – это смиренные земли: их любит Господь, они наследуют землю. Ну не все же без разбору, проносится в голове у Джорджа, и отнюдь не в соответствии с теми правами наследования, которые ему известны.

С ним в вагоне часто едут школьники, по крайней мере до Уолсолла, где находится классическая гимназия. Своей гимназической формой, даже одним своим присутствием они порой напоминают Джорджу о тех жутких временах, когда его обвинили в краже ключа от дверей этого учебного заведения. Но то – дело прошлое, а нынешние гимназисты в большинстве своем держатся вполне уважительно. Одна группка уже примелькалась; вслушиваясь в их болтовню, Джордж запоминает фамилии этих мальчиков: Пейдж, Гаррисон, Грейторекс, Стэнли, Ферридей, Куибелл. Через три-четыре года совместных поездок они уже кивают ему при встрече.

В доме номер пятьдесят четыре по Ньюхолл-стрит значительная часть времени уходит на оформление сделок с недвижимостью; один опытный законник сказал, что в этой работе «нет места воображению и свободному полету мысли». Такая пренебрежительная оценка ничуть не смущает Джорджа; ему этот род деятельности видится конкретным, ответственным и необходимым. Помимо всего прочего, он оформил несколько завещаний, а в последнее время клиентура его расширилась в связи с публикацией «Железнодорожного права». У одного потерял багаж, у другого без видимой причины опоздал поезд, а некая дама, поскользнувшись и упав на станции Сноу-Хилл, получила растяжение запястья, и все из-за того, что железнодорожник по халатности разлил возле локомотива масло. Несколько случаев было связано с транспортными происшествиями. У него создается впечатление, что житель Бирмингема подвергается куда большему риску попасть под колеса велосипеда, автомобиля, конного экипажа, трамвая и даже поезда, чем можно себе представить. Не исключено, что в скором времени именно Джорджа Эдалджи, дипломированного поверенного, будут вызывать на место происшествия всякий раз, когда человеческое тело пострадает от чьего-либо безрассудного управления транспортным средством.

Поезд в обратном направлении отбывает от платформы вокзала Нью-стрит в 17:25. В этот час школьники – редкие пассажиры. Вместо них в вагон порой набивается более многочисленный и неотесанный контингент, вызывающий у Джорджа неприязнь. В его сторону то и дело летят совершенно неуместные ремарки: насчет отбеливателя, насчет забывчивости его матери, которая не пользуется карболкой, а также вопросы о том, спускался ли он сегодня в забой. Обычно он игнорирует эти выпады, но если какой-нибудь желторотый грубиян совсем уж распояшется, Джордж, вероятно, не преминет напомнить, с кем тот имеет дело. Сам он не из храбрецов, но в подобных случаях держится на редкость спокойно. Он знает английские законы и уверен, что в случае чего сможет

на них рассчитывать.

Бирмингем Нью-стрит, 17:25. Уолсолл, 17:55. По неизвестным Джорджу причинам этот поезд минует Бёрчхиллз без остановки. Далее Блоксвич, 18:02; Уэрли-Чёрчбридж, 18:09. В 18:10 он кивком приветствует начальника станции мистера Мерримена (и при этом нередко вспоминает, какое решение вынес его честь судья Бэкон, когда в 1899-м суд графства Блумсбери рассматривал дело о незаконном удержании просроченных сезонных билетов) и, повесив зонт на левое запястье, шагает к дому.

Кэмпбелл

За два года, истекшие со времени назначения инспектора Кэмпбелла в полицейское управление Стаффордшира, ему пару раз доводилось встречаться с капитаном Энсоном, но в Грин-Холл его не вызывали ни разу. Дом главного констебля стоял на окраине города, среди заливных лугов на дальнем берегу реки Соу, и слыл самым большим жилым особняком от Стаффорда до Шагборо. Ступая по гравию подъездной аллеи, отходящей от Личфилд-роуд, и видя постепенно открывающиеся размеры Холла, Кэмпбелл невольно задавался вопросом, какую же площадь тогда занимает «Шагборо» – особняк, принадлежащий старшему брату капитана Энсона. Сам главный констебль, будучи только лишь вторым сыном, вынужденно довольствовался этим скромным побеленным жилищем: три этажа, фасад в семь или восемь окон, внушительный портик с четырьмя колоннами. По правую руку виднелась терраса, дальше – заглубленный розарий, а за ним беседка и теннисный корт.

Все это Кэмпбелл отметил, не замедляя шага. Дверь отворила горничная, и он попытался на время забыть о своих естественных профессиональных привычках: оценивать возможный уровень неподкупности и доходов обитателей дома, запечатлевать в памяти предметы, которые в первую очередь прихватывают воры, а в отдельных случаях – еще и те, что, по всей вероятности, уже прошли через воровские руки. Напустив на себя равнодушный вид, он тем не менее отметил и полированное красное дерево, и облицованные белыми панелями стены, и причудливую вешалку в прихожей, а справа – лестницу с оригинальными витыми балясинами.

Его провели в комнату слева от входа. Вероятно, кабинет Энсона: по обе стороны камина стоят кожаные кресла с высокими спинками, над

камином нависает голова убитого лося или оленя. Какого-то сохатого, одним словом; Кэмпбелл на охоту не ездил, да и не имел такого желания. Вырос он в Бирмингеме и не по своей воле подал рапорт о переводе: его жена, устав от городской суматохи, затосковала о размеренной жизни на просторах своего детства. Всего-то пятнадцать миль, но для Кэмпбелла это было равносильно ссылке в другую страну. Местные господа от тебя нос воротят, фермеры живут замкнуто, шахтеры и кузнецы – та еще публика, мягко говоря. Всякие смутные представления о романтике сельской жизни очень быстро развеялись. А отношение к полиции здесь, похоже, было еще хуже, чем в городе. Он уже потерял счет эпизодам, когда оказывался пятой спицей в колеснице. Допустим, совершено преступление, о нем даже заявлено в полицию, но жертвы демонстративно склоняются к собственному понимаю правосудия, а не к тому, что навязывает им какой-то прощельга в костюме-тройке и шляпе-котелке, от которых за версту несет городским духом.

Семенящей походкой в комнату вошел Энсон, протянул руку посетителю и пригласил его садиться. Хозяин дома, одетый в двубортный костюм, был невысок ростом и крепко сбит, лет сорока пяти. Ни у кого еще Кэмпбелл не видывал столь аккуратных усов: они казались продолжениями крыльев носа и точно вписывались треугольником в пространство над верхней губой, как будто были приобретены по каталогу после скрупулезнейших замеров. Галстук скрепляла золотая булавка в форме стаффордширского узла, возвещавшего миру и без того известную истину: капитан, почтенный Джордж Огастес Энсон, главный констебль с тысяча восемьсот семьдесят восьмого года, заместитель председателя Совета графства по делам территориальной армии с тысяча девятисотого, – до мозга костей патриот Стаффорда. Кэмпбелл, полицейский-профессионал, принадлежавший к более молодому поколению служителей правопорядка, не мог взять в толк, почему начальником местной полиции должен быть единственный дилетант во всем подразделении; но не только это удивляло его в устройстве общества, которое базировалось скорее на замшелых предрассудках, нежели на современных представлениях. И все же Энсон пользовался уважением подчиненных и был известен тем, что не давал в обиду своих офицеров.

- Кэмпбелл, вы, наверное, уже догадались, в какой связи я вас вызвал.
- Полагаю, что в связи с нападениями на домашний скот, сэр.
- Именно так. Сколько у нас было эпизодов?

Эти данные Кэмпбелл отрепетировал так, что они от зубов отскакивали, но тем не менее полез за блокнотом.

– Второго февраля: ценной породы лошадь, принадлежавшая мистеру Джозефу Холмсу. Второго апреля: верховой жеребец, принадлежавший мистеру Томасу; зарезан точно таким же способом. Четвертого мая: корова из стада миссис Бангей – тем же способом. Еще через две недели, восемнадцатого мая: зверски искалечена лошадь мистера Бэджера; той же ночью – пять овец. Наконец, на прошлой неделе, шестого июня – две коровы, принадлежавшие мистеру Локьеру.

– И всегда в ночное время?

– Всегда в ночное время.

– Какие-нибудь отчетливые закономерности прослеживаются?

– Все нападения совершены в радиусе трех миль от Уэрли. И еще... не знаю, можно ли считать это закономерностью, но все случаи произошли на первой неделе месяца. Исключение только одно: восемнадцатое мая. – Чувствуя на себе взгляд Энсона, Кэмпбелл поторопился закончить. – При этом способ надреза в основных чертах неизменен.

– Неизменно мерзок, вне всякого сомнения.

Кэмпбелл поднял взгляд на главного констебля, чтобы понять, готов ли тот выслушать подробности. И принял молчание за неохотный знак согласия.

– У каждого животного было вспорото брюхо. Как правило, одним поперечным разрезом. А у коров... у коров к тому же изуродовано вымя. И вдобавок искромсаны... искромсаны половые органы, сэр.

– Такая бессмысленная жестокость по отношению к беззащитным живым тварям? Это выходит за рамки здравого смысла, вы согласны, Кэмпбелл?

Кэмпбелл решил не заострять внимания на том, что сверху на него глядит стеклянный глаз отрубленной головы – не то лося, не то оленя.

– Так точно, сэр.

– Значит, мы ищем некоего маньяка с ножом.

– Вряд ли это был нож, сэр. Я беседовал с ветеринаром, который засвидетельствовал более поздние случаи – лошадь мистера Холмса еще не рассматривалась как эпизод данной серии, – так даже он недоумевал по поводу орудия преступления. Оно, видимо, было чрезвычайно острым, но вместе с тем проникало только сквозь кожу и первый слой мышечной ткани, не дальше.

– Почему же это не нож?

– Потому, что нож – к примеру, мясницкий – проник бы глубже. Пусть даже в каком-нибудь одном месте. Нож выпустил бы кишки. В сущности ни одно животное не было убито непосредственно в момент нападения. Все

либо истекли кровью, либо были обнаружены в таком состоянии, что их оставалось только забить.

– Если не нож, то что же это было?

– Нечто такое, что режет легко, но не глубоко. Вроде бритвенного лезвия. Но более прочное. Например, какой-нибудь инструмент кожевенника. Или орудие фермера. Как мне видится, этот человек знает подход к животным.

– Человек или люди. Злодей-одиночка или целая банда злодеев. Злодейское преступление. Вам доводилось сталкиваться с похожими случаями?

– В Бирмингеме – никак нет, сэр.

– Да, в самом деле. – Криво усмехнувшись, Энсон ненадолго умолк.

Тогда Кэмпбелл позволил себе задуматься о полицейских лошадях в конюшне Стаффорда: насколько те чутки и отзывчивы, насколько теплы, пахучи, ворсисты – так и хочется сказать «пушисты», как они прядают ушами и склоняют к тебе голову, как фыркают носом – будто чайник закипает. Что за отродье могло желать зла таким существам?

– Комиссар Барретт вспоминает относительно недавний случай, когда один подлец увяз в долгах и прирезал собственную лошадь, чтобы получить страховку. Но у нас целая серия... что-то в этом сквозит нездешнее. Конечно, в Ирландии подрезать среди ночи сухожилия хозяйской скотине – это, считай, традиционная забава. Но от фениев еще и не такого можно ожидать.

– Да, сэр.

– Этому надо срочно положить конец. Такие возмутительные злодеяния бросают тень на все графство.

– Так точно, в газетах...

– Плевать я хотел на газеты, Кэмпбелл. Меня волнует одно: честь Стаффордшира. Я не допущу, чтобы наше графство считали вотчиной дикарей.

– Конечно, сэр. – А про себя инспектор предположил, что шеф полиции наверняка ознакомился с последними редакционными статьями: все они носили резко негативный характер, а в отдельных случаях даже переходили на личности.

– Я бы посоветовал вам поднять сводки о преступлениях в Грейт-Уэрли и окрестностях за последние несколько лет. Были же... непонятные случаи. А еще советую вам объединить усилия с теми, кто досконально знает эту местность. Есть один весьма трезвомыслящий сержант... запомнил его фамилию. Рослый, краснолицый...

– Аптон, сэр?

– Вот-вот, Аптон. Этот всегда держит ухо востро.

– Слушаюсь, сэр.

– А я в свою очередь прикомандирую сюда пару десятков специально обученных констеблей-добровольцев. Они поступят в распоряжение сержанта Парсонса.

– Двадцать человек!

– Двадцать человек – и к черту экономию. Если потребуется, все расходы покрою из своего кармана. Мне нужно, чтобы констебли караулили под каждой изгородью, за каждым кустом, пока злодей не будет схвачен.

Кэмпбелла мало волновали расходы. Он не понимал, как можно скрыть прибытие двадцати специальных констеблей, если в деревне слухи разносятся быстрее, чем по телеграфным проводам. Двадцать специально обученных людей, в большинстве своем незнакомых со здешними условиями, против одного местного, который просто-напросто отсидится дома, смеясь над этими чужаками. И потом, какое количество скота способны защитить два десятка констеблей-добровольцев? Сорок голов, шестьдесят, восемьдесят? А сколько всего голов скота в округе? Сотни, если не тысячи.

– Еще вопросы есть?

– Никак нет, сэр. Вот только... можно вопрос, не относящийся к делу?

– Спрашивайте.

– Порттик этого дома. С колоннами. Как они называются? Вернее, как называется этот стиль?

По лицу Энсона было видно, что ни один кадровый офицер еще не задавал ему подобных вопросов.

– Колонны? Понятия не имею. Это по части моей супруги.

В течение нескольких дней Кэмпбелл изучал сводки преступлений, совершенных в деревне Грейт-Уэрли и ее глухих окрестностях. Ничего нового для себя он не обнаружил. Кражи, преимущественно хищения скота; нанесение разного рода телесных повреждений; несколько эпизодов пьянства в общественных местах и бродяжничества; одна попытка самоубийства; обвинительный приговор девушке за оскорбительные надписи на стенах фермерских построек; пять случаев поджога лесных угодий; письма с угрозами, а также несанкционированные доставки товаров на имя приходского священника; одна попытка развратных действий и два случая непристойного поведения. Насколько удалось выяснить, за последние десять лет нападений на животных не было.

Да и сержант Аптон, прослуживший в этих краях два десятка лет, не

припоминал ничего похожего. Но заданный вопрос, к слову сказать, навел его на мысли об одном фермере, который уже отправился в лучший (а скорее, в худший, сэр) из миров, но был известен нежной привязанностью к своей гусыне; вы меня понимаете? Кэмпбелл пресек эти деревенские сплетни; он быстро распознал в Аптоне осколок тех времен, когда на службу в полицию с распростертыми объятиями принимали, считай, кого угодно, за исключением откровенно хромых, обездвиженных и полоумных. Аптона можно было расспросить насчет местных слухов и свар, но доверять такому не стоило, даже если бы он положил руку на Библию.

– Стало быть, вы уже сами дознались, сэр? – прохрипел сержант.

– У вас есть для меня конкретные сведения, Аптон?

– Да вроде бы нету. Но мы же с вами заодно. Велено поймать – поймаем. Не сомневаюсь, вы с этим делом разберетесь в наилучшем виде, инспектор. Недаром вы в Бирмингеме служили. Управитесь в наилучшем виде.

В Аптоне Кэмпбелл видел смесь хитрости, подобострастия и необъяснимой враждебности. Точно так же вели себя и некоторые батраки. Кэмпбеллу легче было разговаривать с бирмингемскими ворами – те, по крайней мере, ввали в открытую.

Утром двадцать седьмого июня инспектор получил вызов на Куинтонскую шахту, где ночью изувечили двух ценных лошадей. Жеребец издох от потери крови, а кобылу, которой нанесли дополнительные увечья, пришлось забить в присутствии инспектора. Ветеринар подтвердил, что надрезы были сделаны тем же орудием – или, во всяком случае, точной копией прежнего.

Через два дня сержант Парсонс принес Кэмпбеллу письмо, адресованное «Сержанту полицейского участка, Хеднесфорд, Стаффордшир». Отправлено оно было из Уолсолла и подписано неким Уильямом Грейторексом.

С виду я сорвиголова, бегаю быстро и когда в Уэрли сколотили банду, меня туда втянули. С лошадьми и другой скотиной я обращаться умею, знаю как с ними расправляться. Мне сказали чтоб не увиливал, если жить хочу вот я и согласился, подошел без десяти минут три ночи, когда они обе лежали, но тут они проснулись и я каждой чикнул по брюху, но надрез почти не кровил и одна убежала, а вторая упала. Теперь расскажу, кто входит в эту банду, но без меня вы ничего не докажете. Одного фамилия Шиптон, живет в Уэрли, другой – носильщик, фамилия Ли, но этому пришлось отъехать и еще Эдалджи, стряпчий. Я покамест не сказал кто стоит за ними и не скажу, покуда не получу от вас гарантии, что мне ничего

не будет. Неправда, что мы выходим на дело только в новолуние, Эдалджи орудовал 11 апреля, когда была полная луна. Я за решеткой не бывал и вроде как остальные кроме Капитана тоже, так что они наверняка отделаются легким испугом.

Кэмпбелл перечитал письмо. «Я каждой чикнул по брюху, но надрез почти не кровил, и одна убежала, а вторая упала». Похоже, осведомленность полная, но с другой стороны, изувеченных животных видело много народу. После двух недавних случаев полицейским пришлось даже оцепить место преступления, чтобы ветеринар смог завершить осмотр. И все же: «без десяти минут три ночи»... поразительно точное указание на время.

– Нам известно, кто такой этот Грейторекс?

– Вероятно, сын мистера Грейторекса, хозяина фермы «Литтлуорт».

– У него были приводы в полицию? Были причины обратиться с письмом в Хеднесфорд к сержанту Робинсону?

– Ни того ни другого.

– А при чем тут фазы Луны?

Сержант Парсонс, плотный, черноволосый, имел обыкновение в задумчивости шевелить губами.

– Люди всякое болтают. Новолуние, мол, языческие обряды и все такое прочее. Затрудняюсь сказать. Но точно знаю: одиннадцатого апреля на скотину никто с ножом не нападал. Неделю спустя – да, было дело, если ничего не путаю.

– Не путаете.

Инспектору сержант Парсонс импонировал куда больше, чем какой-нибудь Аптон. У Парсонса, человека нового поколения, и выучка была не в пример лучше; пусть несколько медлителен, зато вдумчив.

Уильям Грейторекс оказался четырнадцатилетним школяром; почерк его даже близко не стоял к доставленному в полицию письму. Ни о Ли, ни о Шиптоне он слыхом не слыхивал, но сообщил, что Эдалджи немного знает: по утрам они с ним иногда ездят в одном вагоне. В полицейский участок Хеднесфорда его никогда не заносило; как фамилия тамошнего начальника, сержанта, он понятия не имеет.

Парсонс вместе с пятью констеблями-добровольцами провел обыск на ферме «Литтлуорт», включая все надворные постройки, но не нашел никаких особым образом заточенных режущих инструментов, не говоря уже о предметах, сохранивших следы крови или недавно оттертых дочиста. После обыска Кэмпбелл спросил сержанта, что тому известно о Джордже Эдалджи.

– Да как вам сказать, сэр, он ведь индус, правильно я понимаю? Ну, то есть полукровка. Росточку небольшого. С виду чудной какой-то. Стряпчий, живет с родителями, каждый день ездит в Бирмингем. В деревне ни с кем не общается – ну, сами понимаете.

– Значит, о его принадлежности к банде ничего не известно?

– Об этом и речи нет.

– Друзья?

– Неизвестно. Семья у них сплоченная. Думается мне, сестра у него какая-то пришибленная. То ли больная, то ли малость не того, кто ее разберет. А сам он, говорят, каждый вечер по закоулкам бродит. Кабы с собакой гулял, тогда понятно, только собаки у него нет. Несколько лет назад их семью прямо-таки затравили.

– Да, я проверял. Они дали какой-нибудь повод?

– Кто их знает... Когда викария назначили в здешний приход, кое-кто... роптал. Люди говорили: дескать, сам черный, а с амвона вещает, что все мы грешники – ну, как-то так. Но с тех пор много воды утекло. Сам-то я в церковь не хожу. У нас в молельном доме, я считаю, люди поприветливей.

– Этот малый... сын... как по-вашему, в нем можно заподозрить конского потрошителя?

Прежде чем ответить, Парсонс пожевал губы.

– Инспектор, я, с вашего позволения, так скажу. Вот прослужите здесь с мое – и поймете, что заподозрить нельзя никого. И если уж на то пошло, не заподозрить тоже никого нельзя. Понимаете меня?

Джордж

Почтальон предъявляет Джорджу конверт с официальным штемпелем: «Доплатное». Письмо пришло из Уолсолла, адрес и имя получателя выведены четко, аккуратно, поэтому Джордж решает доплатить. Это решение обходится ему в два пенса, что вдвое превышает стоимость отсутствующей марки. Ознакомившись с вложением, Джордж радуется: это заказ на «Железнодорожное право». Но почему-то ни денег, ни квитанции о почтовом переводе в конверте нет. А между тем отправитель запросил триста экземпляров на фамилию Вельзевул.

Через три дня на Джорджа вновь обрушивается лавина писем. В них – все то же, что и раньше: клевета, богохульство, психоз. Письма поступают на адрес его конторы: такое вторжение – это верх наглости: в конторе он

обычно находит только спокойствие и уважение, здесь жизнь течет заведенным порядком. Первое письмо Джордж в порыве негодования выбрасывает; остальные складывает в нижний ящик стола, чтобы потом использовать в качестве улики. Он уже не тот мятущийся подросток из времен прежней травли; нынче он солидный человек, правовед с четырехлетним стажем. Может позволить себе не обращать внимания на такие пасквили, если сам того не хочет, или поступать с ними по своему разумению. А бирмингемские полицейские уж наверняка не страдают, в отличие от стаффордширских коллег, косностью и апатией.

Как-то вечером, сразу после 18:10, Джордж с сезонным проездным билетом в кармане и с зонтиком на согнутой руке вдруг ощущает постороннее присутствие: на ходу к нему пристроилась сбоку какая-то фигура.

– Как наши делишки, уважаемый?

Это Аптон; еще краснее лицом и толще, чем в прошлом, и, по всей видимости, еще глупее. Джордж не замедляет шага.

– Добрый вечер, – коротко отзывается он.

– Наслаждаемся жизнью, да? Крепко спим? – Прежде Джордж, наверное, встревожился бы, а может, даже остановился в ожидании вразумительных слов. Но теперь его голыми руками не возьмешь. – Лунатизмом, смею надеяться, не страдаем. – Тут Джордж сознательно ускоряет ход, чтобы сержант, держась рядом, пыхтел и отдувался. – Да только вот ведь какая штука: вся округа наводнена специальными констеблями. Буквально наводнена. Так что даже соли-си-тор не решится разгуливать по ночам. – Не останавливаясь, Джордж бросает презрительный взгляд на этого пустого, шумливого фанфарона. – О да, соли-си-тор. Надеюсь, такая профессия придется вам очень кстати, уважаемый. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, или наоборот.

Об этой сцене Джордж дома не рассказывает. У него есть более насущные заботы: с вечерней почтой доставили конверт из Кэннока, надписанный уже знакомым почерком. Письмо адресовано Джорджу; отправитель – «Поборник Справедливости»:

Я тебя не знаю, но иногда вижу на вокзале и догадываюсь, что при знакомстве ты бы мне не понравился – туземцев не люблю. Но считаю, что каждый заслуживает справедливого обращения, а потому пишу тебе это письмо, поскольку не верю, что ты причастен к жестоким преступлениям, которые нынче у

всех на устах. Люди в один голос заявили, что это твоих рук дело, ведь здесь тебя за своего не держат, а ты спишь и видишь, как бы отомстить. Вот полицейские и взялись за тобой следить, да только ничего не выследили и теперь пасут кое-кого другого... Но если будет зарезана еще одна лошадь, все укажут на тебя, так что уезжай-ка ты в отпуск и пересиди где-нибудь следующее происшествие. По расчетам полиции, случится оно в конце месяца, как и предыдущее. Уноси ноги, пока не поздно.

Джордж и бровью не ведет.

– Клевета, – бросает он. – Более того, *prima facie*^[5] я бы усмотрел в этом распространение заведомо ложных сведений.

– Опять то же самое, – говорит его мать, и Джордж понимает, что она на грани слез. – Все сначала. Они не успокоятся, пока нас отсюда не выживут.

– Шарлотта, – твердо говорит Шапурджи, – об этом даже речи быть не может. Мы никогда не покинем приход, разве что отправимся вслед за дядюшкой Компсоном. И если Господу угодно, чтобы на пути к вечному покою мы страдали, то не нам ставить под сомнение волю Господа.

А ведь Джордж порой оказывается близок к тому, чтобы поставить под сомнение волю Господа. Например: за что страдает его мать, сама добродетель, которая у них в приходе оказывает вспомоществование всем обездоленным и больным? А если, как утверждает отец, все сущее во власти Господа, то и Стаффордское подразделение полиции со своим пресловутым бездействием тоже в Его власти. Но Джорджу становится все труднее заговорить об этом вслух; есть вещи, на которые даже намекнуть невозможно.

К нему также приходит понимание того, что в этом мире он ориентируется чуть лучше своих родителей. Хотя ему всего двадцать семь лет, работа бирмингемского стряпчего раскрывает перед ним такие стороны человеческой природы, которые не видны сельскому викарию. Поэтому, когда отец предлагает направить очередную жалобу начальнику полиции, Джордж не соглашается. Энсон и в прошлый раз был настроен против них; если кому и жаловаться, то инспектору, который ведет следствие.

– Вот к нему я и обращаюсь, – говорит Шапурджи.

– Нет, отец, думаю, это по моей части. Я буду говорить с ним напрямую. А если пойти вдвоем, он чего доброго решит, что к нему

нагрязнула делегация.

Викарий ошарашен, но доволен. Его радует, что сын проявляет мужские качества; пусть делает, как знает.

Джордж составляет прошение о личной беседе: желательно не в доме викария, а в любом полицейском участке по выбору инспектора. Кэмпбеллу видится в этом некоторая странность. Он выбирает Хеднесфорд и просит сержанта Парсонса поприсутствовать.

– Благодарю, что согласились на эту беседу, инспектор. Спасибо, что выкроили время. У меня в плане три пункта. Но для начала прошу вас принять вот это.

У Кэмпбелла, которому сейчас под сорок, рыжие волосы, верблюжья голова и удлиненная спина, отчего сидя он выглядит еще более рослым, чем стоя. Протянув руку через стол, инспектор подвигает к себе подарок, томик «Железнодорожного права для „человека из поезда“», и бегло перелистывает пару страниц.

– Двести тридцать восьмой экземпляр, – сообщает Джордж. Получается более самодовольно, чем ему хотелось.

– Очень любезно с вашей стороны, сэр, но, к сожалению, устав полицейской службы запрещает принимать подарки от граждан. – Кэмпбелл щелчком отправляет книжку обратно через весь стол.

– Книга ведь не может расцениваться как подкуп, инспектор, – небрежно говорит Джордж. – Пусть она считается... новым поступлением в библиотеку, хорошо?

– В библиотеку. Есть у нас библиотека, сержант?

– Пожалуй, никогда не поздно ее завести, сэр.

– В таком случае, мистер Эйда-а-алджи, считайте, что я вам признателен.

У Джорджа закрадывается подозрение: не издеваются ли над ним эти люди?

– Моя фамилия читается «Э-э-эдл-джи». А не «Эйда-а-алджи».

– «Эйдл-джи». – Инспектор делает небрежную попытку и кривится. – Если не возражаете, я буду обращаться к вам «сэр».

Джордж прочищает горло.

– Пункт первый заключается в следующем. – Он протягивает инспектору письмо от «Поборника Справедливости». – Пять аналогичных писем доставили мне в контору.

Кэмпбелл читает, передает листок сержанту, забирает обратно, читает еще раз. Ему непонятно, что это такое: изобличение или поддержка. Или же первое, замаскированное под второе. Если это изобличение, кому придет в

голову идти с ним в полицию? Если поддержка, зачем ею размахивать, покуда тебе официально не предъявлены обвинения? Мотивы Джорджа представляют для Кэмпбелла почти такой же нескрываемый интерес, как и это письмо.

– От кого оно – есть какие-нибудь соображения?

– Подпись отсутствует.

– Я заметил, сэр. Позвольте спросить: у вас есть намерение последовать совету доброжелателя? «Уезжай-ка ты в отпуск»?

– Послушайте, инспектор, мы, кажется, заходим не с того конца. Вы не считаете, что это письмо подпадает под статью одиффамации?

– Честно сказать, не знаю, сэр. Пусть ваша братия, юристы, решают, есть тут нарушение закона или нет. Как полицейский, могу предположить, что кто-то решил над вами позабавиться.

– Позабавиться? А вы не считаете, что такое письмо, будь оно предано гласности, со всеми обвинениями, которые якобы в нем отрицаются, натравит на меня местных батраков и шахтеров?

– Не знаю, сэр. Одно могу сказать: на моей памяти не было ни единого случая, чтобы подметное письмо вызвало в этих краях какие-либо нападки. А вы что скажете, Парсонс? – (Сержант мотает головой.) – А как вы трактуете вот эту фразу... где-то в середине... ага: «...ты ведь не тутошний»?

– А сами вы как ее трактуете?

– Мне, знаете ли, в свой адрес такого слышать не доводилось.

– Ну хорошо, инспектор, я «трактую» эту фразу как бесспорное указание на тот факт, что мой отец по национальности парс.

– Да, мне кажется, такое объяснение вполне вероятно. – Склонив рыжую голову над письмом, Кэмпбелл будто бы вникает в его содержание. А на самом деле он пытается сформировать у себя четкое мнение об этом человеке и его претензиях: кто он – банальный жалобщик? Или тут дело посложнее?

– Вероятно? Вероятно? Разве это может означать что-нибудь иное?

– Ну, это может означать, что вы не вписываетесь.

– То есть что я не играю в крикет за Грейт-Уэрли?

– А вы не играете, сэр?

Джордж начинает закипать от досады.

– И пива, между прочим, не пью.

– Не пьете, сэр?

– Если уж на то пошло, я и табак не курю.

– Не курите, сэр? Что ж, давайте запасемся терпением и выясним у

отправителя, что он имел в виду. Когда... если... поймаем. Вы сказали, у вас есть еще вопросы?

Пункт второй у Джорджа в повестке дня – подать жалобу на сержанта Аптона в связи с его манерой обращения и инсинуациями. Вот только сейчас, когда эти инсинуации повторяет инспектор, они почему-то рассыпаются в прах. В устах Кэмпбелла они звучат как вымученные ремарки не слишком умного стража правопорядка, адресованные напыщенному и не в меру обидчивому жалобщику.

Джордж приходит в некоторое смятение. Он ожидал благодарности за справочник, возмущения по поводу письма, равнодушия к сложившейся ситуации. Инспектор держится корректно, только соображает медленно; его подчеркнутая вежливость, по мнению Джорджа, мало чем отличается от грубости. Что ж, делать нечего, нужно переходить к третьему пункту.

– У меня есть предложение. Полезное для вашего расследования. – Джордж выдерживает точно рассчитанную паузу, чтобы завладеть безраздельным вниманием слушателей. – Ищейки.

– Что-что?

– Ищейки. У них, как вам наверняка известно, прекрасный нюх. Если вы обзаведетесь парой натасканных ищеек, они, сомнений нет, приведут вас от места следующего покушения непосредственно к преступнику. У ищеек поразительная способность брать след, а в наших краях, где нет ни широких ручьев, ни рек, преступнику трудно будет их обмануть.

Констебль не привык получать практические советы от рядовых граждан.

– Ищейки, – повторяет Кэмпбелл. – Причем сразу две. Напоминает бульварный детектив. «Мистер Холмс, это были отпечатки лап огромной собаки!» Тут Парсонс начинает давиться смехом, а Кэмпбелл и не думает его одернуть.

Вся встреча пошла насмарку, особенно третья часть, которую Джордж добавил от себя, даже не посоветовавшись с отцом. Как в воду опущенный, он уходит. Полисмены, стоя на крыльце, сверлят глазами его спину. До него доносится зычный голос сержанта:

– Ищеек, пожалуй, в библиотеку сдадим.

Эти слова преследуют Джорджа до самого дома, где он излагает родителям урезанную версию беседы. И принимает решение: даже если полицейские отвергнут его идею, он все равно не откажется с ними сотрудничать. В «Личфилд меркьюри» и в других газетах Джордж размещает объявление, где описывает новую волну подметных писем и обещает награду в двадцать пять фунтов стерлингов тому, чья информация

поможет привлечь виновных к суду. Памятуя о том, что отцовское объявление многолетней давности только подлило масла в огонь, он все же надеется, что посулы денежного вознаграждения сделают свое дело. В объявлении указано, что сам он – адвокат-солиситор.

Кэмпбелл

Пять дней спустя инспектора повторно вызвали в Грин-Холл. На этот раз он осмотрелся почти без смущения. Отметил про себя напольные часы, показывающие фазы Луны, эстамп на какой-то библейский сюжет, вытертый османский ковер и камин с поленьями, запасенными в преддверии осени. В хозяйском кабинете, уже почти не содрогаясь под стеклянным взглядом лося, Кэмпбелл рассмотрел переплетенные в кожу подшивки журналов «Филд» и «Панч». На комодке красовались три винных графина в замкнутой на ключ подставке и чучело большой рыбы в стеклянном футляре.

Капитан Энсон жестом предложил Кэмпбеллу кресло, а сам остался стоять; инспектор прекрасно знал, что к такой уловке зачастую прибегают коротышки в присутствии более статных собеседников. Но обдумать эту военную хитрость он не успел. На сей раз его начальник пребывал в скверном расположении духа.

– Этот субъект опять нам досаждаёт. Носит и носит письма от Грейторекса. Сколько их у нас накопилось?

– Пять, сэр.

– А вот это получил вчера вечером мистер Роули из Бриджтаунского участка. – Водрузив на переносицу очки, Энсон принялся читать вслух:

Сэр,

имярек, чьи инициалы вы легко угадаете, в среду вечером сядет в поезд, идущий из Уолсолла, и повезет домой новый крюк, спрятанный во внутреннем потайном кармане, и если вам или вашим ребятам удастся слегка раздернуть на нем пальто, вы сразу заметите эту штуковину, поскольку она на полтора дюйма длиннее прежней, которую он забросил подальше на косогоре, обнаружив сегодня утром за собой слежку. За выброшенной вещицей он придет часов после пяти-

шести, а если не появится дома завтра, то уж в четверг точно, а вы опрометчиво отозвали своих людей в штатском. Рано вы их отправили восвояси. Подумать только: он избавился от улики вблизи того места, где несколько дней тому назад двое ваших лежали в засаде. Но, сэр, у него соколиный глаз, слух острый как бритва, ноги проворные, а поступь бесшумная, как у лисы, и ему ничего не стоит на четвереньках подкрасться к несчастным животным, по-быстрому приласкать, а потом ловко полоснуть крюком поперек брюха – бедняги даже взвыть не успевают, как у них кишки вываливаются на землю. Чтобы застукать его на месте преступления, вам понадобится 1000 сыщиков, потому что летает он мухой и знает все углы и норы. Вам известно, кто он такой, и я могу это доказать, но пока за привлечение его к суду не назначат награду в сотню фунтов, я больше стучать вам не буду.

Выжидая, Энсон смотрел на Кэмпбелла.

– Мои люди не видели, чтобы кто-либо выбрасывал хоть какой-нибудь предмет, сэр. И не находили ничего похожего на крюк. Может, этот имярек и вправду калечит животных таким вот способом, а может, и другим, но, как мы убедились, кишки у них на землю не вываливаются. Прикажете взять под наблюдение уолсоллские поезда?

– Неужели после этого письма здесь в разгар лета появится какой-нибудь тип в долгополом пальто, будто специально напрашиваясь на обыск?

– Непохоже, сэр. Как по-вашему, означенная сумма в сто фунтов стерлингов – это умышленный отклик на предложенное заявителем денежное вознаграждение?

– Весьма вероятно. Наглость невероятная. – Помолчав, Энсон взял со стола еще один листок. – Но второе послание – сержанту Робинсону из Хеднесфорда – и того хуже. Вот, судите сами. – Энсон передал письмо подчиненному.

Придет ноябрь – и настанут в Уэрли веселые деньки: на очереди маленькие девочки, потому как до наступления весны в округе почикут, что тех лошадей, ровно два десятка малолеток. Не надейтесь поймать тех,

кто режет скотину; они не поднимают шума и будут часами хорониться в логове, пока вы не снимете посты... Мистер Эдалджи, которого, по слухам, на ночь запирают, в воскресенье вечером поедет в Бир-м и там близ Нортфилда встретится с Капитаном, чтобы обсудить, как дальше обстригать делишки под носом у толпы сыщиков, и сдастся мне, вскорости будут прирезаны коровы, причем не ночью, а среди бела дня... А потом, чую, и в наших краях до скотины доберутся, и первыми на очереди станут фермы Кросс-Киз и Уэст-Кэннок... А коли ты, жирный гад, встанешь мне поперек дороги или надумаешь подбираться к моим дружкам, прострелю тебе тупую башку из ружья твоего родного папаши.

– Это плохо, сэр. Очень плохо. Такое письмо не стоит предавать огласке. Паника начнется в каждой деревне. «Два десятка малолеток...» Из-за домашнего скота люди и то всполошились.

– У вас есть дети, Кэмпбелл?

– Парень. И девочка, маленькая еще.

– Н-да. Единственное в этом письме обнадеживает: что некто грозит застрелить сержанта Робинсона.

– Это обнадеживает, сэр?

– Ну, быть может, самого сержанта Робинсона – не слишком. Но отсюда следует, что наш подопечный зарвался. Он угрожает убийством офицеру полиции. Внести это в обвинительное заключение – и мы обеспечим ему пожизненную каторгу.

Если сумеем найти этого писаку, подумал Кэмпбелл.

– Нортфилд, Хеднесфорд, Уолсолл – он пытается гонять нас из стороны в сторону.

– Несомненно. С вашего позволения, инспектор, я подведу итоги, а вы меня поправите, если найдете слабое звено в моих рассуждениях.

– Слушаюсь, сэр.

– У вас хорошие профессиональные задатки... нет, не спешите меня поправлять. – Из своего арсенала Энсон выбрал самую незаметную улыбку. – Профессиональные задатки у вас очень хорошие. Однако этому расследованию уже три с половиной месяца, из которых в течение трех недель вам подчинялся отряд специального назначения в составе двадцати констеблей-добровольцев. Но обвинения до сих пор не предъявлены,

арестованных нет, даже подозреваемых, по существу, нет, и никаких проверок не проводилось. А между тем резня идет полным ходом. Пока все верно?

– Все верно, сэр.

– Контакты с местным населением, которые, как я понимаю, даются вам куда тяжелее, чем в великом городе Бирмингеме, улучшились. Наконец-то люди начали сотрудничать с полицией. Но все наши сколько-нибудь серьезные зацепки до сих пор основываются на подметных письмах. Вот, например, что это за таинственный Капитан, у которого чрезвычайно неудобное место жительства – на другом конце Бирмингема? Должны ли мы заняться им вплотную? Думаю, нет. Какая корысть этому Капитану резать животных, чьи владельцы-провинциалы ему совершенно незнакомы? Но не наведаться в Нортфилд было, видимо, упущением со стороны следствия.

– Все верно.

– Значит, подозреваемых – или единственного подозреваемого – надо искать среди местных жителей, как мы и предполагали с самого начала. Я склоняюсь к тому, что их окажется больше одного. Вероятно, трое-четверо. Это логично. Мне видится, что один пишет письма, другой, курьер, развозит их по городам и весям, третий ловко управляет со скотиной, а четвертый планирует и руководит. Иными словами, банда. Ее участники на дух не переносят полицию. Более того, им нравится водить нас за нос. Нравится выпячивать себя. Они сыплют именами, чтобы сбить нас с толку. Ничего удивительного. Но все равно: есть имя, которое возникает снова и снова. Эдалджи. Эдалджи должен встретиться с Капитаном. Эдалджи, которого, по их выражению, запирают на ночь. Эдалджи – стряпчий и член банды. У меня давно возникали подозрения, но до поры до времени я держал их при себе. Я поручил вам поднять старые дела. Здесь уже была кампания подметных писем, направленных главным образом против отца семейства. Были розыгрыши, фальшивки, мелкие кражи. Мы почти что прижали сына. В конце концов я со всей серьезностью предупредил викария, что нам известно, кто за этим стоит, и вскоре безобразия прекратились. Что и требовалось доказать. Но, как ни печально, для заключения под стражу этого недостаточно. Хотя признания вины мы не получили, я все же поставил в этом деле точку. На... сколько же... лет семь-восемь... А теперь все началось заново и в том же самом месте. И опять всплывает фамилия Эдалджи. В первом письме Грейторекса упомянуты три фамилии, но единственный, кого лично знает автор письма, – это Эдалджи. Следовательно, Эдалджи знает Грейторекса. А сам

Эдалджи поступил, как и в первый раз: направил обличения против самого себя. Но теперь он заматерел, ему уже недостаточно ловить дроздов и сворачивать им шеи. Он в буквальном смысле слова замахнулся на большее. На коров, на лошадей. Не отличаясь могучим телосложением, он вербует себе в помощь других. А теперь начал поднимать ставки и грозит убить два десятка малолетних. Два десятка, Кэмпбелл.

– Понимаю, сэр. Вы разрешите задать вам пару вопросов?

– Разрешаю.

– Для начала: зачем ему себя обличать?

– Чтобы сбить нас со следа. Он намеренно включает свою фамилию в списки людей, которые, как нами установлено, не могут иметь никакого касательства к покалеченному скоту.

– Выходит, он сам назначил вознаграждение за свою поимку?

– Чтобы деньги на сторону не ушли. – Энсон сдержанно хохотнул, но Кэмпбелл, похоже, не уловил юмора. – А кроме того, он в очередной раз подставляет под удар полицию. Дескать, полюбуйте, как стражи закона совершают оплошность за оплошностью, тогда как честный, но бедный гражданин отдает последнее, чтобы покончить с преступностью. Если вдуматься, его объявление можно расценить как клевету на органы правопорядка.

– Но... прошу меня простить, сэр... зачем бирмингемскому стряпчему сколачивать из местного хулиганья банду, которая увечит животных?

– Вы же с ним встречались, Кэмпбелл. Какое он произвел на вас впечатление?

Инспектор суммирует свои впечатления.

– Умный. Нервный. Вначале угодлив. Потом несколько обидчив. Давал советы, но мы как-то не спешили им следовать. Предложил нам привлечь к работе ищеек.

– Ищеек? Вы хотите сказать, охотников-следопытов?

– Нет, сэр, именно ищеек. Как ни странно, вслушиваясь в его голос – с интонациями образованного человека, адвоката, – я в какой-то момент поймал себя на мысли, что с закрытыми глазами вполне мог бы принять его за англичанина.

– Тогда как с открытыми глазами вы вряд ли приняли бы его за королевского гвардейца?

– Исключено, сэр.

– Да. Выходит, основным вашим впечатлением – хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми – стала его заносчивость. Как бы поточнее выразиться? Не производит ли он впечатления человека, причисляющего

себя к высшей касте?

– Возможно. Но зачем такому человеку резать скотину? Можно же как-то иначе доказывать свое умственное развитие и превосходство: например, сорить деньгами?

– То есть он даже в этом не преуспел? Откровенно говоря, Кэмпбелл, меня куда больше интересует не «зачем», а «как», «когда» и «что».

– Да, сэр. Но если вы поручаете мне арестовать этого парня, то полезно было бы узнать: каковы его мотивы?

Энсону не понравился этот вопрос, который, по его мнению, в последнее время слишком часто возникал в полицейской среде. Что за страсть – копаться в мозгу преступника? Твое дело – поймать злодея, арестовать, выдвинуть обвинения – и пусть сидит за решеткой, чем дольше, тем лучше. А какой интерес дознаваться, что происходит у него в извилинах, когда он спускает курок или разбивает твоё окно? Главный констебль уже собирался высказать это вслух, но Кэмпбелл сам пришел ему на помощь.

– По крайней мере, мотив наживы исключается. Другое дело – если бы он уничтожил свою частную собственность ради получения страховки.

– Тот, кто поджигает соседскую скирду, делает это не ради наживы. Он делает это по злобе. Он делает это ради удовольствия видеть языки пламени, взмывающие к небу, или человеческие лица, искаженные страхом. Над Эдалджи, возможно, довлеет нутряная ненависть к животным. Вам, конечно, предстоит это уточнить. А если выяснится, что время нападений подчиняется определенной закономерности, если совершаются они преимущественно в начале месяца, то стоит поискать здесь сакральный смысл. Быть может, таинственное, пока еще не найденное орудие преступления – это какой-нибудь ритуальный индийский нож. Кукри или что-то в этом духе. Насколько мне известно, отец Эдалджи по происхождению парс. Парсы ведь огнепоклонники, правильно я понимаю?

Сознавая, что профессиональные методы пока ни к чему не привели, Кэмпбелл все же не торопился подменять их досужими спекуляциями. Допустим, парсы – огнепоклонники; разве не логичнее тогда предположить, что Эдалджи замышляет поджог?

– К слову сказать, я не поручаю вам арестовывать нашего стряпчего.

– Не поручаете, сэр?

– Нет. Я вам поручаю... приказываю... сосредоточить на нем все свое внимание. В дневное время организуйте скрытное наблюдение за домом викария, не спускайте глаз со стряпчего, когда тот пойдет на станцию, направьте кого-нибудь из подчиненных в Бирмингем – вдруг Эдалджи

соберется отобедать с загадочным Капитаном... А после наступления темноты возьмите дом в кольцо. Позаботьтесь, чтобы стряпчий не ускользнул через заднюю дверь, чтобы он плюнуть не мог, не попав в специального констебля. Где-нибудь он проколется. Я уверен: где-нибудь да проколется.

Джордж

Джордж пытается вести обычную жизнь – в сущности, пользуется правами свободнорожденного англичанина. Но это не так-то просто, когда ты постоянно чувствуешь за собой слежку, когда у дома по ночам шныряют темные фигуры, когда многое приходится скрывать от Мод, а кое-что и от матери. Отец молится усердно, как никогда; ему столь же истово вторит женская половина семейства. Джордж теперь не слишком полагается на заступничество Господа. Единственное время суток, когда к нему приходит ощущение безопасности, отмечается поворотом отцовского ключа в двери спальни.

Временами его охватывает желание отдернуть шторы, распахнуть окно и выкрикнуть какую-нибудь колкость в адрес соглядатаев, чье присутствие ощущается постоянно. Какое нелепое разбазаривание казны, думает он. К своему удивлению, он замечает, что научился владеть собой. К еще большему удивлению, от этого он чувствует себя зрелым человеком. Как-то вечером он совершает свой обычный моцион, а сзади, на проезжей части, держится как приклеенный констебль в штатском. Резко развернувшись, Джордж заговаривает со своим преследователем: это лисьего вида мужичок в твидовом костюме – ни дать ни взять завсегда с дешевой пивной.

– Может, подсказать вам дорогу? – с трудом сохраняя вежливость, предлагает Джордж.

– Спасибо, обойдусь.

– Вы не местный?

– Из Уолсолла, если вам так любопытно.

– Уолсолл в другой стороне. С какой целью вы в такое время суток расхаживаете по улицам Грейт-Уэрли?

– Я вас могу о том же спросить.

Каков наглец, думает Джордж.

– Вы следите за мной по заданию инспектора Кэмпбелла. Это ясно как день. Вы что, меня за идиота держите? Здесь возникает один интересный

вопрос: что именно поручил вам Кэмпбелл? Если он приказал вам действовать в открытую, то вы нарушаете правила дорожного движения, а если потребовал скрытности, то такому констеблю, как вы, грош цена.

Мужичок только ухмыляется.

– Это наше с ним дело, согласны?

– Я согласен с тем, господин хороший, – гнев теперь жжет, как грех, – что такие, как вы, только транжирят казенные деньги. Слоняетесь по деревне неделю за неделей, а результатов как не было, так и нет.

Констебль с ухмылкой говорит:

– Тихо, тихо.

За ужином викарий предлагает, чтобы Джордж на один день свозил Мод в Аберистуит – развеяться. Свое пожелание он высказывает непререкаемым тоном, но Джордж наотрез отказывается: сейчас много работы, да и отдыхать нет никакого желания. Он стоит на своем, но Мод начинает упрашивать, и брат с неохотой сдается. Во вторник они выезжают на рассвете, чтобы вернуться уже затемно. В небе светит солнце, поездка по железной дороге, все сто двадцать четыре мили – одно удовольствие, никаких сбоев. Брат с сестрой наслаждаются непривычным ощущением свободы. Они гуляют по набережной, разглядывают фасад университетского колледжа, проходят от начала до конца весь пирс (входная плата два пенса). Погожий августовский день обвевает их нежным ветерком, и они единодушно заявляют, что не имеют ни малейшего желания брать напрокат лодку, чтобы обойти залив на веслах. Отдыхающие, согнувшись в три погибели, ищут на пляже красивые камешки, но брат с сестрой проходят мимо. Они садятся в вагончик фуникулера, который везет их от северной оконечности набережной до Скалистого сада, что на Конституционном холме. Во время подъема и последующего спуска они любуются панорамой города и Кардиганского залива. С кем ни заговоришь в этом курортном месте, все отвечают учтиво, даже патрульный полицейский, который рекомендует им перекусить в отеле «Белль-вью», а если без спиртного, то можно и в «Ватерлоо». Заказав жареную курицу и яблочный пирог, они беседуют на нейтральные темы: обсуждают Хораса, двоюродную бабушку Стоунхэм и людей за соседними столиками. А после обеда поднимаются по склону к замку, который Джордж добродушно называет преступлением против Закона о продаже товаров и услуг, так как экскурсантам показывают только пару-другую разрушенных башен и всякие обломки. Кто-то из прохожих указывает на пик Сноудон – вон там, чуть левее Конституционного холма. Мод просто в восторге, а Джорджу так и не удается ничего разглядеть. Сестра обещает

когда-нибудь купить ему бинокль. На обратном пути Мод спрашивает, распространяется ли железнодорожное право на фуникулер, и уговаривает брата дать ей новую задачку на какой-нибудь интересный случай, как было заведено у них в прежние времена. Он старается вовсю, потому что любит сестренку, которая сегодня в кои-то веки почти не куксится; но сердце у него не на месте.

Утром следующего дня в контору на Ньюхолл-стрит приходит почтовая открытка. На Джорджа выливается ушат грязи за порочную связь с некой жительницей Кэннока: «Сэр, вы считаете, что мужчине вашего положения приличествует еженощно ложиться в постель с сестрой N, притом что она собирается замуж за Фрэнка Смита, социалиста?» Излишне говорить, что упомянутые имена ему незнакомы. Джордж смотрит на почтовый штемпель: «12:30, Вулвергемптон, 04 авг. 1903». Мерзостный поклеп сочинялся как раз в то время, когда они с Мод садились за столик в ресторане отеля «Белль-вью». Эта открытка внушает ему зависть к Хорасу, который протирает брюки в налоговом ведомстве Манчестера и в ус не дует. Похоже, скользит себе по накатанной колее без единой царапины, живет сегодняшним днем, помышляя разве что о неспешном подъеме на следующую ступеньку, и утешается женским обществом, как следует из его недвусмысленных намеков. Но самое главное – Хорас унес ноги из Грейт-Уэрли. Сильнее, чем прежде, Джорджа угнетает проклятье первородства и тяжкое бремя родительских надежд; довлеет на нем и другое проклятье: превосходить своего брата умом и уступать ему в самомнении. У Хораса есть масса причин страдать от неуверенности в себе, однако же он ничуть не страдает, тогда как Джордж, при всех своих академических успехах и высокой квалификации, болезненно застенчив. Когда, сидя за конторским столом, он объясняет клиенту закон, у него это получается четко, а то и жестко. Но вести непринужденную беседу он не умеет; не знает, как помочь собеседнику раскрепоститься; отдает себе отчет, что кое-кому его внешность кажется странной.

В понедельник семнадцатого августа тысяча девятьсот третьего года Джордж, как обычно, садится на поезд 7:39 до Нью-стрит и возвращается, как обычно, поездом 17:25; домой приходит за несколько минут до половины седьмого. Некоторое время поработав за письменным столом, надевает короткий плащ и отправляется к сапожнику, мистеру Джону Хэндсу. До половины десятого успевает вернуться домой и после ужина ретируется в их с отцом общую спальню. Все входные двери дома викария запираются на ключ и на засов, дверь спальни – только на ключ, и Джордж погружается в беспокойный сон, как и в течение предшествующих недель.

Наутро просыпается в шесть, дверь спальни отпирается в шесть сорок, и Джордж отправляется на поезд 7:39 до Нью-стрит.

Он еще не ведает, что это последние человеческие сутки в его жизни.

Кэмпбелл

В ночь на семнадцатое начался сильный ливень, сопровождаемый порывами ветра. Но к рассвету погода прояснилась, и когда к шахте Грейт-Уэрли потянулись горняки утренней смены, в воздухе просто веяло свежестью, как бывает после летнего дождя. Шагавший лугом молодой угольщик Генри Гарретт заметил, что один из пони, которых использовали в шахте как тягловую силу, нетвердо держится на ногах. Подойдя ближе, парень увидел, что животное истекает кровью и вот-вот упадет.

На крики парня прибежали, увязая в грязи, другие шахтеры, которые и рассмотрели длинный поперечный надрез на брюхе пони, а под копытами – земляное месиво с красными пятнами.

Через час прибыл Кэмпбелл с шестеркой специальных констеблей; вызвали ветеринара, мистера Льюиса. Кэмпбелл спросил, кто патрулировал этот сектор. Констебль Купер ответил, что проходил через луг около двадцати трех часов – животное с виду было живо-здорово. Однако ночь выдалась темная, и подходить к лошадке вплотную он не стал.

За минувшие полгода это был уже восьмой эпизод; всего покалечили шестнадцать животных. Кэмпбелл ненадолго задумался об этом пони и о добром отношении к таким трудягам со стороны даже самых грубых шахтеров; он ненадолго задумался о капитане Энсоне, который печется о чести Стаффордшира; но от одного взгляда на кровавое месиво и обессилевшего пони в голову лезло письмо, которое показал ему шеф полиции. «Придет ноябрь – и настанет в Уэрли веселое времечко», – припомнил Кэмпбелл. И дальше: «До наступления весны в округе почикают, что тех лошадей, ровно два десятка малолеток». Но главное – два слова: «маленькие девочки».

Кэмпбелл, по словам Энсона, обладал хорошими профессиональными задатками; он отличался исполнительностью и самообладанием. У него не было предубеждений относительно какого-либо криминального типа, равно как не было и склонности к поспешным теоретическим построениям или к переоценке собственной интуиции. И все же: луг, на котором произошло это бесчинство, лежал ровно на полпути между шахтой и Уэрли. Если

провести прямую линию от луга до деревни, то первым делом она приведет к дому викария. Простой логический расчет требовал, точь-в-точь как главный констебль, безотлагательных действий.

– Есть здесь кто-нибудь из следивших ночью за домом викария?

Откликнулся констебль Джадд, который разразился многословными сетованиями на адскую непогоду и на дождь, заливавший глаза; невольно думалось, что полночи он укрывался где-то под деревом. Кэмпбелл не заблуждался насчет полисменов: им не чужды людские слабости. Но так или иначе, Джадд не заметил никаких передвижений; свет в доме погас, как всегда, в двадцать два тридцать. И все же ночка выдалась та еще, инспектор...

Кэмпбелл посмотрел на часы: семь пятнадцать. На станцию он отправил Маркью: зная солиситора в лицо, тот должен был остановить его на перроне. Купер и Джадд получили приказ дожидаться ветеринара и отгонять зевак; после этого Кэмпбелл в сопровождении Парсонса и остальных специальных констеблей поспешил кратчайшей дорогой к дому викария. Пару раз им пришлось продирааться сквозь живые изгороди, потом спускаться в подземный переход, чтобы преодолеть железнодорожное полотно, однако без малого через четверть часа они уже были на месте. До восьми утра Кэмпбелл успел расставить посты на углах дома, а сам, взяв с собой Парсонса, поднялся на крыльцо и стал что есть мочи бить в дверь колотушкой. Над ним довлела не только фраза о двадцати малолетках, но еще и угроза прострелить голову Робинсону из чьего-то ружья.

Горничная провела обоих полисменов на кухню, где завтракали жена и дочь викария. На взгляд Парсонса, у матери вид был испуганный, а у полукровки-дочери – какой-то болезненный.

– Мне нужно поговорить с вашим сыном Джорджем.

Жена викария, почти полностью седая, отличалась худобой и тщедушностью. Разговаривала тихо, с заметным шотландским акцентом.

– Он на службу уехал. Поездом в семь тридцать девять. В Бирмингем – сын у нас солиситор.

– Я знаю, мадам. Тогда попрошу вас предъявить мне его одежду. Всю без исключения.

– Мод, сбегай позови отца.

Легким поворотом головы Парсонс предложил, что последует за девушкой, но Кэмпбелл дал ему знак остаться. Через минуту-другую появился викарий: невысокий, плотный, светлокожий человек, не отмеченный никакими странными чертами, присущими его сыну. Седой как лунь, однако для индуса вполне благообразен, заключил Кэмпбелл.

Инспектор повторил свою просьбу.

– Позвольте узнать: для чего вам его одежда и есть ли у вас ордер на обыск?

– Неподалеку нашли шахтерского пони... – Кэмпбелл замялся, считаясь с присутствием женщин, – на лугу... покалеченного.

– И в этом деянии вы позреваете моего сына Джорджа.

Мать обняла дочку за плечи.

– Скажем так: было бы в высшей степени целесообразно по возможности исключить его из расследования. – Эта ложь уже навязла в зубах, отметил про себя Кэмпбелл, почти устыдившись.

– И все же: у вас имеется ордер?

– В данный момент у меня на руках его нет, сэр.

– Что ж, будь по-вашему. Шарлотта, покажи ему вещи Джорджа.

– Благодарю. Надеюсь, вы не станете возражать, если я прикажу своим констеблям обыскать дом и участок.

– Не стану, если это поможет исключить моего сына из вашего расследования.

Пока все идет гладко, подумал Кэмпбелл. В бирмингемских трущобах отец в подобных случаях мог броситься на него с кочергой, мать – закатить истерику, а дочь – попытаться выцарапать ему глаза. В каком-то смысле сейчас так было бы даже проще – ведь это фактически равносильно признанию вины.

Кэмпбелл приказал подчиненным искать любые ножи и бритвы, садовые или огородные инструменты, которыми можно вспороть брюхо животному, а сам вместе с Парсонсом отправился наверх. Носильные вещи солиситора, включая, согласно просьбе инспектора, сорочки и нижнее белье, разложили на одной из кроватей. С виду одежда была чистой и на ощупь сухой.

– Это вся его одежда?

Мать помедлила с ответом.

– Вся, – подтвердила она. И через пару секунд добавила: – Кроме той, что на нем.

«Само собой, – подумал Парсонс, – не нагишом же он ездит в город. Странное, однако, уточнение». А вслух небрежно сказал:

– Мне нужно его нож осмотреть.

– Его нож? – Мать в недоумении уставилась на сержанта. – Вы имеете в виду его столовый прибор?

– Нет, карманный нож. У каждого парня есть нож.

– Мой сын – солиситор, – резко бросил викарий. – В конторе он

занимается делом. Ему недосуг строгать прутики.

– Я уже сбился со счета: сколько раз вы мне повторили, что ваш сын – солиситор? Это всем известно. Равно как и то, что у каждого парня есть нож.

Пошептавшись с родителями, дочь принесла откуда-то короткий, словно обрубленный, инструмент, который с вызовом передала полисмену.

– Это его садовая тляпка, – сообщила она.

Кэмпбелл сразу понял, что такой штуковиной невозможно нанести виденные им увечья. Тем не менее он изобразил живой интерес, взял тляпку, отошел с ней к окну и повертел на свету.

– Вот, сэр, нашли. – Констебль протягивал Кэмпбеллу футляр с четырьмя бритвами. Одна поблескивала влагой. На другой с обратной стороны темнели красные пятнышки.

– Это мои бритвы, – поспешно заявил викарий.

– Одна из них влажная.

– Естественно: часа не прошло, как я брился.

– А ваш сын – чем он бреется?

Повисла пауза.

– Одной из этих.

– Ага. Значит, бритвы, строго говоря, не ваши, сэр?

– Напротив. Это мой собственный набор бритв, купленный лет двадцать назад; а когда сыну пришло время бриться, я разрешил ему пользоваться моими бритвенными принадлежностями.

– И он до сих пор ими пользуется?

– Да.

– Вы не разрешаете ему обзавестись собственными бритвами?

– Собственные бритвы ему не нужны.

– Значит, по какой-то причине ему отказано в приобретении собственного комплекта бритв?

У Кэмпбелла это прозвучало как полувопрос, на который мог бы ответить любой из присутствующих. Ан нет, подумал инспектор. Вся родня темнит, а в чем тут дело – с ходу не разберешь. Вроде и противодействия не оказывают, но в то же время чувствуется в них какая-то уклончивость.

– Вчера вечером он... ваш сын... выходил из дому?

– Да.

– Как долго он отсутствовал?

– Право, затрудняюсь сказать. Около часа; возможно, дольше.

Шарлотта?

И вновь его жена, как могло показаться, несуразно долго обдумывала

примитивный вопрос.

– Часа полтора; может, час и три четверти, – прошептала наконец она.

Времени более чем достаточно, чтобы дойти до луга и обратно – Кэмпбелл сам только что убедился.

– И в котором часу это было?

– Между восемью вечера и половиной десятого, – ответил викарий, хотя Парсонс адресовал вопрос его жене. – Он к сапожнику ходил.

– Нет, я имею в виду – после этого.

– После этого он не выходил.

– Вас спрашивают, выходил ли он на ночь глядя, – вы говорите, выходил.

– Нет, инспектор, вы спросили, выходил ли он вечером, а не на ночь глядя.

Кэмпбелл покивал. А он непрост, этот священнослужитель.

– Что ж, мне остается осмотреть его обувь.

– Его обувь?

– Да-да, ту, в которой он выходил. И заодно брюки покажите, которые на нем были.

Ткань оказалась сухой, но при более внимательном осмотре на обшлагах обнаружилась черная грязь. Предъявленные ботинки тоже были облеплены грязью – невысохшей.

– Я вот что еще нашел, сэр, – доложил тот же сержант, который прежде принес ботинки. – Пощупал – ткань вроде влажная. – Он передал Кэмпбеллу какой-то синий саржевый балахон.

– Где он висел? – Инспектор провел рукой по ткани. – И верно, сыроват.

– У двери черного хода, аккуратно над ботинками.

– Позвольте мне. – Викарий ощупал рукав сверху донизу. – Сухой.

– Сыроват, – повторил Кэмпбелл, а про себя добавил: это говорю я, офицер полиции. – Итак, чья это вещь?

– Джорджа.

– Джорджа? Вам же было ясно сказано предъявить мне его одежду, всю без исключения.

– Так мы же... – Мать набралась храбрости. – Здесь перед вами, по моему разумению, и есть вся его одежда. А это старая домашняя куртка, сын ее не носит.

– Никогда?

– Никогда.

– А кто ее носит?

– Никто.

– Загадка, да и только. Вещь, которую никто не носит, висит у самой двери черного хода. Начнем сначала. Эта вещь принадлежит вашему сыну. Когда он в последний раз ее надевал?

Родители переглянулись. В конце концов ответила мать:

– Понятия не имею. Это же старье, в таком за порог не выйдешь, сын эту вещь не надевает. Разве что для садовых работ.

– Ну-ка, ну-ка. – Кэмпбелл подошел к свету. – Да, вот тут волосок. И... еще один. И... еще. Парсонс?

Сержант посмотрел и закивал.

– Позвольте взглянуть, инспектор. – Викарию показали куртку. – Где тут волосок? Не вижу никаких волосков.

Тут подключились мать с дочерью; как на базаре, каждая тянула к себе синюю саржу. Отстранив обеих, Кэмпбелл разложил куртку на столе.

– Да вот. – Он указал на самый заметный волосок.

– Какой же это волосок? – встряла дочь. – Это ровница. Волокно от ровницы.

– Что еще за ровница?

– Пряжа, рыхлая нескрученная пряжа. Кто рукоделием занимается, тот сразу распознает.

Кэмпбелл никогда в жизни рукоделием не занимался, но панику в девичьем голосе распознал сразу.

– Вы только посмотрите на эти пятна, сержант.

На правом рукаве было две кляксы: одна белесая, другая буроватая. Ни Кэмпбелл, ни Парсонс не высказали своего мнения вслух, но подумали об одном и том же. Белесое пятно – слюна пони, буроватое – кровь пони.

– Говорю же вам: это старая домашняя куртка. Сын бы в ней на прогулку не пошел. А к сапожнику – тем более.

– Тогда почему она влажная?

– Она не влажная.

Дочь предложила еще одно объяснение, чтобы выгородить брата.

– Быть может, она потому вам показалась влажной, что висела у самой двери.

Кэмпбелла это не убедило; он забрал куртку, ботинки, брюки и другие вещи, которые, судя по всему, надевались вчера; прихватил заодно и бритвы. Членам семьи дали указание не искать контактов с Джорджем вплоть до особого разрешения полиции. Одного подчиненного Кэмпбелл оставил у крыльца, другим приказал рассредоточиться по периметру дома. А сам в сопровождении Парсонса вернулся на луг, где мистер Льюис,

завершив осмотр, получил разрешение забить животное. Протокол вскрытия он обещал прислать Кэмпбеллу на следующий день. Инспектор попросил, чтобы для него срезали лоскут кожи с крупа мертвого пони. Констеблю Куперу поручили доставить этот лоскут в Кэннок вместе с изъятой одеждой – на экспертизу доктору Баттеру.

По донесению Маркью, на перроне стряпчий категорически отказался повременить. Тогда Кэмпбелл и Парсонс сели на ближайший поезд до Бирмингема отправление в 9:53.

– Странная семейка, – сказал инспектор на мосту через канал между Блоксвичем и Уолсоллом.

– Более чем странная. – Сержант пожевал губу. – Но на вид они, с вашего позволения, сэр, люди вроде честные.

– Я вас понимаю. Преступный элемент мог бы у них поучиться.

– Чему поучиться, сэр?

– Лгать ровно столько, сколько требуется.

– Такому до второго пришествия не научишься! – хмыкнул Парсонс. – И все же этим людям в чем-то посочувствовать можно. Не повезло им. В семье не без урода, вы уж извините за выражение.

– Охотно извиняю.

Вскоре после одиннадцати двое полицейских уже явились в дом пятьдесят четыре по Ньюхолл-стрит. Контора занимала два тесных помещения; дверь в кабинет поверенного охраняла секретарша. Джордж Эдалджи безучастно сидел за письменным столом.

Кэмпбелл, готовый к любому резкому движению этого человека, сказал:

– Чтобы нам не пришлось обыскивать вас прямо здесь, сдайте пистолет.

Эдалджи поднял на него недоуменный взгляд:

– У меня нет пистолета.

– А это что же? – Инспектор указал на продолговатый металлический предмет, лежащий на столе.

С неизбывной усталостью в голосе поверенный ответил:

– Это, инспектор, ключ от двери железнодорожного вагона.

– Шутка, – успокоил его Кэмпбелл.

А сам подумал: ключи. Много лет назад – ключ от Уолсоллской гимназии, а теперь еще и вот этот. Подозрительный, однако, субъект.

– Я пользуюсь им вместо пресс-папье, – объяснил солиситор. – У вас, вероятно, есть повод вспомнить, что я специалист по железнодорожному праву.

Кэмпбелл кивнул. А затем, сделав официальное предупреждение, арестовал хозяина кабинета. В кэбе, по дороге в пересыльную тюрьму на Ньютон-стрит, Эдалджи сказал полисменам:

– Я ничуть не удивлен. В последнее время этого следовало ожидать с минуты на минуту.

Кэмпбелл покосился на Парсонса; тот мгновенно зафиксировал в своем блокноте слова арестованного.

Джордж

На Ньютон-стрит у него изъяли деньги, часы и маленький перочинный ножик. Хотели изъять даже носовой платок, чтобы арестованный не попытался себя задушить. Джордж заявил, что в качестве удавки носовой платок бесполезен, и получил разрешение оставить его при себе.

В течение часа он находился в светлой, чистой камере, а потом на поезде в двенадцать сорок был перевезен с Ньютон-стрит в Кэннок. Прибытие в Уолсолл – 13:08, твердил про себя Джордж. Бёрчхиллз – 13:12. Блоксвич – 13:16. Уэрли-Чёрчбридж – 13:24. Кэннок – 13:29. Полицейские обещали транспортировать его без наручников, за что он был им благодарен. И все равно, когда поезд остановился в Уэрли, Джордж опустил голову и заслонился ладонью от мистера Мерримена и носильщика – те наверняка стали бы распускать сплетни, что его, дескать, вел под конвоем сержант в форме. В Кэнноке Джорджа посадили в полицейскую двуколку и доставили в участок. Там измерили его рост и зафиксировали другие показатели. Осмотрели одежду на предмет пятен крови. Незнакомый офицер приказал ему вынуть запонки и внимательно изучил манжеты, а потом спросил:

– Минувшей ночью вы пришли на луг именно в этой сорочке? Похоже, сменили вчерашнюю на свежую. Крови-то не видно.

Джордж не ответил. Просто не видел в этом смысла. Скажи он «нет», офицер тут же припер бы его к стенке: «Стало быть, вы признаете, что минувшей ночью приходили на луг. Где сорочка, в которой вы были вчера?» До этого момента Джордж по собственному ощущению проявлял полную готовность к сотрудничеству, а впредь решил давать ответы лишь по существу дела, игнорируя наводящие вопросы.

В тесной камере света было мало, а воздуха и того меньше; в нос шибал запах отхожего места. Даже воды для умывания не

предусматривалось. Часы у него изъяли, но, судя по всему, сейчас было около половины третьего. Две недели назад, размышлял он, каких-то две недели назад мы с Мод подкрепились в «Белль-вью» жареной курицей и яблочным пирогом, а после отправились по намывному променаду к замку, где я позволил себе легкомысленное замечание насчет Закона о продаже товаров и услуг, а какой-то прохожий безуспешно указывал нам на Сноудон.

Присев на низкую тюремную койку, Джордж старался дышать неглубоко и часто, а сам ждал, что будет дальше. Через пару часов его отвели на допрос к Кэмпбеллу и Парсонсу.

– Итак, мистер Эда-алджи, вам известно, для чего мы здесь.

– Да, мне известно, для чего вы здесь. Правильно говорить не «Эда-алджи», а «Эдл-джи».

Кэмпбелл не отреагировал. А про себя сказал: отныне, господин солиситор, я буду сам решать, как мне к вам обращаться.

– Вы осведомлены о своих законных правах?

– Думаю, да, инспектор. Нормы полицейской процедуры и доказательного права мне известны. Равно как и право обвиняемого хранить молчание. Я знаю, какие положены компенсации в случае необоснованного ареста и неправомерного лишения свободы. Знаю, к слову сказать, и Закон о диффамации. Помимо всего прочего, я знаю, в какой момент вы обязаны предъявить мне обвинение и в какой срок после этого предать меня суду.

Кэмпбелл заранее приготовился встретить сопротивление, хотя и не такое, к которому привык, зачастую требующее вмешательства сержанта и нескольких констеблей.

– Что ж, это облегчает нашу задачу. Случись нам преступить закон, вы, безусловно, нас тут же проинформируете. Итак, вам известно, почему вы здесь.

– Я здесь потому, что вы меня арестовали.

– Мистер Эда-а-алджи, не надо умничать. Мне попадались куда более крепкие орешки, чем вы. Ну, отвечайте, почему вы здесь.

– Инспектор, я не намерен отвечать на утвердительные высказывания, которыми вы, по всей видимости, сбиваете с толку непосвященных. Я также не намерен реагировать на уловки, которые отвергаются нашей судебной системой как подтасовка компрометирующих сведений. Но на любые ваши конкретные вопросы, имеющие отношение к делу, отвечу со всей возможной правдивостью.

– Очень любезно с вашей стороны. Тогда рассказывайте про Капитана.

- Про какого Капитана?
- Здесь вопросы задаю я.
- Среди известных мне людей нет человека по прозвищу Капитан. Уж не капитана ли Энсона вы имеете в виду?
- Вы дерзите, Джордж. Мы знаем, что вы посещаете Капитана в Нортфилде.
- Не припоминаю, чтобы мне доводилось бывать в Нортфилде. В какие же даты я, по-вашему, туда наведывался?
- Расскажите, что представляет собой грейт-уэрлийская банда.
- Грейт-уэрлийская банда? Теперь вы сами заговорили, как в бульварном детективе, инспектор. О такой банде я даже не слышал.
- Когда вы встречались с Шиптоном?
- Мне незнаком человек по фамилии Шиптон.
- Когда вы встречались с носильщиком Ли?
- С носильщиком? Вы имеете в виду вокзального носильщика?
- Если вы так настаиваете, будем называть его вокзальным носильщиком.
- Никакого носильщика Ли я не знаю. Впрочем, я мог кивать носильщикам, не зная, как их зовут, и один из них вполне мог носить фамилию Ли. На станции Уэрли-Чёрчбридж служит носильщик по фамилии Джейнс.
- Когда вы встречались с Уильямом Грейторексом?
- Мне незнаком... Грейторекс? Мальчик в поезде? Гимназист из Уолсолла? Он-то тут при чем?
- Здесь вопросы задаю я.
- Молчание.
- Итак, Шиптон и Ли состоят в грейт-уэрлийской банде?
- Инспектор, мой ответ на этот вопрос вытекает из всех моих предыдущих ответов. Сделайте одолжение, не оскорбляйте мои умственные способности.
- Для вас так много значат ваши умственные способности, мистер Эда-а-алджи?
- Молчание.
- Хотите быть умнее всех, да?
- Молчание.
- И выказывать свое интеллектуальное превосходство?
- Молчание.
- Капитан – это вы?
- Молчание.

- Расскажите подробно, где вы были вчера.
 - Вчера. Утром, как обычно, поехал на работу. Весь день провел у себя в конторе на Ньюхолл-стрит, только вышел на Сент-Филипс-Плейс, чтобы там съесть взятые из дома бутерброды. Вернулся с работы, как обычно, около половины седьмого. Завершил кое-какие операции...
 - Какого рода операции?
 - Юридические, которые не успел закончить в течение рабочего дня. Связанные с оформлением прав на небольшой земельный участок.
 - А потом?
 - Потом вышел из дома и направился к сапожнику, мистеру Хэндсу.
 - С какой целью?
 - На примерку ботинок.
 - Мистер Хэндс – ваш соучастник?
- Молчание.
- Ну и?..
 - И во время примерки с ним побеседовал. Потом немного прогулялся. А к половине десятого вернулся домой, чтобы успеть к ужину.
 - Где вы прогуливались?
 - Неподалеку. По улицам. Я ежевечерне выхожу пройтись. И никогда не продумываю маршрут загодя.
 - Значит, вы направились в сторону шахты?
 - Нет, вряд ли.
 - Да ладно, Джордж, не глупите. Вы сами сказали, что ходите разными маршрутами, но не задумываетесь, какими именно. Одна дорога ведет из Уэрли в сторону шахты. Почему бы вам было не пойти в том направлении?
 - Дайте сообразить. – Джордж сжал пальцами лоб. – Вот, вспомнил. Я шел по дороге на Чёрчбридж. Затем свернул на Уотлинг-Стрит-роуд, оттуда – на Уок-Милл и дальше – по дороге, до фермы Грина.
- Кэмпбеллу подумалось, что для человека, который идет куда глаза глядят, это весьма подробные воспоминания.
- И с кем вы встречались на ферме Грина?
 - Ни с кем. Я туда не заходил. С хозяевами я незнаком.
 - А с кем вы встречались во время прогулки?
 - С мистером Хэндсом.
 - Нет. С мистером Хэндсом вы встретились еще до прогулки.
 - Мне сейчас уже не припомнить. Разве вы не посылали специального констебля за мной шпионить? Если вам нужен полный отчет о моих перемещениях, спросите своего человека.
 - Да, непременно, будьте уверены. И не только его одного. Значит,

после прогулки вы сели ужинать. А потом опять вышли из дому.

– Нет. После ужина я лег спать.

– А ночью встали и вышли на улицу?

– Нет, я же назвал вам время, когда выходил.

– Во что вы были одеты?

– Во что был одет? В ботинки, брюки, пиджак, плащ.

– Как выглядит плащ?

– Короткий, саржевый, синего цвета.

– Тот, что висит у кухонной двери, где вы оставляете башмаки?

Джордж нахмурился:

– Нет, там висит старая домашняя куртка. А уличную одежду я вешаю на стойку в прихожей.

– Тогда почему ваша куртка, висевшая у кухонной двери, оказалась влажной?

– Понятия не имею. Я не прикасался к ней много недель, а то и месяцев.

– Вы надевали ее не далее как вчера. Мы можем это доказать.

– Тогда это вопрос уже судебной юрисдикции.

– На одежде, в которой вы разгуливали вчера ночью, обнаружены волоски животного происхождения.

– Исключено.

– Значит, вы называете свою мать лгуньей?

Молчание.

– Мы попросили вашу мать предъявить нам одежду, в которой вы уходили из дому вчера вечером. Она так и сделала. На отдельных предметах вашего гардероба обнаружены волоски животного происхождения. Как вы это объясните?

– Ну, я ведь живу в деревне. За свои грехи.

– При чем тут грехи? Вы не доите коров, не подковываете лошадей, правда?

– Это самоочевидно. Я мог облокотиться на калитку какого-нибудь выпаса.

– Минувшей ночью шел дождь, и утром ваши ботинки еще были сырыми.

Молчание.

– Я задал вам вопрос, мистер Эда-а-алджи.

– Нет, инспектор, это не вопрос, а тенденциозное утверждение. Вы осмотрели мои ботинки: стоит ли удивляться, что я промочил ноги? На улицах в это время года слякоть.

– Но на лугах слякоти еще больше, да к тому же минувшей ночью шел дождь.

Молчание.

– Значит, вы отрицаете, что выходили из дома от половины десятого вечера до рассвета?

– До более позднего часа. Я выхожу из дома в семь двадцать.

– Но доказать этого, очевидно, не можете.

– Напротив. Мы с отцом спим в одной комнате. Каждый вечер он запирает дверь.

У инспектора отвисла челюсть. Он посмотрел через стол на Парсонса, который вел протокол и сейчас дописывал последнюю фразу. Кэмпбелл по опыту знал, что алиби бывает весьма шатким, но такое...

– Не могли бы вы повторить, что сейчас сказали.

– Мы с отцом спим в одной комнате. Каждый вечер он запирает дверь.

– И когда же у вас был заведен такой... порядок?

– Когда мне исполнилось десять лет.

– А нынче вам сколько?

– Двадцать семь.

– Понятно. – На самом-то деле, Кэмпбеллу было непонятно. – И ваш отец... заперев дверь... вам известно, куда он убирает ключ?

– Никуда не убирает. Ключ остается в замочной скважине.

– Значит, вам не составляет труда выбраться из комнаты?

– Мне ни к чему выбираться из комнаты.

– А по естественной надобности?

– Под кроватью стоит ночная ваза. Но я ею не пользуюсь.

– Никогда?

– Никогда.

– Так-так. Ключ всегда остается в замке. Значит, вам даже не приходится его разыскивать?

– Отец спит весьма чутко, да к тому же в последнее время его мучает люмбаго. Он легко просыпается. А ключ в замке проворачивается со скрежетом.

Кэмпбелл едва сдержался, чтобы не рассмеяться в лицо арестованному. За кого он их принимает?

– Уж извините, сэр, но такое положение дел, судя по всему, вас вполне устраивает. Вам никогда не приходило в голову смазать замок?

Молчание.

– Сколько у вас в распоряжении бритв?

– Сколько бритв? У меня в распоряжении – ни одной.

– Но вы, я полагаю, бреетесь?

– Отцовской бритвой.

– А почему вам не разрешают обзавестись собственной?

Молчание.

– Сколько вам лет, мистер Эда-а-алджи?

– Сегодня я уже три раза отвечал на этот вопрос. Проверьте по своим записям.

– Двадцатисемилетний мужчина, до сих пор не получивший разрешения обзавестись собственной бритвой, проводит каждую ночь под замком – дверь запирает отец, у которого чуткий сон. Вам никогда не приходило в голову, какой вы редкий экземпляр?

Молчание.

– Я бы сказал, настоящий уникум. А теперь... расскажите-ка мне о животных.

– Это не вопрос, а подтасовка компрометирующих сведений. – Поняв несообразность своего ответа, Джордж не удержался от улыбки.

– Приношу свои извинения. – Инспектор все больше закипал. До сих пор он щадил арестованного. Что ж, превратить самодовольного адвокатишку в слезливого школяра не составляет труда. – Хорошо, я задам вопрос. Что вы думаете о животных? Вы их любите?

– Что я думаю о животных? Люблю ли их? Нет, в общем и целом не люблю.

– Я так и думал.

– Нет, позвольте уточнить, инспектор. – Джордж почувствовал, как у Кэмпбелла нарастает ожесточенность, и решил из тактических соображений смягчить свои ответы. – Когда мне было четыре года, меня повели смотреть корову. А она развела пачкотню. Это, пожалуй, мое самое раннее воспоминание.

– Что корова развела пачкотню?

– Именно так. Думаю, тогда у меня и зародилось недоверие к животным.

– Недоверие?

– Да. От них всякого можно ждать. Они непредсказуемы.

– Понятно. Говорите, это самое раннее воспоминание?

– Да.

– И с тех пор вы не доверяете животным. Всем без исключения.

– Ну, не считая нашей кошки. И тетушкиной собаки. Этих я очень даже люблю.

– В отличие от коров.

- Да.
- И от лошадей?
- Лошади тоже непредсказуемы, да.
- А овцы?
- Овцы просто глупы.
- А дрозды? – вклинился до сих пор молчавший сержант Парсонс.
- Дрозды не животные.
- А обезьяны?
- Обезьяны в Стаффордшире не водятся.
- И откуда у нас такая уверенность?

Джордж закипает гневом. И намеренно затягивает паузу.

– Позвольте заметить, инспектор, ваш сержант выбрал ошибочную тактику.

– Ну, мне думается, тактика здесь ни при чем, мистер Эда-а-алджи. Сержант Парсонс – добрый приятель сержанта Робинсона, который служит в Хеднесфорде. А сержанта Робинсона некто грозит убить выстрелом в голову.

Молчание.

– Помимо этого, некто угрожает располосовать два десятка малолетних девочек в той самой деревне, где вы проживаете.

Молчание.

– Как видно, его не поражает ни одно из этих двух сообщений, сержант. Значит, они для него не внове.

Молчание. Джордж говорит себе: «Нужно было придержать язык. И давать только прямые ответы на прямые вопросы. Так что помалкивай».

Инспектор сверился с лежащим на столе блокнотом.

– При аресте вы сказали: «Я ничуть не удивлен. В последнее время этого следовало ожидать с минуты на минуту». Что вы имели в виду?

– Я имел в виду то, что сказал.

– Тогда позвольте мне озвучить то, что я понял из ваших слов; то, что понял из ваших слов сержант; то, что понял бы из ваших слов человек с улицы. А именно: вас наконец-то поймали, и вы вздохнули с облегчением оттого, что вас поймали.

Молчание.

– Так как по-вашему: почему вы здесь?

Молчание.

– Видимо, причина, по вашему мнению, заключается в том, что ваш отец – индус.

– На самом деле мой отец – парс.

– Ваши ботинки облеплены грязью.

Молчание.

– На вашей бритве обнаружена кровь.

Молчание.

– На вашей куртке обнаружены покровные конские волосы.

Молчание.

– Арест вас не удивил.

Молчание.

– Надо думать, это никоим образом не связано с тем, что ваш отец индус, или парс, или готтентот.

Молчание.

– Ну что ж, сержант, похоже, арестованный исчерпал все возможности. Видимо, приберегает свое красноречие для мирового суда в Кэнноке.

Джорджа отвели в камеру, где его ожидала миска холодной похлебки. Через каждые двадцать минут он слышал, как над смотровым отверстием поднимают скрипучий щиток; каждый час – по его расчетам – отпиралась дверь и дежурный констебль заходил в камеру с проверкой.

Во время второго захода полисмен, явно по чужой указке, заговорил:

– Сочувствую, мистер Эдалджи, что вы здесь оказались, но как вам удалось проскользнуть мимо наших парней? В котором часу вы порезали лошадь?

Констебль был не из местных, а потому его сочувственная фраза не возымела действия и не удостоилась ответа.

Через час тот же полисмен сказал:

– Сэр, мой вам искренний совет: развяжите язык. Не то об этом непременно позаботятся другие.

Во время четвертого захода Джордж спросил, будут ли эти проверки длиться всю ночь напролет.

– Приказ есть приказ.

– Приказ требует не давать мне спать?

– Нет, что вы, сэр. Приказ требует охранять вашу жизнь. Мне головы не сносить, если вы что-нибудь этакое над собой сотворите.

Джордж понял, что против ежечасных вторжений он бессилён. Констебль продолжал:

– Что и говорить, всем, в том числе и вам, было бы проще, кабы вы сами себя определили, куда следует.

– Чтобы я сам себя определил? Куда же?

Констебль потоптался на месте.

– В безопасное местечко.

– А, понятно, – отозвался Джордж, вновь разозлившись. – Вы советуете мне выставить себя чокнутым. – Он не случайно выбрал это слово, памятуя, что отцу оно не по нраву.

– Так-то и для семьи было бы легче. Сами рассудите, сэр. Подумайте, каково придется вашим родителям. Они у вас, сдается мне, люди пожилые.

Дверь камеры затворилась. Джордж лег на койку, слишком изможденный и злой, чтобы уснуть. Мыслями он перенесся домой, представил, как в дверь ломятся полицейские, как наводняют все комнаты. А ведь там отец, мать, Мод. Вспомнил он и свою опустевшую, запертую контору на Ньюхолл-стрит, вспомнил секретаршу, оставшуюся не у дел. Представил, как Хорас откроет утреннюю газету. Как для обмена новостями начнут перезваниваться бирмингемские поверенные.

Но под изнеможением, гневом и страхом Джордж обнаружил у себя и другое чувство: облегчение. Если уж этому суждено было случиться, значит так тому и быть. Он оказался бессилён против мистификаторов, клеветников и подлых бумагомарателей; мало что мог он противопоставить и полицейским, которые не признавали очевидного и с презрением отмахивались от его здравых советов. Теперь эти мучители и недоумки засадили его в безопасное место, где властвуют законы Англии – здесь он в своей стихии. Здесь ему понятно, что к чему. Хотя по роду своей деятельности Джордж нечасто бывал в суде, сейчас его все же занесло на знакомую территорию. Посещая судебные процессы, он насмотрелся на рядовых граждан, которые пересохшими от ужаса губами едва лепетали свои показания перед лицом сурового и великого правосудия. Насмотрелся он и на полицейских, которые вначале, не зная сомнений, победно сверкали медными пуговицами, но усилиями ловкого адвоката на глазах превращались в лживых идиотов. Наконец, он наблюдал – нет, не просто наблюдал, а чувствовал, почти осязал – те незримые, неразрывные нити, коими связаны все служители закона. Судьи и адвокаты всех рангов, солиситоры, делопроизводители, приставы – здесь простирались их владения, здесь они общались на особом языке, малопонятном простому смертному.

Его дело, разумеется не дойдет до уголовного суда – до вотчины судей и адвокатов. У полиции нет против него ни единой улики, тогда как у него есть самое веское из всех возможных доказательство невиновности. Священнослужитель Англиканской церкви поклянется на Библии, что сын его крепко спал взаперти, когда совершались истязания животных. После чего мировые судьи только переглянутся и даже не станут удаляться на совещание. Инспектору Кэмпбеллу объявят строгое взыскание – и точка.

Естественно, перед рассмотрением дела нужно заручиться услугами толкового полицейского солиситора, такого, например, как мистер Личфилд Мик – вполне подходящая кандидатура. Дело закроют, назначат выплату судебных издержек – и можно будет выйти на свободу с незапятнанной репутацией, а потом прочесть в газетах суровую критику в адрес полиции.

Нет, это чересчур легкомысленно. Не стоит уподобляться наивным обывателям и забегать слишком далеко вперед. Рассуждать нужно так, как положено человеку его профессии. Нужно просчитать возможные домыслы полицейских, сообщить все необходимые подробности нанятому солиситору, предусмотреть допущения следственного суда. Нужно с абсолютной точностью вспомнить перемещения, поступки, слова – как свои, так и чужие – за весь период вменяемой ему преступной деятельности.

Джордж методично перебрал в памяти последние двое суток, готовясь доказать, вне всяких обоснованных сомнений, наипростейшее и наименее противоречивое из всех событий. Он составил в уме список нужных свидетелей: его секретарша, сапожник мистер Хэндс, начальник станции мистер Мерримен. Любой, кто видел его за каким-либо занятием. Да тот же Маркью. Он вполне сгодится, если мистер Мерримен не сможет подтвердить, что Джордж сел на поезд в 7:39 до Бирмингема. Джозеф Маркью догнал его на перроне и просил пропустить ближайший поезд, чтобы дождаться инспектора Кэмпбелла. Сам бывший полицейский, Маркью теперь заделался трактирщиком; вполне возможно, что он записался в ряды специальных констеблей, хотя напрямую об этом не говорил. Джордж спросил, что от него нужно Кэмпбеллу, но Маркью изобразил неведение. Пока Джордж обдумывал, как быть дальше, и гадал, что думают об этой беседе его попутчики, Маркью вдруг взял развязный тон и сказал что-то вроде... нет, не что-то вроде, а слово в слово: «Да ладно вам, мистер Эдалджи, неужели так сложно в кои-то веки устроить себе выходной?» Джордж еще подумал: если хотите знать, сударь, я устроил себе выходной ровно две недели назад, чтобы свозить сестру в Аберистуит, но если уж на то пошло, я сам решу, когда мне устраивать выходной, или же посоветуюсь с отцом, но никак не со стаффордширским полицейским управлением, которое в последнее время ведет себя не слишком учтиво. А вслух он только объяснил, что на Ньюхолл-стрит его ждут неотложные дела, и сел в подошедший поезд 7:39, оставив Маркью стоять на перроне.

Столь же скрупулезно Джордж восстановил в уме и другие разговоры, даже совершенно пустяковые. В конце концов он погрузился в дремоту, а точнее, притерпелся к скрежету створки и вторжениям констебля. Утром

ему дали ведро воды, пятнистый обмылок и тряпку вместо полотенца. Разрешили свидание с отцом, который принес ему домашний завтрак. Позволили также черкнуть два кратких письма клиентам с объяснениями причин задержки в их текущих делах. Через час с лишним прибыли два констебля, чтобы препроводить его в мировой суд. В ожидании отправки эти двое смотрели на него как на пустое место и переговаривались через его голову о каком-то деле, которое явно вызывало у них куда больший интерес. Речь шла о таинственном исчезновении некой женщины-хирурга, проживавшей в Лондоне.

- Рост – под метр восемьдесят, прикинь.
- Таковую разыскать – пара пустых.
- Не скажи.

Из арестантской его вели пешком сквозь плотную, в основном любопытствующую толпу. Какая-то старуха начала выкрикивать бессвязные оскорбления, но ее быстро оттеснили. В здании суда уже поджидал мистер Личфилд Мик: солиситор старой закалки, поджарый, седовласый, известный как своей учтивостью, так и непреклонностью. В отличие от Джорджа, он не надеялся на снятие всех обвинений по формальным показателям.

Вскоре появился магистрат в следующем составе: мистер Дж. Уильямсон, мистер Дж. Т. Хаттон и полковник Р. С. Уильямсон. Джорджу Эрнесту Томпсону Эдалджи предъявили обвинения в имевшем место семнадцатого августа незаконном и умышленном нанесении увечья лошади, принадлежавшей Угольной компании Грейт-Уэрли. Поскольку обвиняемый не признал себя виновным, слово для изложения полицейских доказательств предоставили инспектору Кэмпбеллу. Тот показал, что около семи утра был вызван на луг близ шахты и обнаружил там полуживую низкорослую лошадь, которую впоследствии пришлось забить. С луга он проследовал в дом подсудимого, где обнаружил полуплащ с кровавыми пятнами на обшлагах, с беловатыми пятнами слюны на рукавах и с прилипшими волосками как на рукавах, так и на груди. Пятно слюны было также обнаружено на жилете. В кармане полуплаща лежал носовой платок с вензелем Ш. Э. и буроватым, похожим на кровь пятном в одном уголке. Далее сам инспектор и сержант Парсонс направились в Бирмингем, где находится контора обвиняемого, арестовали его и отконвоировали в Кэннок для снятия показаний. Обвиняемый отрицал, что минувшей ночью надевал вышеописанный предмет одежды, но признал данный факт, когда ему сообщили, что достоверность этих сведений подтверждена его матерью. Затем обвиняемому был задан вопрос о происхождении шерстинок,

обнаруженных на его верхней одежде. Вначале он отрицал их наличие, а затем высказал предположение, что они могли прилипнуть к одежде в результате его возможного прислонения к воротам.

Джордж посмотрел через зал на мистера Мика: тот накануне вечером побывал у инспектора, но беседа их определенно носила совершенно иной характер. Сейчас мистер Мик избегал встречаться взглядом со своим клиентом. Вместо этого он поднялся с места и задал Кэмпбеллу несколько вопросов – по мнению Джорджа, вполне безобидных, если не сказать дружеских.

Далее мистер Мик вызвал преподобного Шапурджи Эдалджи, которого представил как «священнослужителя». Джордж не сводил глаз с отца, когда тот описывал подробнейшим образом, но с затяжными паузами расположение спальных мест в доме викария, обычай запираеть дверь спальни, трудности поворота ключа в скрипучем дверном замке, а под конец упомянул свой весьма чуткий сон и мучительные приступы люмбаго: надумай кто-нибудь отпереть дверь, он бы определенно проснулся, да и вообще после пяти утра ему давно уже не спится.

Комиссар Барретт, пухлый, с аккуратной седой бородкой, прижимая фуражку к выпуклости живота, рассказал суду, что главный констебль инструктировал его не спешить с освобождением арестованного под залог. После краткого совещания магистрат назначил продолжение слушаний на ближайший понедельник – для рассмотрения доводов за освобождение под залог. Дождаться назначенной даты Джорджу предстояло в Центральной стаффордской тюрьме. На этом заседание было закрыто. Мистер Мик пообещал прийти к Джорджу на другой день, ближе к вечеру. Джордж попросил его захватить с собой какую-нибудь бирмингемскую газету. Ему хотелось знать, какими сведениями будут располагать его коллеги. Сам он предпочитал «Газетт», но сейчас сгодилась бы и «Пост».

В стаффордской тюрьме Джорджу задали вопрос насчет его вероисповедания, а также умения читать и писать. После этого велели полностью раздеться и принять унижительную позу. Затем его препроводили к начальнику тюрьмы, капитану Синджу, который объявил, что все камеры в данный момент заняты, а потому Джордж будет содержаться в лазарете. Ему объяснили, какие послабления режима предусмотрены на время предварительного заключения: можно ходить в собственной одежде, заниматься физическими упражнениями, писать письма, получать газеты и журналы. Разрешаются также свидания с глазу на глаз со своим солиситором, но под контролем надзирателя, стоящего за стеклянной дверью. Свидания с другими лицами возможны только в

присутствии надзирателя.

При аресте Джордж был в легком летнем костюме и соломенной шляпе. Он обратился за разрешением получить из дома смену белья. Это, ответили ему, запрещено правилами внутреннего распорядка. Если в камере предварительного заключения можно ходить в своей одежде, из этого еще не следует, что заключенному позволено завести себе личный гардероб.

«ГРОМКОЕ ДЕЛО В ГРЕЙТ-УЭРЛИ, – прочел Джордж на следующий день. – СУД НАД СЫНОМ ВИКАРИЯ». «Свидетельством той шумихи, которую вызвал этот арест в районе Кэннок-Чейс, стало вчера большое скопление народа на всех дорогах, ведущих в приход Грейт-Уэрли, где обвиняемый проживал в доме викария, а также перед зданием мирового суда и полицейского участка в Кэнноке». Джордж пришел в отчаяние, когда представил, как их дом осаждают людские толпы. «Полицейским дали возможность произвести обыск без наличия ордера. На данный момент представляется возможным заключить, что в результате поисков обнаружено некоторое количество запятнанных кровью предметов одежды и набор бритв, а также пара ботинок, найденных на лугу близ места последнего бесчинства».

– «Найденных на лугу», – повторил Джордж, обращаясь к мистеру Мику. – Найденных на лугу? Кто-то вынес мою обувь на луг? «Некоторое количество запятнанных кровью предметов одежды»? *Количество?*

Мик выслушал все это с поразительным спокойствием. Нет, он не планирует делать запрос в полицию относительно предполагаемой находки ботинок на лугу. Нет, он не собирается просить, чтобы бирмингемская «Дейли газетт» напечатала уточнение насчет количества запятнанных кровью предметов одежды.

– С вашего позволения, могу кое-что предложить, мистер Эдалджи.

– Прошу вас.

– Ко мне, как вы, очевидно, догадываетесь, обращается немало клиентов, оказавшихся примерно в таком же положении; большинству из них подавай газетные репортажи о ходе процесса. Обвиняемый их читает – и начинает слегка горячиться. В подобных случаях я всегда советую прочесть соседнюю колонку той же рубрики. Мне кажется, зачастую это полезно.

– Соседнюю колонку той же рубрики? – Взгляд Джорджа скользнул немного левее, к заголовку «Исчезновение женщины-врача». И к подзаголовку: «Новых сведений о мисс Хикмен нет».

– Читайте вслух, – распорядился мистер Мик.

– «В деле об исчезновении мисс Софи Франсес Хикмен, работавшей хирургом в Королевской общественной больнице, до сих пор не появилось новых сведений...»

Мик заставил своего подопечного прочесть всю колонку целиком. Слушал сосредоточенно, вздыхал, качал головой и временами даже ахал.

– Но, мистер Мик, – сказал Джордж, дойдя до конца, – разве я могу этому верить, зная, какие нелепости пишут обо мне?

– Вот и я о том же.

– Но даже если так... – Взгляд Джорджа как магнитом притягивала колонка, отведенная ему самому. – Даже если так... «Обвиняемый, как свидетельствует его фамилия, человек восточного происхождения». Меня, похоже, выставляют китайцем.

– Обещаю, мистер Эдалджи: если вас хоть раз назовут китайцем, я без лишнего шума укажу на это редактору.

В следующий понедельник Джорджа повезли из Стаффорда в Кэннок. На сей раз толпа бесновалась. Мужчины бежали рядом с двуколкой и подпрыгивали, норовя заглянуть внутрь; иные колошматили в дверь и размахивали палками. Джордж нервничал, но конвойные и бровью не вели.

В суд прибыл сам капитан Энсон; Джордж все время ощущал на себе гневный взгляд этой подтянутой, авторитетной фигуры. В связи с тяжестью совершенного преступления члены магистрата затребовали трех отдельных поручителей. Отец Джорджа усомнился, что найдет сразу троих. Поэтому магистрат перенес заседание в Пенкридж с отсрочкой ровно на одну неделю.

В Пенкридже мировые судьи уточнили условия освобождения под залог. Сумму залога распределили следующим образом: двести фунтов стерлингов от Джорджа, по сто фунтов от отца с матерью по отдельности и еще сто – из стороннего источника. Но здесь фигурировало четверо поручителей, а не трое, как было объявлено в Кэнноке. Джорджу виделся в этом какой-то фарс. Не дожидаясь мистера Мика, он попросил слова сам.

– К освобождению под залог я не стремлюсь, – объявил он мировому суду. – Мне поступило несколько предложений помощи, но я предпочитаю обойтись без залога.

Предварительное слушание назначили на четверг, третье сентября, в Кэнноке. Во вторник явившийся на свидание со своим клиентом мистер Мик принес дурную весть.

– Добавлено второе обвинение: угроза убийством из огнестрельного оружия сержанту Робинсону, проживающему в Хеднесфорде.

– На лугу рядом с моей обувью нашли еще и ружье? – Джордж не

верил своим ушам. – Угроза убийством из огнестрельного оружия? Угроза сержанту Робинсону? Да я никогда в жизни не прикасался к оружию и, насколько могу судить, в глаза не видел сержанта Робинсона. Мистер Мик, они что, разом свихнулись? Как прикажете это понимать?

– Понимать это надо так, – начал мистер Мик, как будто его клиент не разразился негодующей тирадой, а просто задал обыкновенный, неторопливый вопрос. – Надо понимать, что мировой суд безусловно вынесет решение о содержании под стражей до суда. При всей слабости доказательной базы освобождение из-под стражи теперь крайне маловероятно.

Позднее Джордж вернулся на лазаретную койку. Невозможность поверить в происходящее терзала его хуже любой болезни. Как они могли так с ним поступить? Как могли хотя бы отдаленно такое заподозрить? Злоба была для него столь малознакомым чувством, что он не знал, против кого ее направить: против Кэмпбелла и Парсонса, или против Энсона, или против полицейского солиситора, или против мировых судей? Для начала сгодились бы мировые судьи. Если верить Мику, они безусловно оставят его под стражей – как полоумные, как марионетки или автоматы. Но в конце-то концов, кто такие мировые судьи? У них даже нет юридического образования. В большинстве своем это напыщенные дилетанты, облеченные кратковременной властью.

Он даже воспрял духом от этих презрительных слов, но тут же устыдился. Вот почему гнев – это грех: он ведет к неправде. В Кэнноке мировые судьи ничем не лучше и не хуже любых других; а кроме того, они не произнесли ни единого слова, которое могло бы вызвать у него справедливый протест. Чем больше он о них размышлял, тем увереннее вновь переходил на профессиональные позиции. Недоверие сменилось явным разочарованием, а потом и отстраненными практическими соображениями. Если дело направят в суд вышей инстанции, оно даже к лучшему. Чтобы свершилось правосудие, чтобы допустившие произвол не остались безнаказанными, требуются юристы другой квалификации, а также соответствующая обстановка. Обстановка в кэннокском мировом суде выглядела насмешкой. Прежде всего, сам зал заседаний был размером с классную комнату в доме викария. Даже отгороженной скамьи подсудимых там не было: для обвиняемого ставили стул посреди зала.

Именно туда его и усадили утром третьего сентября; ощущая на себе со всех сторон чужие взгляды, Джордж не знал, с кем себя сравнить: с записным отличником или с безнадежным тупицей. Инспектор Кэмпбелл дал расширенные показания, но по большому счету не отступил от своих

прежних слов. Зато от констебля Купера поступили новые сведения – о том, как через считанные часы после обнаружения искалеченного животного он нашел ботинок подсудимого с характерно стоптанным каблуком. Отпечаток подошвы он сравнил со следами, оставленными на лугу возле загубленного пони, а также со следами возле деревянных мостков близ дома викария. А как он это сделал: да просто вдавил башмак мистера Эдалджи каблуком в сырую почву и вытащил – следы полностью совпали.

Потом сержант Парсонс подтвердил, что возглавлял отряд из двадцати констеблей-добровольцев, сформированный для поимки банды изуверов. Он рассказал, как при обыске спальни в доме Эдалджи обнаружил футляр с четырьмя бритвами. На одной имелись еще не высохшие бурые пятнышки, а к лезвию прилипла пара волосков. Сержант указал на это Эдалджи-старшему, и тот принялся вытирать лезвие большим пальцем.

– Неправда! – вскричал викарий, поднимаясь с места.

– Не перебивайте, – одернул его инспектор Кэмпбелл, опередив судей.

Продолжив свои показания, сержант Парсонс дошел до того момента, когда задержанного доставили в пересыльную тюрьму Бирмингема на Ньютон-стрит. Повернувшись к нему, Эдалджи сказал: «Надо думать, это происки мистера Локстона. Я добьюсь, чтобы он сел на скамью подсудимых, прежде чем мне вынесут приговор».

Наутро бирмингемская «Дейли газетт» писала о Джордже следующее:

Он не выглядит на 28 лет. В зал суда он явился в помятом черно-белом клетчатом костюме и мало чем напоминал солиситора: лицо смуглое, темные глаза навывкате, полные губы и маленький округлый подбородок. Типично восточный человек, характерно невозмутимый: никакого проявления эмоций, кроме тонкой улыбки, не сходящей с его лица все то время, когда обвинение излагало вопиющие факты. Престарелый отец обвиняемого, индус, и седая англичанка-мать присутствовали в зале суда и с вниманием, вызывающим только жалость, следили за ходом процесса.

– Значит, я не выгляжу на двадцать восемь лет, – заметил Джордж мистеру Мику. – Наверное, потому, что мне всего двадцать семь. Моя мать не англичанка, она шотландка. Мой отец – не индус.

– А я предупреждал: нечего читать прессу.

– Но он не индус.
– Для «Газетт» разница невелика.
– А если бы я вас, мистер Мик, объявил валлийцем?
– Я не стал бы пенять вам за эту неточность: в жилах моей матери течет толика валлийской крови.

– Тогда ирландцем.

Мистер Мик не обиделся; в ответ он лишь улыбнулся и действительно стал немного похож на ирландца.

– Тогда французом.

– Вас, как я погляжу, заносит, сэр. Вы меня провоцируете.

– А сам я, значит, невозмутим, – продолжал Джордж, снова уставясь в газету. – Разве это предосудительно? Разве типичному солиситору не положено сохранять невозмутимость? Ан нет, я, дескать, не типичный солиситор. Я типично восточный человек, и понимайте как угодно. Так что, откуда ни посмотри, я типичный экземпляр, верно? Будь я вспыльчив, меня все равно объявили бы восточным человеком, вы согласны?

– Невозмутимость – положительное качество, мистер Эдалджи. Вас ведь не назвали непроницаемым. Или лукавым.

– А что это могло бы означать?

– Ну как же: бесовскую хитрость. А мы чураемся бесовского начала. И дьявольского тоже. Защите только на руку непроницаемость.

Джордж улыбнулся своему солиситору.

– Прошу прощения, мистер Мик. И спасибо за ваше здравомыслие. Мне, боюсь, его недостает.

На другой день слушаний показания давал четырнадцатилетний Уильям Грейторекс, гимназист из Уолсолла. Суду зачитали многочисленные письма, под которыми стояло его имя. Свою подпись он не признал, отверг всякую причастность к этим посланиям и даже смог доказать, что во время отправки двух писем находился на острове Мэн. Подросток объяснил, что по утрам садится в Хеднесфорде на утренний поезд и едет в Уолсолл, к месту своей учебы. С ним обычно едут Уэствуд Стэнли, сын известного посредника по найму шахтеров; Куибелл, сын викария хеднесфордского прихода; Пейдж, Харрисон и Ферридей. Все эти имена фигурировали в письмах, которые только что были оглашены в суде.

Грейторекс показал, что года три-четыре знает мистера Эдалджи в лицо.

– Он, бывает, ездит в том же купе, что и мы с ребятами. Раз десять-двенадцать такое было.

Гимназиста спросили, когда обвиняемый в последний раз оказался в

одном с ним купе.

– Наутро после убийства двух лошадей мистера Блуитта. Кажется, тридцатого июня. Мы как раз проезжали мимо луга и сами видели из окна этих лошадей – они лежали на земле.

Тогда юного свидетеля спросили, заговаривал ли с ним мистер Эдалджи в то утро.

– Да, он спросил, не Блуитта ли это лошади. А потом стал смотреть в окно.

Следующий вопрос: а до того случая заходил ли у него разговор с подсудимым об изуверских нападениях на животных?

– Нет, ни разу, – ответил подросток.

Затем слово предоставили Томасу Генри Гаррину; он подтвердил, что является графологом с большим стажем. Ему была поручена экспертиза писем, зачитанных в суде. В измененном почерке он выявил ряд четко выраженных особенностей. Те же самые особенности были выявлены и в письмах мистера Эдалджи, переданных графологу для сопоставления.

Доктор Баттер, судебно-медицинский эксперт, изучивший пятна на одежде Эдалджи, заявил, что проведенный им анализ показал наличие следов крови млекопитающего. На плаще и жилете он обнаружил двадцать девять коротких волосков каштанового цвета. Их он сравнил с волосным покровом лоскута кожи, срезанного с трупа шахтерского пони и присланного в лабораторию вечером того дня, когда и было совершено нападение на животного, то есть накануне ареста мистера Эдалджи. Микроскопическое исследование выявило схожесть волосков.

Мистер Гриптон, у которого в тот вечер было свидание с девушкой близ Коппис-лейн в Грейт-Уэрли, показал, что в районе девяти часов мимоходом повстречал мистера Эдалджи. Где именно это произошло, мистер Гриптон запомнил.

– Ну ничего, – сказал полицейский солиситор, – тогда назовите нам ближайшую к месту встречи пивную.

– Бывший полицейский участок, – с радостью выпалил мистер Гриптон.

Приставы с каменными лицами пресекли хохот в зале суда.

Мисс Биддл, которая подчеркнула, что они с мистером Гриптоном помолвлены, тоже видела мистера Эдалджи; аналогичные показания дали и другие лица.

Суд огласил подробности вивисекции: рана, нанесенная шахтерскому пони, оказалась пятнадцати дюймов в длину.

Свидетелем выступил и отец подсудимого, индус, викарий прихода

Грейт-Уэрли.

Сам подсудимый заявил:

– Я не признаю себя виновным ни по одному из пунктов обвинения и сохраняю за собой право на защиту.

В пятницу 4 сентября Джордж Эдалджи, обвиненный по двум пунктам, был передан в Стаффордский уголовный суд, заседавший раз в квартал. На следующее утро бирмингемская «Дейли газетт» написала:

Эдалджи сохранял свежий, жизнерадостный вид; сидя на стуле в центре зала суда, он коротко переговаривался со своим солиситором на предмет свидетельских показаний и обнаруживал при этом компетентность, обусловленную его серьезной юридической подготовкой. Однако большую часть времени он невозмутимо наблюдал за свидетелями, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу; при этом он выставлял напоказ характерно стоптанный каблук – одно из самых серьезных доказательств в цепи косвенных улики.

Джордж все же порадовался, что его объявили невозмутимым, и прикинул, будет ли у него возможность сменить обувь перед заседанием Стаффордского суда квартальных сессий. Он также отметил, что Уильям Грейторекс описан в газете как «пышущий здоровьем юный англичанин с открытым загорелым лицом и приятными манерами».

Мистер Личфилд Мик не сомневался, что окончательный вердикт будет оправдательным.

Женщину-хирурга, мисс Софи Франсес Хикмен, пока не нашли.

Джордж

Полтора месяца, отделяющие предварительные слушания от квартальной сессии Стаффордского суда, Джордж провел в лазарете стаффордской тюрьмы. Он ни в чем не раскаивался: отказ от освобождения под залог представлялся ему верным решением. Под грузом таких обвинений он так или иначе не смог бы вести дела в конторе; да, он скучал по родным, но для них, с его точки зрения, было только лучше, что его содержат под стражей. Его встревожили сообщения о толпах, осаждающих дом викария; к тому же он слишком хорошо помнил, как по дороге в мировой суд Кэннока в дверь полицейской кареты стучали тяжелые кулаки. Надумай какие-нибудь горячие головы подкараулить его на улицах Грейт-Уэрли, он не поручился бы за свою безопасность.

Но была и другая причина не спешить с освобождением. Все знали, где он находится, в любое время суток за ним велось наблюдение, о чем делались соответствующие записи. Случись сейчас новое злодеяние, всем стало бы ясно, что цепь этих событий не имеет к нему ни малейшего отношения. А если первый пункт обвинения рассыплется, то и второй пункт – нелепое утверждение, будто он грозился застрелить человека, которого в глаза не видел, – придется снять. Странное было ощущение: ловить себя на том, что он, адвокат-солиситор, надеется на очередную резню домашнего скота, однако следующее преступление такого рода обещало ему кратчайший путь к свободе.

Но если дело все же дойдет до уголовного суда, то, по крайней мере, сомнений относительно вердикта не останется. К Джорджу вернулись и самообладание, и оптимизм; он мог больше не притворяться ни с мистером Миком, ни с родителями. Ему уже виделись газетные заголовки. «ЖИТЕЛЬ ГРЕЙТ-УЭРЛИ ОПРАВДАН». «ПОЗОРНАЯ ТРАВЛЯ МЕСТНОГО СОЛИСИТОРА». «СВИДЕТЕЛЬСТВА ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРИЗНАНЫ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ». А то и: «ГЛАВНЫЙ КОНСТЕБЛЬ УХОДИТ В ОТСТАВКУ».

Мистер Мик не без труда убедил Джорджа не обращать внимания на то, каким изображают его в прессе. А двадцать первого сентября газетные домыслы вообще утратили важность, поскольку в этот день на ферме мистера Грина было вспорото брюхо и выпущены кишки еще одной лошади. Джордж воспринял эту весть с осторожным ликованием. Он уже слышал скрежет отпираемых замков, представлял, как втягивает в себя утренний воздух и обнимает пахнущую пудрой мать.

– Наконец-то получено доказательство моей невиновности, мистер Мик.

– Это не совсем так, мистер Эдалджи. Думаю, не стоит опережать события.

– Но я сижу за решеткой...

– ...что в глазах суда доказывает только лишь вашу непричастность к истязанию лошади мистера Грина.

– Нет, это истязание доказывает определенную закономерность, которая наблюдалась и до, и после нападения на шахтерского пони, а потому, как теперь стало ясно, никоим образом не связана со мной.

– Я-то с этим не спору, мистер Эдалджи. – Солиситор оперся подбородком на кулак.

– Но?

– Но в такие моменты, с моей точки зрения, полезно просчитать

возможные доводы обвинения.

– И что же может заявить обвинение?

– Ну, например: вечером семнадцатого августа ответчик, возвращаясь от сапожника, дошел до фермы мистера Грина.

– Да, именно так.

– Мистер Грин является соседом ответчика.

– Верно.

– В таком случае что может быть выгоднее для ответчика в его нынешнем положении, чем покалеченная лошадь в непосредственной близости от дома викария – ближе, чем в любом из предыдущих эпизодов?

Личфилд Мик наблюдал за реакцией Джорджа.

– Вы хотите сказать, что я подстроил свой арест отправкой анонимных писем, приписав себе злодеяния, которых не совершал, а затем, чтобы отвести от себя подозрения, вынудил кого-то изувечить лошадь?

– В общих чертах да, мистер Эдалджи.

– Но это курам на смех. А с Грином я даже незнаком.

– Я всего лишь показываю вам, как сторона обвинения может посмотреть на данные обстоятельства. При желании. А такое желание безусловно возникнет. Полиция ведь обязана изловить преступника, верно?

– Газеты в открытую намекают, что последний эпизод делает все обвинения беспочвенными. Если преступника найдут и он признает свою вину, значит я выйду на свободу?

– Если все так и произойдет, то да, мистер Эдалджи, вас освободят, согласен.

– Понимаю.

– Есть и кое-что еще. Вам знакома фамилия Дарби? Капитан Дарби?

– Дарби. Дарби. Нет, не припоминаю. Инспектор Кэмпбелл задавал мне вопросы про какого-то Капитана. Быть может, это он и есть. А что?

– Опять началась рассылка писем. Буквально всем и каждому. Даже министру внутренних дел. И все как одно за подписью «Дарби, капитан Уэрлийской банды». В них говорится, что изувательства будут продолжены. – От мистера Мика не укрылось выражение глаз Джорджа. – Нет-нет, мистер Эдалджи, просто теперь обвинение волей-неволей признает, что эти послания почти наверняка писали не вы.

– Похоже, нынче утром вы задались целью лишить меня всякой уверенности, мистер Мик.

– У меня нет такого намерения. Но вы должны готовиться к тому, что суда нам не избежать. И ввиду этого мы заручились услугами мистера Вачелла.

– О, это добрая весть.
– Думаю, он не подведет. Помогать ему будет мистер Гауди.
– А кто будет представлять обвинение?
– К сожалению, мистер Дистэрнал. И мистер Харрисон.
– Дистэрнал – это для нас плохо?
– Если честно, я бы предпочел кого-нибудь другого.
– Мистер Мик, теперь мой черед вас приободрить. Судебный обвинитель, даже самый жесткий, не спит кирпичей без соломы.

Личфилд Мик обратил к Джорджу искушенную улыбку.

– За те годы, что я подвигаюсь в судах, мистер Эдалджи, у меня перед носом кирпичи лепились из самых разных материалов. О некоторых вы даже не подозреваете. Для мистера Дистэрнала не станет препятствием отсутствие соломы.

Даже перед лицом этой надвигающейся угрозы Джордж, вынужденный коротать оставшиеся до суда недели в Стаффордской тюрьме, пребывал в спокойном расположении духа. Обращались с ним уважительно, дни подчинялись определенному распорядку. Джорджу доставляли газеты и корреспонденцию; вместе с мистером Миком он готовился к процессу; ожидал развития событий в деле Грина и пользовался своим правом получать книги. Отец принес ему Библию, мать – однотомник Шекспира и однотомник Теннисона. Прочтя оба последних издания, он от нечего делать взялся за бульварные детективы, подсунутые ему надзирателем. Этот же надзиратель дал ему потрепанную книжку под названием «Собака Баскервилей»; эту повесть Джордж нашел превосходной.

Теперь он без содрогания листал утреннюю прессу, так как его фамилия на время сошла с газетных полос. Джордж с интересом узнал, что в кабинете министров произошли перестановки, что на Бирмингемском музыкальном фестивале исполнялась новая оратория Эдуарда Элгара, что в Англии гастролирует Буффало Билл со своим шоу.

За неделю до суда к Джорджу пришел жизнерадостный толстяк мистер Вачелл, судебный адвокат высшего ранга, имеющий двадцатилетний опыт выступлений в мидлендских судах.

– Как вы расцениваете мои шансы, мистер Вачелл?

– Я расцениваю их положительно, мистер Эйдлджи, вполне положительно. Могу сказать, что развернутая против вас кампания – верх позора и некомпетентности. Конечно, на процессе я прямо так высказаться не смогу. А вместо этого сосредоточусь на тех пунктах, где наши позиции видятся мне наиболее сильными.

– И каковы, по-вашему, эти пункты?

– Я бы выразился так, мистер Эйдлджи. – На губах адвоката появилась улыбка, граничащая с усмешкой. – Никаких улик, изобличающих вас в совершении данного преступления, нет. Никакого мотива к совершению данного преступления у вас не было. И потенциальных возможностей для совершения данного преступления тоже не было. Перед судьей и присяжными я слегка блесну красноречием. Но защита будет строиться именно на этих тезисах.

– Одно плохо, – вставил свое слово мистер Мик, – что наше дело направлено в суд «Б».

Его тон остудил недолгую радость Джорджа.

– Что в этом плохого?

– В суде «А» председательствует лорд Хэзертон. У него хотя бы есть юридическое образование.

– Вы хотите сказать, что меня будет судить какой-то профан?

Тут вмешался мистер Вачелл:

– Не пугайте его, мистер Мик. Мне доводилось выступать в обоих судах. Кто у нас председательствует в суде «Б»?

– Сэр Реджинальд Харди.

На лице мистера Вачелла не дрогнул ни один мускул.

– Вот и отлично. Я считаю, нам даже на руку, что не придется стоять навтыжку перед каким-то педантом, который метит в Верховный суд. Сможем позволить себе чуть больше обычного, не боясь, что нас будут постоянно одергивать, дабы похвалиться знаниями судебной процедуры. По большому счету, как я уже сказал, защитите это на руку.

Джордж чувствовал, что мистер Мик не согласен; и все же судебный адвокат выглядел чрезвычайно авторитетным, хотя искренность его оставалась под вопросом.

– У меня будет к вам одна просьба, джентльмены. – Мистер Мик и мистер Вачелл мимолетно переглянулись. – Касательно моей фамилии. Она произносится «Э-э-эдл-джи». У мистера Мика получается более или менее правильно, а вас, мистер Вачелл, следовало предупредить с самого начала. Полицейские, сдаётся мне, нарочно игнорируют любые поправки. Я предлагаю, чтобы в самом начале заседания мистер Вачелл сделал объявление насчет ударения в моей фамилии. Нужно довести до сведения суда, что правильно говорить не «Эда-а-ал-джи», а «Э-э-эдл-джи».

Судебный адвокат наставительно кивнул солиситору, и мистер Мик ответил:

– Джордж, как бы поточнее выразиться? Конечно, фамилия – вопрос

сугубо личный, и мы с мистером Вачеллом, разумеется, постараемся выговаривать ее, как вы скажете. Но исключительно наедине с вами. А в зале суда... в зале суда... Аргумент, видимо, таков: там – чужой монастырь. Мы не поладим с сэром Реджинальдом Харди, если выступим с подобным заявлением. И ничего не добьемся, решив преподать местным полицейским урок произношения. Что же касается мистера Дистэрнала, он, подозреваю, только позлорадствует от этой путаницы.

Джордж перевел взгляд с одного собеседника на другого:

– Не вполне понимаю.

– Я вот о чем толкую, Джордж: пусть суд оставит за собой право решать, как произносить фамилию подсудимого. Этот вопрос нигде не прописан и обычно не ставится во главу угла. А ошибочное, с вашей точки зрения, произношение звучит, я считаю, более... по-английски.

У Джорджа перехватило дыхание.

– И менее по-восточному?

– Да, Джордж, менее по-восточному.

– В таком случае попрошу вас обоих коверкать мою фамилию, чтобы я привык.

Суд назначили на двадцатое октября. Девятнадцатого числа четверо мальчишек, игравших близ Сидмутской рощи в Ричмонд-парке, нашли сильно разложившийся труп. Экспертиза установила, что это тело мисс Софи Франсес Хикмен, работавшей хирургом в Королевской общественной больнице. Примерно сверстницы Джорджа. И, подумал он, его соседки по газетной полосе.

Утром двадцатого октября тысяча девятьсот третьего года Джорджа перевезли из Стаффордской тюрьмы в Уголовный суд. Отвели в подвал, где находилось конвойное помещение. В качестве поблажки определили в просторную камеру с низким потолком, дощатым столом и печкой; под надзором констебля Даббса он мог совещаться там с мистером Миком. В течение двадцати минут, что Джордж просидел за столом, Даббс, жилистый, с полоской бороды, старательно отводил взгляд. Затем по сигналу он повел Джорджа тесными, петляющими, мрачными коридорами, вдоль шеренги тусклых газовых фонарей к какой-то двери, за которой начиналась узкая лестница. Получив от Даббса легкий тычок в спину, конвоируемый двинулся вверх, навстречу свету и шуму. Когда он появился у всех на виду в зале суда «Б», шум сменился тишиной, и Джордж, оказавшийся прямо за барьером скамьи подсудимых, в растерянности застыл – ни дать ни взять актер, насильно вытолкнутый на сцену из люка.

В присутствии помощника председательствующего – сэра

Реджинальда Харди, двух мировых судей, сидевших по бокам от него, капитана Энсона, полномочных англичан-присяжных, газетчиков, представителей общественности и трех членов семьи подсудимого был зачитан обвинительный акт. Джорджу Эрнесту Томпсону Эдалджи инкриминировались нанесение в ночь с 17 на 18 сентября резаной раны лошади-пони, принадлежавшей угольной компании, а также отправка, около 11 июля, письма с угрозой убийства на имя сержанта Робинсона, служащего в полицейском участке Кэннока.

Мистер Дистэрнал был высок ростом, гладок, быстр в движениях. После краткой вступительной речи он вызвал инспектора Кэмпбелла, и рассказ завели с самого начала: обнаружение раненого пони, обыск в доме приходского священника, одежда с пятнами крови, прилипшие к плащу волосы, анонимные письма, арест и последующие заявления подсудимого. Джордж понимал: это не более чем рассказ – мешанина разрозненных сведений, совпадений и домыслов; понимал он и то, что ни в чем не виновен, однако из-за повторения начальственным лицом в парике и мантии рассказ этот приобрел некое подобие достоверности.

Когда Джордж уже решил, что показания Кэмпбелла исчерпаны, мистер Дистэрнал преподнес свой первый сюрприз.

– Инспектор Кэмпбелл, прежде чем мы закончим, напомним о недавнем случае, вызвавшем серьезную тревогу общественности; думаю, вы можете нас просветить на сей счет. Если не ошибаюсь, двадцать первого сентября на ферме мистера Грина была найдена лошадь с резаной раной.

– Совершенно верно, сэр.

– А ферма мистера Грина расположена по соседству с домом священника прихода Грейт-Уэрли?

– Да, это так.

– И полиция начала следствие по этому возмутительному делу?

– Конечно. Безотлагательное и приоритетное.

– Принесло ли оно какие-либо результаты?

– Да, сэр.

Точно рассчитанная пауза, которую выдержал мистер Дистэрнал, оказалась, в сущности, излишней: все присутствующие замерли раскрыв рот, как один изумленный ребенок.

– Будьте любезны, сообщите суду о результатах вашего расследования.

– Джон Гарри Грин, девятнадцати лет, доброволец конного отряда территориальной армии, взял на себя вину за указанное деяние в отношении своей собственной лошади. Он дал письменные признательные показания.

- Юноша взял на себя полную и единоличную ответственность?
- Да, это так.
- А вы допросили его на предмет возможной связи между этим злодеянием и предыдущими эпизодами, имевшими место в том же районе?
- Допросили. Причем очень подробно, сэр.
- И что он сообщил?
- Что это был единичный случай.
- И следственные действия подтвердили, что эпизод на ферме Грина никак не связан с другими эпизодами, зафиксированными в данной местности?
- Подтвердили.
- Совершенно никак не связан?
- Совершенно никак не связан, сэр.
- Присутствует ли в данный момент Джон Гарри Грин в зале суда?
- Да, сэр, присутствует.

Джордж, как и все, кто находился в переполненном зале, начал озираться в поисках девятнадцатилетнего конника-добровольца, который сознался в истязании собственной лошади, хотя, судя по всему, не дал полиции внятного объяснения своим действиям. Но именно в этот миг сэр Реджинальд Харди решил, что подошло время обеда.

Мистер Мик перво-наперво исполнил договорные обязательства по отношению к мистеру Вачеллу и только потом спустился в помещение, где в перерывах между заседаниями держали Джорджа. Тот совсем приуныл.

– Вы нас предупреждали насчет Дистэрнала, мистер Мик. Мы были готовы к неожиданностям. Ну, по крайней мере, сегодня во второй половине дня мы сможем прощупать этого Грина.

Солиситор мрачно покачал головой:

- Исключено.
- Почему же?
- Потому что он не наш свидетель. Если другая сторона его не вызовет, мы не получим права на перекрестный допрос. А допрашивать его втемную – слишком большой риск: неизвестно, что он выкинет. Это может нас доконать. И все же они представляют его суду – делают вид, будто идут с открытым забралом. Умно. Типично дистэрналовский ход. Я должен был такое предусмотреть, но ни сном ни духом не ведал о признании конника. Это плохо.

Джордж посчитал своим долгом приободрить солиситора:

– Понимаю, вы расстроены, мистер Мик, но ведь вреда особого нет? Грин сказал – и полиция повторила, – что этот случай никак не связан с

предыдущими.

– В том-то и загвоздка. Важны ведь не слова, а произведенное впечатление. Зачем молодому человеку понадобилось без всякой видимой причины выпускать кишки лошади, причем своей собственной? Ответ: чтобы выгородить соседа и дружка, которого обвиняют в аналогичном преступлении.

– Но он мне не друг. Кажется, я его даже в лицо не знаю.

– Да, это понятно. И об этом вы скажете мистеру Вачеллу, когда мы, просчитав возможный риск, выведем вас на свидетельскую трибуну. Но при этом создастся впечатление, будто вы опровергаете подозрения, еще никем не высказанные. Это умный ход. После перерыва мистер Вачелл займется инспектором, но мне думается, особых оснований для оптимизма у нас нет.

– Мистер Мик, я заметил, что Кэмпбелл сегодня заявил, будто обнаруженная им при обыске вещь – моя старая, сто лет не ношенная домашняя куртка – была мокрой. Он повторил это дважды. А в Кэнноке всего лишь называл ее влажной.

Мик тепло улыбнулся:

– Сотрудничать с вами – одно удовольствие, мистер Эдалджи. Мы-то сами отмечаем такие вещи, но не докладываем клиенту, чтобы его не расстраивать. Полиция еще не раз подкорректирует все сказанное, поверьте.

Во второй половине дня мистер Вачелл не добился особого толку от инспектора, который на свидетельской трибуне чувствовал себя как рыба в воде. Впервые увидев Кэмпбелла в полицейском участке Хеднесфорда, Джордж нашел его тугодумом, да еще неуловимо хамоватым. На Ньюхолл-стрит и в Кэнноке тот уже соображал быстрее и не скрывал враждебности, но при этом не обнаруживал логического мышления. Сейчас он высказывался взвешенно и серьезно, а логика вкупе с авторитетностью исходила, казалось, от его рослой фигуры и полицейской формы. Джордж подумал, что вокруг него исподволь подменяются не только слова, но и некоторые персонажи рассказа.

Зато мистеру Вачеллу повезло добиться большего от констебля Купера, который, как и в суде первой инстанции, объяснил, каким образом проводилось сравнение каблука Джорджа с отпечатками ботинок на сыром грунте.

– Констебль Купер, – приступил к допросу мистер Вачелл, – позвольте спросить, кто поручил вам произвести эти действия?

– Точно не помню, сэр. Вроде инспектор, но может, и сержант

Парсонс.

– И где конкретно вам приказали искать следы?

– В любом месте на дороге от луга к дому викария, по которой, скорее всего, убежал злодей.

– Считалось, что злодей явился из дома викария? И туда же вернулся?

– Да, сэр.

– В любом месте?

– В любом, сэр.

На вид Джордж дал Куперу лет двадцать, не больше; уверенностью этот красноухий, неуклюжий юнец старался не уступать своему начальству.

– И вы исходили из того, что злодей, как вы его называете, выбрал кратчайший путь?

– Да, скорее всего, сэр. С места преступления обычно так и убегают.

– Понятно, констебль. Значит, в других местах, кроме прямой дороги, вы не искали?

– Нет, сэр.

– И сколько времени заняли ваши поиски?

– По моим прикидкам, час с небольшим.

– И в котором часу это было?

– Начал я вроде в полдесятого, как-то так.

– А пони был обнаружен примерно в шесть тридцать?

– Да, сэр.

– То есть тремя часами ранее. В течение этого времени той дорогой мог прошагать кто угодно. Шахтеры, идущие на смену, зеваки, прознавшие о случившемся. Не говоря уже о полицейских.

– Возможно, сэр.

– А кто работал с вами в паре, констебль?

– Я был один.

– Понятно. И вы нашли несколько следов, совпавших, по вашему мнению, с ботинком, который был у вас в руке.

– Да, сэр.

– А затем вернулись и доложили о своей находке?

– Да, сэр.

– И что потом?

– Вы о чем, сэр?

Джордж с удовлетворением отметил, как Купер слегка сбавил тон, словно почувствовал, что его куда-то ведут, но еще не разглядел пункт назначения.

– Я о том, констебль, что произошло после вашего доклада.

– Меня направили на осмотр участка, примыкающего к дому викария, сэр.

– Понимаю. Но в какой-то момент вы, констебль, вернулись, чтобы показать кому-нибудь из вышестоящих офицеров найденные вами следы.

– Да, сэр.

– В котором примерно часу?

– Во второй половине дня.

– Во второй половине дня. То есть часа в три, в четыре?

– Около того, сэр.

– Так-так. – Нахмутив брови, мистер Вачелл призадумался – на взгляд Джорджа, чересчур театрально. – Иными словами, шесть часов спустя.

– Да, сэр.

– В течение этого отрезка времени территория охранялась и была огорожена, чтобы не допустить дальнейшего затаптывания?

– Не совсем.

– Не совсем. Это означает «да» или «нет»?

– Нет, сэр.

– Итак, насколько мне известно, в подобных случаях стандартная процедура требует сделать гипсовые слепки с отпечатков, оставленных конкретным каблуком. Ответьте мне: это было сделано?

– Нет, сэр, не было.

– Как я понимаю, существует и другой метод: сфотографировать обнаруженные следы. Это было сделано?

– Нет, сэр.

– Насколько я знаю, используется еще один способ: выкопать соответствующий кусок грунта и передать его на экспертизу. Это было сделано?

– Нет, сэр. Слякоть помешала.

– В течение какого срока вы служите в полиции, мистер Купер?

– Год и три месяца.

– Год и три месяца. Большое спасибо.

Джордж едва не захлопал в ладоши. Сейчас, как и все это время, он смотрел на мистера Вачелла, но не мог поймать его взгляд. По всей вероятности, этого не предполагал судебный этикет, но, возможно, мистер Вачелл уже планировал допрос следующего свидетеля.

До конца вечернего заседания все, похоже, шло своим чередом. Суду были выборочно зачитаны анонимные письма, и Джордж убедился, что ни один здравомыслящий человек не заподозрил бы в нем автора этих пасквилей. Взять хотя бы послание от адресата, называющего себя

«Поборником Правосудия», которое он передал Кэмпбеллу: «Джордж Эдалджи, я тебя не знаю, но иногда вижу на железной дороге и догадываюсь, что при знакомстве ты бы мне не понравился – туземцев не люблю». Ну мог ли он своей рукой такое написать? За этим последовала еще более нелепая атрибуция авторства. В зачитываемом письме содержалось будто заимствованное из дешевого романа описание законов так называемой уэрлийской банды: «Все они, повторяя за Капитаном, приносят жуткую клятву скрытности, и каждый говорит: „Чтоб мне сдохнуть на месте, коли проболтаюсь“». Джордж решил положиться на присяжных: пусть сами делают вывод, может солиситор выразиться таким слогом или нет.

Мистер Ходсон, владелец мелочной лавки, показал, что видел Джорджа, когда тот шел в Бриджтаун к мистеру Хэндсу, и что стряпчий был одет в старую домашнюю куртку. Но вслед за тем сам мистер Хэндс, у которого Джордж провел около получаса, заявил, что никакой куртки на его заказчике не было. Еще двое свидетелей также сообщили, что видели его в тот вечер, только не запомнили, как он был одет.

– Сдается мне, другая сторона меняет позицию, – сказал мистер Мик, когда судебное заседание окончилось. – Чувствую, появилась какая-то задумка.

– Какого рода? – спросил Джордж.

– В Кэнноке обвинение утверждало, что на луг вы пришли еще до ужина, во время своей обычной прогулки. Потому-то и было вызвано такое количество свидетелей, видевших вас и здесь и там. Взять хотя бы ту любовную парочку, помните? Сюда их не позвали, и не только их. И еще: на предварительных слушаниях звучала одна-единственная дата: семнадцатое. Теперь в обвинительном заключении говорится «в ночь с семнадцатого на восемнадцатое». Решили подстраховаться. Как я вижу, склоняются к ночному времени. Вероятно, у них в запасе есть нечто такое, о чем мы не догадываемся.

– Мистер Мик, не важно, куда они склоняются и почему. Если им по нраву вечернее время, то у них нет ни единого свидетеля, который бы повстречался со мной вблизи луга. А если им по нраву ночное время, то пусть попробуют оспорить показания моего отца.

Пропустив мимо ушей слова клиента, мистер Мик продолжил размышления вслух:

– Конечно, им не обязательно склоняться либо к одному, либо к другому. Они могут просто обрисовать возможности перед присяжными. Однако в этот раз больше внимания уделяется следам. Следы пригодятся в

том случае, если обвинение склонится ко второму варианту, поскольку ночью лил дождь. И если ваша старая куртка из влажной стала мокрой, это лишь подтверждает мое предположение.

– Тем лучше, – сказал Джордж. – Во время вечернего заседания мистер Вачелл разнес в пух и прах констебля Купера. А если мистер Дистэрнал будет гнуть ту же линию, то ему останется только утверждать, что священник Англиканской церкви говорит неправду.

– Если позволите, мистер Эдалджи... Не надо думать, что все так просто.

– Но это действительно просто.

– Вы готовы поручиться, что ваш отец в добром здравии? С точки зрения психики?

– Это самый здоровый из всех известных мне людей. А почему вы спрашиваете?

– Подозреваю, что для него это будет важно.

– Вы не поверите, насколько здоровыми могут оказаться индусы.

– А ваша мать? А сестра?

Утреннее заседание второго дня началось с показаний трактирщика Джозефа Маркью, бывшего констебля. Он рассказал, как инспектор Кэмпбелл направил его на железнодорожную станцию Грейт-Уэрли-Чёрчбридж и как подсудимый отказался дожидаться следующего поезда.

– Объяснил ли он вам, – спросил мистер Дистэрнал, – какие дела оказались столь важными, что заставили его отклонить неотложную просьбу инспектора полиции?

– Нет, сэр.

– Вы повторили ему просьбу задержаться?

– Повторил, сэр. Я даже предложил ему в порядке исключения устроить себе выходной. Но он отказался менять свои планы.

– Понятно. Скажите, мистер Маркью, в тот момент произошло что-нибудь примечательное?

– Да, сэр. К нам подошел стоявший на перроне человек и сообщил, что, по слухам, ночью полоснули ножом еще одну лошадь.

– И куда был направлен ваш взгляд, когда тот человек сообщил свою весть?

– Мой взгляд был направлен прямо на подсудимого.

– Вы можете описать суду его реакцию?

– Могу, сэр. Он заулыбался.

– Он заулыбался. Он заулыбался, услышав, что покалечена еще одна

лошадь. Вы в этом уверены, мистер Маркью?

– Еще бы, сэр. Абсолютно уверен. Он заулыбался.

Джордж подумал: «Но это неправда. Я же знаю, что это неправда. Мистер Вачелл обязан доказать, что это неправда».

Опыт подсказывал мистеру Вачеллу, что с ходу отметить такие показания нельзя. Поэтому он сосредоточился на личности человека, якобы подошедшего к Маркью и Джорджу. Кто таков, откуда взялся, куда ехал? (Подразумевалось: почему его нет в зале суда?) Сначала посредством намеков и пауз, а потом и напрямую мистер Вачелл сумел выразить неподдельное изумление тем, что содержатель питейного заведения, а в прошлом полисмен, с широчайшим кругом знакомств в тех местах, оказался неспособен опознать этого полезного, но таинственного субъекта, который мог бы подтвердить его причудливое и тенденциозное заявление. Но выжать из Маркью нечто большее защита не сумела.

Затем по указанию мистера Дистэрнала сержант Парсонс повторил фразы подсудимого насчет ожидаемого ареста и его же заявление, якобы сделанное в бирмингемской камере предварительного заключения, о том, что он упечет за решетку мистера Локстона, прежде чем выйдет сам. Никто даже не сделал попытки объяснить, кто такой этот пресловутый Локстон. Еще один участник уэрлийской банды? Еще один полицейский, которого Джордж грозит застрелить? Фамилия эта повисла в воздухе, и присяжные вольны были думать что угодно. Некий констебль Мередит, чьего имени и лица Джордж совершенно не помнил, процитировал какое-то безобидное высказывание насчет освобождения под залог, услышанное им от Джорджа, но воспроизвел его так, что оно прозвучало изобличением. Вслед за тем Уильям Грейторекс, «пышущий здоровьем юный англичанин с открытым загорелым лицом и приятными манерами», повторил историю о том, как Джордж, глядя из окна вагона, проявил непонятный интерес к мертвым лошадям мистера Блуитта.

Ветеринар, мистер Льюис, описал состояние шахтерского пони, подробности кровопотери, длину и внешний вид раны, не забыв упомянуть о прискорбной необходимости пристрелить животное. Мистер Дистэрнал задал вопрос: каково предположительное время нанесения увечья? Мистер Льюис заявил, что, на его профессиональный взгляд, за шесть часов до осмотра. Иными словами, не ранее половины третьего ночи восемнадцатого числа.

Джорджу это показалось первой хорошей новостью за весь день. Все споры об одежде, в которой он приходил к сапожнику, теперь выглядели несущественными. Другая сторона просто-напросто отрезала себе одну из

линий обвинения. Загнала себя в тупик.

Однако на поведении мистера Дистэрнала это никак не отразилось. Всем своим отношением он давал понять, что некая изначальная двусмысленность, имевшаяся в деле, теперь прояснилась стараниями полиции и обвинения. Мы можем более не гадать, в какой момент за истекшие полсуток... мы теперь можем предположить, что в два тридцать ночи или очень близко к тому было совершено... И мистер Дистэрнал ловко увязал новую степень точности с возрастающей степенью уверенности в том, что обвиняемый сидит на скамье подсудимых именно за те преступления, которые указаны в обвинительном акте.

Последним пунктом повестки дня оставался допрос Томаса Генри Гаррина, не возражавшего, чтобы его представили как эксперта-графолога с девятнадцатилетним опытом распознавания измененного и анонимного почерка. Он подтвердил, что нередко выполняет заказы Министерства внутренних дел и что недавно выступил в своем профессиональном качестве как свидетель по делу об убийстве на скотоводческой ферме. У Джорджа не было определенного представления о том, по каким признакам распознается эксперт-графолог: наверное, по сухой учености и скрипучему, как жесткое перо, голосу. Но мистер Гаррин, краснолицый, с пышными бакенбардами, мог сойти за брата уэрлийского мясника, мистера Гринсилла.

Каков бы ни был его облик, мистер Гаррин завладел всеобщим вниманием. Суду были представлены фотоснимки большого формата с образцами почерка Джорджа. Были представлены и увеличенные фотографические копии ряда анонимных писем. Подлинники были описаны устно и переданы присяжным, которые, по ощущениям Джорджа, разглядывали их битый час, то и дело отрываясь и подолгу всматриваясь в самого арестанта. Деревянной указкой мистер обвел характерные петли, скругления и пересечения; описание незаметно переросло в умозаключение, потом в выражение теоретической возможности, а от нее – абсолютной уверенности. В конечном счете профессиональное и экспертное мнение мистера Гаррина свелось к тому, что анонимные письма, как и письма за собственноручной подписью обвиняемого, определенно написаны одной и той же рукой.

– Все письма без исключения? – переспросил мистер Дистэрнал, обводя ладонью зал, будто бы превратившийся в скрипторий.

– Нет, сэр, не все.

– Значит, среди них имеются те, которые, по вашему мнению, не написаны рукой подсудимого?

- Имеются, сэр.
- Сколько их?
- Одно, сэр.

Мистер Гаррин указал на то единственное письмо, чье авторство он не приписал Джорджу. Тот понял, что исключение было призвано лишь подтвердить мнение Гаррина относительно всех остальных посланий. Это была уловка, замаскированная под взвешенность.

Затем мистер Вачелл в течение некоторого времени уточнял разницу между личным мнением и научным доказательством, между предположением и знанием, но мистер Гаррин оставался свидетелем твердым как камень. Ему не впервой было оказаться в таком положении. У адвокатов и прежде возникала мысль, что графолог придерживается не более строгих методов, чем прорицатель, телепат или медиум.

Впоследствии мистер Мик сообщил Джорджу, что для защиты второй день зачастую оказывается наиболее сложным; зато третий день, когда будет заслушана сторона защиты, обещает быть самым удачным. Джордж на это надеялся; его преследовало ощущение, будто его история медленно, но верно от него отчуждается. Он опасался, как бы на третий день, когда суд готовился заслушать сторону защиты, не оказалось слишком поздно. Люди – в том числе и присяжные – начнут думать: сколько можно, нам уже рассказали, что произошло. С какой стати мы должны менять свое мнение?

На другое утро он послушно отрабатывал классический метод мистера Мика – сверять свою историю со стандартными газетными образцами. «Полночное самоубийство». «Бирмингемская трагедия у канала». «Арест двух лодочников». Но почему-то этот прием оказался неубедительным. Джордж скользнул глазами дальше по газетной полосе, к заметке «Типтонская трагедия любви» – про какого-то бедолагу, который связался с падшей женщиной и в итоге утопился в канале. Но Джорджа эти материалы не трогали; глаза сами собой возвращались к заголовкам. Его задевало, что история какого-то недотепы-любовника объявлялась «трагедией» и убогое сведение счетов с жизнью тоже объявлялось «трагедией». Тогда как на его историю сразу навесили ярлык «злодеяние».

И тут почти с облегчением он увидел заметку: «Смерть женщины-хирурга». Джордж счел для себя едва ли не общественным долгом ознакомиться с завершением истории мисс Хикмен, чей разлагающийся труп так и не выдал ни одной тайны. С того момента, как дело Джорджа передали в мировой суд, они с этой незнакомкой оставались товарищами по несчастью. Вчера, по сообщению «Пост», возле Сидмутской роцци в заповеднике Ричмонд-парк был обнаружен хирургический нож, или

скальпель. Газета заключила, что он выпал из кармана женщины, когда ее труп увозили с места преступления. Джордж не знал, можно ли этому верить. Найдено тело пропавшей женщины; неужто, когда его забирали, никто не заметил, как из карманов выпадают какие-то предметы? Будь Джордж членом коллегии присяжных при коронере, он бы ни за что на это не купился.

Далее «Пост» высказывала гипотезу, будто этот нож, или скальпель, принадлежал убитой и, вероятно, послужил для перерезания артерии, тем самым вызвав смерть от потери крови. То есть это самоубийство и очередная «трагедия». Что ж, подумалось Джорджу, версия правдоподобная. Однако, находишься приход Уэрли в графстве Суррей, а не в Стаффордшире, полиция состряпала бы что-нибудь поинтереснее: как сын викария сумел выбраться из запертой спальни, прихватил скальпель, которого прежде в глаза не видел, увязался за несчастной женщиной, дождался, когда она скроется в роще, и прирезал ее без какой-то бы то ни было причины.

Этот укол горечи привел его в чувство. Вообразив свою мифическую причастность к делу Хикмен, он вспомнил заверения мистера Вачелла, высказанные в самой первой их беседе. Моя линия защиты, мистер Эдалджи? Никаких изобличающих вас улик у обвинения нет, никакого мотива к совершению данного преступления у вас не было, как не было и потенциальных возможностей. Конечно, перед судьей и присяжными я слегка блесну красноречием, но защита будет строиться именно на этих пунктах.

Однако первым слово получил доктор Баттер. Он разительно отличался от мистера Гаррина – тот показался Джорджу шарлатаном, выдающим себя за профессионала. Судебно-медицинский эксперт, седовласый, спокойный, осмотрительный джентльмен, явился из мира пробирок и микроскопов; его выступление было сугубо конкретным. Он рассказал мистеру Дистэрналу, какие методы использовал при осмотре бритв, пиджака, жилета, ботинок, брюк и домашней куртки. Описал всевозможные пятна, обнаруженные на одежде, а затем идентифицировал те, которые могли быть следами крови млекопитающего. Пересчитал волоски, прилипшие к рукаву и левому борту куртки; в общей сложности получилось двадцать девять, все короткие, рыжеватые. Их он сравнил с покровными волосками, имевшимися на лоскуте кожи пристреленного шахтерского пони. Те волоски также оказались короткими, рыжеватого оттенка. Он исследовал обе группы волосков под микроскопом и установил, что они «схожи по длине, окрасу и структуре».

С доктором Баттером мистер Вачелл решил использовать такой прием: сперва отдать должное его знаниям и профессиональному опыту, а затем попробовать обратить их на пользу защите. Он привлек внимание к обнаруженным на плаще белесым пятнам – как заключило следствие, от слюны и пены раненого животного. Подтвержден ли этот вывод научными методами доктора Баттера?

– Нет.

– Из чего, по вашему мнению, состоят эти пятна?

– Из крахмала.

– По вашему опыту, как могли пятна такого состава попасть на одежду?

– Я бы сказал, что эти пятна, скорее всего, остались после завтрака, от употребления в пищу хлеба и молока.

Тут Джордж услышал звук, о существовании которого почти забыл: смех. В зале суда упоминание хлеба и молока было встречено смехом. Джорджу показалось, что это признак здравомыслия. Общее веселье не утихало; он посмотрел на присяжных. Один-два человека улыбались, но большинство сидело с серьезным видом. Джорджа это обнадежило.

Далее мистер Вачелл перешел к пятнам крови на рукаве ответчика.

– Вы утверждаете, что это пятна крови млекопитающего?

– Да.

– И никаких сомнений на сей счет быть не может, доктор Баттер?

– Совершенно никаких.

– Понятно. Скажите, доктор Баттер, лошадь – это млекопитающее?

– Естественно.

– Равно как и свинья, и овца, и собака, и корова?

– Конечно.

– То есть в царстве животных все живые существа, если только это не птицы, не рыбы и не земноводные, относятся к млекопитающим?

– Да.

– Как и я, и вы, и господа присяжные?

– Разумеется.

– Значит, утверждая, что это кровь млекопитающего, вы, доктор Баттер, всего лишь допускаете, что она могла принадлежать любому из вышеупомянутых видов?

– Это так.

– И вы ни на минуту не настаиваете, что продемонстрировали или могли бы продемонстрировать принадлежность этих пятнышек крови, имеющих на рукаве ответчика, лошади или пони?

– Нет, настаивать на чем-либо попросту невозможно.

– А возможно ли аналитическим путем установить возраст этих пятен крови? Вы могли бы, к примеру, утверждать, что одно из пятен оставлено вчера, другое на прошлой неделе, третье – несколько месяцев назад?

– Ну, если пятно еще влажное...

– На рукаве Джорджа Эдалджи имелось на момент вашего осмотра хотя бы одно влажное пятно?

– Нет.

– Все пятна успели засохнуть?

– Да.

– Значит, согласно вашим собственным показаниям, возраст этих пятен может исчисляться днями, неделями и даже месяцами?

– Именно так.

– А возможно установить, оставлено ли такое пятно кровью живого или мертвого млекопитающего?

– Нет.

– Или куском мяса?

– Тоже нет.

– Значит, доктор Баттер, по результатам исследования вы не можете отличить пятна крови человека, ранившего лошадь, и пятна, попавшие на его одежду несколькими месяцами ранее, когда он, скажем, готовил бифштекс для воскресного обеда, а то и употреблял его в пищу?

– Вынужден согласиться.

– Попрошу вас напомнить суду: сколько пятен крови вы обнаружили на обшлага домашней куртки мистера Эдалджи?

– Два.

– И если не ошибаюсь, вы сказали, что каждое было размером с трехпенсовую монету?

– Да, верно.

– Доктор Баттер, если лошади нанесена столь жестокая рана, что животное истекло кровью и в силу необходимости было забито, можете ли вы представить, чтобы при этом на одежду нападавшего попало немногим больше крови, чем попало бы на одежду неаккуратного едока?

– Я не хочу строить домыслы...

– А я никоим образом вас не принуждаю, доктор Баттер. Никоим образом не принуждаю.

Воодушевленный этим вопросом, мистер Вачелл сделал краткое сообщение от лица защиты, а потом вызвал Джорджа Эрнеста Томпсона Эдалджи.

«Он энергично вышел из-за барьера скамьи подсудимых и с полным самообладанием повернулся лицом к переполненному залу», – прочел Джордж на следующий день в бирмингемской «Дейли пост»; эта фраза обещала и впредь наполнять его гордостью. Невзирая на всю ложь, звучащую в этом зале, невзирая на инспирированные шепотки, оскорбительные намеки на его происхождение, намеренное передергивание фактов полисменами и прочими свидетелями, он и сейчас, и впоследствии собирался взирать на своих гонителей с полным самообладанием.

Для начала мистер Вачелл попросил, чтобы его подзащитный точно восстановил все свои передвижения вечером семнадцатого числа. Оба они понимали, что никакой необходимости в этом нет, поскольку мистер Льюис уже изложил суду хронометраж событий. Но мистер Вачелл хотел, чтобы присяжные свыклись с голосом Джорджа и прониклись доверием к его показаниям. Прошло всего шесть лет с тех пор, как ответчикам было разрешено свидетельствовать в суде, и появление обвиняемого на свидетельском месте все еще считалось рискованным новшеством.

Поэтому присяжные еще раз выслушали подробности визита к сапожнику, мистеру Хэндсу, и детали вечернего маршрута; правда, следуя совету мистера Вачелла, Джордж умолчал, что дошел до фермы Грина. Затем он описал семейную трапезу, условия для сна, запертую дверь спальни, свой подъем, завтрак и уход на станцию.

– Итак, вы помните свой разговор с мистером Джозефом Маркью на железнодорожной станции?

– Да, конечно. Он обратился ко мне на перроне, где я стоял в ожидании своего обычного поезда, в семь тридцать девять.

– Вы помните, что он сказал?

– Да, он сказал, что у него есть сообщение от инспектора Кэмпбелла. Мне предписывалось пропустить мой поезд и ожидать на станции до тех пор, пока у инспектора не появится возможность со мной переговорить. Особенно отчетливо мне запомнился тон Маркью.

– Как вы могли бы определить тон его голоса?

– Пожалуй, как очень грубый. Приказной, без намека на уважительность. Я спросил, по какому вопросу инспектор желает со мной встретиться, и Маркью ответил, что не знает, а кабы знал, так нипочем не сказал бы.

– Он представился вам как специальный констебль?

– Нет.

– Поэтому вы не видели оснований пропускать работу?

– Совершенно верно, в конторе меня ждали срочные дела, о чем я и

сообщил Маркью. Тут его словно подменили. Он начал заискивать и предложил мне в кои-то веки устроить себе выходной.

– И как вы это восприняли?

– Я подумал, что он не имеет ни малейшего представления о характере деятельности солиситора и о той ответственности, которую налагает на человека данная профессия. Солиситор не трактирщик, который может устроить себе выходной, доверив кому угодно торговать пивом из бочки.

– Разумеется. И в это время к вам подошел тот самый мужчина, который сообщил, что в округе пропорол брюхо еще одной лошади?

– Какой мужчина?

– Я ссылаюсь на показания мистера Маркью, в которых говорилось, что к вам с ним подошел некий мужчина и сообщил об очередной искалеченной лошади.

– В этом нет ни грана правды. Никакой мужчина к нам не подходил.

– И вы сели в ближайший поезд?

– Мне не привели аргументов за то, чтобы остаться.

– Значит, вопрос о том, что вы заулыбались, услышав об искалеченном животном, снимается?

– Целиком и полностью. Никакой мужчина к нам не подходил. Да и в противном случае я вряд ли увидел бы повод для улыбки. Улыбнуться я мог лишь в тот момент, когда Маркью предложил мне устроить выходной. В деревне он известен как лодырь, поэтому такое предложение было вполне в его характере.

– Понятно. Теперь давайте мысленно перенесемся немного вперед, когда тем же утром к вам в контору явились инспектор Кэмпбелл и сержант Парсонс, чтобы вас задержать. По дороге в пересыльную тюрьму вы, согласно их показаниям, произнесли: «Я не удивлен. В последнее время этого следовало ожидать». Это ваши слова?

– Да, мои.

– Вы можете пояснить, что имелось в виду?

– Конечно. В течение некоторого времени я подвергался травле. На мое имя приходили анонимные письма, о которых я сообщал в полицию. Было совершенно очевидно, что за моими передвижениями и за домом священника ведется слежка. Из комментариев одного полицейского явствовало, что ко мне сложилось неприязненное отношение. А за неделю-другую до того случая поползли слухи о моем аресте. Создавалось впечатление, что полиция задалась целью доказать мою виновность – не важно в чем. Потому-то я и не удивился.

После этого мистер Вачелл задал ему подготовленный вопрос о

загадочном мистере Локстоне; Джордж отрицал свои упоминания об этом господине, поскольку никогда в жизни не знал человека по фамилии Локстон.

– Давайте обратимся к следующему высказыванию, которое вам приписывается. В Кэннокском мировом суде вам предложили освобождение под залог, но вы отказались. Вы можете объяснить суду почему?

– Охотно. Условия предлагались в высшей степени обременительные как для меня, так и для моих родных. Кроме того, я содержался в тюремном лазарете, где ко мне неплохо относились. Я готов был оставаться там до суда.

– Понятно. Констебль Мередит в своих показаниях заявил, что вы, находясь под стражей, сказали ему: «Я отказываюсь выходить под залог: случись сейчас новое злодеяние, всем станет ясно, что это не моих рук дело». Вы такое говорили?

– Да.

– И что имелось в виду?

– Только то, что я сказал. За недели и месяцы до моего ареста совершались жестокие нападения на животных, и я, не имея к этому никакого отношения, подозревал, что зверства будут продолжаться. В таком случае все вопросы были бы сняты.

– Видите ли, мистер Эдалджи, высказывалось предположение, которое, несомненно, прозвучит вновь, что у вас была зловещая причина отказаться от выхода под залог. И предположение это заключалось в следующем: грейт-уэрлийская банда, чье существование упоминается постоянно, хотя и абсолютно бездоказательно, собиралась вас вызволить, намеренно покалечив очередное животное, чтобы подтвердить вашу невиновность.

– На это могу лишь заметить, что, будь я достаточно изощрен, чтобы придумать столь хитроумный план, у меня хватило бы ума не проговориться об этом констеблю.

– В самом деле, мистер Эдалджи, в самом деле.

Во время перекрестного допроса мистер Дистэрнал, как и ожидал Джордж, проявлял желчность и неуважение. Исключительно для того, чтобы разыграть неподдельное удивление, он просил Джорджа объяснить какие-то подробности, на которых тот уже останавливался. Его стратегия сводилась к тому, чтобы показать, насколько изворотлив и хитер подсудимый и как он сам себя изобличает. Джордж знал, что пресечь это должен не он сам, а мистер Вачелл. Главное, считал он, не поддаваться на

провокации, обдумывать каждый свой ответ, сохранять невозмутимость.

Естественно, мистер Дистэрнал не упустил случая подчеркнуть, что вечером семнадцатого Джордж дошел до фермы мистера Грина, и нарочито удивиться, почему подсудимый упустил из виду сей факт при даче свидетельских показаний. Обвинитель также проявил беспощадность, когда дело неизбежно коснулось волосков на одежде Джорджа.

– Вы под присягой показали, мистер Эйдлджи, что волоски прилипли к вашей одежде, когда вы прислонились к воротам, ведущим на некий луг, где имелся загон для скота.

– Я сказал: возможно, они попали на мою одежду таким путем.

– Однако же доктор Баттер, насчитавший на вашей одежде двадцать девять волосков, которые затем исследовал микроскопом, показал, что по длине, окрасу и структуре они совпадают с теми, которые имелись на лоскуте кожи мертвого пони.

– Он не сказал «совпадают». Он сказал «схожи».

– Разве? – Мистер Дистэрнал на миг смешался и сделал вид, будто сверяется со своими записями. – В самом деле. «Схожи по длине, окрасу и структуре». Как вы можете объяснить такое сходство, мистер Эйдлджи?

– Никак не могу. Я не специалист по волосяному покрову животных. Единственное, что я могу сделать, – это предположить, каким образом волоски могли оказаться на моей одежде.

– «По длине, окрасу и структуре», мистер Эйдлджи. Неужели вы всерьез надеетесь убедить суд, что волоски на вашей куртке принадлежали корове из какого-то загона, притом что длиной, окрасом и структурой они не отличаются от волосков пони, зарезанного менее чем в миле от вашего дома вечером семнадцатого числа?

Джордж не нашелся с ответом.

Мистер Вачелл попросил мистера Льюиса еще раз занять свидетельскую трибуну. Полицейский ветеринар повторил свое заявление о том, что, на его взгляд, пони не мог быть убит ранее половины третьего ночи восемнадцатого числа. Тогда ему задали вопрос: каким инструментом возможно нанести подобную рану? Искривленным орудием с вогнутыми боками. А возможно ли, по мнению мистера Льюиса, нанести такую рану бытовой бритвой? Нет, по мнению мистера Льюиса, такую рану бритвой нанести невозможно.

Далее мистер Вачелл вызвал священнослужителя Шапурджи Эдалджи, который повторил свои показания о домашних условиях для сна, о ключе в дверном замке, о своем люмбаго и о времени пробуждения. Джордж впервые заметил, как сильно постарел отец. Голос его теперь звучал куда

менее авторитетно; утверждения лишились прежней непререкаемости. Когда же мистер Дистэрнал поднялся со своего места для перекрестного допроса, Джордж всерьез забеспокоился. Излучая учтивость, обвинитель заверил свидетеля, что будет совсем краток. Однако это заверение оказалось насквозь ложным. Мистер Дистэрнал разбирал алиби Джорджа по крупницам и выкладывал их перед присяжными, словно впервые пытался точно оценить весомость и значимость фактов.

– Вы запираете на ночь дверь спальни?

Отец Джорджа не мог скрыть удивления, когда ему вновь задали этот вопрос. Пауза оказалась неестественно долгой. Затем он ответил:

– Да.

– И отпираете утром?

Еще одна неестественная пауза.

– Да.

– А куда вы убираете ключ?

– Ключ остается в замочной скважине.

– Вы его не прячете?

Викарий посмотрел на мистера Дистэрнала, как на дерзкого школяра.

– С какой стати я должен его прятать?

– Вы никогда его не прячете? И никогда не прятали?

Отец Джорджа стоял с озадаченным видом.

– Не понимаю, чем вызван этот вопрос.

– Я всего лишь пытаюсь установить, всегда ли ключ находится в замочной скважине.

– Но я уже ответил.

– Ключ всегда на виду? Никогда не убирается?

– Я уже ответил.

Когда отец Джорджа давал показания в Кэнноке, вопросы ставились прямолинейно, а свидетельское место чем-то напоминало амвон, откуда викарий будто бы свидетельствовал о самом существовании Господа. Теперь же, под градом вопросов мистера Дистэрнала, викарий – а вместе с ним и весь мир – больше не выглядел столь незыблемым.

– Вы сказали, что ключ проворачивается со скрежетом.

– Да.

– Это является фактом последнего времени?

– Что является фактом последнего времени?

– Скрежет ключа в замке. – Обвинитель будто бы помогал старику подняться по ступенькам. – Так было всегда?

– Да, сколько я помню.

Мистер Дистэрнал улыбнулся викарию. Джорджу сразу не понравилась эта улыбка.

– И... за все это время... сколько вы помните... никому не пришло в голову смазать замок?

– Никому.

– Позвольте спросить, сэр, – вам этот вопрос может показаться несущественным, но тем не менее хотелось бы услышать ваш ответ – почему за все время никто не смазал замок?

– Вероятно, потому, что этому не придавалось значения.

– Но не потому, что в доме нет масла?

Викарий неосмотрительно выказал свое раздражение.

– О наших запасах масла лучше спросить у моей жены.

– Если мне будет позволено, сэр. А этот скрежет, как бы вы могли его описать?

– Что вы имеете в виду? Скрежет как скрежет.

– Громкий скрежет или тихий? Можно ли сравнить его, скажем, с писком мыши или со скрипом амбарной двери?

Шапурджи Эдалджи как будто увяз в пучине благоглупостей.

– Полагаю, его можно описать как громкий писк.

– Тогда, я бы сказал, тем более странно, что замок не смазали. Ну, оставим это. Ежевечерне ключ в замке поворачивается с громким писком. А в других случаях?

– Не понимаю вас.

– Я имею в виду те случаи, когда ваш сын или вы сами, сэр, по ночам выходите из спальни.

– Мы по ночам не выходим.

– Ни один из вас по ночам не выходит. Как я понимаю, такой... порядок существует в вашем доме шестнадцать или семнадцать лет. И вы утверждаете, что за все эти годы ни один из вас ни разу не вышел из спальни ночью?

– Ни разу.

– Вы твердо уверены?

Опять повисла долгая пауза, как будто викарий перебирал в уме все эти годы, ночь за ночью.

– Абсолютно уверен.

– Вы храните воспоминания о каждой ночи?

– Не усматриваю смысла в этом вопросе.

– Сэр, я не прошу вас усматривать смысл. Я всего лишь прошу вас ответить. Вы храните воспоминания о каждой ночи?

Викарий обвел глазами зал, словно надеясь, что кто-нибудь избавит его от этого идиотизма.

- Как и любой человек, не более.
- Вот именно. В ваших показаниях говорилось, что у вас чуткий сон.
- Да, весьма чуткий. Я легко просыпаюсь.
- И вы, сэр, утверждаете, что проснулись бы от поворота ключа?
- Да.
- Вы не видите здесь противоречия?
- Нет, не вижу.

По наблюдениям Джорджа, отец начал выходить из себя. Викарий не привык, чтобы его слова ставились под сомнение, пусть даже в учтивой форме. На свидетельской трибуне оказался склочный старик, а не хозяин положения.

– Тогда, если можно, поясню. За семнадцать лет никто не выходил из комнаты. Значит, согласно вашим утверждениям, никто не поворачивал ключ в замке, пока вы спали. В таком случае как вы можете утверждать, что вас разбудил бы поворот ключа?

– Это казуистика. Имелось в виду, вне всякого сомнения, что я просыпаюсь от малейшего шума. – Но слова его прозвучали скорее ворчливо, нежели уверенно.

- Вас ни разу не будил поворот ключа?
- Ни разу.
- Тогда как же вы можете утверждать под присягой, что проснулись бы от этого звука?
- Могу только повторить уже сказанное. Я просыпаюсь от малейшего шума.

– Но если вас никогда не будил скрежет ключа в дверном замке, то разве нельзя допустить, что ключ в замке все же поворачивали, только вы от этого не проснулись?

- Как я уже сказал, такого не бывало.

Джордж наблюдал за отцом как преданный, заботливый сын, но еще и как профессиональный юрист-солиситор, и как настороженный подсудимый. Отец проявлял себя не лучшим образом. Мистер Дистэрнал без труда то усыплял его бдительность, то выводил из терпения.

– Мистер Эдалджи, в своих показаниях вы заявили, что просыпаетесь в пять утра и уже не засыпаете до половины седьмого, когда вам с сыном приходит время вставать.

- Вы ставите под сомнение мои слова?

Мистер Дистэрнал не выказал удовлетворения таким ответом, но

Джордж понимал, что обвинитель доволен.

– Нет, я всего лишь прошу вас подтвердить сказанное.

– Тогда подтверждаю.

– То есть вам не случалось еще подремать между пятью часами и половиной седьмого утра, чтобы проснуться позже?

– Я же сказал: нет.

– А вам когда-нибудь снится, что вы проснулись?

– Не понимаю.

– У вас бывают сновидения?

– Да. Изредка.

– Вам когда-нибудь снится, будто вы просыпаетесь?

– Не знаю. Не могу такого припомнить.

– Но вы признаете, что людям иногда снится, будто они просыпаются?

– Никогда об этом не думал. Мне не представляется важным, что видят во сне другие люди.

– Но вы согласны с моим утверждением о том, что у других людей бывают подобные сны?

Теперь у викария был такой вид, как у монаха-пустынника, которого пытаются ввести в непонятное ему искушение.

– Если вы так говорите...

Джордж и сам недоумевал от методов мистера Дистэрнала, но вскоре намерения обвинителя слегка прояснились.

– Значит, вы безоговорочно уверены, насколько это возможно в пределах разумного, что между пятью часами и половиной седьмого вы бодрствовали?

– Да.

– И вы в равной степени уверены, что между одиннадцатью вечера и пятью утра вы спали?

– Да.

– И не припоминаете, чтобы в этом промежутке времени вы просыпались?

Отец Джорджа всем своим видом показывал, что его слова вновь ставятся под сомнение.

– Нет.

Мистер Дистэрнал покивал.

– Значит, к примеру, около половины второго ночи вы спали. Около, к примеру... – казалось, он берет время с потолка, – половины третьего. Около трех часов ночи, к примеру. Да, благодарю вас. Теперь перейдем к другому вопросу...

Этому не было конца; на глазах у всех присутствующих отец Джорджа превращался в слабоумного, ни в чем не уверенного, но почтенного старичка, чьи причудливые попытки обеспечить безопасность своим близким без труда мог свести на нет изворотливый сын, который только что с достоинством стоял на свидетельской трибуне. Или еще того хуже: в старика-отца, который, заподозрив сына в причастности к изуверству, старательно, но безуспешно корректирует свои показания в ходе судебного процесса.

Следом настал черед матери Джорджа, которую совершенно выбило из колеи зрелище небывалой беспомощности мужа. После того как мистер Вачелл получил от нее все необходимые показания, мистер Дистэрнал с какой-то ленивой учтивостью стал задавать ей те же вопросы. Казалось, ответы интересовали его крайне мало; это был уже не беспощадный обвинитель, а скорее новый сосед, из вежливости заглянувший на чашку чая.

– Вы всегда гордились своим сыном, правда, миссис Эдалджи?

– О да, очень.

– Он всегда – и в раннем возрасте, и в молодые годы – был умен?

– Да, очень умен.

Мистер Дистэрнал елейным тоном выразил глубокое сочувствие миссис Эдалджи в связи с бедственным положением, в котором оказались нынче она сама и ее сын.

Это был даже не вопрос, но мать Джорджа машинально восприняла эту фразу именно так и принялась расхваливать сына.

– Он рос прилежным мальчиком. В школе получал награды. Окончил Мейсон-колледж в Бирмингеме, Юридическое общество ему медаль присудило. Он написал книгу по железнодорожному праву, о ней и газеты хорошо отзывались, и юридические журналы. Между прочим, вышла она в серии «Карманные юридические справочники издательства „Уилсон“».

Мистер Дистэрнал только поощрял это изливание материнских чувств. Он спросил, не хочет ли свидетельница добавить что-либо еще.

– Хочу. – Миссис Эдалджи посмотрела через зал на своего сына, сидящего на скамье подсудимых. – Он всегда был нам добрым и заботливым сыном и с детства проявлял доброту ко всем неразумным тварям. Не мог он покалечить или ранить живое существо, а знали мы или не знали, что он вышел из дому, никакой разницы не делает.

Мистер Дистэрнал так рассыпался в благодарностях, что со стороны выглядел едва ли не родным сыном свидетельницы; вернее, вторым сыном, который в высшей степен терпим к слепому добросердечию и наивности

седой старушки-матери.

Вслед за матерью вызвали Мод и попросили описать состояние одежды Джорджа. Голос ее звучал твердо, показания были четкими, но Джордж тем не менее замер, когда со своего места поднялся мистер Дистэрнал, кивая собственным мыслям.

– Ваши показания, мисс Эдалджи, до мельчайших подробностей совпадают с показаниями ваших родителей.

Мод спокойно выдержала его взгляд, надеясь понять, задал ли обвинитель вопрос или же готовит смертельный удар. Но мистер Дистэрнал со вздохом сел.

Позже, за дощатым столом в подвале Уголовного суда, Джорджа охватило изнеможение и уныние.

– К сожалению, мистер Мик, мои родители оказались не лучшими свидетелями.

– Я бы этого не сказал, мистер Эдалджи. Просто дело в том, что лучшие из людей не обязательно лучшие свидетели. Чем более они порядочны и честны, чем внимательней относятся к каждому слову вопроса, чем сильнее сомневаются в себе по причине скромности, тем легче манипулировать ими такому обвинителю, как мистер Дистэрнал. Поверьте, это происходит от раза к разу. Как бы поточнее выразиться? Это вопрос доверия. Чему мы доверяем, по какой причине. С сугубо юридических позиций, лучшие свидетели – те, кому присяжные доверяют больше, чем всем остальным.

– Из них, по всему, вышли незадачливые свидетели.

В течение всего процесса Джордж не просто надеялся, а твердо верил, что за показаниями отца последует мгновенное оправдание, что все нападки обвинителя разобьются о скалу отцовской честности и мистер Дистэрнал ретируется, как негодяй-прихожанин, уличенный в досужих поклепах. Но никаких нападок не последовало – по крайней мере, в такой форме, какую предвидел Джордж; отец подвел его, не сумев показать себя олимпийским божеством, чье слово, сказанное под присягой, неопровержимо. Вместо этого он показал себя педантом, да еще обидчивым и временами бестолковым. Джордж хотел объяснить суду, что, доведись ему в детстве совершить хоть малейшее правонарушение, отец за руку отвел бы его в полицию и потребовал примерного наказания: чем выше положение, тем тяжелее грех. Но впечатление сложилось совершенно иное: что его родители – доверчивые глупцы, которых ничего не стоит обвести вокруг пальца.

– Из них вышли незадачливые свидетели, – угрюмо повторил он.

– Они говорили правду, – ответил мистер Мик. – Другого свидетельства мы от них и ожидать не могли, равно как и другой манеры держаться. Присяжные, надо думать, это поймут. Мистер Вачелл уверен в исходе завтрашнего заседания; давайте последуем его примеру.

И наутро, когда Джордж в последний раз под конвоем следовал из Стаффордской тюрьмы в Уголовный суд, когда рассчитывал услышать свою историю в заключительном, отличном от нынешнего виде, он снова воспрял духом. На календаре было двадцать третье октября, пятница. К завтрашнему дню он вернется в отчий дом. В воскресенье будет, как всегда, молиться в церкви Святого Марка, под смотрящим вверх килем крыши. А в понедельник поездом в семь тридцать девять отправится на Ньюхолл-стрит, за свой письменный стол, к работе, к своим книгам. В знак обретенной свободы он подпишет на энциклопедию «Английское право» под редакцией лорда Холсбери.

Поднявшись по узкой лестнице прямо к скамье подсудимых, он заметил, что в зале стало еще больше народу. Общее возбуждение, которое ощущалось почти физически, внушало Джорджу тревогу: в воздухе витало не столько торжественное ожидание правосудия, сколько вульгарное предвкушение спектакля. Мистер Вачелл посмотрел на него через весь зал и впервые открыто улыбнулся. Джордж не знал, можно ли ответить тем же, и ограничился легким наклоном головы. Он взглянул на присяжных, «дюжину славных и честных мужей» из Стаффорда, которые с самого начала произвели на него впечатление людей порядочных и здравомыслящих. Отметил он и присутствие капитана Энсона и инспектора Кэмпбелла – пары его обличителей. Впрочем, обличителей ненастоящих: настоящие обличители оставались, по всей вероятности, в Кэннок-Чейсе, где тайно потирали руки и даже сейчас точили режущее оружие, которое, по мнению мистера Льюиса, представляло собою кривой режущий предмет с вогнутыми боками.

Вызванный сэром Реджинальдом Харди, мистер Вачелл приступил к своему заключительному обращению. Он попросил присяжных отрешиться от сенсационных аспектов дела (от газетных заголовков, публичной истерии, слухов и домыслов) и сосредоточиться на голых фактах. Суду не было представлено никаких доказательств того, что в ночь с 17 на 18 августа Джордж Эдалджи выходил из дома, который в течение нескольких дней до этого находился под неусыпным наблюдением полицейских сил Стаффордшира. Не было представлено ни малейших доказательств причастности Джорджа Эдалджи к инкриминируемому ему преступлению; маленькие точки крови могли попасть на одежду из любого источника и

оказались несоизмеримы с тяжкими повреждениями, нанесенными шахтерскому пони. Что касается волосков, якобы найденных на одежде подсудимого, – здесь налицо явная нестыковка показаний: если даже эти волоски существовали, их наличие допускало альтернативные объяснения. Что касается анонимных писем, порочащих Эдалджи, версия обвинения о том, что они написаны им самим, – это не более чем абсурдный домысел, идущий вразрез и с логикой, и с криминальным менталитетом. Что касается свидетельства мистера Гаррина, это не более чем личное мнение, от которого присяжные имеют право и, более того, все основания отмежеваться.

Далее мистер Вачелл остановился на различных инсинуациях, направленных против его клиента. Отказ последнего от освобождения под залог был продиктован разумными, если не сказать похвальными, соображениями: подсудимый руководствовался сыновним желанием облегчить финансовое бремя, грозившее лечь на плечи его слабых, престарелых родителей. Адвокат не смог обойти вниманием и мутные соображения, связанные с Джоном Генри Грином. Обвинение стремилось представить его соучастником Джорджа Эдалджи и тем самым очернить последнего, однако не было обнаружено ни одного связующего звена между подсудимым и мистером Грином, чье отсутствие на свидетельской трибуне говорило само за себя. В этом, равно как и в других отношениях, версия обвинения, сшитая на живую нитку из лоскутов и заплат, сводилась к разрозненным намекам и недомолвкам.

– Что мы имеем, – вопрошал в заключительной части своего выступления адвокат защиты, – что мы имеем после четырех дней разбирательства в этом зале, кроме рассыпающихся, скомканных и разбитых теорий полиции?

Когда мистер Вачелл вернулся на свое место, Джордж испытал удовлетворение. Речь защитника была четкой, аргументированной, без фальшивых эмоциональных всплесков, к каким прибегают некоторые адвокаты, и в высшей степени профессиональной; впрочем, Джордж заметил в формулировках и умозаключениях мистера Вачелла некоторые вольности, которые, наверное, были бы непозволительны в суде «А» под председательством лорда Хазертон.

Мистер Дистэрнал не суетился; он встал и помолчал, словно выжидая, когда развеется впечатление от заключительных слов мистера Вачелла. А потом принялся перебирать лоскуты и заплаты, на которые в открытую намекал его противник, и скрупулезно сшивать их заново, как будто готовился набросить покрывало на плечи Джорджа. Прежде всего он

обратил внимание присяжных на действия подсудимого и призвал поразмышлять, насколько они свойственны невиновному человеку. Отказ дожидаться инспектора Кэмпбелла и улыбочки на перроне; отсутствие какого бы то ни было удивления при аресте; вопрос насчет мертвых лошадей мистера Блуитта; угроза этому загадочному Локстону; отказ от освобождения под залог и уверенное предсказание, что грейт-уэрлийская банда нанесет новый удар и тем самым обеспечит ему выход на свободу. Разве так ведет себя невиновный? – спросил мистер Дистэрнал, заново соединив эти фрагменты для сведения присяжных.

Пятна крови; почерк; опять же – в который раз – одежда. Одежда подсудимого была мокрой, в особенности ботинки и домашняя куртка. Это установили полицейские, а затем подтвердили под присягой. Каждый полисмен из тех, кто осматривал эту домашнюю куртку, засвидетельствовал, что она была мокрой. В таком случае – если, конечно, полицейские все как один не заблуждаются (а такое невозможно и даже немислимо) – остается лишь одно разумное объяснение. Джордж Эдалджи, как и утверждало обвинение, тайком выбрался из дома ненастной ночью с 17 на 18 августа.

Но даже если все это так, даже если имеются неопровержимые доказательства вины подсудимого (и не важно, действовал ли он в одиночку или в составе преступной группы), остается, допустил мистер Дистэрнал, один вопрос, на который пока нет ответа. Каков был мотив? У присяжных есть полное право задать этот вопрос. И долг мистера Дистэрнала – помочь с ответом.

– Вероятно, вы спросите себя, как в эти дни спрашивали другие в этом зале: каков же был мотив преступника? Почему уважаемый с виду молодой человек совершил столь омерзительное деяние? На ум трезвомыслящему наблюдателю могут прийти различные объяснения. Мог ли преступник действовать из соображений особой неприязни и злобы? Такое не исключено, хотя, по-видимому, маловероятно, учитывая слишком уж большое количество жертв и потоки анонимной клеветы, сопровождавшие грейт-уэрлийские бесчинства. Мог ли он действовать в состоянии умопомрачения? Вы, наверное, решите, что да, если задумаетесь о невыразимой жестокости данного преступления. Но и это не будет исчерпывающим объяснением, поскольку преступление было слишком тщательно спланировано и слишком расчетливо исполнено, чтобы приписать его безумцу. Нет, я бы предложил непременно поискать мотивацию в таком мозгу, который не является больным, но устроен не так, как у обыкновенного человека. Мотивом стала не нажива, не месть

конкретному лицу, а скорее желание известности, желание анонимного самоутверждения, желание постоянно быть на шаг впереди полиции, желание посмеяться в лицо обществу, желание доказать свое превосходство. Как, наверное, и вы, господа присяжные, я, не сомневаясь в виновности подсудимого, на отдельных этапах данного процесса задавался вопросом: но почему, почему? И вот как я бы ответил на этот вопрос. По сути, все указывает на человека, совершившего эти преступления в силу дьявольской хитрости, засевшей в потаенном уголке его мозга.

Джордж, который слушал, слегка склонив голову, будто хотел сосредоточиться на словах мистера Дистэрнала, понял, что речь окончена. Он поднял взгляд и увидел, что обвинитель театрально смотрит на него в упор, словно впервые узрев его в непреложном свете истины. По примеру мистера Дистэрнала присяжные тоже начали в открытую сверлить глазами подсудимого; так же поступил и сэр Реджинальд Харди, и весь зал, не считая родных Джорджа. Не иначе как полицейский констебль Даббс и иже с ним, стоявшие позади скамьи подсудимых, даже сейчас разглядывали его пиджак костюма на предмет следов крови.

Без четверти час председатель начал подводить итоги, называя возмутительные преступления «пятном на репутации графства». Джордж слушал, но постоянно чувствовал на себе испытующие взгляды дюжины славных и честных мужей, искавших в нем признаки дьявольской хитрости. Противиться этому он не мог, разве что старался хранить невозмутимость. Именно так нужно выглядеть в те минуты, когда решается твоя судьба. Сохраняй невозмутимость, внушал он себе, сохраняй невозмутимость.

В четырнадцать часов сэр Реджинальд отпустил присяжных, и Джорджа увели в подвал. Полицейский констебль Даббс оставался на посту, как и в течение предыдущих четырех дней; он понимал, что Джордж не из тех, кто пускается в бега, и оттого немного тушевался. За все это время он ни разу не позволил себе рукоприкладства и вообще обращался с подсудимым уважительно. Поскольку теперь Джордж мог больше не опасаться, что его слова будут истолкованы превратно, он завел разговор с охранником.

– Констебль, исходя из вашего опыта: если присяжные совещаются дольше обычного, это добрый знак или дурной?

Даббс призадумался.

– Исходя из моего опыта, сэр, я бы сказал, что это может быть и добрый знак, и дурной. Либо так, либо этак. Смотря как оно повернется.

– Понятно, – сказал Джордж. Обычно он не говорил «понятно» –

видимо, перенял это характерное словцо у судебных адвокатов. – А если присяжные возвращаются быстро, тогда как, исходя из вашего опыта?

– Ну, тогда, сэр, это либо хорошо, либо плохо. Смотря по обстоятельствам.

Джордж позволил себе заулыбаться – Даббс и иже с ним могли толковать это как угодно. Ему самому казалось, что быстрое возвращение присяжных, с учетом серьезности дела и необходимости согласия всех двенадцати, в его случае должно быть благоприятным знаком. Да и длительное совещание – тоже неплохо: чем дольше присяжные будут совещаться, тем больше существенных моментов выплывает на поверхность, и остервенелые потуги мистера Дистэрнала станут очевидны всем и каждому.

По-видимому, констебль Даббс удивился не менее, чем Джордж, когда их вызвали в зал всего через сорок минут. В последний раз они прошли вместе мрачными коридорами по направлению к лестнице, ведущей за барьер скамьи подсудимых. Без четверти три секретарь суда обратился к старшине присяжных с хорошо знакомыми Джорджу словами:

– Господа присяжные, вынесен ли вами единодушный вердикт?

– Да, сэр.

– Согласно вынесенному вердикту, виновен или невиновен подсудимый Джордж Эрнест Томпсон Эдалджи в нанесении резаной раны лошади-пони, находившейся в собственности Грейт-Уэрлийской угольной компании?

– Виновен, сэр.

Нет, это ошибка, подумал Джордж. Он посмотрел на старшину присяжных: седой, похожий на школьного учителя, тот говорил с легким стаффордширским акцентом. Вы произнесли не то слово. Возьмите его обратно. Невиновен. Вот правильный ответ на заданный вопрос. Эти мысли пронеслись в голове у Джорджа, прежде чем он сообразил, что старшина пока не садится на свое место и готов продолжать. Ну конечно: он собирается исправить свою оговорку.

– По вынесении вердикта присяжные ходатайствуют о смягчении приговора.

– На каком основании? – спросил сэр Реджинальд Харди, сверля глазами старшину присяжных.

– На основании его положения.

– Его общественного положения?

– Именно так.

Председатель и оба судьи удалились для обсуждения приговора.

Джордж с трудом нашел в себе силы взглянуть на родных. Его мать прижимала к лицу носовой платок; отец тупо смотрел перед собой. Удивила его Мод, от которой впору было ожидать нытья. Она развернулась к брату и устремила на него сосредоточенный, любящий взор. Ему подумалось: если только сохранить в памяти этот взор, то, возможно, даже самое плохое окажется терпимым.

Не успел Джордж продолжить эту мысль, как к нему обратился председатель суда, отсутствовавший буквально пару минут.

– Джордж Эдалджи, вынесенный вам вердикт справедлив. Присяжные ходатайствуют о смягчении приговора ввиду занимаемого вами положения. Наша задача – определить меру наказания. Мы должны учитывать ваш статус и серьезность меры наказания для вас лично. В то же время мы должны учитывать состояние дел в графстве Стаффорд и округе Грейт-Уэрли, поскольку нынешняя ситуация покрыла позором эти края. Вы приговариваетесь к семи годам каторжной тюрьмы.

По залу суда прокатился приглушенный рокот; какой-то гортанный, но невыразительный звук. Джордж подумал: не может быть – семь лет, я не выдержу семи лет каторги, даже если меня будет поддерживать взор сестры. Пусть мистер Вачелл объяснит это суду, пусть внесет протест.

Однако со своего места поднялся не адвокат, а мистер Дистэрнал: после вынесения обвинительного приговора не грех было проявить великодушие. Сторона обвинения решила не добиваться судебного преследования по пункту отправки сержанту Робинсону письма с угрозой убийства.

– Уведите осужденного.

Тут констебль Даббс взял его за локоть и, не дав Джорджу обменяться прощальным взглядом с родными и напоследок обвести глазами зал суда, где он с такой уверенностью ожидал торжества справедливости, потащил его к люку и увел в сумрачный, мигающий газовыми фонарями подвал, а там вежливо объяснил, что с учетом вердикта обязан до транспортировки в тюрьму держать его в конвойном помещении. Мыслями еще оставаясь в зале суда, Джордж сидел безучастно и перебирал в уме все, что вместили в себя минувшие четыре дня: свидетельские показания, ответы, полученные при перекрестном допросе, процессуальные тактики. У него не было претензий ни к добросовестности солиситора, ни к правомерности действий судебного адвоката. Что же касалось противоположной стороны, мистер Дистэрнал представил версию обвинения изобретательно и антагонистично, чего и следовало ожидать; да, в самом деле, мистер Мик точно охарактеризовал его умение лепить кирпичи в отсутствие соломы.

На этом Джордж исчерпал свои способности к взвешенному профессиональному анализу. На него нахлынула бесконечная усталость, смешанная с перевозбуждением. Мысли утратили свое последовательное и плавное течение: они отклонялись от курса, неслись вперед или тонули под тяжестью эмоций. Ему вдруг пришло в голову, что считанные минуты назад лишь немногие – главным образом полисмены и, возможно, невежественные глупцы-обыватели, что колотили в двери проезжающего полицейского кэба, – всерьез считали его виновным. Зато теперь – от этой мысли его захлестнул стыд – такое мнение разделяли почти все. Читатели газет, бирмингемские коллеги-солиситеры, пассажиры утреннего поезда, которым он раздавал рекламные листки своей книги по железнодорожному праву. Потом воображение стало рисовать отдельных лиц, уверовавших в его виновность: таких как начальник станции мистер Мерримен, и учитель начальных классов мистер Босток, и мясник мистер Гринсилл, который отныне всегда будет ассоциироваться у него с графологом Гаррином, решившим, будто он способен писать всякую мерзость и грязь. Да что там Гарри – ни мистер Мерримен, ни мистер Босток, ни мистер Гринсилл теперь в этом не сомневались, равно как и в том, что он способен истязать животных. Так же будут считать и горничная в доме викария, и церковный староста, и Гарри Чарльзуорт, якобы друг. Даже сестра Гарри, Дора, будь она реальной девушкой, сейчас преисполнилась бы отвращения.

Ему представилось, как на него глазают все эти люди, а вместе с ними еще и сапожник, мистер Хэндс. Тот, наверное, вообразит, что Джордж после тщательной примерки новых ботинок преспокойно отправился домой, поужинал, для вида улегся в постель, а потом выскользнул на улицу, пробежал через луг и полоснул ножом пони. А вообразив всех этих свидетелей и обличителей, Джордж испытал такой прилив жалости к себе и к своей загубленной жизни, что захотел на веки вечные остаться, если только позволят, в этом мрачном подземелье. Но не успел он утвердиться на этом уровне мучений, как его понесло дальше: ведь все эти уэрлийские обыватели будут уничтожать презрительными взглядами не его самого – по крайней мере, в ближайшие годы, – а его родных: отца, поднимающегося на кафедру, мать, обходящую прихожан; Мод, забежавшую в лавку, Хораса, приехавшего из Манчестера, если он вообще захочет приехать домой после такого падения родного брата. Каждый встречный, провожая их глазами, будет указывать пальцем и приговаривать: их сын, их брат совершил уэрлийские зверства. Да, он обрек родных, которые были для него всем, на нескончаемое публичное унижение. Они-то знали, что он невиновен, но это лишь усугубляло его позор.

Они знали, что он невиновен? Отчаяние вгрызалось в него все глубже. Близкие знали, что он невиновен, но разве могли они отрешиться от всего, что увидели и услышали за минувшие четыре дня? А что, если их вера в него пошатнется? Когда они говорили, что верят в его невиновность, как это следовало понимать? Чтобы убедиться в его невиновности, им нужно было либо всю ночь напролет сидеть без сна, не спуская с него глаз, либо оказаться на лугу возле шахты, когда туда нагрянул какой-нибудь безумец из батраков со зловещим клинком в кармане. Вот тогда, и только тогда они могли бы знать доподлинно. А они всего лишь верили, искренне верили. Но что, если со временем эту веру начнет подтачивать какая-нибудь фраза мистера Дистэрнала, некое утверждение доктора Баттера или их собственное давнее, потаенное сомнение на его счет? И ведь это станет для них еще одним полученным от него ударом. Окажется, что он толкнул их на гнетущий путь сомнений. Сегодня: мы знаем Джорджа и знаем, что он невиновен. Но через три месяца, вполне возможно: мы думаем, что знаем Джорджа, и верим, что он невиновен. У кого повернется язык осуждать такие градации?

Приговор вынесли не только ему; приговор вынесли всей их семье. Если он виновен, то некоторые сделают вывод, что его родители, по всей вероятности, опустились до лжесвидетельства. Если после этого отец начнет читать проповедь о том, как различить добро и зло, не сочтут ли прихожане, что перед ними лицемер или олух? Если мать придет навестить обездоленных, не попросят ли ее приберечь свое сочувствие для преступника-сына, который прозябает за решеткой? Приговор, вынесенный родителям, – на его совести. Настанет ли конец этим тягостным раздумьям, этим беспощадным нравственным вихрям? Он ожидал, что падет еще ниже, будет смыт, утоплен; однако мысли его снова обратились к Мод. Под фальшивое насвистывание констебля Даббса, сидя на жестком табурете за железной решеткой, Джордж раздумывал о сестре. Она источник его надежды, она удержит его от падения. Он в нее верил, он знал, что она не дрогнет, потому что перехватил ее взгляд в зале суда. Этот взгляд не требовал истолкования, был неподвластен времени и злобе, излучал любовь, доверие, надежность.

Когда толпы у здания суда рассеялись, Джорджа доставили обратно, в Стаффордскую тюрьму. Здесь его встретило иное мироустройство. С момента своего ареста он содержался под стражей и, естественно, привык считать себя заключенным. Но фактически он сидел в лучшей камере лазарета, по утрам читал свежую прессу, питался домашней едой, имел возможность писать письма. Эти условия он бездумно считал временными,

сопутствующими, краткосрочно-очистительными.

А теперь он сделался настоящим заключенным, и чтобы в этом не оставалось сомнений, у него забрали одежду. В этом была ирония судьбы, поскольку Джордж не одну неделю сокрушался и досадовал, что пошел под арест в несуразном летнем костюме и никчемной соломенной шляпе. Не придавал ли ему этот костюм легкомысленный вид, определяя исход дела? Трудно сказать. Как бы то ни было, костюм и шляпу забрали, а взамен выдали тяжелую колючую тюремную робу из войлока. Куртка оказалась широка в плечах, брюки собирались гармошкой на коленях и щиколотках; ему было все равно. Выдали также безрукавку, головной убор и грубые башмаки.

– На первых порах у вас легкий шок будет, – предупредил тюремный надзиратель, связывая в узелок летний костюм Джорджа. – Но большинство как-то притирается. Даже ваша братия, не в обиду будь сказано.

Джордж кивнул. Он с благодарностью отметил, что тюремщик говорит с ним тем же тоном и с той же вежливостью, что и в течение двух последних месяцев. Это его удивило. Он ожидал, что по возвращении в тюрьму графства его, ни в чем не повинного человека с публично навешенным ярлыком «виновен», встретят лишь плевки да брань. Но похоже, эта устрашающая перемена существовала исключительно в его воображении. Надзиратели держались как прежде по одной простой, удручающей причине: они с самого начала считали его виновным, и вердикт присяжных только подтвердил их предположения.

Наутро ему в порядке одолжения принесли газету, чтобы он в последний раз посмотрел, как его жизнь растаскивают на газетные заголовки, как его история утратила противоречивость и сплывалась в один юридический факт, как его характер, который раньше формировал он сам, теперь очерчивается другими.

СЕМЬ ЛЕТ КАТОРЖНЫХ РАБОТ

УЭРЛИЙСКОМУ ИЗУВЕРУ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

АРЕСТАНТ НЕ РАСКАЯЛСЯ

Мало что понимая, просто по привычке, Джордж пробежал глазами всю газетную полосу. История женщины-хирурга мисс Хикмен, похоже, себя исчерпала, растворившись в загадочности и неизреченности. Джордж отметил, что Буффалло Билл, отработав лондонский сезон и завершив длившиеся 294 дня гастроли по провинциям, дал прощальное выступление в городе Бертон-он-Трент и готовился вернуться в Соединенные Штаты. А для «Газетт» не менее важным, чем приговор уэрлийскому «скотоубийце», оказался опубликованный здесь же репортаж:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВАРИЯ В ЙОРКШИРЕ

Столкновение двух поездов в туннеле

Погиб один человек, пострадали 23

Драматический рассказ жителя Бирмингема

В Стаффорде его продержали еще двенадцать дней; родителям позволили ежедневно навещать сына. Уж лучше было бы ему оказаться в тюремном фургоне, везущем его в самый дальний край королевства. Во время этого затянувшегося прощания родители держались так, словно бедственное положение Джорджа стало результатом какой-то бюрократической ошибки, которая вскоре будет исправлена при обращении к соответствующему должностному лицу. Викарий, получавший многочисленные письма поддержки, уже с энтузиазмом рассуждал о широком общественном движении. В глазах Джорджа отцовское рвение граничило с истерией, выросшей из чувства вины. Джордж отнюдь не считал свое положение временным, и планы отца не приносили ему ни малейшего утешения. Они выглядели не более чем проявлением веры.

По истечении двенадцати дней Джорджа перевели в Льюис. Здесь ему выдали новую арестантскую форму из небеленой парусины. На груди и на спине чернели две широкие вертикальные полосы и жирные, небрежно выведенные стрелки. Форма также включала неуклюжие штаны, черные гетры и башмаки. Один из надзирателей объяснил, что Джордж у них – звезданутый, а потому начнет тянуть свой срок с трехмесячного пребывания на карантине: может, по ходу дела еще навесят, но уж точно не скостят. «На карантине» – то бишь в одиночке. С этого все звезданутые начинают. Поначалу Джордж неправильно понял: ему думалось, что звезданутый – это тот, кто дурно проявил себя за время судебного процесса:

не иначе как его, осужденного за особо тяжкое преступление, полагалось изолировать от остальных заключенных, дабы те не обрушили свой гнев на потрошителя скота. Но нет, просто досье отбывающих первый срок помечали звездочкой, вот и все. Если вторично сюда попадешь, разъяснили ему, будешь зваться второходом, а коли зачастишь – рецидивистом или профессиональным преступником. Джордж сказал, что возвращаться не собирается.

Его привели к начальнику тюрьмы, старику с военной выправкой, который удивил Джорджа, когда, внимательно посмотрев на досье, тактично осведомился, как произносится его фамилия.

– Э-э-эдл-джи, сэр.

– Э-э-эйдл-джи, – повторил за ним начальник тюрьмы. – Впрочем, обращаться к вам будут «номер три», а по-другому вряд ли.

– Да, сэр.

– Тут сказано: англиканского вероисповедания.

– Да. У меня отец – викарий.

– Так-так. А мать у вас... – Начальник, похоже, затруднялся корректно сформулировать вопрос.

– Она шотландка.

– Угу.

– Мой отец по происхождению парс.

– Вот это мне понятно. В восьмидесятые годы я в Бомбее служил. Прекрасный город. Вы там хорошо ориентируетесь, Эйдл-джи?

– К сожалению, за пределами Англии я не бывал, сэр. Только Уэльс посетил.

– Уэльс, – задумчиво протянул начальник. – Тут вы меня на шаг опережаете. Солиситор – правильно здесь указано?

– Да, сэр.

– Солиситоры нынче в дефиците.

– Прошу прощения?

– Солиситоры, говорю, нынче в дефиците. Обычно среди нашего контингента один-два встречаются. Был год – с полдюжины поступило, как сейчас помню. Но с последним мы расстались пару месяцев назад. Да с ним и поговорить не особо удавалось. Режим у нас строгий и соблюдается неукоснительно, сами увидите, мистер Эйдл-джи.

– Да, сэр.

– Есть у нас парочка биржевых маклеров, один банкир имеется. Я людям так говорю: хотите увидеть реальный срез общества – добро пожаловать в Льюис. – Начальник произносил заученные фразы, для пущей

выразительности делая паузы в нужных местах. – Но вот аристократов, спешу добавить, у нас не водится. Да и... – он бросил взгляд в досье Джорджа, – англиканских священников сейчас тоже нет. Хотя изредка бывают. Непристойное поведение, всякое такое.

– Да, сэр.

– Я не собираюсь допытываться, что именно вы натворили, по какой причине, виновны вы или нет и собираетесь ли обжаловать приговор, – это все пустая трата времени, тем более что писать апелляцию министру внутренних дел –дохлый номер. Вы теперь в заключении. Отбывайте свой срок, соблюдайте все правила – и новых неприятностей у вас не будет.

– Как юрист, я привык соблюдать правила.

Джордж не имел в виду ничего особенного, но начальник тюрьмы вздернул голову, как будто его оскорбили. В конце концов он только и сказал:

– Ну-ну.

Правил и в самом деле было множество. Джордж обнаружил, что тюремщики – люди приличные, но крепко-накрепко связанные бюрократическими путами. В часовне класть ногу на ногу или складывать руки на груди нельзя. Баня – раз в две недели; личный обыск заключенного и досмотр его вещей – по мере необходимости.

На второй день к нему в одиночную камеру зашел надзиратель и спросил, не нужно ли Джорджу избавиться от ушей.

Джордж подумал, что вопрос более чем странен. Ни один вменяемый человек не захотел бы остаться без ушей; неужели у офицера есть на сей счет сомнения?

– Большое спасибо, но разрешите спросить: за что?

– Как это понимать: «За что?» – В голосе надзирателя зазвучала нешуточная угроза.

Джордж вспомнил допросы в полиции. Наверное, он позволил себе слишком высокомерный тон.

– Виноват, был не прав, – сказал он.

– Тогда в момент избавим.

Джордж вконец растерялся. Такое правило ему никто не объяснил. При ответе он тщательно выбирал слова и в особенности тон:

– Прошу прощения, но я здесь совсем недавно. Это обязательная процедура? Ведь без них я не смогу выслушивать и выполнять приказы.

Уставившись на Джорджа, надзиратель захохотал, сначала сдавленно, а потом вздохнул. На этот гогот из коридора прибежал его напарник – узнать, не случился ли у него припадок.

– Да не от ушей, номер двести сорок седьмой, а от вшей.

Джордж чуть шевельнул губами, не зная, можно ли заключенным улыбаться. Видимо, только по особому разрешению. Как бы то ни было, тот случай стал известен всей тюрьме и преследовал его не один месяц. Этот индус, дескать, такой маменькин сынок – даже про вшей не слышал.

Но и без этого на его долю выпало немало испытаний. В камере не было нормальных удобств, а в самые необходимые моменты не было возможности уединения. Качество мыла не поддавалось описанию. Существовало также дурацкое правило, согласно которому стрижка и бритье разрешались только под открытым небом, из-за чего многие заключенные, в том числе и Джордж, все время простужались.

К изменению ритма жизни Джордж приспособился быстро. В 5:45 подъем. В 6:15 отпирание дверей, вынос ведра, развешивание постельного белья для проветривания. В 6:30 выдача инструмента, затем работа. В 7:30 завтрак. В 8:15 заправка коек. В 8:35 молитва в тюремной часовне. В 9:05 развод по камерам. В 9:20 прогулка. В 10:30 возвращение. Обход начальника тюрьмы и всякая бюрократия. В 12 обед. В 13:30 сбор жестяных плошек, затем работа. В 17:30 ужин, затем сдача инструмента. В 20:00 отбой.

Такого сурового, холодного и одинокого уклада жизни он еще не знал; спасал только этот строгий распорядок дня. Джордж всегда жил по четкому графику и отличался прилежанием как в ученичестве, так и в работе поверенного. Выходных он почти не устраивал – поездка с Мод в Аберистуит стала редким исключением, – а излишеств тем более не признавал, если не считать пиров ума и духа.

– Чего нашим «звезданутым» не хватает, – сказал ему капеллан во время первого из своих еженедельных посещений, – так это пива. Впрочем, не только «звезданутым». Второходам и рецидивистам тоже.

– Я, к счастью, не пью.

– Второе – это, конечно, табачные изделия.

– Опять же, мне и здесь повезло.

– И третье – газеты.

Джордж кивнул:

– Признаюсь, я уже прочувствовал, какое это жесткое ограничение. У меня привычка – читать по три газеты в день.

– И рад бы помочь... – сказал капеллан. – Но правила...

– Наверное, лучше уж лишиться желаемого раз и навсегда, чем время от времени тешить себя надеждой на поблажки.

– К сожалению, не все так рассуждают. Я видел, как люди сходят с ума

от невозможности выпить и закурить. Кто-то жить не может без своей подружки. Кому-то подавай цивильную одежду, а попадаются и такие, кто не ценил, что имел, а теперь вдруг затосковал, скажем, по запаху летней ночи на заднем крыльце. Каждому чего-то не хватает.

– Я не строю из себя аскета, – ответил Джордж. – Просто в том, что касается газет, я способен мыслить практически. А в других отношениях я, видимо, такой, как все.

– И чего же вам больше всего не хватает?

– Пожалуй, – ответил Джордж, – мне не хватает моей жизни.

Капеллан, видимо, предположил, что Джордж, как сын викария, будет находить покой и утешение прежде всего в религии. Джордж не стал его разубеждать и охотнее многих посещал часовню; но опускался на колени, пел и молился с тем же настроением, что выносил за собой ведро, заправлял койку и работал – просто чтобы скоротать день. Заключение по большей части работали в сараях, где плели циновки и корзины; «звезде», изолированной от всех на три месяца, полагалось работать у себя в одиночке. Джорджу выдали доску и мотки грубой веревки. Показали, как плести рогожи по форме доски. Медленно, с изрядными мучениями он изготавливал определенного размера прямоугольники. Когда сделал шесть штук, их забрали. Он начал следующую партию, потом еще одну.

Через пару недель он спросил одного из надзирателей, каково может быть назначение этих полотнищ.

– Кому, как не тебе, знать, двести сорок седьмой, кому, как не тебе.

Джордж попытался вспомнить, где видел такую рогожу. Когда стало ясно, что ответа у него нет, тюремщик взял два готовых прямоугольника и сложил вместе. После чего приставил их к подбородку Джорджа. Не найдя никакого отклика, он приложил полотнища к собственному подбородку и стал с шумным чавканьем и хлюпаньем открывать и закрывать рот.

От этой шарады Джордж совсем смешался.

– Нет, боюсь, не угадаю.

– Да ладно тебе. Соображай. – Надзиратель зачавкал еще громче.

– Не представляю.

– Лошадиные торбы, двести сорок седьмой, лошадиные торбы. Должен был угадать, ты ж с лошадами накоротке.

Джордж оцепенел. Стало быть, тюремщик знает; все до единого знают; чешут языками, потешаются.

– Их изготавливаю только я?

Надзиратель ухмыльнулся:

– Не считай, что ты какой-то особенный, двести сорок седьмой. Ты

рогожи плетешь, и еще шестеро тем же занимаются. Другие их попарно сшивают. Третьи тесемки вяжут, чтоб торбу к лошадиной голове привязывать. Четвертые все части вместе соединяют. А пятые упаковывают и к отправке готовят.

Значит, его не числили особенным. Это утешало. Он был просто заключенным среди заключенных, работал, как все, и преступление его не относилось к разряду особо тяжких; он мог выбирать для себя примерное поведение или нарушение дисциплины, но не имел никакого выбора в том, что касалось его статуса как такового. Даже профессия поверенного, как указал начальник тюрьмы, не была здесь чем-то из ряда вон выходящим. Джордж принял решение оставаться самым обыкновенным, насколько это возможно в подобных обстоятельствах.

Узнав, что ему назначено провести в одиночке шесть месяцев вместо трех, он не сетовал и даже не задавал вопросов. Положа руку на сердце, он считал, что так называемые «ужасы одиночного заключения», о которых пишут в газетах и книгах, сильно преувеличены. Для него отсутствие всякого соседства было предпочтительнее соседства нежелательного. Его не лишали возможности перемолвиться парой слов с надзирателями, с капелланом и с начальником тюрьмы, когда тот совершал обход, пусть даже приходилось ждать, чтобы те заговорили первыми. Голосовые связки он тренировал пением псалмов в часовне и ответами на вопросы. А на прогулках разговаривать обычно не возбранялось, хотя найти общие темы с шагавшим рядом арестантом зачастую оказывалось непросто.

Помимо всего прочего, в Льюисе была вполне приличная библиотека, и два раза в неделю Джорджа посещал библиотекарь, чтобы забрать прочитанные книги и оставить на полке новые. Джордж имел право на одну книгу познавательного характера и одну «библиотечную» книгу в неделю. В разряд «библиотечных» книг попадало все, что угодно, – от бульварного чтива до классики. Джордж поставил своей целью освоить все шедевры английской литературы, а также труды по истории ведущих держав. Ему, конечно же, разрешалось держать при себе Библию; правда, после ежедневной четырехчасовой борьбы с доской и джутом его привлекал не мерный слог Священного Писания, а очередной роман Вальтера Скотта. Сидя взаперти, Джордж, надежно защищенный от внешнего мира, читал, бывало, какой-нибудь роман, краем глаза ловил прикроватный лоскутный коврик и преисполнялся чувством, отдаленно напоминающим умиротворение.

Из отцовских писем он узнал, что вынесенный ему приговор вызвал протесты общественности. Мистер Ваулз подробно разобрал его дело в

религиозном журнале «Истина», в то время как мистер Р. Д. Йелвертон, некогда верховный судья Багамских островов, ныне обосновавшийся на Памп-Корт в Темпле, составил петицию. Начался сбор подписей, и многие адвокаты-солиситоры из Бирмингема, Дадли и Вулвергемптона уже выразили свою поддержку. Джорджа тронуло, что в числе подписавшихся оказались Гринуэй и Стентсон; эти двое – неплохие все же малые и всегда такими были.

Свидетели отвечали на многочисленные вопросы; учителя, коллеги и родственники делились впечатлениями о характере Джорджа. Мистер Йелвертон даже получил письмо от сэра Джорджа Льюиса, на тот момент крупнейшего специалиста по уголовному праву: согласно его компетентному мнению, приговор, вынесенный Джорджу, был роковой ошибкой.

Сам Джордж понимал, что в его пользу высказались и какие-то высокие инстанции: ему разрешили получать больше сообщений относительно его дела, чем допускалось обычной практикой. Он прочел не один положительный отзыв в свой адрес. Взять хотя бы лиловый, напечатанный под копирку текст письма от брата матери, дядюшки Стоунхэма, проживающего по адресу: «Коттедж», Мач-Уэнлок. «Когда я лично встречался с племянником и когда слышал, как отзывались о нем другие (пока не поползли эти гнусные слухи), **я всегда убеждался, что он хороший человек, и другие тоже говорили, что он хороший и вдобавок умный**». Это подчеркнутое предложение задело душевные струны Джорджа. Не похвалами, которые вызвали у него только смущение, а именно этим подчеркиванием. И далее опять: «Я познакомился с мистером Эдалджи через пять лет после принятия им сана; другие священнослужители рекомендовали его с самой лучшей стороны. **Наши друзья и мы сами уже в то время считали, что парсы – очень древняя и цивилизованная народность, обладающая многими достоинствами**». И наконец, в постскрипуме: «Мои отец с матерью, **глубоко привязанные к моей сестре, дали безоговорочное согласие** на этот брак».

Читая такие слова, Джордж, как сын и как заключенный, не мог не растрогаться до слез; как юрист, он сомневался, что они окажут заметное воздействие на чиновника, которому Министерство внутренних дел со временем поручит разбор его дела. В то же время он проникся и живым оптимизмом, и полным смирением. С одной стороны, ему хотелось остаться в этой камере, плести торбы, читать Вальтера Скотта, простужаться во время стрижки на морозе в тюремном дворе и раз за разом выслушивать навязшую в зубах издевку насчет вшивости. Джорджу

хотелось этого потому, что такой виделась ему судьба, а лучший способ смириться со своей судьбой в том и заключается, чтобы ее возжелать. Но с другой стороны, ему хотелось прямо завтра выйти из тюрьмы, хотелось обнять маму и сестру, хотелось услышать публичное признание вопиющей несправедливости приговора... но эти желания приходилось сдерживать, чтобы не травить себе душу.

Поэтому он пытался сохранять невозмутимость, когда узнал, что в его поддержку собрано уже десять тысяч подписей и первыми стоят подписи президента Объединенного юридического общества сэра Джорджа Льюиса и рыцаря-командора ордена Индийской империи, видного деятеля здравоохранения сэра Джорджа Бёрчвуда. К списку присоединились сотни солиситоров, причем не только из Бирмингема и окрестностей, королевский адвокат, члены парламента, в том числе и от Стаффорда, а также рядовые граждане – представители всех оттенков политического спектра. Очевидцы, наблюдавшие, как рабочие и зеваки затаптывали участок, где впоследствии констебль Купер обнаружил следы, дали показания под присягой. Мистер Йелвертон заручился также благоприятным заявлением мистера Эдварда Сьюэлла, ветеринара, которого сторона обвинения привлекала для консультаций, но на заседание суда не вызвала. Петиция, официальные заявления и полученные характеристики в совокупности составили ходатайство, предназначенное для отправки в Министерство внутренних дел.

В феврале произошло два события. Тринадцатого числа газета «Кэннок эдвертайзер» сообщила, что изувечено – причем тем же самым способом – еще одно животное. А две недели спустя мистер Йелвертон вручил ходатайство министру внутренних дел мистеру Эйкерс-Дугласу. Джордж позволил себе раз мечтаться. В марте произошло еще два события: петицию отвергли, а Джорджу сообщили, что после шести месяцев одиночного заключения он будет переведен в Портленд.

Причину перевода ему не сообщили, а сам он вопросов не задавал. Полагал, что это стандартная формулировка: тебя этапируют к месту отбывания срока. Поскольку он давно был готов к лишению свободы, часть его сознания (правда, совсем небольшая часть) восприняла это известие философски. Он внушал себе, что из мира законов попал в мир правил и разница, в сущности, оказалась невелика. В тюрьме было даже проще, так как правила не оставляли места для толкований; но вполне вероятно, что для него эта перемена мест оказалась не столь убийственной, как для тех, кто прежде не соприкасался с юриспруденцией.

Камеры в Портленде не сулили ничего хорошего. Сделанные из

рифленого железа, они напоминали собачьи конуры. Вентиляция – дырка, просверленная в двери у самого пола, – тоже оказалась никудышной. Никаких колокольчиков для заключенных не предусматривалось: кто хотел обратиться к надзирателю, тот просовывал под дверь шапку со своим номером. Таким же способом проводилась переключка. По команде «Шапки вниз!» полагалось просунуть шапку в вентиляционную дыру. Переключки устраивались четыре раза в сутки, но поскольку считать по шапкам было не так сподручно, как по головам, этот трудоемкий процесс нередко приходилось повторять.

Джордж получил новый номер: D-462. Буква обозначала год приговора. Порядок счисления начинался с 1900 года, обозначаемого буквой A; следовательно, Джордж был осужден в год D – тысяча девятьсот третий. На куртке и на шапке заключенного имелась нашивка с этим номером и с указанием срока заключения. Фамилии звучали здесь чаще, чем в Льюисе, но все же человек познавался по нашивке его. Так что Джордж был D-462-7.

Первым делом, как водится, ему предстояло собеседование с начальником тюрьмы. Оно получилось безупречно вежливым, но с самых первых слов – куда менее обнадеживающим, чем в Льюисе.

– Вам следует знать, что пытаться бежать бесполезно. С мыса Портленд-Билл еще никому не удавалось бежать. Вы лишь потеряете право на амнистию и познаете радости карцера.

– Думаю, во всей тюрьме не сыщется человека, который меньше меня стремился бы к побегу.

– Такие слова я уже слышал, – сказал начальник тюрьмы. – Пожалуй, нет таких слов, каких бы я не слышал. – Он взглянул на досье Джорджа. – Вероисповедание. Здесь сказано – англиканское.

– Да, мой отец...

– Менять нельзя.

Джордж не понял.

– У меня нет намерения менять веру.

– Хорошо. Ну то есть нельзя. И не пытайтесь перехитрить капеллана. Это без толку. Отбывайте свой срок и слушайтесь надзирателей.

– У меня именно такое намерение.

– Значит, вы либо умнее, либо глупее большинства.

На этой загадочной ремарке начальник тюрьмы жестом приказал увести заключенного.

Камера оказалась совсем тесной и еще более убогой, чем в Льюисе, хотя надзиратель, отставной военный, заверил Джорджа, что это в любом

случае лучше, чем барак. Было ли это правдой или непроверяемым утешением, Джордж так и не узнал. Впервые за все время тюремного заключения у него взяли отпечатки пальцев. Он страшился того момента, когда врач будет оценивать годность его к работе. Все знали, что в Портленде каждый заключенный получает кирку и отправляется в каменоломню; конечно, следовало ожидать и кандалов. Но тревоги Джорджа оказались напрасными: лишь незначительный процент заключенных попадал в каменоломню, а «звезд» и вовсе туда не отправляли. Кроме того, по зрению Джордж годился только для легких работ. Врач также установил, что этому заключенному противопоказано ходить вверх-вниз по лестницам, поэтому его определили на первый этаж корпуса номер один.

Работал он у себя в камере. Щипал кокосовое волокно для набивки матрацев и волос для набивки подушек. Волокно полагалось вначале расчесывать на доске, а затем разбирать на тончайшие нити: только так, объяснили ему, достигается наибольшая мягкость. Никаких доказательств ему не представили; следующей стадии процесса Джордж так и не увидел, а его собственный матрац был набит явно не тончайшими нитями.

В середине первой недели пребывания Джорджа в Портленде к нему пришел тюремный священник. Он излучал такое оживление, будто их встреча происходила в церковном совете Грейт-Уэрли, а не в собачьей конуре с вентиляционной дырой у пола.

– Пообвыклись? – весело спросил капеллан.

– Начальник тюрьмы, похоже, считает, что все мои мысли только о побеге.

– Да-да, он каждому это говорит. По-моему, строго между нами, его даже радует, когда совершается побег. Поднимают черный флаг, палят из пушки, бараки переворачивают вверх дном. И победа всегда остается за ним – это его тоже радует. Дальше мыса еще никто не уходил. Беглеца непременно поймают, если не солдаты, так местные жители. За поимку беглого каторжника причитается награда в пять фунтов, так что оставаться в стороне резона нет. А пойманного беглеца сажают в карцер и лишают права на амнистию. То есть овчинка выделки не стоит.

– И еще начальник тюрьмы сказал, что я не могу изменить свое вероисповедание.

– Так и есть.

– Но с какой стати мне его менять?

– А, понимаю, вы же у нас «звезданутый». Еще не все тонкости знаете. Видите ли, в Портленде содержатся только протестанты и католики. В

соотношении примерно один к шести. А иудеев нет ни одного. Будь вы иудеем, вас бы отправили в Паркхерст.

– Но я не иудей, – с некоторым упрямством сказал Джордж.

– Разумеется, нет. Разумеется. Однако любой бывалый, то бишь рецидивист, скорее всего, знает, что в Паркхерсте режим помягче, нежели в Портленде. Допустим, из Портленда его, как примерного англичанина, даже могут выпустить хоть в этом году. Но если он попадется еще раз, то ему ничто не помешает объявить себя иудеем. Вот тогда-то его и отправят в Паркхерст. Но есть такое правило: во время отбывания срока менять веру нельзя. А то заключенные скакали бы туда-сюда, просто от безделья.

– Наверное, раввин в Паркхерсте время от времени получает сюрпризы.

Капеллан усмехнулся:

– Странно, что преступный образ жизни способен превратить мужчину в иудея.

Вскоре Джордж узнал, что в Паркхерсте содержатся не только иудеи; туда отправляли хронических больных и, так сказать, блаженных. В Портленде не позволялось менять вероисповедание, но потерявших физическое или душевное здоровье ожидал перевод. Поговаривали, что кое-кто из заключенных намеренно калечил себе ногу киркой или симулировал помешательство – начинал скулить, как пес, или рвать на себе волосы – в попытке добиться отправки в Паркхерст. Единственной наградой симулянту в большинстве случаев была отправка в карцер на хлеб и воду.

«Портленд расположен в чрезвычайно здоровом климате, – сообщал Джордж своим родителям. – Здесь насыщенный, бодрящий воздух, заболеваемость низкая». Можно было подумать, он пишет открытку из Аберистуита. Не отступая от истины, он считал своим долгом по мере сил нести утешение близким.

Вскоре он привык к своей тесной конуре и даже решил, что здесь ему лучше, чем в Льюисе. Бюрократических пут меньше, дурацких правил насчет стрижки и бритья под открытым небом и вовсе нет. К тому же правила относительно общения между заключенными оказались не столь жесткими. Да и кормили более сносно. Он смог написать родителям, что рацион каждый день меняется: похлебку дают то первого вида, то второго. Хлеб – из муки грубого помола, «полезнее того, что продают булочники», писал он: вовсе не для того, чтобы избежать подозрений цензора или подольститься к начальству, а просто чтобы выразить свое искреннее мнение. Дают и зелень, и листовой салат. Какао просто отличное; чай,

правда, так себе. Кто не хочет чая, тот может получить овсянку или другую кашу. Джордж удивлялся, почему многие выбирают этот скверный чай, а не что-нибудь питательное.

Он смог написать родителям, что теплого нижнего белья у него достаточно, есть также свитера, гетры, перчатки. Библиотека даже лучше, чем в Льюисе, условия выдачи книг более льготные: каждую неделю можно брать две «библиотечные» книги и четыре познавательные. Есть подшивки всех ведущих журналов, хотя из книг и периодических изданий тюремное начальство убирало нежелательные материалы. Взглянув за историю современного британского искусства, Джордж обнаружил, что все репродукции картин сэра Лоуренса Альма-Тадемы аккуратно вырезаны цензорской бритвой. На первой странице этого тома синел стандартный штамп, имевшийся в каждой книге из тюремной библиотеки: «Загибать страницы воспрещается». Под ним какой-то остряк-заключенный приписал: «А вырезать тем более».

С гигиеной дело обстояло не лучше, но и не хуже, чем в Льюисе. Для получения зубной щетки следовало обращаться к начальнику тюрьмы, который отвечал либо «да», либо «нет», руководствуясь, видимо, какими-то загадочными личными соображениями.

Как-то утром Джордж попросил у надзирателя наждачный брусок для чистки металла.

– Наждачный брусок, Дэ-четыреста шестьдесят два? – Брови надзирателя взметнулись до козырька фуражки. – Наждачный брусок! Да ты никак фирму решил по миру пустить? А завтра чего потребуешь – сдобной булки кусок?

На этом вопрос был закрыт.

Что ни день, Джордж щипал волокно и волос; как положено, делал гимнастику, хотя и без особого рвения. Брал в библиотеке полный комплект книг. Еще в Льюисе он научился есть при помощи жестяного ножа и деревянной ложки, а также усвоил, что против тюремной говядины и баранины нож зачастую бессилён. В Портленде он привык обходиться без вилки, равно как и без газет. Более того, отсутствие газеты виделось ему преимуществом: не получая ежедневных напоминаний о внешнем мире, он легче приспособился к ходу времени. Значимые для его жизни события теперь ограничивались тюремными стенами. Как-то утром один заключенный, С-183, получивший восемь лет за разбой, ухитрился выбраться на крышу и стал оттуда вещать, что он сын Божий. Капеллан вызывался подняться к нему по стремянке, чтобы обсудить богословскую подоплеку вопроса, но начальник тюрьмы заподозрил очередную попытку

добиться перевода в Паркхерст. В конце концов заключенного взяли измором и отправили в кандей. А сам С-183 признался, что он сын полового, а вовсе не плотника.

Когда Джордж несколько месяцев отсидел в Портленде, там случился побег. Двое заключенных, С-202 и В-178, сумели пронести в камеру ломик, пробили дыру в потолке, спустились по веревке во двор и взобрались на стену. После команды «Шапки вниз!» началось общее смятение: охрана недосчиталась двух шапок. Проверили еще раз, потом всех пересчитали по головам. Подняли черный флаг, дали пушечный залп, а заключенных между тем заперли в камерах. Джордж не возражал; его не коснулось всеобщее возбуждение, а делать ставки на исход побега он не собирался.

У беглецов было примерно два часа форы; они, по мнению бывалых, должны были до темноты затихариться, а ночью рвануть с мыса. Но когда по следу пустили тюремных ищеек, В-178 попался очень быстро: он прятался в мастерской и бранился на чем свет стоит: в результате спуска с крыши он получил перелом лодыжки. С-202 продержался дольше. На всех возвышенностях пляжа Чизил-Бич выставили дозорных, на воду спустили шлюпки, чтобы беглецы не удрали вплавь, Веймут-роуд перекрыли военные патрули. В каменоломнях осмотрели каждый угол, прочесали прилегающие участки. Но солдаты и тюремная охрана так и не нашли второго беглеца; его, связанного по рукам и ногам, приволок трактирщик, который наткнулся на него у себя в подвале и скрутил, призвав на помощь ломового извозчика. Трактирщик потребовал вызвать тюремное начальство, ответственное за прием заключенных, чтобы сдать беглеца с рук на руки и без промедления получить обещанную награду в пять фунтов. Кипеж среди заключенных сменился разочарованием; обыски в камерах на некоторое время участились. Эту сторону жизни Джордж считал более дезорганизующей, чем в Льюисе, тем более что в его случае обыски были совершенно бессмысленными. Вначале поступала команда «расстегнуться», затем офицеры «растирали» заключенного, чтобы убедиться в отсутствии спрятанных под одеждой предметов. Ощупывали его с ног до головы, проверяли карманы и даже разворачивали носовой платок. Эта процедура была унижительна для заключенных и, как подозревал Джордж, ненавистна для охраны, так как от работы арестантская форма у многих засалилась и пропиталась грязью. Одни тюремщики все же проводили досмотр тщательно, а другие могли запросто прошляпить хоть молоток, хоть стамеску.

Потом следовал «шмон», который, как могло показаться, состоял в систематическом перевертывании камеры вверх дном: сбрасывались на пол

книги, летело во все стороны постельное белье, обшаривались возможные тайники, о которых Джордж даже не догадывался. Но хуже всего была «сухая баня». Заводят тебя в баню и ставят на деревянный настил. Ты снимаешь с себя все до нитки, кроме исподней рубахи. Охранники скрупулезно осматривают каждый предмет одежды. Потом начинаются издевательства: задрать ноги, нагнуться, разинуть рот, высунуть язык. «Сухие» обыски могли проводиться через регулярные промежутки времени, а могли устраиваться спонтанно. По прикидкам Джорджа, он подвергался этой позорной процедуре едва ли не чаще, чем остальные. Видимо, когда он заявил, что не намерен пускаться в бега, это восприняли как блеф.

Так проходил месяц за месяцем; завершился первый год, подошел к концу второй. Каждые полгода его родители проделывали долгий путь из Стаффордшира, чтобы провести с сыном ровно час под бдительным оком надзирателя. Для Джорджа эти свидания были мучительны: не потому, что он не любил родителей, а потому, что видеть их страдания было невыносимо. Отец весь усох; мать не находила сил оглядеть место, где прозябал ее сын. Джордж с трудом выбирал нужную манеру общения: излишняя живость навела бы родных на мысль, что он притворяется, излишняя мрачность передалась бы им самим. Он старательно практиковал нечто среднее – предупредительный, но ничего не выражающий тон, как у вокзального кассира.

На первых порах семья рассудила, что Мод слишком чувствительна для таких посещений; однако настал год, когда она приехала вместо матери. У нее практически не было возможности переговорить с братом, но Джордж, глядя через стол в ее сторону, всякий раз ловил тот же самый взгляд, прямой, сосредоточенный, который он перехватил в стаффордском зале суда. Сестра словно пыталась наделить его силами, передать кое-что от сознания к сознанию, не прибегая к слову и жесту. Впоследствии Джордж невольно задавался вопросом: не заблуждался ли он... не заблуждались ли они все... в отношении Мод и ее предполагаемой хрупкости?

Викарий ничего не заметил. Он торопился поведать сыну, как в свете смены правительства (сей факт, по сути, прошел мимо Джорджа) неутомимый мистер Йелверстон возобновляет свою кампанию. Мистер Ваулс планирует новую серию статей для журнала «Истина»; сам викарий намеревается выпустить брошюру на ту же тему. Джордж изображал воодушевление, но в глубине души считал отцовский энтузиазм благоглупостью. Сколько подписей ни собери, существо дела от этого не

изменится, так почему же должен меняться ответ официальных инстанций? Для него, как для юриста, это было очевидно.

Знал он и то, что Министерство внутренних дел забрасывают прошениями из всех тюрем страны. Оно ежегодно получает четыре тысячи ходатайств, и еще тысяча приходит из других источников от имени заключенных. Но для пересмотра дел у министерства нет ни инструментов, ни власти; оно неправомочно допрашивать свидетелей или выслушивать адвокатов. Единственное, что оно может сделать, – это рассмотреть документы и соответствующим образом проконсультировать монархические круги. А значит, помилование по свободному усмотрению оставалось большой редкостью. Возможно, обстоятельства могли бы сложиться иначе, если бы в стране существовал какой-нибудь апелляционный орган, способный более активно участвовать в восстановлении справедливости. А так убежденность викария в том, что для освобождения сына достаточно почаще твердить о его невиновности, подкрепляя эти заявления молитвой, поражала Джорджа своей наивностью.

Он с горечью сознавал, что свидания с отцом ему в тягость. Они нарушали упорядоченный и спокойный ход его жизни, а без упорядоченности и покоя дотянуть свой срок и остаться в живых нечего было и думать. Многие заключенные считали дни до выхода на свободу; Джордж приспособивался к тюремной жизни единственным способом: он внушал себе, что другое существование для него невозможно как сейчас, так и в будущем. Но каждый родительский приезд, вкупе с отцовской надеждой на мистера Йелвертона, только расшатывал эту иллюзию. Вот если бы Мод сумела приехать к нему без сопровождения, она бы наполнила его силой, а родители наполняли его исключительно тревогой и стыдом. Но Джордж понимал, что сестру никогда к нему не отпустят.

Обыски продолжались, как и «растирания», и «сухие бани». Джордж в невероятных количествах осваивал историческую литературу, разделался со всеми классиками и теперь взялся за второстепенных авторов. Он также прочел все подшивки периодики – «Корнхилл мэгэзин» и «Стрэнд». Его уже тревожило, что библиотечные ресурсы вот-вот иссякнут.

Как-то утром его привели в кабинет капеллана, сфотографировали в профиль и анфас, а затем дали распоряжение отпустить бороду. Сказали, что через три месяца сфотографируют повторно. Для себя Джордж сформулировал назначение этих снимков так: если в будущем он даст полицейским повод для розыска, то у них под рукой будут его недавние изображения.

Бороду он отращивал неохотно. Сколько позволяла природа, Джордж

носил усы, но в Льюисе пришлось их сбрить. Теперь он с неприязнью ощущал покалывание на щеках и подбородке, сожалея о невозможности воспользоваться бритвой. Да и видеть себя с бородой ему претило – ни дать ни взять криминальный тип. Надзиратели отпускали шуточки: дескать, готовит себе маскировку. А он знай щипал волокно и читал Оливера Голдсмита. Сидеть ему оставалось четыре года.

А потом Джордж совсем запутался. Его вновь повели фотографироваться, в профиль и анфас. Затем отправили бриться. Цирюльник заметил, что в манчестерской тюрьме «Стрейнджуэйз» такая услуга обошлась бы Джорджу в восемнадцать пенсов. Вернувшись в камеру, он получил приказ собрать свои скудные пожитки и готовиться к этапированию. Его привезли на станцию и под конвоем завели в вагон поезда. Джордж не мог заставить себя смотреть в окно на окрестные пейзажи, само существование которых выглядело издевательством, тем более что на лугах то и дело мелькали коровы и лошади. Теперь ему стало понятно, как люди, вырванные из привычной обстановки, сходят с ума.

В Лондоне его посадили в кэб и доставили в Пентонвиль. А там сообщили, что готовится его помилование. Сутки он просидел взаперти один; задним числом эти сутки показались ему самыми мрачными за все три года неволи. Он знал, что должен радоваться, но предстоящий выход на свободу вызывал у него не меньшее смятение, чем арест. К Джорджу пришли двое следователей, которые вручили ему документы и предписали явиться в Скотленд-Ярд за дальнейшими указаниями.

В десять часов тридцать минут девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестого года Джордж Эдалджи покинул Пентонвиль в кэбе вместе с неким евреем, также выпущенным на свободу. Допытываться, кто на самом деле этот парень – настоящий иудей или всего лишь тюремный, – Джордж не стал. Тот вышел из кэба возле «Общества содействия узникам иудейского вероисповедания», а Джорджа довели до «Общества содействия церковному воинству». Членство в подобных организациях давало право на двойное денежное пособие при освобождении. Джордж получил два фунта девять шиллингов десять пенсов. Сотрудники Общества сами доставили его в Скотленд-Ярд, где он был проинформирован о правилах освобождения из-под стражи по особому постановлению. С него потребовали адрес постоянного проживания, обязали ежемесячно отмечаться в Скотленд-Ярде и заблаговременно сообщать о каждом отъезде из Лондона.

Из какой-то газеты прислали фоторепортера, чтобы тот запечатлел освобождение Джорджа Эдалджи. Фоторепортер по ошибке сделал снимок

человека, освобожденного тридцатью минутами ранее; газета так и вышла с чужим портретом.

Из Скотленд-Ярда его повезли на встречу с родителями.

Он вышел на свободу.

Артур

А потом он знакомится с Джин.

Остаются считанные месяцы до его тридцативосьмилетия. В этом году Артур, сидя с расправленными плечами в мягком кресле-бочонке, позирует Сидни Пэджету: из полураспахнутого сюртука выглядывают цепочки карманных часов, в правой руке блокнот, в левой серебряный механический карандаш. Над висками намечаются залысины, но этот недостаток с лихвой окупают роскошные усы: они захватили все пространство над верхней губой и тянутся нафиксатуаренными стрелами за линию мочек ушей. Благодаря этому Артур становится похожим на военного прокурора, чье влияние подтверждается разделенным на четыре части геральдическим щитом в верхнем углу портрета. Артур первым готов признать, что его знания о женщинах – скорее джентльменские, нежели донжуанские. В молодости он, правда, не терялся – один случай с летающей рыбкой чего стоил. Была и Элмор Уэлдон, которая, по не совсем джентльменским наблюдениям, весила не менее семидесяти кило. А сейчас есть Туи, за долгие годы ставшая для него сестрой-спутницей, а потом, как-то внезапно, сестрой-пациенткой. Есть у него, конечно, и родные сестры. А еще есть статистика проституции, которую он читает в клубе. Есть байки (порой он даже отказывается их слушать), которые в мужских компаниях передаются за портвейном из уст в уста: к примеру, насчет отдельных кабинетов в неприметных ресторанчиках. Есть женские недуги – он сам их наблюдал; он и при родах присутствовал; для него не секрет, что среди портсмутских матросов и другой публики низкого пошиба свирепствуют дурные болезни. Его представления о любовном акте многообразны, однако связаны больше с плачевными последствиями, нежели с радостными прелюдиями и самим процессом.

Единственная женщина, кому он готов подчиняться, – это мать. С другими представительницами прекрасного пола он старший брат, названный отец, властный муж, авторитетный доктор, щедрый даритель банковских чеков на предъявителя, а то и Санта-Клаус. Его вполне

устраивают законы разделения и отношения полов, которые от века установило общество по мудрости своей. Артур категорически против избирательного права для женщин: мужчина, приходя домой после трудов праведных, не желает, чтобы напротив него у камина восседал политик. Женщин Артур знает меньше, а потому в большей степени склонен их идеализировать. По его мнению, так и должно быть.

В свете этого Джин становится для него настоящим потрясением. Давно уже он не смотрел на молодых женщин так, как, по обыкновению, смотрят на них мужчины. В его понимании женщинам... девушкам... положено быть несформированными; они пластичны, податливы и только ждут, чтобы сформироваться под влиянием мужа. Никак себя не проявляя, они совершают чинные выходы в свет (где не должно быть места кокетству), присматриваются и выжидают, когда мужчина проявит интерес, потом чуть больший интерес и, наконец, – особый интерес: к этому времени парочка уже совершает прогулки вдвоем, их семьи уже познакомились, и в конце концов мужчина просит ее руки, а девушка изредка, ради последней утайки чувств, заставляет его ждать ответа. Таков сложившийся ритуал, а у социальной эволюции, равно как и у эволюции биологической, свои законы и потребности. Не будь для этого очень веских оснований, ритуал был бы иным.

Когда Артура знакомят с Джин в доме именитого лондонского шотландца, где проходит званое чаепитие (хотя обычно Артур уклоняется от таких мероприятий), он тотчас замечает, насколько она эффектна. Многолетний опыт подсказывает, чего ожидать дальше: эффектная девушка спросит, когда же он напишет очередную историю про Шерлока Холмса, и неужели детектив погиб на Рейхенбахском водопаде, и не пора ли женить сыщика-консультанта, и как вообще Артур придумал такого героя? Иногда он отвечает утомленно, будто весь день парился в пяти шубах, а бывает, выдавливает слабую улыбку и говорит: «Ваш вопрос, юная леди, как раз и объясняет, почему мне хватило здравого смысла спихнуть его в водопад».

Но Джин таких вопросов не задает. Не вздрагивает при звуке нашумевшей фамилии, чем могла бы сделать ему приятное, и не объявляет себя, скромно потупившись, его преданной читательницей. Она лишь интересуется, посетил ли Артур выставку фотографий полярной экспедиции доктора Нансена.

– Еще нет. Хотя в прошлом месяце я был в Альберт-Холле, где он выступал с лекцией перед Королевским географическим обществом и получил медаль из рук принца Уэльского.

– Я тоже там была, – отвечает она.

Весьма неожиданно.

Он рассказывает ей, как несколькими годами ранее прочитал очерк Нансена о лыжном переходе через всю Норвегию, после чего и сам приобрел лыжи; как в Давосе под руководством братьев Брангер осваивал крутые склоны и как напротив его имени в регистрационной книге отеля Тобиас Брангер написал «Sportesmann». Потом он заводит историю, которой обычно дополняет предыдущую: о том, как на вершине заснеженного склона упустил свои лыжи; пришлось спускаться без них, а нагрузка на тыл его твидовых бриджей... История и в самом деле из лучших, хотя он уже подумывает, что в данный момент не стоит уточнять, что потом он весь день простоял спиной к стене... но, похоже, его не слушают. Озадаченный, Артур умолкает.

– Хочу встать на горные лыжи, – говорит Джин. И это тоже неожиданно. – Держать равновесие я умею. С трех лет занимаюсь верховой ездой.

Артур несколько уязвлен отсутствием интереса к его коронной истории про лопнувшие бриджи, которая дает ему возможность передразнить заверения портного в прочности шотландского твида. Он решительно заявляет, что девушки – то есть светские барышни, а не какие-нибудь швейцарские крестьянки – вряд ли когда-нибудь станут кататься с гор на лыжах, поскольку занятие это рискованное, сопряженное с большими затратами физических сил.

– Поверьте, физических сил мне не занимать, – отвечает она. – А равновесие, надо думать, я держу лучше вас, учитывая вашу комплекцию. Если центр тяжести смещен вниз, это скорее преимущество. Мне не страшно упасть и получить перелом – я ведь не такая тяжеленная, как вы.

Скажи она просто «не такая тяжелая», он мог бы счесть это дерзостью и обидеться. Но от этого «тяжеленная» он раздражается смехом и обещает когда-нибудь научить ее кататься на горных лыжах.

– Ловлю на слове, – отвечает Джин.

Довольно необычное было знакомство, рассуждает он сам с собой на протяжении следующих дней. Как она отказалась признать его писательскую славу, как сама задала тему беседы, недослушала его коронную историю, проявила устремление, не свойственное, как считается, настоящей леди, да еще и высмеяла... ну, почти высмеяла его комплекцию. И все это легко, непринужденно, очаровательно. Артур сам доволен, что не обиделся, хотя, возможно, никто и не хотел его уколоть. Впервые за много лет он проникается самодовольством от удачного флирта. А потом

выбрасывает Джин из головы.

Через полтора месяца он приезжает на какой-то музыкальный вечер, где она поет под аккомпанемент самовлюбленного хлыща во фраке. По мнению Артура, голос у нее превосходный, а пианист манерный и тщеславный. Артур отшатывается назад, чтобы она не заметила его пристального внимания. После ее сольного выступления они общаются на людях, Джин ведет себя вежливо, а потому нельзя с уверенностью сказать, помнит ли она его.

Они расходятся и через несколько минут под завывания скверно играющей виолончели сталкиваются вновь, теперь уже наедине. Джин сразу говорит:

– Как видно, ждать мне придется минимум девять месяцев.

– Ждать чего?

– Лыжных уроков. В ближайшее время снега точно не будет.

Он не усматривает в этом ни заигрывания, ни рискованности, хотя и знает, что напрасно.

– Где желаете начать? В Гайд-парке? – спрашивает он. – Или в Сент-Джеймсе? Или, быть может, на склонах Хэмпстед-Хит?

– Почему бы и нет? Да где угодно. В Шотландии. Или в Норвегии. Или в Швейцарии.

По всей вероятности, они незаметно для Артура прошли сквозь высокие застекленные двери, пересекли террасу и теперь оказались под тем самым солнцем, которое давно растопило всякие надежды на снег. Никогда еще Артур так не злился на погожие дни.

Заглядывая в ее зелено-карие глаза, он спрашивает:

– Юная леди, вы со мной кокетничаете?

Она выдерживает его взгляд:

– Я с вами обсуждаю катание на лыжах.

Но это, скорее всего, лишь отговорка.

– Если мое предположение верно, берегитесь: как бы я вас не полюбил.

Артур с трудом отдает себе отчет в сказанном. Отчасти он и впрямь такое допускает, отчасти не понимает, что на него нашло.

– Уже. Вы – меня. А я – вас. Определенно. Сомнений нет.

Главное сказано. Пока не нужно больше слов. Важно только, когда они теперь увидятся, и где, и как, а договориться нужно до прихода сюда посторонних. Артур не ловелас, не повеса, он просто не знает, как говорить о таких материях, которые необходимы для перехода на следующую стадию отношений; в голову лезут только сложности, запреты, причины

больше не встречаться; да и как знать, что представляет собой следующая стадия – ведь нынешняя по большому счету видится ему тупиком. Разве что десятки лет спустя их дороги случайно пересекутся, и они, уже старые, седые, шутливо упомянут этот незабываемый миг на солнечной лужайке. В силу его популярности и ее репутации они не смогут встречаться в общественных местах, а в местах безлюдных – тем более, в силу ее репутации и... и всего того, что вобрала в себя его жизнь. Вот он стоит, почти сорокалетний, уверенный в завтрашнем дне, всемирно известный мужчина... вдруг превратившийся в школяра. Как будто он выучил наизусть самый прекрасный любовный монолог из Шекспира и теперь должен его продеklamировать, но в горле пересохло, а в голове пусто. Или как будто на нем снова лопнули твидовые бриджи и ему срочно требуется прислониться к стене, чтобы прикрыть свой тыл.

Но даже несмотря на пустоту в голове, беседа складывается сама собой и назначается следующая встреча. Это ведь не тайное свидание и не начало интрижки, а всего лишь следующая встреча, и все пять дней томительного ожидания он не может ни работать, ни думать; даже играя по две партии в гольф подряд, он делает замах для удара по мячу – и ловит себя на мысли о ней: ее лицо всплывает у него перед глазами, и он безнадежно мажет, рискуя перебить местную живность. Толкая мяч от одной песчаной зоны к другой, он внезапно вспоминает гольф на территории отеля «Мена-хаус» и ощущение, будто вокруг него один сплошной бункер. Сейчас он не уверен, что ощущение осталось тем же самым; должно быть, осталось, да еще нагнетается – то ли здесь песок глубже и мяч совсем тонет, то ли сам Артур будто бы не покидает пределов грина.

Нет, это не любовное свидание, хотя он уже выходит из кэба на углу квартала. Это не свидание, хотя дверь уже отворяет неопределенного возраста и положения особа, которая тут же исчезает. Это совсем не свидание, хотя они наконец-то одни, сидят на диване с жаккардовой обивкой. Это никакое не свидание, потому что он так решил.

Артур смотрит на Джин и нерешительно берет ее за руку. Взгляд ее нельзя назвать ни застенчивым, ни самоуверенным – в нем сквозит искренность и твердость. Улыбки на лице нет. Он понимает, что один из них должен заговорить, но вмиг теряет все знакомые слова. И это не играет роли. Наконец ее губы трогает неуверенная улыбка:

– Жду не дождусь снега.

– На каждую годовщину нашего знакомства я буду дарить тебе подснежник.

– Пятнадцатого марта, – уточняет Джин.

– Знаю. Я все знаю, эта дата вырезана у меня на сердце. При вскрытии ее прочтут.

И снова тишина. Примостившись на краю диванчика, он хочет сосредоточиться на ее словах и лице, на памятной дате и подснежниках, но осознание того буйства, что творится у него в штанах, поглощает его целиком. Это не любовное томление благородного рыцаря, нет, это пульсирующая неизбежность, грубая, уличная, полностью соответствующая одиозному слову «стояк», которое Артур никогда не употребляет, но сейчас не способен отогнать. Хорошо еще, что брюки просторные – у него это сейчас единственная внятная мысль. Чтобы не так сильно давило, он слегка изменяет позу и невольно придвигается ближе к Джин. Она ангел, думает он, такая чистая, такая хрупкая, приняла его порыв за желание поцелуя и доверчиво потянулась к нему, а он, как джентльмен, должен проявить уважение к даме, но как мужчина, просто обязан ее поцеловать. Не обольститель, не донжуан, но рослый, респектабельный человек средних лет, он пытается думать лишь о рыцарственной любви, неуклюже склоняет голову, когда девичьи губы дотягиваются до его усов и несмело ищут под ними рот, а сам по-прежнему держит Джин за руку – и вдруг стискивает ей пальцы, чувствуя, как в штанах у него бьет гейзер. Мисс Джин Легки наверняка ошибочно истолковала стон Артура; мало этого – кавалер еще и отпрянул, словно пронзенный дротиком.

В голове у Артура всплывает некий образ из давних времен. Стонихерст, ночь; дежурный иезуит бесшумно обходит дортуары, чтобы не допустить разврата среди воспитанников. Это было оправданно. Вот что ему требуется – и сейчас, и в обозримом будущем: свой личный дежурный иезуит. Нынешнее происшествие не должно повториться. Для него, как для врача, эта минутная слабость объяснима; но для английского джентльмена она постыдна и тревожна. Он даже не знает, кого предал больше всех: Джин, Туи или себя. В какой-то степени определено всех троих. И это не должно повториться.

Всеми виной внезапность, а также разрыв между мечтой и реальностью. В рыцарских романах объект любви недостижим: это, например, жена сюзерена. Доблесть рыцаря – под стать его чистоте. Но Джин вполне достижима, тогда как Артур отнюдь не безвестный доблестный рыцарь, свободный от брачных уз. Напротив, он женатый мужчина, три года назад приговоренный к воздержанию лечащими врачами

супруги. Весит он за девяносто... нет, за сто килограммов, держится в хорошей форме, энергичен; не далее как вчера ночью у него было непроизвольное семяизвержение.

Но теперь, когда этот непростой вопрос встает перед ним со всей ужасающей отчетливостью, Артур способен его осмыслить. Умом он обращается к практическим аспектам любви, точно так же как некогда обращался к практическим аспектам болезни. Проблему – *проблему! боль, сокрушительную радость, муки!* – он определяет следующим образом. Для него немислимо разлюбить Джин; для нее немислимо разлюбить его. Для него немислимо развестись с Туи, матерью его детей, к которой он по сей день испытывает душевную привязанность и уважение; да что там говорить: только негодяй способен бросить больную жену. Для него немислимо и превратить роман в интрижку, сделав Джин своей любовницей. У каждой из трех сторон есть своя честь, пусть даже Туи не ведает, что ее честь обсуждается у нее за спиной. Но таково неперемное условие: Туи ничего не должна знать.

На следующем свидании он берет инициативу на себя. Так надо: он мужчина, он старше; Джин – девушка, возможно, импульсивная, чью репутацию запятнать нельзя. Поначалу она тревожится, решив, что Артур вознамерился с нею порвать, но когда понимает, что он всего лишь хочет упорядочить их отношения, расслабляется, а временами, похоже, и вовсе перестает слушать. Ее тревога прорывается вновь, когда Артур подчеркивает, что они должны быть крайне осторожны.

– Но целоваться-то можно? – спрашивает она, будто проверяя условия контракта, благополучно подписанного с завязанными глазами.

От ее интонации у него тает сердце и туманится мозг. Чтобы скрепить контракт, они целуются. Впрочем, Джин лишь коротко клюет его, словно птичка, с открытыми глазами, тогда как Артур предпочитает, чтобы глаза были закрыты, а губы надолго сливались с губами. Ему даже не верится, что он вновь кого-то целует, тем более Джин. Он запрещает себе думать, до какой же степени это отличается от поцелуев с Туи. Как бы то ни было, очень скоро восстание начинается вновь, и он отстраняется.

Они будут видеться; будут ненадолго оставаться наедине; целоваться можно; забываться нельзя. Их положение крайне опасно. А она опять слушает вполуха.

– Пора мне съехать от родителей, – говорит она. – Я могу снимать квартиру на паях с женской компанией. Тогда ты сможешь свободно ко мне приходить.

До чего же она не похожа на Туи: прямолинейная, открытая, свободная

от предрассудков. С самого начала она относилась к нему как к равному. И в том, что касается их любви, они, конечно, на равных. Но на нем лежит ответственность и за них обоих, и за Джин в отдельности. Он обязан следить, чтобы ее прямодушие не обернулось бесчестьем.

В последующие недели Артур порой задумывается, не ждет ли Джин, что он сделает ее своей любовницей. Сколько страсти в ее поцелуях и сколько разочарования во взоре, когда он отстраняется; как она льнет к его груди; временами у Артура возникает чувство, будто она точно знает, что творится у него на душе. И тем не менее он не вправе допускать подобные мысли. Она не такая: в ней нет ложной скромности, а это значит – она всецело ему доверяет и доверяла бы, даже не будь у него незыблемых принципов.

Но одного лишь распутывания житейских сложностей, что сопутствуют их отношениям, недостаточно; ему столь же необходимо моральное одобрение. Артур с трепетом отправляется на вокзал Сент-Панкрас и садится в поезд, идущий в Лидс. Высшим авторитетом остается для него матушка. Она внимательно читает все его произведения, прежде чем они пойдут в печать; сходную роль играет она и в его эмоциональной жизни. Только матушка может подтвердить, что выбранный им план действий правомерен.

В Лидсе он садится на поезд до Карнфорса и в Клэпхеме делает пересадку до Инглтона. Матушка поджидает его на станции в своей легкой повозке, одетая в красный жакет и хлопчатобумажный белый капор, который она, похоже, теперь носит не снимая. Две тряские мили в повозке кажутся Артуру бесконечными. Матушка все время потакает своему пони по кличке Муи, а тот – коняшка с характером: к примеру, наотрез отказывается приближаться к паровозам. С ним также приходится объезжать стороной участки дорожных работ и радоваться каждому случаю лошадиной невнимательности. Наконец они заходят в Мейсонгилл-коттедж. Артур незамедлительно принимается выкладывать матери все. По крайней мере, все существенное. Все, что ей необходимо знать, чтобы вынести суждение о его возвышенной, ниспосланной небесами любви. Про то, как на него снизошло внезапное чудо, сделавшее жизнь его невыносимой. Про свои переживания, чувство долга и угрызения совести. Про Джин, ее очаровательную непосредственность, острый ум, добродетель. Про все. Почти.

Сбиваясь, он заводит рассказ сначала, углубляясь в новые подробности. Подчеркивает происхождение Джин, ее шотландские корни – такая родословная способна увлечь любого генеалога-любителя. По одной

линии род ее восходит к Мализу де Легге, жившему в тринадцатом веке, а по другой – к самому Робу Рою. В настоящий момент она живет с богатыми родителями в Блэкхите. Семейство Лекки, уважаемое и благочестивое, сделало состояние на чайной торговле. Возраст Джин – двадцать один год. Она – обладательница волшебного меццо-сопрано, пению обучалась в Дрездене, собирается на стажировку во Флоренцию. Прекрасно держится в седле, но ему еще предстоит в этом убедиться. Ее отличают чуткость, честность, сила духа. Наконец, внешность ее тоже достойна восхищения. Стройная фигура, изящные ручки и ножки, волосы цвета темного золота, зелено-карие глаза, слегка вытянутый овал лица, идеальная белоснежная кожа.

– Ты словно расцветиваешь фотографию, Артур.

– И рад бы, да у меня ее нет. Я просил Джин подарить мне свой снимок, но она говорит, что нефотогенична. И не любит улыбаться в камеру, потому что стесняется своих зубов. Прямо так и сказала. Думает, они слишком крупные. Конечно же, это чепуха. Она просто ангел.

Слушая рассказ сына, матушка не упускает из виду странную параллель, проведенную судьбой. Долгие годы она была замужем за человеком, которого общество из вежливости объявляло тяжелобольным – не важно, приволакивал его домой крохобор-извозчик или медики отправляли в лечебницу под видом эпилептика. В отсутствие мужа и по причине его невменяемости она утешилась с мужчиной по имени Брайан Уоллер. Тогда суровый и беспощадный сын посмел ее осуждать, а порой едва ли не ставил под сомнение ее честь своими недомолвками. А нынче он, ее любимый, обожаемый ребенок, в свой черед обнаружил, что житейские трудности не заканчиваются у алтаря; по мнению некоторых, там они только начинаются.

Матушка слушает; она понимает и оправдывает. Артур поступает правильно и по чести. А она была бы рада знакомству с мисс Лекки.

Он устраивает их встречу, и матушка высказывается о Джин одобрительно, точно так же как в свое время, еще в Саутси, одобрила Туи. Это не бездумное потакание прихотям избалованного сына. С точки зрения матушки, Туи, мягкая и покладистая, была идеальной женой для честолюбивого, но еще не нашедшего себя молодого врача, который стремился утвердиться в обществе, чтобы оно поставляло ему пациентов. Однако, вознамерясь он жениться сейчас, ему лучше всего подошла бы такая девушка, как Джин, независимая, решительная и прямолинейная: в этих проявлениях матушка усматривает некоторое сходство с собственной персоной. Про себя она также отмечает, что Джин – первая спутница ее

сына, которой он не дал прозвища.

В холле «Подлесья» на столике стоит телефонный аппарат с трубкой фирмы «Гауэр-Белл», по форме напоминающий подсвечник. У него индивидуальный номер, «Хайндхед-237», а благодаря имени и славе Артура его телефон, в отличие от многих других, имеет выделенную линию. Но Артур никогда не звонит Джин из дома. Он даже помыслить не может о том, чтобы выгадывать удобный момент, когда слуги уйдут по хозяйственным делам, дети – в школу, Туи – отдыхать, Вуд – прогуляться, а сам он сможет затаиться в холле спиной к лестнице и шептать в трубку, стоя под витражом с именами и гербами предков. Ему не представить себя за подобным занятием: оно – доказательство интрижки, не столько для тех, кто может его застукать, сколько для него самого. Телефон – излюбленный инструмент неверного мужа.

Поэтому Артур предпочитает общение посредством писем, записок, телеграмм; общение с помощью слов и подарков. Через пару месяцев Джин взволнованно объясняет, что квартира, в которой она живет, не очень-то велика, и, хотя она делит жилье с верными подругами, каждый приход посыльного начинает ее смущать. Если женщина получает много подарков от джентльменов – или, что компрометирует еще сильнее, от одного джентльмена, – ее считают любовницей; по крайней мере, потенциальной любовницей. Выслушав Джин, Артур упрекает себя за недомыслие.

– И вообще, – говорит Джин, – мне не нужны доказательства. Я уверена в твоей любви.

В первую годовщину их знакомства он дарит ей один подснежник. Джин говорит, что такой радости ей бы не доставили ни драгоценности, ни наряды, ни комнатные растения, ни дорогой шоколад – все то, что мужчины обычно преподносят женщинам. Материальных потребностей у нее немного, а средств с лихвой хватает на удовлетворение всех желаний. И более того, отсутствие подарков – это признак того, что их отношения не банальны, как у других пар.

Но вопрос о кольце повисает в воздухе. Артур хочет, чтобы Джин носила на пальчике – не важно на каком, – это ювелирное украшение, дабы подавать ему тайные знаки, когда они вместе оказываются на светских приемах. Джин эта идея не по нраву. Мужчины дарят кольца трем категориям женщин: женам, любовницам и невестам. Она не принадлежит ни к одной категории, а потому кольцо – это не для нее. Любовницей она не будет никогда; жена у Артура уже есть; и невестой ей тоже не бывать. Считать себя невестой – все равно что говорить: я жду смерти его жены. У

некоторых пар, она знает, существует такая договоренность, но в их случае это исключено. Их любовь иная. У нее нет ни прошлого, ни будущего, о котором можно помечтать; есть только настоящее. Артур говорит, что считает ее своей мистической женой. Джин соглашается, но отвечает, что мистические жены не носят реальных колец.

Решение, конечно же, находит матушка. Она приглашает Джин в Инглтон, с тем чтобы Артур приехал на следующее утро. Но вечером у матушки возникает идея. Сняв с мизинца левой руки тонкое колечко, она надевает его на мизинец Джин. Голубой сапфир-кабошон в свое время принадлежал матушкиной двоюродной бабке.

Джин разглядывает кольцо под одним углом, под другим и тут же снимает.

– Я не могу принять вашу фамильную драгоценность.

– Это кольцо я получила от двоюродной бабушки, считавшей, что оно будто создано для меня. Когда-то это действительно было так; но теперь – нет. Оно больше подходит вам. Мы с вами сроднились. С первого дня.

Джин не может отказать матушке; мало кто на это способен. Когда приезжает Артур, он демонстративно ничего не замечает; наконец женщины обращают его внимание на кольцо. Но даже после этого он прячет свой восторг, отмечая вслух, что камешек-то маловат, и предоставляя женщинам возможность посмеяться над его ворчливостью. Теперь Джин носит кольцо не Артура, а Дойлов, и это ничуть не хуже; возможно, даже лучше. Артур уже представляет, как будет видеть это кольцо за обеденным столом с изысканными яствами, над фортепианными клавишами, на подлокотнике театрального кресла, на уздечке лошади. Ему видится в этом связующий символ. Мистическая жена.

Ложь во спасение дозволена джентльмену в двух случаях: чтобы защитить женщину и чтобы ввязаться в праведный бой. Артур лжет Туи гораздо чаще, чем мог представить. На первых порах он предполагал, что в суматохе дней и недель, авантур и увлечений, спортивных игр и путешествий необходимости обманывать жену не возникнет: Джин просто затеряется среди многочисленных событий его календаря. Но коль скоро она не может исчезнуть из его сердца, то не может исчезнуть ни из его разума, ни из совести. И Артур приходит к выводу, что каждая встреча, каждый план, каждое отправленное письмо, длинное или короткое, каждая мысль о Джин так или иначе сопряжены с ложью. Чаще всего ложь сводится к недомолвкам, хотя иногда, в силу необходимости, приходится и что-нибудь выдумывать; как бы то ни было, это ложь. А Туи невероятно доверчива; она принимает и всегда принимала внезапные изменения в

планах мужа, его порывистость, решения остаться дома или уйти. Артуру ясно, что она пребывает в неведении; от этого он нервничает сильнее всего. Ему трудно представить, как неверные мужья могут жить в гармонии со своей совестью и какова должна быть степень их нравственного падения, чтобы вот так, походя, лгать.

Но помимо практических трудностей, нравственного тупика и плотской неудовлетворенности, есть нечто более темное, с чем совладать куда труднее. Поворотные моменты в жизни Артура всегда омрачались смертью, и нынешняя ситуация не исключение. Но столь внезапно посетившая его удивительная любовь может быть воспринята и признана светом только со смертью Туи. Она умрет, он знает; знает это и Джин. Чахотка всегда собирает смертельную дань. Но решимость Артура вступить в схватку с дьяволом привела к перемирию. Состояние Туи стабильно; у нее даже отпала нужда в целительном воздухе Давоса. Спокойно живя в Хайндхеде, она благодарна за то, что имеет, и лучится слабым оптимизмом, как все туберкулезные больные. Артур не может желать ее смерти; но точно так же не может желать, чтобы Джин бесконечно находилась в этом невыносимом положении. Будь Артур приверженцем какой-нибудь из официальных религий, он без малейших колебаний положился бы на Божий промысел; но нет. Туи должна, как и прежде, получать лучшее медицинское обслуживание и неустанную поддержку домашних, отчего страдания Джин затянутся до бесконечности. Если он этому помешает, то будет подлецом. Если признается жене, будет подлецом. Если порвет с Джин, будет подлецом. Если сделает ее своей любовницей, будет подлецом. Если ничего не сделает, то будет равнодушным, лицемерным подлецом, тщетно цепляющимся за обломки своей чести.

Мало-помалу, с опаской они все же являют свои отношения миру. Джин знакомится с Лотти. Артур знакомится с родителями Джин; те дарят ему на Рождество булавку с жемчужиной и бриллиантом. Джин знакомится даже с матерью Туи, миссис Хокинс, которая принимает их отношения. Конни и Хорнунг тоже осведомлены, хотя в данный момент чету куда больше занимает их брак, сын Оскар Артур и дом в Западном Кенсингтоне. Артур уверяет всех, что Туи любой ценой будет ограждена от знания, боли и бесчестия.

Есть благородные помыслы, а есть обыденная действительность. Несмотря на одобрение близких, и Артур, и Джин подвержены приступам уныния; помимо этого, Джин терзают мигрени. Каждый чувствует вину за то, что вовлек другого в это невыносимое положение. Честь, как

добродетель, сама по себе бывает наградой, но иногда ее недостаточно. По крайней мере, отчаяние, которое она порождает, может быть таким же острым, как и восторг. Артур прописывает себе курс полного собрания сочинений Ренана. Усердное чтение наряду с занятиями гольфом и крикетом способны привести в равновесие любого мужчину, поддержать его тело и дух.

Но на большее этих ресурсов не хватает. Можно в пух и прах разбить команду соперников, угодить мячом в ребра отбивающего; можно выбрать длинную клюшку и отправить мяч далеко за пределы поля для гольфа. Но нельзя вечно обуздывать свои мысли – всегда одни и те же мысли, одни и те же непримиримые противоречия. Деятельный человек, обреченный на бездействие; влюбленные, не имеющие возможности любить; смерть, позвать которую и страшно, и стыдно.

Крикетный сезон складывается для Артура успешно; с сыновней гордостью он сообщает матушке о заработанных очках и разрушенных калитках. Она, в свою очередь, делится с ним своими соображениями: о деле Дрейфуса, о ватиканских святошах – притеснителях и изуверах, об ужасной позиции одиозной газеты «Дейли мейл» в отношении Франции. В один прекрасный день он играет за Мэрилебонский крикетный клуб на стадионе «Лордс». На игру приглашена Джин, и, когда настанет очередь Артура отбивать, он будет помнить, где именно в секторе «А» находится ее место. В такой день боулеры против него бессильны; бита его неуязвима и при ударе не реагирует на тяжесть мяча, посылая его через все поле. Раз или два он попадает мячом на трибуны, удостоверившись, впрочем, что мяч не упадет артиллерийским снарядом поблизости от Джин. Артур бьется на турнире во имя прекрасной дамы; жаль, что он не попросил у нее какую-нибудь вещицу, чтобы прикрепить к своему кепи.

Между иннингами Артур направляется к Джин. Ему не нужна похвала – он видит гордость в ее глазах. Джин так долго сидела на деревянной скамье, что теперь ей нужно немного размяться. Они прохаживаются вокруг поля, за трибунами; в горячем воздухе пахнет пивом. Среди праздной, безликой толпы они чувствуют себя более уединенно, чем под дружелюбными взглядами на званом обеде. Беседуют они с таким видом, словно только что познакомились. Артур говорит, как бы ему хотелось прикрепить к своему кепи какой-нибудь знак ее благосклонности. Она берет его под руку, и они, безмятежно счастливые, неспешно идут дальше.

– Смотри-ка! Это Уилли и Конни.

И правда, им навстречу, тоже под ручку, движутся Уилли и Конни. Не иначе как оставили малыша Оскара в Кенсингтоне с няней. Артур прямо

раздувается от гордости за свою игру. Но тут он замечает какую-то несуразность. Уилли и Конни не замедляют шага, а Конни еще и смотрит куда-то в сторону, будто необычайно заинтересовавшись задней стенкой шатра. Уилли, по крайней мере, не притворяется, что встречной пары не существует, однако на ходу вздергивает бровь при виде переплетенных рук своего шурина и Джин.

Поддача Артура после перерыва становится быстрее и резче обычного. Он замахивается чересчур сильно и в результате сбивает только одну калитку. Когда его отправляют в другую половину поля, он без конца оборачивается, высматривая Джин, но она, должно быть, пересела. Не видно и Уилли с Конни. Броски Артура вызывают крайнее беспокойство уикет-кипера, и он как угорелый носится туда-обратно.

Когда игра подходит к концу, становится ясно, что Джин ушла. Артур вне себя от ярости. Он хочет домчаться на кэбе напрямик до дома своей возлюбленной, вывести ее на улицу, взять под руку и пройти с нею до Букингемского дворца, Вестминстерского аббатства и здания парламента. Не переодеваясь, прямо в спортивной форме. Идти и кричать: «Я, Артур Конан Дойл, горжусь тем, что люблю эту женщину, Джин Легки». Артур живо представляет себе такую картину. Наверное, он сходит с ума.

Вскоре гнев отступает, и Артуром овладевает холодная неудержимая злоба. Он принимает душ и переодевается, не переставая проклинать Уилли Хорнунга. Как смеет этот близорукий астматик, который и в крикет-то как следует играть не умеет, поглядывать на них с осуждением? На *него*. На *Джин*. Хорнунг, жалкий щелкопер, автор никчемной колонки об австралийском захолустье. Никто и слыхом о нем не слыхивал, пока он не позаимствовал – с его, Артура, позволения – идею книги о Холмсе и Ватсоне, перевернув сюжет с ног на голову и превратив этих персонажей в парочку уголовников. А ведь Артур поощрял его начинания. Даже имя обеспечил для его так называемого героя – Рафлз, ставший в итоге Раффлсом (позаимствовано из «Открытия Рафлза Хоу»). Разрешил посвятить эту чертову книжонку себе: «А. К. Д. – такая форма лести».

Подарил этому ничтожеству не только самую блестящую идею, но еще и жену. Вполне буквально: привел ее к алтарю и передал ему с рук на руки. Помог деньгами на обзаведение. Ну, допустим, деньги он вручил Конни, но Уилли Хорнунг ни разу не сказал, что, как мужчина, не сможет принять такую помощь, которая ляжет пятном на его репутацию, или что начнет больше работать, чтобы обеспечивать молодую жену, нет, ничего подобного. И он полагает, что после этого имеет право так поглядывать на них с Джин?

Артур берет кэб до Кенсингтона. Питт-стрит, дом девять. На перекрестке с Хэрроу-роуд злость его начинает понемногу стихать. Он представляет, как Джин говорит, что сама во всем виновата: ведь это она взяла его под руку. В ее голосе он безошибочно улавливает нотки самобичевания и знает, что из-за этого у нее снова разыграется проклятая мигрень. Сейчас важно одно, говорит он себе: уберечь Джин от душевных мук. Всем своим существом он жаждет выломать дверь, вытащить Хорнунга на тротуар и вышибить ему мозги крикетной битой. Однако, к тому моменту, когда кэб останавливается, он знает, как себя повести.

Когда дверь ему открывает сам Уилли Хорнунг, Артур уже вполне спокоен.

– Я к Констанции, – говорит он.

У Хорнунга, по крайней мере, хватает ума воздержаться от идиотских реплик и не настаивать на своем присутствии при разговоре. Артур поднимается в гостиную к Конни. Он говорит с сестрой без обиняков (чего никогда прежде не делал – не было нужды) обо всем, что его тревожит. О болезни Туи. О своей внезапной, неизъяснимой любви к Джин. О том, что любовь эта останется платонической. Хотя и заполняет огромную, доселе пустовавшую часть его жизни. О той невыносимой тоске, что время от времени овладевает ими обоими. О том, что Конни увидела их открытое выражение чувств лишь потому, что они с Джин на мгновение потеряли бдительность, и какая это мука – вечно скрывать свою любовь от окружающих. Ни улыбнуться, ни засмеяться необдуманно. О том, что он, Артур, просто не переживет, если его родные, которые для него дороже всех на свете, от него отвернутся, не вникнув в его положение.

Завтра у него снова игра, и он просит, нет, умоляет Конни прийти, чтобы наконец-то познакомиться с Джин по-человечески. Это единственный выход. Нужно тотчас же выбросить из головы сегодняшнее происшествие, иначе будет только хуже. Завтра она встретится с Джин за обедом и познакомится с ней поближе. Ведь так?

Конни соглашается. Провожая его, Уилли говорит:

– Артур, я в любую минуту, без вопросов, готов вас прикрыть, с какой бы женщиной вы ни были.

Садясь в кэб, Артур понимает, что избежал катастрофы. От усталости у него голова идет кругом. Он знает, что может рассчитывать на Конни, как и на всех своих родных. Ему становится немного стыдно за свои мысли об Уилли Хорнунге. Артур знает, что всему виной его собственный проклятый характер – не зря он наполовину ирландец. Шотландская же его кровь из всех сил старается не уступить.

Нет, Уилли – славный малый, без вопросов его прикроет. У него острый ум и неплохие способности в крикете. Пусть он не любит гольф, но по крайней мере, его объяснение своей позиции – лучшее из всех, что Артуру доводилось слышать: «Это как-то неспортивно – бить по лежащему мячу». Хорошо сказано. А его шутка про опечатку с бегуном? А его каламбур о Холмсе, стараниями Артура получивший известность: «Может, Холмс и не слишком скромн, зато ни один полисмен с ним рядом не стоит»? Ни один полисмен с ним рядом не стоит! Вспоминая эти слова, Артур откидывается на спинку сиденья.

На следующее утро, когда Артур уже собирается выходить на стадион, приносят телеграмму. Констанция Хорнунг сообщает, что не сможет с ними сегодня пообедать, так как у нее разболелся зуб и ей срочно нужно к дантисту.

Артур отправляет записку Джин и свои извинения – в «Лордс» («по семейным обстоятельствам» – это впервые не эвфемизм), а сам берет кэб до Питт-стрит. Они наверняка ждут, что он приедет. Им известно, что он не сторонник различного рода интриг и дипломатических умолчаний. Смотри собеседнику прямо в глаза, говори правду и принимай последствия – вот жизненное кредо всех Дойлов. У женщин, разумеется, свои правила – или, точнее, женщины сами, никого не спрашивая, придумали для себя другие правила, но даже с такой оговоркой Артур вовсе не считает, что срочный визит к стоматологу – это уважительная причина для отмены встречи. Оттого что Конни даже не позаботилась придумать отговорку посерьезнее, Артур приходит в негодование. Вероятно, она об этом знает. Вполне возможно, так и было задумано – как упрек в его адрес, подобно ее вчерашнему взгляду в сторону. Впрочем, надо отдать ей должное: Конни кривит душой не больше, чем он сам.

Он знает, что должен сохранять спокойствие. Самое главное сейчас – это Джин, затем мир в семье. Интересно, это Конни заставила Хорнунга передумать, или наоборот? «Я в любую минуту, без вопросов, готов вас прикрыть, с какой бы женщиной вы ни были». Звучит вполне однозначно. Но столь же однозначно звучали и заверения Конни в том, что она, конечно же, понимает всю тяжесть его положения. Артур заранее пытается разобраться, почему так вышло. Возможно, Конни гораздо быстрее, чем он мог себе представить, стала солидной замужней дамой; возможно, ее всегда злило, что его любимая сестра не она, а Лотти. Что же до Хорнунга, тот, очевидно, завидует славе своего шурина, а может, успех «Раффлса» ударил ему в голову. Что-то же пробудило в них это желание продемонстрировать свою волю. Ничего, Артур скоро выяснит, что это было.

– Конни наверху, отдыхает, – говорит Хорнунг, открывая ему дверь.

Вполне прозрачно. Значит, им предстоит мужской разговор, как того и хотел Артур.

Юнец Уилли Хорнунг одного роста с Артуром, о чем тот время от времени забывает. К тому же у себя дома Хорнунг вовсе не похож ни на Хорнунга, которого рисует воспаленное сознание Артура, ни на Уилли, который с заискивающим видом носится по теннисному корту в Вест-Норвуде, пытаясь всем угодить. В парадной гостиной он указывает Артуру на кожаное кресло, ждет, пока тот усядется, а сам остается стоять. С началом разговора он принимается с важным видом расхаживать по комнате. Нервы, ясное дело, но выглядит он словно прокурор, который пытается произвести впечатление на несуществующих присяжных.

– Артур, это будет непросто. Конни рассказала мне, о чем вы говорили с ней вчера, и мы это обсудили.

– И изменили свое мнение. Или ты изменил ее мнение. Или она – твое. Вчера ты говорил, что без вопросов готов меня прикрыть.

– Я помню, что говорил. Дело вовсе не в том, кто на кого повлиял. Мы все обсудили и пришли к согласию.

– С чем вас и поздравляю.

– Артур, послушайте. Вчера мы говорили с вами, следуя голосу сердца. Вы знаете, как сильно Конни вас любит и всегда любила. Вы знаете, как я вами восхищаюсь, как я горжусь тем, что Артур Конан Дойл – мой шурин. Именно поэтому мы с Конни и приехали вчера на стадион: чтобы с гордостью посмотреть на вашу игру, чтобы вас поддержать.

– Чего, очевидно, решили больше не делать.

– Сегодня мы думаем и рассуждаем трезво, слушая голос разума.

– И что же говорит ваш разум?

Здесь Артур обуздывает свой гнев и только позволяет себе нотки сарказма. Это лучшее, что он может сейчас сделать. Артур спокойно сидит в кресле и наблюдает, как Уилли перед ним пританцовывает и расшаркивается, как пританцовывают и расшаркиваются его доводы.

– Разум – и мой, и Конни – говорит нам то, что видят наши глаза и подсказывает совесть. Ваше поведение... бесчестно.

– И кого же оно бесчестит?

– Вашу семью. Жену. Вашу... даму. Вас лично.

– Не хочешь ли включить в этот список еще и Мэрилебонский крикетный клуб? А моих читателей? А персонал магазина «Гамаджис»?

– Артур, если вы сами этого не замечаете, вам должны открыть глаза другие.

– Что я вижу, ты вошел во вкус. Я думал, у меня появился только зять. Кто бы мог подумать, что у нас появилась еще и совесть. Оказывается, нашей семье недостает совести. Да тебя пора причислить к лику святых!

– Не нужно быть святым, чтобы сказать: ваши улыбчивые прогулки по стадиону под руку с женщиной, которая вам не жена, позорят вашу супругу и бросают тень на всю вашу семью.

– Бесчестье и боль никогда не коснутся Туи. Это мой самый главный принцип. И так будет всегда.

– Кроме нас, кто еще видел вас вчера? И что они могли подумать?

– А вы с Конни... вы что подумали?

– Что с вашей стороны это безрассудство. Что ваша дама предстает в дурном свете. Что вы пятнаете имя жены. И всей своей родни.

– Для новоявленного родственника ты на удивление хорошо разбираешься во всем, что касается моей родни.

– Наверное, мне со стороны виднее.

– Наверное, тебе не хватает преданности. Хорнунг, я не собираюсь упрощать: ситуация адски сложная. Не отрицаю. Временами это просто невыносимо. Нет нужды повторять то, что я вчера рассказал Конни. Я делаю все, что в моих силах, так же как и Джин. Наш... союз приняли и одобрили матушка, родители Джин, мать Туи, мои сестры и брат. До вчерашнего дня и ты был на нашей стороне. В чем я провинился хоть перед кем-нибудь из родных? И когда еще я о чем-нибудь их просил?

– А если ваша жена узнает о вашем вчерашнем проступке?

– Не узнает. Это невозможно.

– Вы не боитесь злых языков, Артур? Прислуга любит посплетничать. Кто-нибудь может черкнуть анонимное письмо. Или газетчики начнут распускать слухи.

– Тогда я подам на них в суд. Или своими руками прибью негодяя, который на такое осмелится.

– Это было бы еще бóльшим безрассудством. Кроме того, анонима убить невозможно.

– Разговор пустой, Хорнунг. Ясно, что себе ты приписываешь гораздо лучшее понимание чести, нежели мне. Если появится вакансия главы семьи, я обязательно рассмотрю твою кандидатуру на эту должность.

– *Quis custodiet*^[6], Артур? Кто еще скажет главе семьи, что он не прав?

– Хорнунг, последний раз повторяю. Я человек чести. Моя репутация и репутация моей семьи – для меня все. Джин Лекки – в высшей степени благородная женщина. У нас платонические отношения. И останутся таковыми впредь. Как муж Туи, я буду относиться к ней с уважением, пока

над одним из нас не захлопнется крышка гроба.

Артур любит выражаться предельно четко и тем самым обычно сводит на нет все возражения. Он думает, что так вышло и на этот раз, но Хорнунг все еще мечется по комнате, как бэтсмен по площадке.

– Мне кажется, – отвечает он, – что вы придаете слишком большое значение характеру ваших отношений. Не вижу разницы между платоническими отношениями и какими-либо другими. В чем она заключается?

Артур встает.

– В чем разница? – ревет Артур. Ему плевать, что сестра отдыхает, малыш Оскар спит, а за дверью, возможно, подслушивает горничная. – Разница огромна! Разница между безвинностью и виной – вот что это такое!

– Не соглашусь, Артур. То, что думаете вы, и то, что думает свет, – разные вещи. То, во что верите вы, и то, во что верит свет, – разные вещи. То, что знаете вы, и то, что знает свет, – разные вещи. Честь – это не только намерения, но и поступки.

– Я не позволю читать мне нотации на тему чести, – кричит Артур, – не позволю! Не позволю! В особенности человеку, который сделал героем своего рассказа воришку.

Он срывает со стойки шляпу и нахлобучивает на голову. Что ж, так оно и есть, решает он, именно так. Свет либо на твоей стороне, либо против тебя. По крайней мере, теперь ясно, как делает свое дело ханжа-прокурор.

Вопреки этому неодобрению, а возможно, для того, чтобы доказать его беспочвенность, Артур начинает с большой осторожностью приобщать Джин к светской жизни «Подлесья». Якобы познакомился в Лондоне с милейшим семейством по фамилии Лекки; у них загородный дом в Кроуборо; сын новых знакомых Малькольм Лекки – великолепный парень, у него есть сестра по имени... как там ее зовут?.. И вскоре имя Джин начинает фигурировать в гостевой книге «Подлесья», всегда рядом с именем брата или одного из родителей. Артур не может поклясться, что его нимало не волнуют записи вроде «Малькольм Лекки сообщил, что сегодня, вероятно, заедет вместе с сестрой», но, чтобы не сойти с ума, он должен зачитывать это вслух. И всякий раз, хоть во время многолюдного ланча, хоть на послеобеденном турнире по теннису, он не до конца уверен, что держится естественно. Быть может, он проявляет чрезмерное внимание к Туи – вдруг она что-то заподозрила? Быть может, он слишком сухо и официально встретил Джин – вдруг она обиделась? Но это его трудности.

Туи никогда не подает виду, если что-то не так. А Джин – храни ее Господь – ведет себя столь непринужденно и вместе с тем благопристойно, что можно ничего не опасаться. Она не ищет встреч с Артуром наедине, никогда не сует ему в руку любовную записочку. Правда, временами ему кажется, будто она нарочито с ним флиртует. Но по зрелом размышлении он приходит к выводу, что она умышленно ведет себя так, словно они и впрямь едва знакомы. Вероятно, лучший способ убедить жену, что у тебя нет видов на ее мужа, – это флиртовать с ним у нее на глазах. Если это правда, то весьма умно придумано.

А дважды в год им удается вместе выбраться в Мейсонгилл. Они приезжают и уезжают разными поездами, как гости, случайно прибывшие на выходные в один и тот же день. Артур останавливается у матери, а Джин определяют на ночлег к мистеру и миссис Денни, владельцам фермы «Парр-Бэнк». В субботу в Мейсонгилл-хаусе устраивается ужин. В доме Уоллера маменька сидит – и, видимо всегда будет сидеть – во главе стола.

Правда, ситуация теперь не так проста, как прежде, когда маменька только-только сюда переехала; хотя и в ту пору не все было просто. Дело в том, что Уоллера угораздило жениться. Мисс Ада Андерсон, дочь священника из шотландского города Сент-Эндрюс, приехала в торнтонский приход гувернанткой и, по словам деревенских сплетников, сразу положила глаз на хозяина Мейсонгилл-хауса. Она сумела его окрутить, но вскоре поняла (тут деревенские сплетники позволяют себе назидательный тон), что перевоспитать его не получится. Новоиспеченный муж не допускал, чтобы какие-то брачные узы нарушили созданный им самим уклад жизни. Если быть точным, он регулярно, как прежде, навещает матушку, ужинает с нею тет-а-тет, да еще повесил у задней двери ее коттеджа особый колокольчик, звонить в который дозволено ему одному. В браке у него детей нет.

Когда матушка приходит в хозяйский дом к ужину, миссис Уоллер туда носу не кажет и скрывается с глаз долой. Если Уоллер желает, чтобы эта дамочка сидела у него во главе стола, так тому и быть, но законная жена, как хозяйка дома, нипочем не признает ее власть. Миссис Уоллер все более истово занимается своими сиамскими кошками и розарием, который планировкой напоминает военный плац или огород. При мимолетной встрече с Артуром она держалась стыдливо и вместе с тем чопорно, всем своим видом показывая, что их шотландские корни еще не повод для близкого знакомства.

Потому-то за ужином их всегда четверо: Уоллер, матушка, Артур и Джин. Подаются и уносятся блюда, в пламени свечей поблескивают

бокалы, разговор идет о книгах, и все указывает на то, что Уоллер по-прежнему холост. Время от времени Артур краем глаза видит кошачий силуэт, что крадется вдоль стены и опасно косится на ботинок Уоллера. Змеевидное туловище маячит в потемках напоминанием о деликатно удалившейся хозяйке. Неужели, черт побери, в каждом брачном союзе есть свои тайны? Неужели в самой сути брака нет ничего простого и понятного?

Так или иначе, Артур давно понял: Уоллера придется терпеть. А поскольку проводить все время с Джин нельзя, он довольствуется партией в гольф с Уоллером. Хозяин Мейсонгилл-хауса, даром что не вышел ростом и выглядит как школяр, играет вполне сносно. Дальность у него, конечно, хромает, зато, надо признать, точностью он превосходит Артура, который по-прежнему частенько мажет. Во владениях Уоллера можно не только поиграть в гольф, но и всласть пострелять: куропаток, тетеревов и грачей. Мужчины также ходят вдвоем на хорьковую охоту. За пять шиллингов приезжает подручный мясника с тремя хорьками и гоняет их все утро, на радость Уоллеру, вспугивая начинку множества пирогов с крольчатинной.

Но если добросовестно отбыть эти повинности, можно заработать себе часы – три часа наедине с Джин. Взяв матушкину повозку, они едут кататься по окрестным деревням, исследуют холмы, вересковые пустоши и неожиданные долины к северу от Инглтона. Хотя Артур всегда приезжает в эти края с тяжелым сердцем – его вечно преследует душок похищения и предательства, – обязанности экскурсовода он выполняет непринужденно и с увлечением. Показывает Джин долину Твисс и водопад Пекка, ущелье Лани и водопад Бизли. Любуется ее бесстрашием на мосту, взмывающем на шестьдесят футов над Тисовым ущельем. Они поднимаются на гору Инглборо, и он невольно думает, какая это отрада для мужчины: иметь рядом с собой молодую, здоровую женщину. Сравнений он избегает, никого не судит, а просто благодарит судьбу, что не нужно делать бесчисленные, утомительные остановки и привалы. На вершине он выступает сначала как археолог, демонстрируя следы бригантской твердыни, а потом как топограф, показывая виды на Моркем, пролив Святого Георга и остров Уайт, а еще дальше к северо-западу – неброские горы Озерного Края и Камберлендские хребты.

Неизбежно возникают ограничения и неловкости. Даже вдали от дома о приличиях забывать нельзя; Артур даже здесь фигура известная, да и матушка занимает определенное положение в местном обществе. Поэтому время от времени требуется выразительный взгляд, чтобы умерить искренность и экспрессию Джин. И хотя Артур более свободен в выражении своей привязанности, он не всегда может чувствовать себя так,

как пристало влюбленному – заново рожденному мужчине. Как-то раз едут они через Торнтон, рука Джин лежит на его локте, солнце стоит высоко, впереди – перспектива провести наедине всю вторую половину дня, и вдруг Джин говорит:

– Какая красивая церковь, Артур. Остановись, давай зайдем.

На мгновение он притворяется глухим, а потом довольно сухо отвечает:

– Не особенно красивая. Здесь подлинная только башня. Все остальное реставрировано лет тридцать назад. Это одна видимость.

Джин не отстаивает свой интерес, уважая грубоватое суждение Артура как главного экскурсовода. Он дергает вожжи, и своевольный Муи бежит дальше. Сейчас неподходящий момент, чтобы поведать, как они с Туи, обвенчавшись, выходили из этой церкви, отреставрированной пятнадцатью годами ранее, и рука Туи лежала у него на локте, в точности там, где теперь лежит рука Джин.

С виноватым чувством он возвращается в «Подлесье».

Что касается детей, Артур вверяет их заботам матери, а сам может нагрянуть с неожиданными планами и подарками. В его представлении отец – это как брат, только с чуть более серьезными обязательствами. Детей надо защищать, содержать и воспитывать на личном примере; а помимо этого, надо им внушать, кто они такие: они – дети, то есть несовершеннолетние, а то и неполноценные взрослые. При этом он человек великодушный и не видит необходимости или нравственной пользы ограничений, а потому не отказывает им в том, чего сам был лишен в детские годы. В Хайндхеде, как и в Норвуде, имеется теннисный корт; за домом – тир, где при его поощрении Кингсли и Мэри упражняются в стрельбе. В саду сооружена монорельсовая подвесная дорога, которая скользит и петляет по всем спускам и подъемам четырех акров его угодий. Монорельс, приводимый в движение электричеством и стабилизируемый гироскопом, – это, по убеждению Уэллса, который приятельствует с Артуром, транспорт будущего; Артур не спорит.

Для себя он покупает мотоцикл фирмы «Рок», на поверку до такой степени неуправляемый, что Туи не подпускает к нему детей; а потом и авто «вулзли» с цепным приводом и двигателем мощностью в двенадцать лошадиных сил: автомобиль принимается с восторгом и регулярно врезается в стойки ворот. Это новое транспортное средство вытесняет экипаж вместе с лошадьми; когда Артур сообщает этот очевидный факт матушке, та приходит в негодование. На этой железяке, которая к тому же –

вот позор! – постоянно ломается, даже не закрепить фамильный герб, возмущается она. Сыну с дочкой разрешаются вольности, недоступные большинству их знакомых ребяташек. Летом Кингсли и Мэри бегают босиком и могут хоть на пять миль удаляться от «Подлесья», лишь бы за стол садились вовремя, чистыми и опрятными. Когда они приносят домой ежика, отец разрешает его оставить. А по воскресеньям зачастую объявляет, что для души свежий воздух полезнее, чем литургия, и берет одного из детей в гольф-клуб как своего кедди: сначала поездка в высокой бричке до Хэнкли, потом неуклюжие перебежки с тяжелой спортивной сумкой и в награду – горячие тосты с маслом в помещении клуба. Если детям что-нибудь непонятно, отец готов объяснить, хотя не обязательно именно то, что им нужно или хочется знать, и голос его грохочет с высоты, даже когда он опускается рядом с ними на колени. Он поощряет самостоятельность, спортивные игры, верховую езду, дарит Кингсли книжки о великих битвах всемирной истории и рассказывает, чем чревата низкая боеготовность.

Умение находить разгадку – вот сильная сторона Артура, но своих детей он разгадать не может. Ни у кого из их приятелей или однокашников нет монорельсовой подвесной дороги, однако Кингсли с невыносимой вежливостью бросает, что скорость оставляет желать лучшего, да и вагончики могли бы быть попросторней. Что до Мэри, та лазает по деревьям, не вспоминая о девичьей скромности. Дети у него по всем понятиям хорошие. Но даже когда они ведут себя чинно и благовоспитанно, в них проявляется качество, которого Артур не ожидал: неумолимость. Можно подумать, они всегда чего-то ждут, хотя чего конкретно, он не знает, и далеко не уверен, что они сами знают. Но ждут они чего-то такого, что он не способен дать.

Артур втайне считает, что их избаловала Туи, но вслух он не может высказать этот упрек, разве что в самой обтекаемой форме. И дети растут между его бессистемными строгостями и материнским благосклонным попустительством. Находясь в «Подлесье», Артур хочет работать, а когда работа закончена – сыграть в гольф, в крикет или спокойно раскатать с Вуди партию на бильярде. Он обеспечил своей семье комфорт, защищенность и средства; взамен он ожидает покоя.

Но покоя нет, особенно у него в душе. Когда они с Джин подолгу не видятся, он, чтобы сократить расстояние между ними, выбирает для себя ее любимые занятия. Поскольку она заядлая наездница, он расширяет конюшню в «Подлесье» от одного стойла до шести и заводит у себя псовую охоту. Поскольку Джин музыкальна, Артур задумывает освоить игру на

банджо, и Туи встречает это решение со своей обычной благосклонностью. Теперь Артур играет и на тубе-бомбардоне, и на банджо, хотя ни тот ни другой инструмент не считается идеально подходящим для аккомпанемента классически поставленному меццо-сопрано. Иногда они с Джин договариваются во время разлуки взять одну и ту же книгу: Стивенсона, Мередита, поэзию Скотта, чтобы воображать другого за чтением тех же страниц, фраз, абзацев, слов и слогов.

Туи всем другим книгам предпочитает сочинение Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Для нее превыше всего вера, дети, комфорт и спокойное времяпрепровождение. Муки совести заставляют Артура проявлять к жене максимальную предупредительность и мягкость. Даже когда в его глазах блаженный оптимизм Туи граничит с чудовищным самодовольством, он помнит, что не имеет права выплескивать на нее свою клокочущую ярость. Как это ни позорно, его мишенями становятся дети, слуги, кедди, проводники поездов и безмозглые журналисты. Он по-прежнему выполняет свой долг перед Туи и по-прежнему влюблен в Джин, но в других житейских сферах становится все более жестким и раздражительным. *Patientia vincit*, внушает ему девиз на витраже. Но сам Артур чувствует, как покрывается каменным панцирем. Естественное выражение лица меняется на прокурорское. Он взирает на других с осуждением, потому что привык осуждать себя.

Теперь Артур размышляет о себе в геометрических категориях: как будто он находится в центре треугольника. Вершины – три женщины его жизни, стороны – прочные узы долга. Естественно, в верхней точке стоит Джин, а у основания – матушка и Туи. Но порой треугольник будто бы поворачивается, и тогда начинается головокружение.

Джин никогда не жалуется и не упрекает. Она говорит ему, что не сможет и никогда не будет любить другого; что ждать его – не испытание, а радость; она абсолютно счастлива; часы, проведенные вместе, – самое драгоценное, что есть в ее жизни.

– Моя дорогая, – начинает он, – как ты думаешь, была ли со времен Сотворения мира такая история любви, как у нас с тобой?

Джин чувствует, как на глаза наворачиваются слезы. В то же время она слегка ошарашена. И говорит:

– Артур, милый, это же не спортивное состязание.

Он понимает ее укор.

– Пусть так, но у многих ли чувство выдержало такие испытания, как у нас? Мне кажется, наш случай уникален, – говорит Артур.

– Разве не все считают, что их случай уникален?

– Это общее заблуждение. Ведь у нас с тобой...

– Артур! – Джин считает, что любящему человеку не пристало кичиться своими чувствами; в этом есть что-то пошловатое.

– Все равно, – упорствует он, – у меня порой... иногда... возникает такое ощущение, будто нас бережет ангел-хранитель.

– У меня тоже, – кивает Джин.

Представления об ангеле-хранителе не кажутся Артуру ни претенциозными, ни даже надуманными. Для него они вполне правдоподобны и жизненны.

Тем не менее ему необходим и земной свидетель их любви. Кому можно было бы предъявить доказательства. Артур пересылает любовные письма Джин матушке. Он не испрашивает разрешения у Джин и не думает, что злоупотребляет ее доверием. Ему хочется, чтобы кто-нибудь другой тоже знал: их чувства свежи, как никогда, а испытания ненапрасны. Матушку он просит уничтожить эти письма, а выбор способа оставляет на ее усмотрение. Можно сжигать, но предпочтительнее рвать в мелкие клочки, а потом разбрасывать среди цветов у коттеджа в Мейсонгилле.

Цветы. Каждый год пятнадцатого марта любимый Артур исправно посылает Джин один подснежник с запиской. Раз в году – извинительный дар для Джин и круглый год – извинительная ложь для жены.

Слава Артура постоянно ширится. Он состоит членом престижных клубов, обедает в ресторанах, занимается общественной деятельностью. Его авторитет распространяется далеко за пределы беллетристики и медицины. Он баллотируется в парламент от Либеральной партии по Центральному округу Эдинбурга и оправдывает свое поражение, объявляя политику грязным делом. Одни анализируют его взгляды, другие ждут от него поддержки. Артур набирает очки. В особенности после того, как по настоянию матушки и британской читающей публики неохотно реанимирует Шерлока Холмса и командирует его туда, где появились отпечатки лап огромной собаки.

С началом Англо-бурской войны он подает заявление в действующую армию как офицер медицинской службы. Матушка всеми силами старается его отговорить: она считает, что его крупная фигура станет верной мишенью для бурской пули; а кроме всего прочего, война видится ей не чем иным, как позорной схваткой за барыши. Артур не согласен. Долг зовет его в дорогу: общепризнано, что своим сильнейшим влиянием на умы молодежи, в первую очередь увлекающейся спортом, он уступает разве что Киплингу. К тому же Артур считает, что эта война заслуживает

извинительной лжи, а то и не одной: нация вступает в праведную битву.

В Тилбери он поднимается на борт парохода «Ориенталь». В предстоящих странствиях его будет опекать Клив, дворецкий из «Подлесья». Джин прислала в каюту массу цветов, но отказалась зайти попрощаться: ей претит расставание среди толпы под веселый рокот судового двигателя. Когда звучит сигнал провожающим покинуть судно, матушка, поджав губы, цедит слова прощания.

– Как жаль, что Джин не пришла, – огорчается он, маленький мальчик во взрослом костюме.

– Она где-то в толпе, – отвечает матушка. – Неподалеку. Прячется. Сказала, что боится не сдержать своих чувств.

С этими словами она удаляется. В бессильной ярости Артур бросается к перилам и высматривает матушкин белый капор, будто он способен указать, где сейчас Джин. Уже поднимают сходни, отдают швартовы, «Ориенталь» отчаливает, звучит пароходный гудок – и затуманенные слезами глаза не видят больше никого и ничего. Он ложится на койку в своей убранной цветами, благоухающей каюте. Треугольник, железный треугольник раскручивается у него в голове и останавливается: на вершине – Туи. Туи, которая сразу, всем сердцем приняла этот план, как и все остальные его начинания; Туи, которая просила его писать, но только если будет время, и не устраивала сцен. Милая Туи.

В рейсе он мало-помалу приободряется и начинает более отчетливо сознавать, что именно его сюда привело. Конечно, стремление выполнить свой долг и показать пример; но есть у него и сугубо эгоистические цели. В последнее время он чересчур изнежен и обласкан славой, ему требуется очищение духа. Долгое время не зная опасностей, он слишком расслабился и теперь жаждет риска. Слишком много времени провел он в женском обществе, слишком запутался и теперь стремится в мужской мир. Когда «Ориенталь» для дозаправки углем швартуется у островов Зеленого мыса, артиллеристы миддлсекского полка, присмотрев первую попавшуюся ровную площадку, тут же организуют крикетный матч. С радостью в сердце Артур наблюдает за их игрой против местных телеграфистов. Для досуга одни правила, для дела другие. Правила, приказы – отданные и полученные, ясные цели. Ради этого он и поднялся на борт.

В Блумфонтейне палатки полевого госпиталя расставлены на стадионе для крикета; главным корпусом служит шатер. Артур постоянно видит смерть; впрочем, брюшной тиф уносит больше жизней, чем бурские пули. Взяв увольнительную на пять дней, он следует за наступающей армией на север, через реку Фет, к Претории. На обратном пути к югу от Brentфорта

их группу останавливает басуто верхом на косматой лошади и рассказывает, что примерно в двух часах пути лежит раненый британский солдат. За флорин басуто соглашается их проводить. Едут они долго, сначала через маисовые поля, затем через вельдт. Раненый англичанин на поверку оказывается мертвым австралийцем: маленький, мускулистый, лицо желто-восковое. Номер 410 конной пехоты Нового Южного Уэльса, только без своего скакуна, который пропал, как и ружье. Австралиец умер от потери крови, получив ранение в живот. Перед ним лежат его карманные часы; должно быть, он следил, как уходят последние минуты его жизни. Стрелка замерла на первом часу дня. Подле тела стоит пустая фляжка для воды, на ней красная шахматная пешка из слоновой кости. Другие шахматные фигуры – скорее добыча с бурской фермы, нежели увлечение самого солдата – в его вещмешке. Надо собрать личные вещи покойного: патронташ, стилографическое перо, шелковый носовой платок, складной нож, карманные часы фирмы «Уотербери», а также потертый кошелек, внутри которого – два фунта, шесть шиллингов и шесть пенсов. Липкое тело грузят на лошадь Артура, и рой мух неотвязно преследует их группу все две мили, до ближайшего узла связи. Там они оставляют номер 410 конной пехоты Нового Южного Уэльса для погребения.

В Южной Африке Артур насмотрелся разных смертей, но эта запомнится ему навсегда. Сложить голову в честной битве на открытых просторах во имя великой цели – что может быть благородней?

Когда он возвращается на родину, его патриотические военные очерки находят одобрение в высших кругах общества. Идет междувластие, период между кончиной королевы и восшествием на престол нового монарха. Артура приглашают отужинать с будущим Эдуардом VII и сажают с ним рядом. Дают понять, что по случаю предстоящей коронации имя доктора Конан Дойла внесено, если у него нет возражений, в список кандидатов на посвящение в рыцарское достоинство.

Но возражения у него есть. Рыцарство – это предел мечтаний провинциального мэра. Настоящих мужчин подобные мелочи не прельщают. Представить себе невозможно, чтобы Родс, или Киплинг, или Чемберлен ответили согласием. Конечно, он себя с ними не равняет; но что мешает ему мыслить их мерками? А за рыцарством пусть гоняются Альфред Остин, Холл Кейн и иже с ними – если повезет.

Матушка поражается и негодует. Ради чего тогда было все остальное? Мальчик, который у нее на кухне в Эдинбурге учился описывать нарисованные на картоне геральдические щиты и рассказывать всю свою родословную вплоть до Плантагенетов. Мужчина, который украшает свой

экипаж фамильной эмблемой и заказывает для холла в своем доме витражи с гербами достославных предков. Усвоивший законы рыцарской чести мальчик и живущий по этим законам мужчина, который отправился в Южную Африку по зову крови – крови Перси и Пэка, Дойла и Конана. Как смеет он отказываться от присуждения рыцарского звания, когда вся прежняя жизнь была подготовкой к этому событию?

Матушка бомбардирует его письмами; на все ее доводы у Артура находятся контраргументы. Он предлагает закрыть эту тему. Лавина писем иссякает; по словам Артура, это не меньшее облегчение, чем снятие осады с города Мафекинг. Но матушка собственной персоной навещается в «Подлесье». Все в доме знают, зачем она здесь, эта маленькая женщина в белом капоре, верховная правительница, которая никогда не повышает голоса и от этого становится еще более властной.

Артур пребывает в подвешенном состоянии. Матушка не отводит его в сторону, не зовет прогуляться. Не стучится к нему в кабинет. Она выжидает двое суток, прекрасно зная, как его изводит неопределенность. А утром в день своего отъезда она останавливается в холле, под освещенными солнцем витражами, которые, как ни прискорбно, умалчивают о вустерширских Фоли, и задает вопрос:

– Ты не подумал, что отказ от рыцарства может оскорбить его величество?

– Говорю же, согласиться для меня неприемлемо. Это дело принципа.

– Ну знаешь, – говорит она, глядя на него серыми глазами, перед которыми пасуют и его возраст, и слава. – Если в угоду своим принципам ты собираешься оскорбить короля, то это действительно неприемлемо.

И пожалуйста: еще не затих длившийся неделю колокольный звон в честь коронации, как Артура вместе со всем гуртом уже ведут в отгороженный бархатным жгутом загон в Букингемском дворце. После церемонии рядом с ним оказывается профессор, а отныне сэр Оливер Лодж. Они могли бы побеседовать об электромагнитном излучении, об относительности движения материи, а то и выразить свое восхищение новым монархом. Вместо этого двое новоиспеченных рыцарей короля Эдуарда заводят разговор о телепатии, телекинезе и о степени доверия к экстрасенсам. Сэр Оливер убежден, что от физического до психического – один шаг, недаром эти слова созвучны. Вот и сам он, вплоть до своей отставки возглавлявший Лондонское физическое общество, ныне занимает пост президента Общества психических исследований.

Они сравнивают таланты миссис Пайпер и Эвсапии Паладино и обсуждают, не шарлатанка ли, часом, Флоренс Кук. Лодж рассказывает, как

присутствовал на сессиях в Кембридже, когда Паладино подвергли серьезному испытанию: под самым пристальным надзором она провела девятнадцать спиритических сеансов. Лодж своими глазами видел, как она вызывала эктоплазменные формы, как у нее, плывя по воздуху, без всякого человеческого участия играли гитары. Он наблюдал, как со стола в дальнем конце комнаты поднялась ваза с нарциссами и, никем не поддерживаемая, пролетела по залу, помедлив перед носом у каждого из участников.

– Допустим, сэра Оливера, я решу поспорить и заявлю, что сходных эффектов вызывались добиться иллюзионисты, причем некоторые из них преуспели, – что вы на это скажете?

– Я скажу так: и впрямь весьма вероятно, что Паладино иногда пускается на хитрости. К примеру, если оказывается, что ожидания публики высоки, а духи не желают идти на контакт. Соблазн в таком случае очевиден. Но это не означает, что сквозь нее не проходят самые настоящие духи. – Сэр Оливер ненадолго умолкает. – Знаете, Дойл, как говорят скептики? Они говорят: от изучения протоплазмы скатились к эктоплазме. На это я отвечаю: а вы вспомните, сколь многие когда-то не верили в протоплазму.

Артур усмехается:

– Могу ли я поинтересоваться: к чему вы пришли по состоянию на сегодняшний день?

– К чему я пришел? Без малого двадцать лет я провожу исследования и эксперименты. Работы еще непечатый край. Но на основании полученных результатов я полагаю вполне возможным и даже весьма вероятным, что разум продолжает существовать и после разрушения физической оболочки.

– Это сильно обнадеживает.

– Быть может, скоро мы сумеем доказать, – продолжает Лодж, заговорщически подмигнув, – что не один мистер Шерлок Холмс способен чудесным образом избегнуть как мнимой, так и явной смерти.

Артур вежливо улыбается. Холмс будет его преследовать вплоть до самых врат Святого Петра или их аналога в этом новом мире, постепенно приобретающем очертания.

В жизни Артура *far niente* – большая редкость. Он не из тех, кто в послеполуденные летние часы нежится в шезлонге, надвинув на лицо панаму и слушая, как в люпинах суетятся пчелы. В отличие от Туи, болеть он не умеет. Бездействие претит ему не столько в силу моральных принципов (с его точки зрения, дьявол искушает не только праздных, но и самых разных), сколько в силу темперамента. В его жизни периоды бурной

умственной деятельности чередуются с периодами бурной физической активности; в промежутках он совмещает светские и семейные обязанности – и те и другие даются ему легко. Даже спит он так, будто это жизненно важное дело, а не отдых от дел.

Поэтому, когда мотор перегревается, Артур не знает, куда себя девать. Он не понимает, что за радость сидеть две недели на итальянских озерах или даже пару дней в теплице с рассадой. На него нападают депрессия и вялость, которые нужно скрывать и от Туи, и от Джин. Поделиться можно только с матушкой.

Когда он просится к ней в гости без намерения встретиться у нее с Джин, матушка подозревает, что сын взвинчен больше обычного. В 10:40 от вокзала Сент-Панкрас отходит его поезд до Лидса. В вагоне-ресторане он задумывается об отце – мысли о нем посещают Артура все чаще. Теперь он раскаивается в беспощадности своих юношеских суждений; то ли в силу возраста, то ли в силу своей известности он стал более снисходителен. А может, причина в том, что случаются периоды, когда Артур и сам чувствует, что находится на грани нервного срыва, и ему начинает казаться, что жизнь на грани нервного срыва – это нормально и что человека удерживает от падения либо случай, либо какой-то вывих воспитания. Если бы не материнская кровь, он бы, наверное, пошел – и уже давно – по стопам Чарльза Дойла. Но сейчас до Артура впервые доходит кое-что другое – матушка никогда не осуждала мужа, ни до, ни после его смерти. Некоторые скажут: а что толку осуждать? И тем не менее: от нее, которая всегда говорит без обиняков, никто не слышал худого слова о человеке, принесшем ей столько позора и мучений.

До Инглтона он добирается засветло. Когда день клонится к вечеру, они поднимаются по склону лесных угодий Брайана Уоллера и выходят к вересковому торфянику, осторожно вспугнув стайку одичавших пони. Крупный, прямой, одетый в твидовый костюм сын адресует свои слова вниз, красному жакету и аккуратному белому капору твердо ступающей матушки. Время от времени она подбирает сухую ветку для очага. Артур досаждает на эту привычку: можно подумать, ему не по карману купить матери вязанку наилучшего хвороста – только скажи.

– Понимаешь, – говорит он, – здесь есть тропинка, вот в той стороне гора Инглборо, и мы знаем, что, поднявшись на Инглборо, увидим вдаль Моркем. Здесь есть реки, можно пройти по течению любой – все они текут в одну сторону.

Матушка недоумевает от этих топографических банальностей. Артуру они несвойственны.

– А если мы пропустим тропинку и заблудимся в долине Уолдс, то воспользуемся компасом и картой – обзавестись ими несложно. И даже ночью сможем ориентироваться по звездам.

– Это справедливо, Артур.

– Нет, это банально. Об этом и говорить не стоит.

– Тогда рассказывай, о чем хотел поговорить.

– Ты меня воспитала, – отвечает он. – В целом свете еще не было сына, более преданного своей матери. Это не бахвальство – я просто констатирую факт. Ты меня сформировала, дала мне самоощущение, гордость и все мои нравственные качества, какие есть. И повторюсь, такого преданного сына еще сыскать. Я вырос в окружении сестер. Аннетт, бедная, милая Аннетт, упокой, Господи, ее душу. Логги, Конни, Ида, Додо. Я люблю их всех, каждую по-своему. Вижу их насквозь. В юности я не чурался женского общества. В отличие от многих, я не уронил себя, не остался профаном, не сделался ханжой. И все же... все же... я пришел к выводу, что женщины... другие женщины... они как дальние страны. Правда, бывая в дальних странах... в африканском вельдте... я всегда находил ориентиры. Наверное, я говорю бессвязно.

Он умолкает. Ему нужен отклик.

– Не такие уж мы дальние страны, Артур. Мы, скорее, сопредельные государства, которые почему-то ускользнули от твоего внимания. А когда дойдет черед и до них, ты не сразу поймешь, более примитивны они или более развиты. Не сомневайся, я знаю расхожее мужское мнение. Кстати, возможно, ближним странам свойственно и то и другое сразу, а может, ни то ни другое. Так что говори прямо.

– У Джин бывают приступы хандры. Пусть даже это не самое подходящее слово. Состояние это физическое – оно связано с ее мигренями, но больше напоминает упадок моральных сил. Она разговаривает и ведет себя так, будто совершила нечто ужасающее. В такие минуты она дорога мне, как никогда. – Он хочет втянуть в себя йоркширский воздух, но получается тяжелый вздох. – А потом я и сам вступаю в черную полосу, за что себя ненавижу и презираю.

– И в такие минуты, вне сомнения, ты дорог ей, как никогда.

– По всей видимости, она догадывается. Я ей никогда не открываюсь. Это не в моих правилах.

– Иного я от тебя и не жду.

– Иногда мне кажется, что я вот-вот сойду с ума. – Он выговаривает это спокойно и четко, будто читает прогноз погоды.

Через несколько шагов матушка тянется вверх и берет его под руку.

Для нее такой жест нехарактерен, и Артур теряется.

– А если не сойду с ума, то меня хватит удар. Взорвусь, как паровой котел, и пойду ко дну вместе со всей командой.

Матушка не отвечает. Что толку опровергать это сравнение или хотя бы спрашивать, обращался ли он к врачу по поводу болей в груди.

– Когда на меня накатывает такое состояние, я уже сомневаюсь во всем. Сомневаюсь, что любил Туи. Сомневаюсь, что люблю детей. Сомневаюсь в своих литературных способностях. Сомневаюсь, что Джин меня любит.

А вот это уже требует отклика.

– Но в своей любви к ней ты не сомневаешься?

– Нет, никогда. От этого еще тяжелее. Если бы я мог в этом усомниться, то мог бы усомниться во всем и преспокойно страдать. Но нет, мое чувство не отступает ни на миг и держит меня мертвой хваткой.

– Джин и в самом деле тебя любит, Артур. Поверь. Я же ее знаю. И читаю присылаемые тобой письма.

– Да, наверное, любит. Думаю, да. Но как я могу в этом убедиться? Вот вопрос, который терзает мне душу, когда настает черная полоса. Я предполагаю, я верю, но как я могу убедиться? Если бы только мне удалось найти доказательства, если бы только нам обоим удалось найти доказательства.

Остановившись у какой-то калитки, они смотрят вниз – туда, где клочковатый склон сбегает к крышам и печным трубам Мейсонгилла.

– Но ты уверен, что любишь, точно так же, как она уверена в своей любви?

– Да, но это односторонне, это еще не знание, это еще не доказательство.

– Женщины зачастую доказывают свою любовь так, как повелось испокон веку.

Артур быстро косится на мать, но та решительно смотрит перед собой. Ему виден только изгиб капора и кончик носа.

– Но и это не доказательство. А просто желание внешнего проявления. Сделай я Джин своей любовницей, это еще не означало бы, что мы любим друг друга.

– Согласна.

– Возможно, это доказало бы обратное: что наша любовь идет на убыль. Порой создается впечатление, что честь и бесчестье стоят очень близко, ближе, чем я мог себе представить.

– Я никогда тебе не внушала, что путь чести легок. Иначе ей была бы

грош цена. Да и вообще доказательства вряд ли возможны. Видимо, лучшее, что мы можем для себя выбрать, – это предполагать и верить. А подлинное знание, по всей вероятности, придет к нам только в другой жизни.

– Доказательство, как правило, сводится к действию. Наша уникальность и наше проклятье заключаются в том, что доказательство сводится для нас к бездействию. Наша любовь стоит особняком, отгорожена от мира и ему неведома. Для мира она незрима и неосятима, тогда как для меня, для нас вполне отчетлива: и зрима, и осятима. Вероятно, существует она не в вакууме, а на такой территории, где другому дышится: быть может, легче, а быть может, тяжелее, я и сам не могу разобраться. И эта территория лежит вне времени. Так было всегда, с самого начала. Это мы признали сразу. Что нам выпала редкостная любовь, которая меня... нас... всецело поддерживает.

– И все же?..

– И все же. Не смею даже озвучить эту мысль. Она посещает меня в самые мрачные минуты. Я невольно задаюсь вопросом... невольно задаюсь вопросом: а вдруг наша любовь, вопреки тому, что мне кажется, вовсе не лежит вне времени? Вдруг все, во что я верил, ошибочно? Вдруг никакой уникальности в наших отношениях нет, а если и есть, так заключается она лишь в том, что они не преданы гласности и... не освящены? А вдруг после смерти Туи, когда мы с Джин будем свободны и любовь наша сможет наконец быть предана гласности, узаконена и явлена миру, вдруг в эту минуту я обнаружу, что время исподволь делало свое дело, а я просто не замечал, как оно вгрызается, подтачивает, подрывает? Вдруг в эту минуту я обнаружу... мы обнаружим, что я не люблю ее так, как мне думалось, и она тоже не любит меня так, как ей думалось? Что тогда делать? Как быть?

Матушка благоразумно не дает ответа.

С матушкой Артур делится всем: глубинными страхами, возвышенными эмоциями, а также разнообразными промежуточными тревожностями и радостями материального мира. И лишь об одном он не может даже заикнуться: о своем растущем интересе к спиритуализму или, как он предпочитает говорить, спиритизму. Матушка, оставив позади католический Эдинбург, перешла в англиканскую веру – просто явочным порядком. Трое из ее детей венчались в церкви Святого Освальда: сам Артур, Ида и Додо. Мир психических явлений она инстинктивно отторгает как воплощение анархии и шаманства. Утверждает, что люди только в том случае могут прийти хоть к какому-то осознанию жизни, если общество

донесет до них свои истины; и далее: что религиозные истины должны выражаться через посредство официальных институтов – не важно, католических или англиканских. Нельзя забывать и о роли семьи. Артур – защитник королевства; он обедает и ужинает с королем, он публичная фигура; здесь матушка ссылается на его собственную похвальбу, что по степени влияния на здоровых, спортивных молодых сограждан он, дескать, уступает только Киплингу. А вдруг всплывет, что он посещает сеансы и все такое прочее? Это же зарубит на корню все его шансы на причисление к сословию пэров.

Напрасно он пытается пересказать ей свою беседу с сэром Оливером Лоджем в Букингемском дворце. Матушка, безусловно, должна признать, что Лодж – абсолютно здравомыслящий индивидуум с высокой научной репутацией: не зря же его назначили ректором вновь открытого Бирмингемского университета. Но матушка стоит на своем, наотрез отказываясь потакать сыну.

С Туи он и вовсе не касается этой темы, дабы не нарушать ее сверхъестественного спокойствия. В вопросах веры жена, как ему известно, простодушно доверчива. Она полагает, что после смерти отправится на небо, сущность которого описать не в силах, и будет пребывать там в таком состоянии, которое не способна даже вообразить, до той поры, пока к ней не присоединится Артур; за ним в своей черед последуют дети, и все они будут жить вместе – примерно как в Саутси, только более возвышенно. По мнению Артура, лишать ее этих иллюзий нечестно.

Но еще тягостней ему оттого, что он не может поговорить с Джин, – ему хочется делиться с нею всем, от последней запонки до последней точки с запятой. Он пытался, но Джин с подозрением – а может, со страхом – относится ко всему, что касается паранормального мира. Более того, свое неприятие она выражает, по мнению Артура, совершенно нехарактерным для ее любящей природы способом.

Как-то раз он с осторожностью, сознательно подавляя свой энтузиазм, заводит рассказ о посещении сеанса. Ее милые черты тут же искажаются крайним неодобрением.

– Что такое, дорогая моя?

– Артур, – говорит она, – это люди не нашего круга.

– Кто?

– Да все эти люди. Цыганки, которые в ярмарочных шатрах гадают на картах и кофейной гуще. Они всего лишь... простолюдины.

Артур не приемлет такого снобизма, в особенности исходящего от его любимой. На языке у него вертится, что лучшие представители нижних

слоев среднего класса всегда были духовными ориентирами нации: взять хотя бы пуритан, которых, разумеется, многие недооценивают. На языке у него вертится, что по берегам Галилейского моря немало было таких, которые считали Господа нашего Иисуса Христа в некоторой степени простолудином. Апостолы, как и большинство медиумов, не могли похвастаться книжной ученостью. Естественно, об этом Артур помалкивает. Устыдившись своего внезапного раздражения, он меняет тему.

Значит, единомышленников надо искать за пределами железного треугольника. К Лотти он даже не обращается: не хочет рисковать ее расположением, тем более что она помогает ухаживать за Туи. Вместо это он идет к Конни. К той самой Конни, которая, по его ощущениям, буквально вчера носила толстую, как корабельный канат, косу и разбивала мужские сердца на европейском континенте; к той самой Конни, которая чересчур прочно утвердилась в роли кенсингтонской мамы и, более того, посмела осуждать его на стадионе «Лордз». Для себя Артур так и не решил, повлияла Конни на мнение Хорнунга или это он заставил Конни передумать, но при любом раскладе позиция ее достойна восхищения.

Однажды он навещает сестре в отсутствие Хорнунга; она велит подать чай в маленькую верхнюю гостиную, где когда-то выслушивала его признания о Джин. Подумать только: его сестренке уже даже не тридцать, а ближе к сорока. Впрочем, возраст ее не портит. Чуть менее эффектная, она теперь округлилась, но по-прежнему светится здоровьем и добродушием. Джером не так уж сильно ошибся, когда в Норвегии назвал ее Брунгильдой. Создается впечатление, что с годами она еще более окрепла в стремлении уравновесить недуг Хорнунга.

– Конни, – мягко начинает он, – ты никогда не задумываешься, что происходит с нами после смерти?

Она пристально смотрит на брата. Состояние Туи ухудшилось? Маменька захворала?

– Это отвлеченный вопрос, – добавляет Артур, уловив ее тревогу.

– Нет, не задумываюсь, – отвечает она. – Разве что самую малость. Меня тревожит, что могут умереть мои близкие. А о себе я не тревожусь. Когда-то, наверное, тревожилась, но материнство многое изменяет. Я верю в учение Христа. Моей Церкви. Нашей Церкви. Той, от которой вы с матушкой отошли. А на иные верования у меня нет времени.

– Ты боишься умереть?

Конни задумывается. Она боится смерти Уилли (еще до свадьбы она знала, что у него тяжелая форма астмы и он всегда будет слаб здоровьем), но страшит ее то, что его не станет, что его не будет рядом.

– Эта перспектива меня не прельщает, – говорит она. – Только зачем переживать раньше времени? Или ты клонишь к чему-то другому?

Артур коротко мотает головой.

– Значит, твою позицию можно обозначить как «поживем – увидим»?

– В общем, да. А что?

– Милая Конни... твоё отношение к вечности – сугубо английское.

– Странная мысль.

Конни улыбается; похоже, уходить от разговора она не намерена. И все равно Артур не знает, как начать.

– В Стонихерсте у меня был друг по фамилии Партридж. На класс младше меня. Отличный принимающий в крикете. Любил втягивать меня в богословские диспуты. Выбирал наименее логичные церковные доктрины и просил меня их обосновать.

– Значит, он был атеистом?

– Вовсе нет. Истовый католик – мне до него далеко. Но он хотел внушить мне церковные истины путем их опровержения. Оказалось, что это не самая действенная тактика.

– Интересно, какая судьба постигла этого Патриджа.

Её брат улыбается.

– Представь, он второй карикатурист в журнале «Панч».

Артур делает паузу. Нет, надо переходить к делу. Как он привык.

– Многие люди, Конни... большинство... страшатся смерти. В этом смысле они не похожи на тебя. Но сходятся с тобой в своих английских убеждениях. «Поживем – увидим», «не будем переживать раньше времени». Но разве страх от этого развеивается? Разве неизвестность его не усугубляет? И зачем жить, если не знать, что с тобой будет потом? Как осмыслить начало, если не знать, каков будет конец?

Конни так и не поняла, к чему он клонит. Она любит своего щедрого, шумного великана-брата. Считает, что он воплощает собой шотландскую практичность, освещаемую внезапными вспышками огня.

– Как я уже сказала, я верю в учение моей Церкви, – отвечает она. – И не вижу альтернативы. Кроме атеизма, который пуст, навевает невыразимое уныние и ведет к социализму.

– А что ты думаешь о спиритизме?

Она знает, что Артур уже не один год как приохотился к паранормальным явлениям. У него за спиной об этом поговаривают то намеками, то в открытую.

– Я, можно сказать, ему не доверяю, Артур.

– Почему? – Он надеется, что Конни хотя бы не проявит снобизм.

– Потому, что мне видится в нем фальсификация.

– Ты права, – к ее удивлению, отвечает он. – В значительной степени так и есть. Ложные пророки превосходят числом истинных – таких, каким был сам Иисус Христос. В спиритизме есть и фальсификация, и трюкачество, даже напористый криминал. Воду мутят весьма сомнительные личности. К сожалению, среди них затесались и женщины.

– Значит, я не ошиблась.

– И достойного описания он пока не нашел. У меня временами создается впечатление, что мир делится на тех, кто причастен к паранормальным явлениям, но не владеет пером, и на тех, кто владеет пером, но не причастен к паранормальным явлениям.

Конни не отвечает; ей не нравится логический вывод из этой сентенции, который сидит перед ней, не притронувшись к чаю.

– Но я сказал «в значительной степени», Конни. В значительной степени это фальсификация. Разве мы, оказавшись на золотом прииске, увидим только золото? Нет. В значительной степени – большей частью – мы увидим там пустую породу. А золото еще нужно поискать.

– Меня не убеждают метафоры, Артур.

– Меня тоже. Меня тоже. Потому-то меня и не убеждает вера – самая большая метафора. Я могу работать только с чистым и прозрачным светом знания.

Конни озадачена.

– Смысл исследования паранормальных явлений, – объясняет он, – сводится к устранению и разоблачению обмана и фальсификации. Остаться должно лишь то, чему есть научное подтверждение. Если устранить невозможное, то в остатке, скорее всего, будет пусть невероятная, но истина. Спиритизм не просит тебя совершать прыжок в темноту или переживать раньше времени.

– Выходит, он сродни теософии? – Конни почти исчерпала запасы своих знаний.

– Нет. Теософия по большому счету просто другая вера. Как я уже сказал, от веры я отошел.

– А как же рай и ад?

– Вспомни, как учила нас матушка: «К телу носи фланель, – наставляла она, – и не верь в муки ада».

– Значит, всем одна дорога – в рай? И грешникам, и праведникам? В чем же тогда стимул...

Артур не дает ей договорить. Он словно вернулся в юность и ведет споры насчет «тулия».

– Наши духи не обязательно успокаиваются с нашей смертью.

– А в Бога и в Иисуса ты не веришь?

– Верю. Но не в того Бога и не в того Иисуса, которыми на протяжении веков прикрывалась Церковь, порочная и духовно, и интеллектуально. И требующая от своих приверженцев отказа от мыслительной деятельности.

Конни сбита с толку и хочет обидеться.

– Так в какого же Иисуса ты веришь?

– Если внимательно посмотреть, что на самом деле сказано в Библии, если отрешиться от изменений и ошибочных интерпретаций, внесенных в текст по воле господствующих религий, то станет предельно ясно, что Иисус не кто иной, как прекрасно обученный экстрасенс или медиум. Апостолы ближнего круга, в особенности Петр, Иаков и Иоанн, явно были отобраны на основании своих спиритических талантов. Библейские «чудеса» – это всего лишь... нет, не всего лишь, а целиком и полностью примеры паранормальных способностей Иисуса.

– И воскрешение Лазаря? И насыщение пяти тысяч?

– Есть медиумы-целители, которые заявляют о своей способности видеть сквозь телесную оболочку. Есть аппорт-медиумы, которые заявляют о своей способности перемещать предметы в пространстве и времени. Существует Пентикостия, когда произошло сошествие Святого духа и все заговорили на языках. Если это не сеанс, то что же? Это самое точное описание спиритического сеанса, какое мне только доводилось читать!

– Значит, ты обратился в раннехристианство, Артур?

– Не говоря уже о Жанне д'Арк. Она точно была великим медиумом.

– Неужто и она?

Артур подозревает, что сестра над ним посмеивается, – это было бы в ее характере; но так ему даже проще давать объяснения.

– Посмотри на это с другой стороны, Конни. Вообрази сотню медиумов, которые одновременно взялись за дело. Вообрази, что девяносто девять из них – мошенники. Значит, один – подлинный, верно? А если один – подлинный, то направляемые сквозь него паранормальные явления аутентичны, что и требовалось доказать. Мы должны получить всего одно доказательство – и оно будет справедливо для всех и на все времена.

– Доказательство чего? – Конни озадачило это внезапное «мы».

– Доказательство жизни духа после смерти. Всего один случай – и он станет доказательством для всего человечества. Позволь, я расскажу тебе историю, которая произошла двадцать лет назад в Мельбурне. В свое время она была тщательно документирована. Двое юных братьев отправились кататься на лодке по заливу. У румпеля стоял опытный матрос. Погода

благоприятствовала морской прогулке, но они не вернулись. Отец этих юношей был спиритуалистом, и по прошествии двух суток он вызвал известного телепата, то есть медиума. Тот попросил какие-нибудь личные вещи братьев и посредством психометрии восстановил их перемещения. Остановился он на том, что их лодка в беде и в ней царит смятение. Казалось, больше они не вернуться. По глазам вижу, Конни: ты думаешь, что и без всякого медиума сказала бы то же самое. Но имей терпение. Еще через двое суток был устроен новый сеанс с тем же медиумом, и юноши, обученные спиритуалистским практикам, явились тотчас же. Извинившись перед матерью, которая не хотела отпускать их на ту морскую прогулку, они поведали, как лодка перевернулась и в воде их настигла смерть. Братья доложили, что сейчас пребывают в состоянии счастья, как и обещало учение их отца. Они даже привели с собой погибшего вместе с ними матроса, чтобы тот сказал несколько слов. Перед завершением контакта один из юношей поведал, как его брату откусила руку какая-то рыба. Медиум уточнил: акула? Но паренек ответил, что таких акул он не видывал. Заметь, все это было записано по горячим следам, и кое-какие отрывки даже публиковались в газетах. А теперь слушай продолжение. Через пару недель примерно в тридцати милях от тех мест выловили большую глубоководную акулу редкого вида, незнакомого поймавшим ее морякам и не встречавшегося дотоле в прибрежных водах Мельбурна. Во чреве у нее нашли кость человеческой руки. А также часы, несколько монет и другие предметы, принадлежавшие одному из братьев. – Артур выдерживает паузу. – Ну, каково твое мнение, Конни?

Некоторое время Конни размышляет. Ее мнение таково: брат путает религию с тягой к порядку. Видя тайну – смерть, – он стремится ее разгадать: это у него в крови. А кроме того, она считает, что спиритуализм Артура связан (хотя она пока не знает, как именно) с его романтичностью, любовью к рыцарственности и верой в золотой век. Но свои возражения она сводит к минимуму.

– По моему мнению, дорогой брат, это превосходный рассказ, а ты, как нам всем известно, превосходный рассказчик. Но, по моему мнению, двадцать лет назад в Мельбурне меня не было и тебя тоже.

Артур не возражает против этой отповеди.

– Конни, ты великая рационалистка, а отсюда один шаг до спиритизма.

– Вряд ли тебе удастся обратить меня в свою веру, Артур.

Его рассказ напомнил ей слегка измененную историю Ионы во чреве китовом, с той лишь разницей, что жертвам повезло меньше, но строить на ней какие бы то ни было убеждения – это такой же акт веры, как для

первых слушателей истории про Иону. В Библии хотя бы предлагается метафора. Артур метафоры не любит, а потому он видит здесь притчу и толкует ее буквально. Это все равно что толковать притчу про овсы и плевелы как агрономическую рекомендацию.

– Конни, а вдруг человек, которого ты знаешь и любишь, умрет. После чего вступит с тобой в контакт, заговорит, сообщит нечто такое, что могла знать ты одна, какую-нибудь интимную подробность, которую никакое мошенничество не способно вытащить на свет?

– Я думаю, Артур, что не стоит опережать события.

– Конни, эх ты, англичанка Конни. Поживем – увидим, поживем – увидим, что получится. А я – всецело за то, чтобы действовать прямо сейчас.

– Ты всегда был таким, Артур.

– Мы сделаемся объектом насмешек. Наше дело грандиозно, однако битва будет несправедливой. Готовься к тому, что твоего брата начнут вышучивать. И всегда помни: нам достаточно одного случая. Один случай – это и будет доказательство. Доказательство, не оставляющее сомнений. Доказательство, не допускающее научного опровержения. Подумай над этим, Конни.

– Артур, чай остыл.

А годы идут. Вот десять лет минуло с тех пор, как заболела Туи, и шесть – как он встретил Джин. Вот одиннадцать лет минуло с тех пор, как заболела Туи, и семь – как он встретил Джин. Вот двенадцать лет минуло с тех пор, как заболела Туи, и восемь – как он встретил Джин. Туи по-прежнему бодр, не мучается болью и, по убеждению Артура, ничего не знает об окружающем ее благородном заговоре. Джин по-прежнему живет в съемной квартире, занимается вокалом, увлекается псовой охотой, наезжает с компанией в «Подлесье» и одна – в Мейсонгилл; она ни на что не жалуется, повторяя, что у нее есть все, о чем только можно мечтать; и так год за годом уходит пора ее несостоявшегося счастливого материнства. Опорой Артура, его конфиданткой и утешительницей остается матушка. Все по-прежнему. Наверное, так оно будет и дальше, если только сердце Артура однажды не переполнится до такой степени, что взорвется и умолкнет навек. Выхода нет, и в этом весь ужас его положения; или, точнее сказать, любой из возможных выходов помечен надписью «Страдание». В «Учебнике шахматной игры» Эмануила Ласкера он прочел, что такое цугцванг: это положение, в котором любой ход ведет к ухудшению и без того неблагоприятной позиции. Вот так Артур ощущает

свою жизнь.

Но если посмотреть со стороны, он баловень судьбы. Мастер своего дела, дружен с королем, защитник империи, заместитель лейтенанта в Суррее. Всегда на виду. Как-то раз его пригласили в жюри конкурса силачей, который организовал в Альберт-Холле мистер Сэндоу, тоже силач. Артур и скульптор Лоус – консультанты, сам Сэндоу – судья. Восемьдесят спортсменов партиями по десять человек демонстрируют переполненному залу свои мускулы. Число трещащих по швам леопардовых шкур с восьмидесяти уменьшается сперва до двадцати четырех, затем до двенадцати, до шести и, наконец, до финальной тройки. Финалисты – все прекрасные экземпляры, но один коротковат, другой слегка неуклюж, а потому титул вместе с ценной золотой статуэткой присуждается атлету из Ланкашира по фамилии Мюррей. А для судей и ряда избранных, в свою очередь, предусмотрено поощрение в виде позднего ужина с шампанским. Оказавшись на ночной улице, Артур замечает, что перед ним, небрежно сжимая под мышкой статуэтку, шагает Мюррей. Сэр Артур нагоняет его, и дальше они идут вместе; Артур поздравляет его повторно и, видя, что Мюррей совсем простой деревенский парень, спрашивает, где тот собирается заночевать. Мюррей признается, что в карманах у него, не считая обратного билета до Блэкберна, хоть шаром покати, а потому он собирается до рассвета бродить по пустынным улицам, чтобы потом сразу сесть в поезд. Итак, Артур ведет Мюррея в гостиницу «Морли» и дает указания персоналу отнестись к этому гостю со всем вниманием. Наутро Артур приходит в гостиницу и видит, как Мюррей, развалившись на кровати, витийствует перед горничными и официантами, а рядом, на подушке, поблескивает его награда. Все это выглядит как счастливый финал, однако в памяти у сэра Артура остается другой образ. Образ человека, одиноко бредущего впереди; человека, который выиграл приз и сорвал аплодисменты; человека без гроша в кармане, собиравшегося одиноко бродить до рассвета с золотой статуэткой под мышкой.

Далее, есть третья жизнь – жизнь Конан Дойла, и в ней тоже все благополучно. В силу его профессионализма и бодрости духа любой творческий кризис проходит через пару дней. Артур задумывает сюжет, собирает необходимый материал, планирует книгу – и пишет. В этой жизни он полностью осознает писательские заповеди: во-первых, книга должна быть понятной, во-вторых – увлекательной и, в-третьих – умной. Он знает свои возможности, как знает и то, что в конечном счете все правила диктует читатель. Потому-то Артур и возродил мистера Шерлока Холмса, позволив ему спастись после падения в Рейхенбахский водопад и одарив знанием

секретных японских боевых искусств, а также умением карабкаться по отвесным скалам. Если американцы настаивают на пяти тысячах долларов за каких-то полдесятка новых рассказов – и всего лишь в обмен на право публикации у них в стране, – тогда доктору Конан Дойлу не остается ничего другого, кроме как, подняв руки, сдаться и на все обозримое будущее приковать себя наручниками к детективу-консультанту Холмсу. Кроме того, приятель Шерлок обеспечил Артуру и другие преимущества: например, Эдинбургский университет присудил ему звание почетного доктора литературы. Пусть ему не суждено стать вровень с Киплингом, но, шествуя на параде по улицам родного города, Артур чувствовал себя в профессорской мантии совершенно свободно; надо признать, более свободно, чем в странной форме заместителя лейтенанта Суррея.

Наконец, есть жизнь четвертая – здесь он не Артур, не сэр Артур, не доктор Конан Дойл; в этой жизни имя не имеет значения, как не имеют значения внешность, богатство, должность и прочая видимость и мишура. Четвертая жизнь лежит в мире духовного. Чувство, что он рожден для чего-то иного, крепнет с каждым годом. Жить с этим непросто; и дальше будет не легче. Даже обращение в какую-нибудь из существующих религий – совсем другое дело. Нет, здесь нечто новое, рискованное, но крайне важное. Подайся ты в индуизм, общество скорее увидит в этом эксцентричную выходку, нежели умопомрачение. Но если ты решил посвятить себя спиритизму, то приготовься терпеть все плоские остроты и парадоксы, которыми неизменно пичкает своих читателей пресса. Однако кто они, эти насмешники, циники и щелкоперы, в сравнении с такими столпами, как Крукс, Мейерс, Лодж и Афред Рассел Уоллес?

Наука нынче правит бал; она и посрамит глумливцев, как бывает всегда. Разве прежде кто-нибудь поверил бы в существование радиоволн? Рентгеновских лучей? Аргона, гелия и ксенона, открытых за последние годы? Незримые, неосязаемые, они скрываются под поверхностью реального, под самой оболочкой вещей и все явственнее делаются зримыми и осязаемыми. Наконец-то мир и его полуслепое население учатся видеть.

Взять, к примеру, Крукса. Как говорит Крукс? «Невероятно, но факт». Ученый, чьи труды в области физики и химии вызывают всеобщее восхищение своей точностью и объективностью. Ученый, который открыл таллий и посвятил не один год исследованию свойств разреженных газов и редкоземельных элементов. Кто мог бы лучше его высказаться об этом равно разреженном мире, об этой новой территории, недоступной притупленному разуму и скованному духу? Невероятно, но факт.

А потом умирает Туи. Тринадцать лет минуло с тех пор, как она заболела, и девять – с тех пор, как он встретил Джин. Теперь, весной тысяча девятьсот шестого, у жены Артура начинаются периоды легкого помрачения рассудка. К ней срочно вызван сэр Дуглас Пауэлл; еще более бледный и облысевший, он остается самым учтивым посланником смерти. На этот раз отсрочки не будет, и Артур должен подготовить себя к тому, что уже давно предрекалось. Начинаются бдения. Грохочущая монорельсовая дорога останавливается, тир переносят за пределы усадьбы, теннисная сетка до конца сезона снимается. Туи не мучают ни боли, ни мрачные мысли, а между тем весенние цветы у нее в спальне сменяются ранними летниками. Мало-помалу периоды умопомрачения становятся более длительными. Мозг поражен туберкулами, левая сторона тела частично парализована, как и половина лица. Книга «О подражании Христу» больше не открывается; Артур неотлучно сидит дома.

Когда конец уже совсем близок, Туи узнает мужа. Говорит ему «храни тебя Господь» и «спасибо», а когда он помогает ей сесть в постели, шепчет: «То, что надо». Июнь перетекает в июль; Туи определенно при смерти. В роковой день Артур не отходит от ее постели; Мэри и Кингсли приглядываются в стыдливом ужасе, смущенные парализованным лицом матери. Все ждут в молчании. В три часа ночи, держа за руку Артура, Туи умирает. Ей сорок девять лет; Артуру сорок семь. После кончины жены он долго не выходит из ее комнаты; стоит над телом, говорит себе, что сделал все возможное. Он знает, что сия опустевшая оболочка, лежащая на кровати, отнюдь не все, что осталось от Туи. Это «бело-восковое нечто» всего лишь покинуто ею за ненадобностью.

В последующие дни под лихорадочным волнением овдовевшего начинает просыпаться сознание выполненного долга. Туи – леди Дойл – хоронят под мраморным крестом в Грейшотте. Соболезнования приходят и от великих, и от безвестных, от короля до горничной, от братьев по перу до читателей со всех концов света, от лондонских клубов до форпостов империи. Он тронут словами сочувствия и поначалу считает их за честь, но их потоки не иссякают, и Артуром овладевает беспокойство. Чем именно заслужил он такую сердечность, не говоря уже о ее подоплеке?

От этого шквала искренних эмоций он чувствует себя лицемером. Туи была самой кроткой спутницей, какая только может достаться мужчине. Он вспоминает, как на Эспланаде Кларенса показывал ей военные трофеи, как на базе снабжения флота она сжимала в зубах корабельный сухарь; как Туи, уже основательно беременная их дочкой, вальсировала с ним вокруг кухонного стола; как он потащил ее за собой в морозную Вену, как

укутывал одеялом в Давосе, как махал полулежащей фигурке на веранде египетского отеля, перед тем как запустить мяч над песками в сторону ближайших пирамид. Вспоминает ее улыбку, ее доброту; но вспоминает и о том, что уже много лет не мог бы, положив руку на сердце, поклясться, что любит жену. Это началось не с появлением Джин, а еще раньше. Всеми доступными мужчине способами он окружал жену любовью, но при этом не любил.

Артур понимает, что в течение следующих дней и недель обязан быть рядом с детьми, как положено овдовевшему отцу. Кингсли тринадцать лет, Мэри семнадцать: ему странно, что дети вскоре станут взрослыми. После встречи с Джин какая-то часть его сознания оставалась замороженной: сердце в одночасье ожило, но тут же унеслось к забытым высотам. Теперь придется свыкнуться с мыслью, что дети уже выросли.

Словно по заказу, подтверждение этого факта приходит от Мэри. Как-то за чайным столом, через считанные дни после похорон, она сообщает ему подозрительно взрослым голосом:

– Отец, перед смертью мама сказала, что ты вступишь в повторный брак.

Артур поперхнулся кексом. Он чувствует, как заливается краской, как на грудь давит тяжесть; не исключено, что сейчас у него случится апоплексический удар – этого давно следовало ожидать.

– Боже мой, неужели она это сказала?

– Да. Ну, не в точности такими словами. Она сказала так... – Мэри выдерживает паузу; между тем у отца крутит живот, а в голове начинается какофония. – Мама сказала, чтобы я не возмущалась, если ты вступишь в повторный брак, поскольку она сама желает для тебя только такой судьбы.

Артур не знает, что и думать. Не расставлена ли ему ловушка? Или никакой ловушки нет? Значит, Туи все же подозревала? Неужели она делилась с дочерью? Было ли это сказано в общем или конкретно? В последние девять лет над ним довлеет столько вопросов без ответа, что больше ему не вынести.

– А скажи-ка, она... – Артур пытается свести разговор к шутке, но понимает, что взял неверный тон... вот только верного тона нет... – Скажи-ка, не наметила ли она подходящую кандидатуру?

– Отец! – Мэри неприятно поражена самой мыслью, равно как и отцовским тоном.

Разговор переходит на более безопасные темы. Но Артур несколько дней не может избавиться от первого потрясения; он приносит цветы на могилу Туи, стоит в забытьи посреди ее опустевшей спальни, избегает

подходить к своему письменному столу, не может заставить себя просмотреть вновь поступающие соболезнования – выражения подлинного чувства. Девять лет он щадил Туи, скрывая от нее существование Джин, девять лет старался не причинять ей даже минутной боли. Но, как видно, эти два стремления несовместимы, и так было всегда. Он готов признать, что не считает себя знатоком женской природы. Распознаёт ли женщина твою влюбленность? Вероятно, да; так ему кажется; да, наверняка, ведь Джин сразу это распознала на залитой солнцем лужайке, раньше, чем он сам. А если так, распознаёт ли она тот момент, когда ты ее разлюбил? Чувствует ли, что ты любишь другую? Девять лет назад он до тонкостей продумал, как оградить Туи: в заговор оказались вовлечены все домашние; но в конечном счете вышло, что эта хитрость имела целью оградить его и Джин. Вероятно, его замыслы были полностью эгоистичны и Туи видела его насквозь; не исключено, что она все знала. Вряд ли Мэри понимает, как тяжело далась Туи фраза насчет повторного брака отца. Даже Артур начинает понимать это только сейчас. Не исключено, что Туи знала с первого дня, наблюдала со своего смертного одра за его жалкой подтасовкой истин и улыбалась каждой низкой, мелкой неправде, услышанной от мужа, да еще воображала, как он бежит вниз к телефону изменника. Протестовать у нее, как видно, не было духу, ведь она больше не могла быть ему женой в полном смысле этого слова. А что, если – его подозрения сгущаются, – что, если она с самого начала поняла, как много значит для него Джин, а остальное непрерывно додумывала? Что, если считала своим долгом принимать Джин в «Подлесье», хотя и видела в ней любовницу мужа?

Столь же мощный, сколь и бескомпромиссный рассудок Артура идет дальше. Вдобавок к прежним сложностям беседа с Мэри повлечет за собой новые. Кончина Туи, как он теперь понимает, не положит конец его обманам. Ведь Мэри не должна узнать, что он долгих девять лет был влюблен в Джин. Не должен узнать этого и Кингсли. Говорят, мальчику еще труднее, чем девочке, примириться с предательством по отношению к матери.

Артур уже представляет, как выберет момент, как отрепетирует слова, как откашляется, чтобы получилось... как?.. как будто он сам не верит тому, что собирается произнести. «Мэри, дорогая, ты же помнишь, что сказала перед смертью мама? О возможности моего повторного брака. Так вот: должен тебе сообщить, что ее правота вскоре подтвердится».

И он услышит от себя такие слова? Если так, то когда? До конца года? Нет, конечно нет. В будущем году, через год? Через какой промежуток

времени вдовцу прилично обрести новую любовь? Что думают на этот счет в обществе, ему известно, а что думают дети?.. и конкретно: его дети?

Затем он пытается предугадать вопросы Мэри. И кто же она, отец? Ах вот оно что: мисс Лекки. Я с ней познакомилась еще в детстве, правда? А потом где только мы с ней не сталкивались. И в конце концов она стала наезжать в «Подлесье». Я всегда считала, что ей пора замуж. Повезло тебе, что она до сих пор свободна. Сколько ей сейчас? Тридцать один? Да она уже вышла в тираж, ты не находишь, папочка? Удивительно, что никто на нее не польстился. А когда ты понял, что влюблен, отец?

Мэри больше не ребенок. Возможно, она и не собирается ловить отца на лжи, но заметит малейшую нестыковку в его рассказе. А вдруг он даст маху? Искусных лжецов Артур презирает: они строят свои чувства – и даже свои браки, – исходя из того, что им сойдет с рук, отделяются то полуправдой, то полновесным враньем. Артур всегда трубил детям о необходимости говорить правду; теперь ему предстоит выставить себя полнейшим лицемером. С улыбочкой, изображая смущенное удовольствие, разыгрывая удивление, он состряпает псевдоромантическую историю о том, как полюбил мисс Джин Лекки, и будет до конца своих дней пичкать этой выдумкой сына и дочь. Да еще будет просить домашних, чтобы его покрывали.

Джин. Из соображений приличия она не явилась на похороны; прислала свои соболезнования, а примерно через неделю Малькольм привез ее из Кроуборо. Встреча не задается с самого начала. Когда эти двое появляются в «Подлесье», Артур ловит себя на том, что не может обнять Джин в присутствии брата; вместо этого он инстинктивно целует ей руку. Жест получается неудачный, почти шутовской, отчего возникает общая неловкость. Джин – кто бы сомневался – держится безупречно, а сам он теряется. Когда Малькольм тактично просит разрешения осмотреть сад, Артур беспомощно озирается в поисках подсказки. Но от кого? От Туи, сидящей в постели со своим чайным сервизом на одну персону? Не зная, о чем говорить с Джин, Артур начинает оправдываться перед нею своей скорбью – и за возникшую неловкость, и за безучастную встречу. Он только рад, когда Малькольм возвращается из своей надуманной садовой экспедиции. Вскоре брат с сестрой уезжают, и на душе у Артура становится совсем скверно.

Треугольник, внутри которого он так долго обитал – мучительно, зато надежно, – теперь сломан, и Артура пугает эта новая геометрия. Возвышенная скорбь уходит, и на него накатывает летаргия. Он бродит по угольям «Подлесья», как будто их давным-давно распланировал кто-то

чужой. Заходит проверить лошадей, но седлать не приказывает. Что ни день, посещает могилу жены и возвращается совершенно разбитым. Ему представляется, как она его утешает, заверяет, что всегда его любила, независимо ни от чего, и теперь прощает; но требовать этого от покойной как-то самонадеянно и эгоистично. Артур часами просиживает в кабинете, курит и разглядывает поблескивающие пустотелые кубки, полученные спортсменом и видным писателем. По сравнению с кончиной Туи эти безделицы лишены всякого смысла.

Всю переписку он оставляет на усмотрение Вуда. Секретарь давно научился имитировать его подпись, приветствия, обороты речи, даже мнения. Пусть некоторое время поживет в шкуре сэра Артура Конан Дойла – у реального носителя этого имени нет желания быть собой. Вуду позволено вскрывать любые послания, отправлять их в корзину или писать ответы.

Силы Артура на исходе; он почти ничего не ест. В такое время аппетит выглядел бы почти непристойностью. Ложась в постель, он не может заснуть. Никаких признаков болезни у него нет, только изнурительная слабость. Он обращается к старинному другу, врачу-консультанту Чарльзу Гиббсу, у которого наблюдается с момента возвращения из Южной Африки. Гиббс говорит, что находит у него все и ничего; другими словами, это нервы.

Однако нервами дело не ограничивается. У него разладился кишечник. Гиббс устанавливает это без труда, хотя помочь ничем не может. Должно быть, в Блумфонтейне или в вельде Артур подцепил какую-то инфекцию, и до поры до времени она дремала, поджидая ослабления организма. Гиббс прописывает снотворную микстуру. Но усыпить другую непобедимую бациллу, поразившую организм пациента, не представляется возможным: это бацилла вины.

Артур привык считать, что затяжная болезнь Туи хоть как-то подготовит его к неминуемому. Он привык считать, что скорбь и чувство вины, если уж они неизбежны, будут более острыми, определенными, конечными. Вместо этого они уподобились погоде или облакам, которые постоянно меняются по воле безымянных, неопознаваемых ветров.

Он знает, что должен подняться, но ничего не получается; да и зачем подниматься – разве лишь для того, чтобы снова лечь. Первым делом увековечить, сделать историческим фактом старую ложь о любви преданного мужа к Туи, затем создать и распространить новую ложь – как Джин подарила неожиданное утешение исстрадавшемуся сердцу вдовца. Одна мысль об этой новой лжи вызывает у него отвращение. По крайней

мере, в апатии есть истина: обессиленный, страдающий животом, он влачится из комнаты в комнату и не вводит в заблуждение других. Хотя нет, почему же: другие приписывают его состояние исключительно скорби.

Он лицемер; он обманщик. В некотором смысле он всегда ощущал себя обманщиком, и чем известнее становился, тем больше. Его превозносят как выдающегося деятеля эпохи, но, хотя он и играет активную роль в современном мире, его сердцу здесь неуютно. Любой нормальный человек этой эпохи без малейших угрызений совести сделал бы Джин своей любовницей. Именно так поступают теперь мужчины, и, по его наблюдениям, даже в самых высоких сферах. Но его нравственная жизнь тяготеет к четырнадцатому веку. А его духовная жизнь? Конни причислила его к ранним христианам. Сам он предпочитает помещать себя в будущее. В двадцать первый век, в двадцать второй? Все зависит от того, как скоро дремлющее человечество проснется и научится использовать свои глаза.

А потом его рассудок, и без того уже опустившийся ниже некуда, и вовсе летит под откос. После девяти лет желания – и попыток скрывать свое желание – происходит невозможное: он свободен. Можно хоть завтра утром жениться на Джин и опасаться разве что пересудов деревенских моралистов. Но желание невозможного освящает само желание. Поскольку теперь невозможное стало возможным, где предел его желанию? Пока он этого знать не может. Как будто сердечная мышца от долгого перенапряжения начала крошиться, как резина.

Когда-то слышал он историю, рассказанную в мужской компании за портвейном, про одного женатого человека, который долгое время не расставался со своей любовницей. Женщина была с положением и вполне годилась ему в жены; она рассчитывала связать с ним свою судьбу, а он кормил ее обещаниями. В конце концов у него умерла жена, и в считанные недели вдовец чин по чину женился. Но не на любовнице: он взял в жены девушку из самых низов, с которой сошелся через пару дней после похорон. В ту пору Артур счел этого ловкача негодяем вдвойне: сначала в отношении жены, потом в отношении любовницы.

Теперь-то он понимает, как легко случаются подобные вещи. В болезненные месяцы после смерти Туи он почти не выходил в свет, а тех, с кем его знакомили, почти не запомнил. Но притом что он плохо разбирается в женщинах, некоторые представительницы противоположного пола делали попытки с ним заигрывать. Нет, это звучит пошло и несправедливо, но они посматривали на него как-то по-особому: знаменитый писатель, рыцарь королевства, с недавних пор вдовец. Ему не составляет труда представить,

как ломается искрошенная резина, как простота юной девушки и даже благоухающая улыбка кокетки способны враз пронзить сердце, которое на время сделалось непроницаемым для многолетней тайной привязанности. Он может понять того двойного негодяя. И не просто понять, а увидеть преимущество его положения. Если ты позволяешь себе такую *coup de foudre*, то, по крайней мере, ставишь точку на лжи: тебе не придется выводить в свет свою давнюю любовь и выдавать ее за новую знакомую. Тебе не придется до конца дней лгать своим детям. Что же до твоей молодой жены, то ты будешь говорить: да, я знаю, она вас шокирует, она никогда не заменит того, что заменить невозможно, но она принесла чуть-чуть радости и утешения моему сердцу. Искомое прощение может быть получено не сразу, но в любом случае положение упростится.

Он опять встречается с Джин, один раз на людях и один раз наедине, и в обоих случаях неловкость никуда не исчезает. Он ждет, чтобы сердце его забилося вновь, – нет, он приказывает сердцу забиться вновь, а оно отказывается подчиняться приказу. Он так привык подчинять себе свои мысли, оказывать на них давление, направлять, куда ему требуется, что испытывает потрясение от невозможности проделать то же самое с нежными чувствами. Джин ничуть не подурнела, но ее прелесть не вызывает у него нормального отклика. Можно подумать, его сковала какая-то сердечная импотенция.

В прошлом Артур, чтобы облегчить эти муки, доводил себя до физического изнеможения; но сейчас его не привлекают ни верховая езда, ни боксерские поединки, ни крикет, ни теннис, ни гольф. Будь у него возможность перенестись в высокую, заснеженную альпийскую долину, ледяные ветры, глядишь, и развеяли бы затхлость, скопившуюся в его душе. Но, судя по всему, это несбыточно. Тот, кем он был прежде, *Sportesmann*, который приехал в Давос с норвежскими лыжами и пересек Фуркапасс вместе с братьями Брангер, давно исчез из поля зрения – не иначе как перебрался на противоположный склон горы.

Когда же наконец его рассудок перестает лететь под откос, когда утихает лихорадка ума и живота, он пытается расчистить место у себя в голове, приготовить крошечный пяточок для простых мыслей. Если человек не может решить, чем он *хочет* заняться, то ему нужно выяснить, чем ему *следует* заняться. Если желание недостижаемо, следуй долгу. Именно так он поступал с Туи, так должен поступить и с Джин. Все девять лет он любил ее с надеждой и без всякой надежды; такое чувство не может исчезнуть без следа; значит, нужно ждать его возвращения. А до той поры маневрировать, как на бескрайней Гримпенской трясине, где со всех сторон

подступают подернутые ряской ямы и зловонные болота, которые грозят утянуть тебя вниз и поглотить навсегда. Чтобы выбрать там верный курс, требуется воспользоваться всем, чему ты научился до сих пор. Трясина подает тайные знаки: где пучки тростника, где воткнутые с дальним прицелом колья, призванные вывести новичка на твердую почву; то же самое происходит и с тем, кто потерял нравственные ориентиры. Тропа ведет туда, куда указывает честь. В последние годы честь не раз подсказывала ему, как поступить; теперь честь укажет, куда держать путь. Честь привязывает его к Джин, как привязывала к Туи. С такого расстояния он пока не может определить, будет ли по-настоящему счастлив снова, но твердо знает, что для него не может быть счастья там, где нет чести.

Дети в школе; дом притих; ветер срывает покровы с деревьев; ноябрь сменяется декабрем. Артур мало-помалу приходит в равновесие, как ему и предрекали. Как-то утром он заходит в кабинет Вуда просмотреть корреспонденцию. В среднем на его имя доставляют шестьдесят писем в день. За истекшие месяцы секретарю поневоле пришлось разработать такую систему: он сам отвечает на любые послания, с которыми можно разобраться моментально; те, которые требуют мнения или решения сэра Артура, откладываются на большой деревянный лоток. Если до конца недели его работодатель ни сердцем, ни нутром не собрался что-либо посоветовать, Вуд по мере возможностей освобождает лоток.

Сегодня поверх конвертов на лотке лежит мелкий пакет. Артур безразлично извлекает на свет его содержимое. Сопроводительное письмо подколото к пачке вырезок из газеты под названием «Арбитр». Он никогда о такой не слышал. Может, она как-то связана с крикетом? Да нет, розовый шрифт скорее выдает бульварный листок. Артур ищет глазами подпись. Это имя тоже ничего ему не говорит: Джордж Эдалджи.

Часть третья

Заканчивая началом

Артур и Джордж

Стоило Шерлоку Холмсу распутать самое первое дело, как со всех концов света посыпались просьбы и требования. Если где-то при таинственных обстоятельствах исчезали люди или ценности, если полиция оказывалась еще более несостоятельной, чем обычно, если не работало правосудие, то человеческий инстинкт, как можно было подумать, заставлял искать помощи у Холмса и его создателя. Сейчас почтовое ведомство автоматически ставит штамп «Адресат неизвестен» на те конверты, где значится только адрес: Бейкер-стрит, дом 221б, и отправляет их отправителю; так же поступают и с теми посланиями, которые адресованы сэру Артуру для Холмса. Альфред Вуд много лет не устает поражаться, как его хозяин одновременно и гордится, что сумел создать героя, в чье существование охотно верит публика, и досадует, когда эту веру доводят до логического завершения.

Есть еще воззвания, обращенные к сэру Артуру Конан Дойлу *in propria persona* и написанные с учетом того, что человек, которому хватает ума и хитрости придумывать такие запутанные фиктивные преступления, способен и распутывать преступления реальные. Если сэр Артур поражен или растроган, он может изредка ответить, хотя всегда отрицательно. Он объясняет, что из него такой же сыщик-консультант, как английский лучник четырнадцатого века или доблестный кавалерист наполеоновской армии.

Так что Вуд без особых надежд отложил досье Эдалджи. А вот поди ж ты: не прошло и часа, как сэр Артур вернулся в секретарский кабинет, разглагольствуя на ходу.

– Это же ясно как день, – твердит он. – На этом парне вины не больше, чем на твоей пишущей машинке. Нет, ты мне ответь, Вуди! Шутка. Дело о запертой комнате наоборот: закавыка не в том, как он вошел, а в том, как он вышел. Вопиющая несправедливость.

Давно уже Вуд не видел своего босса в таком негодовании.

– Прикажете написать ответ?

– Ответ? Ответом я не ограничусь. Я собираюсь разворошить осиное

гнездо. Столкнуться кое-кого лбами. Они у меня попомнят тот день, когда допустили, чтобы это случилось с безвинным человеком.

Вуд еще плохо понимает, кто такие «они» и что значит «это», которое «случилось». В том письме он не заметил ничего (за исключением странной фамилии), что выделяло бы его из общего ряда жалоб на предполагаемые нарушения законности, с которыми сэру Артуру предлагают побороться в одиночку. Но в данный момент Вуда не заботят правые и виноватые в деле Эдалджи. Он лишь с облегчением отмечает, что за истекший час его патрон стряхнул, похоже, с себя вялость и уныние, от которых не мог избавиться долгие месяцы.

В сопроводительном письме Джордж объяснил свою аномальную ситуацию. Решение освободить его по особому распоряжению инициировал предыдущий министр внутренних дел, мистер Эйкерс-Дуглас, а довершил нынешний, мистер Герберт Гладстон; при этом ни тот ни другой не предложил официального обоснования своих решений. Обвинительный приговор Джорджу так и не был отменен, никаких извинений за лишение свободы ему не принесли. Некая газета, которую, безусловно, проинструктировал за тайным ланчем проныра-чиновник, беззастенчиво написала, что Министерство внутренних дел несколько не сомневается в виновности заключенного, но выпустило его из тюрьмы, посчитав, что три года – достаточный срок за инкриминированное ему преступление. Сэр Реджинальд Харди, который назначил ему семь лет, слегка переусердствовал в защите чести Стаффордшира, а министр внутренних дел всего лишь корректирует его рвение.

В моральном плане это повергает Джорджа в отчаяние, а в практическом плане превращает его жизнь в ад. Считается он виновным или невиновным? Его освобождение – это извинение за несправедливый приговор или подтверждение приговора? Вплоть до отмены судебного решения он не сможет восстановиться в правах поверенного. Очевидно, Министерство внутренних дел ожидает, что от облегчения Джордж умолкнет и с благодарностью найдет себе другую стезю – желательную в колониях. Но нет, Джордж выжил в каторжной тюрьме исключительно в силу своих мыслей и надежд, направленных на возвращение к работе – как угодно, где угодно – в качестве адвоката-солиситора, и его сторонники, пройдя свой тернистый путь, тоже не намерены отступать. Один из знакомых мистера Йелвертона взял Джорджа к себе в контору на временное место письмоводителя, но это не выход. Выход способно предложить только Министерство внутренних дел.

На встречу с Джорджем Эдалджи в Гранд-отеле, что на Черинг-Кросс,

Артур опаздывает: его задержали банковские дела. Сейчас он стремительно входит в вестибюль и озирается. Заметить ожидающего его человека несложно: метрах в сорока виднеется повернутое в профиль единственное темнокожее лицо; Артур готов подойти и извиниться, но что-то его удерживает. Наверное, неприлично разглядывать людей исподтишка, но не зря же Артур когда-то работал медрегистратором под началом доктора Джозефа Белла.

Итак, предварительный осмотр показывает, что человек, с которым Артуру предстоит познакомиться, невысокий, щуплый, восточного происхождения; коротко стриженные волосы расчесаны на косо пробор; носит очки, одет в хорошо подогнанный по фигуре неброский костюм провинциального солиситора. Конечно, все так, но это совсем не то что с ходу опознать полировщика-француза или сапожника-левшу. И все же Артур продолжает приглядываться – и возвращается в прошлое, но не в Эдинбург времен доктора Белла, а к годам своей собственной медицинской практики. Как и многие из присутствующих в вестибюле, Эдалджи отгородился газетой и высокими подлокотниками кресла. Однако сидит он не так, как остальные: газету держит неестественно близко, да к тому же как-то боком, склоняя голову под углом к газетной полосе. Доктор Доил, некогда практиковавший в Саутси и на Девоншир-Плейс, уверенно ставит диагноз. Миопия, причем довольно серьезная. А если подумать, то, возможно, еще и астигматизм.

– Мистер Эдалджи.

Газета не выпадает из дрожащих от волнения рук, а тщательно складывается. Молодой человек не вскакивает, не бросается на шею своему возможному спасителю. Наоборот, поднимается он сдержанно, смотрит прямо в глаза сэру Артуру и протягивает руку. Такой человек не станет распинаться насчет Холмса. Учтивый, самостоятельный, он выжидает.

Они переходят в незанятый салон с письменными принадлежностями, и Артур получает возможность более пристально рассмотреть своего нового знакомца. Круглое лицо, полноватые губы, отчетливая ямочка на подбородке, чисто выбрит. Для человека, который отбыл три года в Льюисе и в Портленде, а до этого вел, не в пример многим, вполне домашнюю жизнь, этот не обнаруживает практически никаких признаков своих мытарств. Правда, короткие черные волосы тронуты сединой, но это придает ему вид мыслящего, интеллигентного человека. Такой вполне может быть действующим поверенным, но нет.

– Вам известны точные показатели вашей миопии? Шесть, семь диоптрий? Это, конечно, только мои догадки.

Первый же вопрос вызывает у Джорджа удивление. Из верхнего кармана он достает очки и протягивает Артуру. Артур их разглядывает, а потом переключает внимание на глаза, дефекты которых потребовали таких очков. Глаза слегка навывкате, они придают солиситору какой-то отсутствующий, но въедливый вид. Сэр Артур оценивает этого человека с позиций бывшего офтальмолога; но ко всему прочему он знаком с ложными выводами нравственного порядка, которые широкая публика склонна делать на основе особенностей органов зрения.

– К сожалению, даже не знаю, – говорит Джордж. – Очками я обзавелся совсем недавно и не уточнил их показатели. А иногда попросту забываю их дома.

– А в детстве обходились без них?

– Да, представьте. У меня всегда было слабое зрение, но когда меня показали одному бирмингемскому окулисту, он сказал, что ребенку очки лучше не прописывать. А потом... так сказать... времени не было. Зато когда я освободился, времени у меня, к сожалению, стало хоть отбавляй.

– Как вы и указали в письме. Итак, мистер Эда-а-ал-джи...

– Э-э-эдл-джи, с вашего позволения. – У Джорджа это вырывается машинально.

– Извините.

– Я привык. Но коль скоро такова моя фамилия... видите ли, во всех парсских фамилиях ударение на первом слоге.

Сэр Артур кивает.

– Вот что, мистер Эйдл-джи, я хочу направить вас к профессионалу, мистеру Кеннету Скотту; он принимает на Манчестер-Сквер.

– Как скажете. Вот только...

– За мой счет, разумеется.

– Сэр Артур, я не смогу...

– Сможете, и без труда. – Он произносит это негромко, и Джордж впервые улавливает раскатистое шотландское «р». – Вы же не нанимаете меня в качестве сыщика, мистер Эдалджи. Я просто предлагаю... предлагаю свою помощь. И когда мы добьемся для вас не только полного оправдания, но и солидной компенсации за незаконное лишение свободы, я, возможно, перешлю вам счет мистера Скотта. А может быть, и нет.

– Сэр Артур, когда я взялся вам писать, у меня и в мыслях не было...

– У меня, когда я получил ваше письмо, тоже. Но так сложилось. Вот и все.

– Денежная компенсация не играет первостепенной роли. Мне важно вернуть свое доброе имя. Мне, как солиситору, важно восстановить себя в

профессиональных правах. На большее я не претендую. Лишь бы мне было позволено практиковать. Жить спокойно, приносить пользу. Вести нормальную жизнь.

– Разумеется. Но в одном я с вами не соглашусь. Деньги очень важны. Не просто в качестве компенсации за три года вашей жизни. А в качестве некоего символа. Британцы уважают деньги. Если с вас снимут все обвинения, общественность будет знать, что вас оправдали. Но если вам еще и заплатят, общественность будет знать, что вас оправдали целиком и полностью. А это отнюдь не одно и то же. Кроме того, денежная выплата будет означать, что вы оказались в тюрьме только из-за преступного бездействия Министерства внутренних дел.

Обдумывая его аргумент, Джордж медленно кивает. На сэра Артура этот молодой человек произвел большое впечатление. У него, похоже, уравновешенный и пытливый ум. От матери-шотландки или от священника-отца? Или от этого благоприятного сочетания?

– Сэр Артур, позвольте спросить: вы христианин?

Теперь настал черед Артура удивляться. Не желая обидеть пасторского сына, он отвечает вопросом на вопрос:

– А что?

– Как вам известно, я воспитывался в доме викария. К родителям отношусь с любовью и уважением; в юности я, конечно же, разделял их веру. Могло ли быть иначе? Из меня самого никогда бы не вышло священника, но я воспринял библейское учение как руководство к праведной и достойной жизни. – Он смотрит на сэра Артура, дабы увидеть его отклик; поощрением ему служит благожелательный взгляд и наклон головы. – Лучшего руководства я не знаю по сей день. И считаю, что законы Англии – это лучшее руководство к праведной и достойной жизни для общества в целом. Но потом начались мои... мои мытарства. Поначалу мне думалось, что это печальный пример некомпетентного отправления правосудия. Пусть даже полиция допустила ошибку – ее исправят мировые судьи. Пусть мировые судьи допустили ошибку – ее исправит уголовный суд квартальных сессий. Пусть суд квартальных сессий допустил ошибку – ее исправит Министерство внутренних дел. Это цепочка может причинить большие страдания и, мягко говоря, неудобства, но в ходе отправления правосудия справедливость в конечном итоге восторжествует. В это я верил и верю по сей день. Однако все оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Я всегда жил в рамках законности, то есть считал закон своим руководством к действию, а христианство давало мне моральную поддержку. В свою очередь, для моего отца... – Тут Джордж делает паузу,

но, как подозревает Артур, не потому, что не знает, как продолжить, а потому, что продолжение давит на него тяжким бременем чувств. – Мой отец живет всецело в рамках христианства. Как нетрудно догадаться. В этом смысле мои мытарства для него вполне понятны. Для него существует... должно существовать... религиозное оправдание моих страданий. По его мнению, Божий промысел направлен на то, чтобы укрепить мою веру и показать пример другим. Неловко произносить это вслух, но он считает меня мучеником. Мой отец – человек преклонного возраста, силы его на исходе. Не хотелось бы с ним спорить. В Льюисе и Портленде я, конечно же, посещал часовню. До сих пор каждое воскресенье хожу в церковь. Но не рискну утверждать, будто тюрьма укрепила мою веру, да и мой отец... – на его лице появляется осторожная ироническая улыбка, – вряд ли сможет похвалиться, что за последние три года в церкви Святого Марка и в окрестных храмах увеличилось число прихожан.

Сэр Артур размышляет над странной помпезностью этих вступительных речей – они, как может показаться, отрепетированы, причем слишком усердно. Нет, строго судить не следует. Чем еще занимать себя человеку в ходе трехлетнего заключения, как не переосмысливать свою жизнь – эту запутанную, только начавшуюся, не до конца понятую жизнь, – чтобы придать ей сходство со свидетельским заявлением?

– Ваш отец, надо полагать, сказал бы, что мученики не выбирают свою судьбу и, быть может, даже не понимают сути происходящего.

– Возможно. Но то, что я сейчас сказал, – это даже не вся правда. Тюремное заключение не укрепило мою веру. Наоборот. Тюрьма, как мне кажется, ее разрушила. Мои страдания оказались совершенно бессмысленны как для меня лично, так и в качестве назидания другим. Но когда я сообщил отцу о вашем согласии на эту встречу, он ответил, что это все – наглядное проявление Божьего Промысла в этом мире. Вот потому-то, сэр Артур, я и спросил, христианин ли вы.

– На доводы вашего отца это все равно бы не повлияло. Понятно, что Господь может выбрать своим инструментом хоть христианина, хоть язычника.

– Верно. Только вам совсем не обязательно меня щадить.

– Совсем не обязательно. И вы увидите, мистер Эдалджи, я не сторонник околичностей. До меня не доходит, каким боком ваше пребывание в двух тюрьмах, лишение профессии, потеря своего места в обществе могут быть угодны Господу.

– Поймите, мой отец считает, что нынешний век принесет с собой

более гармоничное единение рас, чем век минувший, – таков Божий Промысел, и мне выпало стать, если можно так выразиться, его посланником. Или жертвой. Или и тем и другим.

– Не имея в виду критиковать вашего отца, – Артур тщательно выбирает слова, – я бы сказал, что для демонстрации Божьего Промысла было бы куда полезнее, если бы вы сделали блестящую карьеру поверенного и таким образом показали пример стирания расовых границ.

– Вы мыслите так же, как и я, – отвечает Джордж.

Артуру нравится этот ответ. Другие сказали бы: «Я с вами согласен». Но в словах Джорджа нет самодовольства. Они лишь доказывают, что Артур подтвердил его мысли.

– Впрочем, я согласен с вашим отцом, что новый век способен вызвать к жизни небывалый прогресс духовной природы человека. Более того, я считаю, что к началу третьего тысячелетия официальные конфессии сдадут свои позиции, а вызванные их обособленностью войны и разногласия прекратятся.

Джордж собирается возразить, что его отец имеет в виду совершенно другое, но сэр Артур настойчиво продолжает:

– Человечество вплотную приблизилось к открытию истинности парапсихологических законов, подобно тому как на протяжении веков оно открывало истинность физических законов. Когда эта истинность станет общепризнанной, весь ход нашей жизни – и смерти – придется переосмыслить, начиная с основополагающих принципов. Диапазон нашей веры расширится, а не сузится. Мы более глубоко пойдем жизненные процессы. Мы пойдем, что смерть – это не дверь, захлопнутая у нас перед носом, а дверь, оставленная приоткрытой. И к началу нового тысячелетия мы найдем в себе больше способностей к счастью и товариществу, чем за всю историю жалкого подчас существования человечества. – Тут он, пламенный уличный оратор, спохватывается: – Прошу прощения. Оседлал любимого конька. Нет, это нечто большее. Но вы сами спросили.

– У вас нет причин извиняться.

– Нет, есть. Я увел нас от основной темы. К делу. Можно спросить: вы кого-нибудь подозреваете в совершении это преступления?

– Которого?

– Всех. Эта травля. Подметные письма. Нанесение резаных ран – не только шахтерскому пони, но и другим животным.

– Если честно, сэр Артур, за последние три года я и мои сторонники больше занимались поисками доказательств моей невиновности, нежели чужой вины.

– Резонно. Только одно неизбежно связано с другим. Итак, вы кого-нибудь подозреваете?

– Нет. Никого. Все совершалось анонимно. А кроме того, я не могу представить, чтобы кому-то нравилось калечить животных.

– В Грейт-Уэрли у вас были враги?

– Вероятно. Только невидимые. У меня там знакомых мало, что друзей, что недругов. Мы держались в стороне от местного общества.

– Почему?

– Я лишь недавно стал догадываться почему. В детстве я считал, что так и должно быть. Если честно, мои родители жили очень небогато; все деньги они тратили на образование детей. Я ничуть не переживал, что другие ребята не зовут меня в гости. Полагаю, у меня было счастливое детство.

– Да. – (Услышанное не похоже на полный ответ.) – Но смею предположить, с учетом происхождения вашего отца...

– Сэр Артур, должен сразу заявить: я не считаю, что в моем случае хоть какую-то роль сыграла расовая неприязнь.

– Надо признаться, вы меня удивляете.

– Отец считает, что, будь я, к примеру, сыном капитана Энсона, я бы пострадал куда меньше. Это безусловно так. Но с моей точки зрения, в этом деле есть ложный след. Сомневаетесь – приезжайте в Уэрли и спросите деревенских жителей, верят они мне или нет. Если расовые предрассудки и существуют, они свойственны лишь очень небольшой части населения. Время от времени случаются мелкие эксцессы, но какого человека они не касались в той или иной форме?

– Как я понимаю, вы отказываетесь играть роль мученика...

– Не в том дело, сэр Артур. – Джордж умолкает и на миг теряется. – Скажите, я правильно к вам обращаюсь?

– Да, можете называть меня так. А хотите – Дойл.

– Нет, лучше сэр Артур. Как вы догадываетесь, я много размышлял об этом деле. Меня воспитывали как англичанина. Я ходил в школу, потом изучал право, стажировался, работал поверенным. Разве кто-нибудь мне препятствовал? Напротив. Учителя меня хвалили, партнеры в фирме «Сангстер, Викери энд Спейт» со мной считались, прихожане отца говорили добрые слова, когда я получил диплом. На Ньюхолл-стрит ни один клиент не отказался от моих услуг по причине моего происхождения.

– Да, но...

– Разрешите, я закончу. Как я уже сказал, бывают отдельные выпады. Кто-то поддразнивает, кто-то подшучивает. Я не столь наивен, чтобы не

замечать, когда люди смотрят на меня по-особому. Но я же юрист, сэр Артур. Где доказательства, что это происходит в силу расовой неприязни? В свое время сержант Аптон пытался меня запугать, но он, скорее всего, запугивал и других мальчишек. Капитан Энсон определенно меня невзлюбил, хотя никогда не видел. В том, что касалось полицейских, больше всего тревожила меня их несостоятельность. Например, не было случая, чтобы они, наводнив всю округу констеблями-добровольцами, сами обнаружили искалеченное животное. О каждом эпизоде им сообщали либо фермеры, либо идущие на смену рабочие. Не я один сделал вывод, что полицейские боятся так называемой банды, хотя они даже не сумели доказать ее существование. Если, по-вашему, в основе моих злоключений лежала расовая ненависть, я должен попросить у вас доказательств. Не припоминаю, чтобы мистер Дистэрнал хотя бы косвенно сослался на это обстоятельство. Или сэр Реджинальд Харди. Разве присяжные вынесли мне вердикт «виновен» на основании моего цвета кожи? Это слишком уж примитивный ответ. Могу добавить, что в местах лишения свободы меня не третируют ни тюремщики, ни другие заключенные.

– Если позволите, выскажу одно предложение, – ответил сэр Артур. – Вероятно, вам было бы полезно иногда рассуждать не как законнику. Если явление не подкреплено доказательствами, это еще не значит, что его не существует.

– Согласен.

– Значит, когда возобновилась травля вашей семьи, вы сочли и поныне считаете, что стали случайными жертвами?

– Вероятно, нет. Но пострадали и другие люди.

– Разве что от писем. Так, как вы, не пострадал никто.

– Это так. Однако было бы неправомерно делать отсюда вывод о целях и мотивах гонителей. Возможно, мой отец, который вполне способен проявить крутой нрав, отчитал какого-нибудь мальчишку с фермы за воровство яблок или за богохульство.

– Думаете, это могло послужить началом?

– Понятия не имею. Но боюсь, что никогда не перестану думать как юрист. Такова уж моя натура. И, как юрист, я постоянно ищу доказательства.

– Возможно, другие видят то, что ускользает от вас.

– Несомненно. Только здесь возникает еще вопрос целесообразности. Для меня нецелесообразно всегда исходить из того, что люди, с которыми я имею дело, испытывают ко мне тайную неприязнь. А в настоящий момент нецелесообразно считать, будто мне достаточно убедить министра в

существовании расовой подоплеки дела, чтобы снять с себя все обвинения и получить компенсацию, о которой вы говорили. Или, сэр Артур, вы верите, что мистер Гладстон и сам грешит расовыми предрассудками?

– У меня нет совершенно никаких... доказательств. Более того, я очень в этом сомневаюсь.

– Тогда давайте, пожалуйста, оставим эту тему.

– Хорошо. – Артура впечатляет такое упорство, если не сказать упрямство. – Я хочу познакомиться с вашими родителями. И с сестрой. Только ненавязчиво. Мне свойственно рубить сплеча, но бывают случаи, когда необходимы более тонкие подходы, а то и блеф. Как любит говорить Лайонел Эмери, если дерешься с носорогом, не привязывай к носу рог. – Джордж озадачен таким сравнением, но Артур ничего не замечает. – Если в деревне меня увидят с вами или с кем-нибудь из ваших родных, это вряд ли пойдет на пользу нашему делу. Мне нужно завести там знакомство, установить контакт. У вас есть кто-нибудь на примете?

– Гарри Чарльзуорт, – машинально отвечает Джордж, как будто перед ним двоюродная бабушка Стоунхэм или Гринуэй и Стентсон. – В школе мы сидели за одной партой. Я делал вид, что он мой друг. Мы были первыми учениками. Отец упрекал меня, что я не вожусь с фермерскими сыновьями, но, откровенно говоря, с ними невозможно было общаться. Гарри Чарльзуорт унаследовал отцовскую молочную ферму. У него репутация порядочного человека.

– Вы говорите, что в деревне почти ни с кем не поддерживали отношений?

– Ко мне тоже никто особенно не тянулся. Если честно, сэр Артур, я всегда планировал с началом самостоятельной практики поселиться в Бирмингеме. Уэрли, между нами, виделась мне унылой и отсталой деревней. На первых порах я продолжал жить дома, не решаясь сказать родителям, что хочу от них съехать, но с деревней старался никаких дел не иметь, за исключением самых насущных. Как, например, починка обуви. Но со временем если и не угодил в ловушку, то стал замечать, что прирос к семейному очагу, а потому даже думать об отъезде стало тяжело. Кроме того, я очень привязан к своей сестре Мод. Таково и было мое положение, куда... со мной не сотворили то, что вам уже известно. После освобождения из тюрьмы о возвращении в Стаффордшир нечего было и думать. Так что сейчас я базируюсь в Лондоне. Снимаю жилье на Мекленбург-Сквер, у мисс Гуд. Вначале при мне пару недель находилась мать. Но она нужна отцу дома. Теперь она лишь изредка вырывается меня проведать. Я живу... – Джордж на миг умолкает, – как видите, я живу в

состоянии неопределенности.

Артур в который раз отмечает, насколько осторожен и точен Джордж, когда описывает хоть важные события, хоть мелочи, хоть эмоции, хоть факты. Из такого вышел бы первоклассный свидетель. И если он не видит того, что для других очевидно, это не его вина.

– Мистер Эдалджи...

– Прошу вас, называйте меня просто Джордж.

Сэр Артур вновь стал делать ударение на втором слоге; новый покровитель Джорджа должен быть избавлен от конфуза.

– Мы с вами, Джордж, мы с вами... неофициальные англичане.

Джордж ошарашен этим замечанием. По его мнению, сэр Артур – стопроцентный англичанин: такое имя, такой внешний вид, такая слава, абсолютно свободная манера держаться в этом роскошном лондонском отеле, даже время опоздания. Не будь сэр Артур неотъемлемой частью официальной Англии, Джордж, наверное, и писать бы ему не стал. Но расспрашивать человека насчет его самоопределения невежливо.

Зато можно поразмышлять о собственном статусе. В каком же смысле он не полностью англичанин? Он англичанин и по рождению, и по гражданству, и по образованию, и по вероисповеданию, и по профессии. Или, по мнению сэра Артура, когда Джорджа лишили свободы и тем самым лишили возможности заниматься юриспруденцией, его также лишили звания англичанина? Если это так, то другой родины у него нет. Вернуться на два поколения назад невозможно. Вернуться в Индию проблематично: в этой стране он не бывал, да его туда и не тянет.

– Сэр Артур, когда у меня начались... неприятности, мой отец стал время от времени звать меня к себе в кабинет и проводить беседы о достижениях знаменитых парсов. Как один из них стал успешным коммерсантом, другой – членом парламента. А однажды, хотя я вовсе не интересуюсь спортом, он рассказал мне о состоявшейся сплошь из парсов команде по крикету, что прибыла из Бомбея и совершила турне по Англии. Похоже, это была самая первая на этих берегах команда из Индии.

– По-моему, дело было в тысяча восемьсот восемьдесят шестом. Команда провела около тридцати матчей и одержала, к сожалению, одну-единственную победу. Вы уж меня простите, но я на досуге изучаю справочник Уиздена. Через пару лет та же команда приехала вторично и, насколько я помню, добилась несколько лучших результатов.

– Видите ли, сэр Артур, ваша осведомленность намного превосходит мою. А притворяться я не умею. Отец воспитал меня англичанином, и в трудную минуту у него плохо получается утешать меня сведениями,

которых он никогда прежде не акцентировал.

– Ваш отец приехал из...

– Из Бомбея. Его обратили миссионеры. Кстати, они были шотландцами, как и моя мать.

– Я понимаю вашего отца, – говорит сэра Артур, и Джордж сознает, что еще никогда в жизни не слышал этой фразы. – Истины, касающиеся нашей расы, и истины, касающиеся нашего вероисповедания, не всегда лежат в одном русле. Иногда нужно подняться на высокий заснеженный горный перевал, чтобы определить, которая из истин более значительна.

Джордж обдумывает это замечание, как будто оно часть показаний под присягой.

– Но тогда твое сердце окажется разделенным надвое и ты будешь отрезан от своего народа?

– Нет... тогда твой долг – рассказать своему народу об этом русле на горном перевале. Ты посмотришь вниз, на деревню, откуда пришел, и заметишь, что там в знак уважения приспущены флаги, поскольку восхождение на этот перевал уже само по себе считается победой. Но это не так. И ты, подняв лыжную палку, указываешь в ту сторону. Вот там, внизу, показываешь ты, там, внизу, лежит истина, в том русле, что тянется через соседнюю долину. Следуйте за мной через перевал.

Направляясь в Гранд-отель, Джордж предвидел методичный разбор улик, содержащихся в его деле. Но беседа уже не в первый раз принимает неожиданный оборот. Джордж слегка теряется. Артур улавливает в своем новом молодом друге признаки отчаяния. Он чувствует, что сам за это в ответе, а ведь старался приободрить. Значит, хватит философствований, пора переходить к делу. И к гневу.

– Джордж, ваши сторонники – мистер Йелвертон и прочие – потрудились на славу. Они проявили усердие и компетентность. Будь Британия рациональным государством, вы бы уже сидели за письменным столом не здесь, а у себя на Ньюхолл-стрит. Но увы. Поэтому я предлагаю не дублировать работу, сделанную мистером Йелвертоном, не выражать те же разумные сомнения и не формулировать те же обоснованные просьбы. У меня другой план. Я собираюсь устроить шумный скандал. Англичане – официальные англичане – скандалов не любят. Считают их пошлостью, стыдятся. Но если спокойные доводы на них не подействовали, они у меня получают скандальные доводы. Заходить с черного хода я не собираюсь – я буду подниматься по парадной лестнице. И бить в огромный барабан. Я намереваюсь хорошенько потрясти деревья, Джордж, и посмотреть, как с них посыплется гнилые плоды.

Артур встает, чтобы распрощаться. Теперь он возвышается над маленьким стряпчим. А ведь во время беседы такого не происходило. Джордж удивлен, что столь именитый человек умеет не только метать громы и молнии, но и слушать, проявлять мягкость и вместе с тем энергичность. Впрочем, несмотря на его завершающую тираду, Джорджу требуется хоть какое-нибудь подтверждение исходных позиций.

– Сэр Артур, можно спросить... если попросту... вы верите, что я невиновен?

Ясным, прямым взглядом Артур смотрит сверху вниз.

– Джордж, я читал ваши газетные статьи, а теперь познакомился с вами лично. И потому отвечу: нет, я не верю, что вы невиновны. Нет, я не думаю, что вы невиновны. Я знаю, что вы невиновны.

С этими словами он протягивает мощную, атлетическую руку, натренированную разнообразными видами спорта, в которых Джордж – полный профан.

Артур

Как только Вуд проштудировал имеющиеся документы, он тотчас же был отправлен на разведку. В его задачи входило ознакомиться с местностью, оценить нрав местных жителей, промочить горло в пабах и установить контакт с Гарри Чарльзуортом. При этом ему предписывалось не играть в сыщика и держаться подальше от дома викария. Артур еще не проработал дальнейший план действий, но знал, что самый верный способ отрезать все источники информации – это встать в людном месте лагерем и объявить, что они с Вуди намерены доказать невиновность Джорджа Эдалджи. А следовательно, виновность какого-то другого местного жителя. Не стоило ворошить осиное гнездо.

В библиотеке «Подлесья» Артур засел за сбор сведений. Удалось выяснить, что в приходе Грейт-Уэрли имеется некоторое количество зажиточных особняков и фермерских хозяйств; почва – легкий суглинок, подпочва – глина и гравий; основные сельскохозяйственные культуры – пшеница, ячмень, репа, кормовая свекла. Железнодорожная станция, в четверти мили к северо-западу, находится на ветке Уолсолл – Кэннок – Ружли Лондонской Северо-Западной железной дороги. Дом приходского священника (среднегодовая остаточная стоимость имущества, включая жилой дом, – 265 фунтов стерлингов) с 1876 года занимает преподобный

Шапурджи Эдалджи, выпускник миссионерского колледжа Святого Августина в городе Кентербери. «Рабочий институт» в соседнем Лендивуде располагает лекционно-концертным залом на 250 мест, а также читальней, получающей значительное число ежедневных и еженедельных газет. Начальная школа открыта в 1882 году; первый директор – Сэмюел Джон Мейсон. Почтмейстер (он же бакалейщик, торговец мануфактурой и скобяными товарами) – Уильям Генри Брукс; начальник станции – Альберт Эрнест Мерримен, унаследовавший, по-видимому, фуражку станционного смотрителя от своего отца, Сэмюела Мерримена. Пивом в разлив торгуют трое: Генри Бэджер, миссис Энн Корбетт и Томас Йейтс. Владелец мясной лавки – Бернард Гринсилл. Управляющий Грейт-Уэрлийской угольной компанией – Уильям Брауэлл; его секретарь – Джон Боулт. Водопроводчик, декоратор, газовщик и торговец бытовыми товарами – Уильям Уинн. На первый взгляд все так естественно, так упорядоченно, так по-английски.

К своему огорчению, он понимал, что ехать туда на автомобиле не стоит: появление на стаффордширских проселках «вулзли» с двигателем в двенадцать лошадиных сил, цепным приводом и весом в тонну вряд ли поможет водителю остаться незамеченным. А жаль, тем более что два года назад забирать этот автомобиль он ездил не куда-нибудь, а в Бирмингем. В тот раз цель поездки была не столь деликатной. Как ему помнилось, он тогда надел яхтсменскую фуражку – последний крик моды в среде автомобилистов. Вероятно, до тамошних мест такое поветрие еще не дошло: когда Артур в ожидании продавца «вулзли» расхаживал по платформе вокзала Нью-стрит, к нему подошла решительно настроенная девушка и потребовала уточнить, с какой периодичностью отправляются поезда на Уолсолл.

Оставив авто в конюшне, Артур сел в поезд на Ватерлоо, идущий от Хаслмира. В Лондоне он собирался ненадолго прервать свою поездку, чтобы повидаться с Джин – всего в четвертый раз с тех пор, как овдовел и сделался свободным мужчиной. Написал он ей заблаговременно, чтобы она ждала его сегодня после обеда, и подобрал нежнейшие слова прощания, но как только поезд отошел от перрона в Хаслмире, Артур поймал себя на страстном желании тотчас же нахлобучить по самые уши яхтсменскую фуражку и оказаться сейчас в своем «вулзли», который с ревом промчал бы его через все сердце Англии, в сторону Стаффордшира. Артур не мог объяснить, откуда взялось такое желание, из-за которого он испытывал и муки совести, и досаду. Он не сомневался, что любит Джин, что женится на ней и сделает ее второй леди Дойл, и все же не стремился к такого рода свиданию. Если бы только люди были столь же примитивно организованы,

как машины.

Чтобы не пугать других пассажиров первого класса, Артур время от времени подавлял граничивший со стоном тяжкий вздох. И это тоже входило в правила, по которым ты обязан жить. Подавлять стон, лгать о своей любви, обманывать законную жену – и все во имя чести. Треклятый парадокс: чтобы поступать достойно, приходится поступать недостойно. Ну почему нельзя схватить в охапку Джин, усадить в «вулзли», примчать в Стаффордшир, зарегистрировать в гостинице как свою жену – и фельдфебельским взглядом уничтожить любого, кто посмеет хотя бы бровью повести? Да потому, что нельзя, потому, что так не делается, потому, что это лишь на первый взгляд просто, потому что потому... Когда поезд проезжал предместья Уокинга, Артур в который раз с тихой завистью вспомнил того солдата-австралийца. Номер четыреста десять конной пехоты Нового Южного Уэльса, неподвижно лежавший в вельдте подле фляжки, увенчанной красной шахматной фигурой. Честная битва на открытых просторах во имя великой цели – трудно представить себе более благородную смерть. Вот и жизнь должна быть примерно такой же.

Он заходит к ней в квартиру; Джин одета в голубой шелк; они безоглядно обнимаются. Ничто не заставляет их отшатываться, да и потребности такой, как он понимает, нет; и все же волнения от этой встречи он не испытывает. Они садятся пить чай; Артур справляется о ее родных; Джин интересуется целью его поездки в Бирмингем.

По прошествии часа, когда ответ на ее вопрос дошел только до предварительных слушаний в Кэнноке, Джин берет Артура за руку и говорит:

- Как чудесно, милый Артур, видеть тебя в прежнем настроении.
- И тебя тоже, дорогая моя, – отвечает он и продолжает.

Как и следовало ожидать, его история расцвечена всеми возможными красками и эффектами; Джин и тронута, и благодарна, что ее любимый освобождается от гнета последних месяцев. И все равно, когда Артур завершил свой рассказ и уточнил цель поездки, когда многократно посмотрел на часы и сверился с расписанием движения поездов, Джин едва сдерживает разочарование.

- Очень жаль, Артур, что я не еду с тобой.
- Как удивительно, – отвечает он и, похоже, впервые устремляет на нее взгляд. – Представь себе: в поезде я воображал, будто мы с тобой вдвоем едем в Стаффордшир на автомобиле, как муж и жена.

Артур только покачивает головой от такого совпадения, вызванного, по всей вероятности, телепатическими способностями двух находящихся

рядом любящих сердец. Потом он встает и, взяв шляпу и пальто, уходит.

Джин не в обиде – ее любовь к Артуру слишком беззаветна; однако, положив ладони на едва теплый чайник, она склоняется к мысли, что ее положение, и в первую очередь будущее положение, требует подхода с практических позиций. В течение минувших лет дело осложнялось множеством договоренностей, оговорок и утаек. Почему она решила, что со смертью Туи все разом изменится, что мгновенно начнутся объятия среди бела дня под аплодисменты знакомых и отдаленные английские мелодии оркестра? Таких внезапных перемен не бывает; а малая толика их дополнительной свободы, может статься, будет таить в себе не меньшую, а еще бо́льшую опасность.

Она ловит себя на том, что ее отношение к Туи меняется. Прежде это была неприкасаемая другая, чью честь необходимо оберегать, незаметная хозяйка дома, простая, нежная, любящая жена и мать, которая умирала невыносимо долго. Неоценимое достоинство Туи, как сказал некогда Артур, заключалось в том, что она говорила «да» в ответ на любые его начинания. Нужно немедленно паковать и ехать в Австрию – «да»; муж решил купить новый дом – «да»; собирается на несколько дней в Лондон – «да», на несколько месяцев в Южную Африку – «да». У нее это шло от души; она безраздельно доверяла Артуру, доверяла ему принимать решения, наиболее благоприятные не только для него, но и для нее.

Джин тоже полагается на Артура и знает, что он человек чести. А вдобавок она знает – и от этого любит и ценит его еще больше, – что он никогда не стоит на месте: пишет ли новую книгу или отстаивает какое-нибудь дело, носится ли по свету или с головой бросается в очередную задумку. Он не из тех, чьи желания ограничиваются загородной виллой, мягкими тапками и садовыми инструментами; он не из тех, кто томится у калитки в ожидании почтальона, доставляющего газеты с новостями из дальних стран.

Мало-помалу в голове у Джин созревает даже не решение, а своего рода предупредительное осознание. С 15 марта 1897 года она остается бессменной подругой Артура; через пару месяцев можно будет отмечать десятую годовщину их знакомства. Десять лет, десять бесценных подснежников. Лучше дожидаться Артура, чем комфортно выйти замуж за любого другого мужчину из какой угодно части света. Однако из бессменной подруги она не имеет ни малейшего желания превращаться в бессменную невесту. Она уже воображает их супружеской парой и слышит, как Артур заявляет о неотложном отъезде – будь то в деревню Стоук-Поджес или в Тимбукту – для борьбы со злом, а она обещает тотчас же

отправить Вуда за билетами. И спокойно уточняет: за билетами для двоих. Она будет рядом. Она поедет с ним: чтобы сидеть в первом ряду на его лекции, чтобы решать все сложности, чтобы в гостиницах, на железной дороге и океанских лайнерах добиваться обслуживания по высшему разряду. Она будет гарцевать бок о бок с ним, а то и чуть впереди, учитывая ее превосходство в верховой езде. Если он не забросит гольф, она, возможно, тоже приобщится к этой игре. Ни в коей мере не уподобляясь жене-ведьме, которая провожает супруга аж до ступеней клуба, она останется рядом и докажет словом и неутомимым делом, что здесь и будет ее место, пока смерть не разлучит их. Вот какой женой она себя видит.

Между тем Артур по дороге в Бирмингем вспоминает тот единственный случай, когда выступал в роли сыщика. Общество парапсихологических исследований обратилось к нему с просьбой осмотреть дом с привидениями в дорсетширском Чармуте. Он приехал туда вместе с доктором Скоттом и неким мистером Подмором, имевшим немалый опыт подобных изысканий. Для исключения мошенничества они предприняли стандартные меры: заперли на засовы все двери и окна, разложили поперек ступеней шерстяные нитки. И в течение двух последующих ночей бодрствовали вместе с хозяином дома. В первую ночь Артур то и дело набивал трубку и боролся с дремотой; но во мраке второй ночи, когда надежда таяла с каждой минутой, они вздрогнули – и даже на миг пришли в ужас – от совсем близких яростных ударов по мебели. Грохот, как им показалось, исходил из кухни, но, прибежав туда, они обнаружили полный порядок при отсутствии посторонних лиц. В поиске тайных укрытий обыскали весь дом, от подвала до чердака, но ничего не нашли. Двери и окна по-прежнему были заперты, нитки лежали на своих местах.

Подмор воспринял эти явления с непонятным скепсисом: он подозревал, что за панелями стен прячется сообщник хозяина. В ту пору Артур тоже склонялся к этой точке зрения. Однако года через два-три дом сгорел дотла, и, что самое существенное, в саду откопали скелет ребенка лет десяти. Для Артура картина полностью изменилась. В случаях насильственной смерти детей часто высвобождается запас неизрасходованных жизненных сил. Тогда-то и обступает нас с разных сторон неизведанное и странное; принимая текучие формы, оно маячит рядом, напоминая, что возможности так называемой материи ограничены. Но если Артуру эта находка показалась неопровержимым доказательством, то Подмор отказался задним числом исправлять свой отчет. Вообще говоря, этот субъект постоянно держался как отъявленный скептик-материалист, а

не как эксперт, призванный засвидетельствовать паранормальные явления. Но стоит ли обращать внимание на таких подморков, когда в мире есть и Крукс, и Майерс, и Лодж, и Альфред Рассел Уоллес? Про себя Артур повторял, как заклинание: невероятно, но факт. Когда он впервые услышал это выражение, ему виделся в нем всего лишь гибкий парадокс; теперь он перерос в железную уверенность.

Встреча с Вудом была назначена в отеле «Империал фэмили» на Темпл-стрит. Там Артур подвергался меньшему риску быть узнанным, нежели в Гранд-отеле, где остановился бы в любом другом случае. Им совершенно не требовались дразнящие заголовки светской хроники на страницах «Газетт» или «Пост»: «ЧТО ДЕЛАЕТ В БИРМИНГЕМЕ ШЕРЛОК ХОЛМС?»

Первую вылазку в Грейт-Уэрли запланировали на следующий вечер. Под покровом декабрьских сумерек они намеревались как можно незаметней дойти до усадьбы викария, с тем чтобы по завершении своего дела тут же вернуться в Бирмингем. Артур собирался наведаться в костюмерную какого-нибудь театра и позаимствовать накладную бороду, но Вуд охладил его рвение. Он посчитал, что борода, наоборот, привлечет к ним внимание; и вообще любой визит к театральному костюмеру – это гарантия нежелательных сообщений в местной прессе. Поднятый воротник и шарф, а в поезде еще и развернутая газета – вот и все, что нужно для беспрепятственного прибытия в Уэрли; а там по тускло освещенным деревенским улицам они прогуляются до жилища викария, как будто...

– Как будто мы – кто? – уточнил Артур.

– А нам обязательно кем-то прикидываться?

Вуд не мог взять в толк, почему его босс так настаивает на маскировке: вначале материальной, а теперь и психологической. Как он считал, у любого англичанина есть неотъемлемое право посоветовать без меры любопытному прохожему не совать свой нос в чужие дела.

– Конечно. Ради собственного спокойствия. Мы должны объявить себя... мм... пожалуй, эмиссарами управления по церковному снабжению, прибывшими проверить заявку викария на ткани для церкви Святого Марка.

– Тамошний храм относительно новый, построен добротнo, – ответил Вуд, но поймал на себе взгляд работодателя. – Как скажете, сэр Артур.

Следующим вечером на платформе вокзала Нью-стрит они выбрали вагон с таким расчетом, чтобы на станции «Уэрли-Чёрчбридж» сойти как можно дальше от вокзального павильона. Таким способом они планировали избежать назойливого внимания других прибывающих

пассажиров. Но оказалось, что там никто, кроме них, не выходит, а потому самозванные церковники вызвали особый интерес у начальника станции. Дерзко закрыв шарфом усы, Артур пришел почти в игривое расположение духа. «Ты меня не знаешь, – бросил он про себя, – а я тебя знаю: Альберт Эрнест Мерримен, сын Сэмюеля. Сюрприз!»

На полутемной улице он держался за Вудом; в какой-то момент они обогнули пивную, где единственным признаком жизни был тип, который, стоя на крыльце, старательно жевал свое кепи. Минут через восемь-девять, когда газовые фонари сделались совсем редкими, в потемках замаячила унылая громада церкви Святого Марка с высоким коньком крыши. Вуд подвел своего босса почти вплотную к южной стене: на сероватом камне Артур сумел разглядеть лилово-красные потеки. Миновав крыльцо, они различили два строения ярдах в тридцати от западного угла церкви: справа стояла воскресная школа, она же – помещение для занятий, с еле заметным ромбовидным орнаментом, выложенным из кирпича посветлее, а справа – более солидный пасторский дом. Через несколько мгновений перед ними возник широкий порог, куда пятнадцатью годами ранее подбросили ключ от Уолсоллской гимназии. Поднимая дверную колотушку, Артур прикинул, как бы поосторожней ее опустить, и ясно представил, какой грохот устроил здесь инспектор Кэмпбелл, явившийся со своей ватагой добровольцев, и какой переполох начался в этом тихом доме.

Викарий с женой и дочерью поджидали визитеров. Сэр Артур сразу распознал источник и безыскусных хороших манер, и замкнутости Джорджа. Семейство обрадовалось его приезду, но не стало рассыпаться в восторгах; понимало масштабы его славы, но не выказывало благоговения. А сам он в кои-то веки с облегчением осознал, что находится в обществе людей, не прочитавших – он мог поспорить – ни одной его книги.

У викария кожа была бледнее, чем у сына; голова, словно приплюснутая сверху, начинала лысеть со лба; в волевом лице проглядывало нечто бульдожье. Форма губ такая же, как у Джорджа, но в целом, на взгляд Артура, викария отличал более представительный и более западный вид.

На свет были извлечены две увесистые папки. Артур наугад вытащил один документ: письмо, убористым почерком написанное на сложенном вчетверо листе бумаги.

«Милейший Шапурджи, – прочел он, – с радостью сообщаю, что мы теперь намерены пересмотреть преследование Викария!!! (позор для Грейт-Уэрли)». Почерк скорее уверенный, подумал Артур, нежели аккуратный. «...есть лечебница для умалишенных, в какой-то сотне миль от твоего

трижды проклятого дома... и тебя принудительно упекут, если посмеешь раскрывать рот». Орфографических ошибок пока нет. «При первой же возможности я позабочусь, чтобы на твое имя и на имя Шарлотты приходило вдвое больше самых дьявольских открыток». Надо думать, Шарлоттой зовут жену викария. «Отомстить вам с Бруксом...» Эту фамилию Артур уже встречал. «...направил от своего имени письмо Курьеру, извещая, что не несешь ответственности за долги жены... Повторяю, чтобы угодить в лечебницу, от вас даже не потребуются безумных выходок: эти люди всяко тебя арестуют». А ниже – в столбик, четырьмя строчками, издевательское прощание:

Желаю веселого Рождества и Нового года,
остаюсь,
Твой Сатана
Бог Сатана.

- Брызжет ядом, – сказал сэра Артур.
- Это которое?
- От Сатаны.
- Да-да, – подтвердил викарий. – Плодовитый корреспондент.

Артур просмотрел еще несколько листков. Одно дело – слышать об анонимных письмах и даже встречать выдержки из них в прессе, где они выглядели детскими забавами, и совсем другое, как он понял, – держать их в руках, сидя рядом с адресатами. Уже это первое письмо вызывало омерзение одним только развязным упоминанием жены викария по имени. Не иначе как тут поработал безумец, впрочем, такой безумец, который способен четким, тренированным почерком связно излагать свою извращенную неприязнь и зловещие планы. Стоило ли удивляться, что в доме Эдалджи неукоснительно запирали двери на ночь.

– «Веселого Рождества», – прочел вслух Артур, еще не веря своим глазам. – И у вас даже не возникло подозрений, кто мог написать такие гнусности?

- Подозрений? Никаких.
- А та горничная, которую вам пришлось уволить?
- Она уехала из этих краев. Давно уехала.
- А ее родня?
- Ее родня – порядочные люди. Сэр Артур, как вы понимаете, мы много над этим думали, с самого начала. Но подозрений у меня нет. Слухи и сплетни я в расчет не принимаю, а если бы и принимал, что толку? Из-за

сплетен и слухов мой сын оказался в тюрьме. Я бы никому не пожелал того, что выпало на его долю.

– Разве что виновнику.

– Вот именно.

– А этот Брукс – он торговец бакалеей и скобяными товарами?

– Да. Некоторое время ему тоже приходили письма. Но он относился к ним флегматично. Или с прохладцей. Во всяком случае, заявлять в полицию не хотел. На железной дороге был какой-то эксцесс, связанный с его сыном и еще одним подростком, – деталей уже не помню. Брукс всегда отказывался выступать заодно с нами. Должен сказать, у нас в округе полиция не в чести. По иронии судьбы, наша семья оказалась единственной, которая не утратила доверия к полицейским.

– Главный констебль не в счет.

– Его отношение оказалось... непродуктивным.

– Мистер Эйдл-джи, – Артур изо всех сил старается выговаривать правильно, – в мои планы входит узнать почему. Я намерен вернуться к истокам дела. Скажите, помимо этой откровенной травли, случалось ли вам сталкиваться в здешних краях с какими-либо другими проявлениями враждебности?

Священник вопросительно посмотрел на жену.

– Выборы, – подсказала она.

– Да, правильно. Я не раз предоставлял здание воскресной школы для политических собраний. Либералам трудно было найти помещение. А поскольку я и сам принадлежу к Либеральной партии... от ряда консервативно настроенных прихожан стали поступать жалобы.

– А нечто большее, чем жалобы?

– Один-два человека перестали посещать церковь Святого Марка, это правда.

– И тем не менее вы продолжали сдавать помещение в аренду?

– Конечно. Но не хотелось бы преувеличивать. Я говорю о протестах, пусть резких, но цивилизованных. Я не говорю об угрозах.

Сэра Артура подкупает в речах викария точность выражений, равно как и всякое отсутствие жалости к себе. Он и у Джорджа замечал те же свойства.

– Капитан Энсон как-то связан с этими событиями?

– Энсон? Нет, это было делом сугубо местного калибра. Он вступил позже. Я отложил его письма, чтобы вам показать.

Артур подробно расспросил домочадцев о том, что происходило с ними с августа по октябрь 1903 года, высматривая любые неувязки,

упущенные подробности или противоречивые свидетельства.

– Задним числом отмечу: жаль, что вы не указали инспектору Кэмпбеллу и его молодчикам на дверь, узнав об отсутствии у них ордера на обыск. Успели бы подготовиться к их возвращению, вызвать адвоката.

– Но так поступают виновные. Нам нечего было скрывать. Мы знали, что Джордж невиновен. И думали, что скорейшее завершение обыска позволит полицейским без промедления направить свои силы в более разумное русло. Во всяком случае, инспектор Кэмпбелл и его молодчики держались вполне корректно.

Но не все время, подумал Артур. В его понимании дела образовалась какая-то нестыковка, связанная с тем полицейским нашествием.

– Сэр Артур, – заговорила миссис Эдалджи, подтянутая, седая, тихая. – Вы разрешите сказать вам две вещи? Во-первых, до чего же приятно вновь слышать в этих краях шотландские интонации. Причем эдинбургские – правильно я понимаю?

– Совершенно верно, мэм.

– А во-вторых, это некоторые подробности, касающиеся моего сына. Вы ведь встречались с Джорджем.

– Он произвел на меня большое впечатление. После трех лет в Льюисе и Портленде немногим удастся сохранить душевные и физические силы. Ваш сын делает вам честь.

Миссис Эдалджи коротко улыбнулась этой похвале.

– Более всего Джордж мечтает вернуться к работе поверенного. Он всегда к ней стремился. В каком-то смысле ему сейчас тяжелее, чем в тюрьме. Там, по крайней мере, все было ясно. А нынешнее положение для него равносильно чистилищу. Пока с его имени не смыто пятно, Объединенное юридическое общество не вправе предоставить ему допуск.

Ничто не могло бы подхлестнуть Артура сильнее, чем эта мольба в мягком голосе пожилой шотландки.

– Будьте уверены, мэм, я наделаю много шума. Я устрою всеобщий переполох. Кое у кого пропадет сон еще до того, как я с ними разберусь.

Но миссис Эдалджи, судя по всему, ожидала совсем иного обещания.

– Надеюсь, сэр Артур. Мы вам очень признательны. Но сейчас я говорю о другом. Джордж, как вы заметили, мальчик... точнее, молодой человек... достаточно стойкий. Нас с мужем, честно сказать, такая стойкость удивила. Мы думали, он окажется слабее. Он собирается побороть эту несправедливость. Большого ему не нужно. К известности он не стремится. Не рвется отстаивать какую-либо идею. Или представлять конкретную позицию. Он хочет вернуться к работе. Он хочет вести

обыкновенную жизнь.

– Он хочет жениться, – вставила дочь викария, до сих пор не проронившая ни слова.

– Мод! – Викария это скорее ошарашило, нежели возмутило. – Как же так? С каких это пор? Шарлотта... тебе что-нибудь известно?

– Отец, не тревожься. Я имею в виду, что у него есть намерение жениться, теоретически.

– Жениться теоретически, – повторил викарий. – Как по-вашему, сэр Артур, такое возможно?

– Лично я, – со смешком отозвался Артур, – был женат только практически. Это единственный понятный мне статус; другого порекомендовать не могу.

– В таком случае, – здесь викарий впервые улыбнулся, – придется нам запретить Джорджу жениться теоретически.

По возвращении в отель «Империал фэмили» Артур и его секретарь поужинали позже обычного, а затем удалились в безлюдный курительный салон. Артур разжег трубку и понаблюдал, как Вуд раскуривает какую-то низкосортную папиросу.

– Прекрасная семья, – сказал сэр Артур. – Скромная, достойная.

– Да, в самом деле.

Под воздействием слов миссис Эдалджи у Артура возникло неожиданное подозрение. Что, если их приезд спровоцирует новую волну травли? В конце-то концов, Сатана – даже Бог Сатана – никуда не делся: он по-прежнему близко, точит и свое перо, и кривое режущее оружие с вогнутыми краями. Бог Сатана: какую же отталкивающую форму принимают извращения официальной религии, когда начинается ее необратимый упадок. Чем скорее будет сметено все здание, тем лучше.

– Вуди, ты позволишь мне использовать тебя как образцового слушателя? – (Ответа не требовалось, и секретарь это понимал.) – В этом деле, которое до сих пор остается для меня неясным, есть три аспекта. Это, так сказать, пропуски, которые необходимо заполнить. Вопрос первый: почему Энсон взъелся на Джорджа Эдалджи. Ты видел письма, направленные им викарию. В них он угрожает школьнику каторжными работами.

– Да, в самом деле.

– Это человек с положением. Я изучил его биографию. Второй сын ныне покойного второго графа Личфилда, военачальника Королевской артиллерии. С восемьдесят восьмого года – главный констебль графства. С какой стати человек его ранга будет писать такие письма?

Вуд только прочистил горло.

– Ну же?

– Я не следователь, сэр Артур. Мне доводилось слышать, как вы говорите: в ходе расследования необходимо устранить невозможное, тогда в остатке, скорее всего, окажется пусть невероятная, но истина.

– К сожалению, это придумал не я. Но готов подписаться под каждым словом.

– Вот потому-то из меня никогда не выйдет следователя. Если мне задают вопрос, я просто ищу очевидный ответ.

– И каков же будет твой очевидный ответ на вопрос о капитане Энсоне и Джордже Эдалджи?

– Что капитан не любит людей с другим цветом кожи.

– Ну, это слишком уж очевидно, Альфред. Настолько очевидно, что не может быть правдой. При всех своих недостатках Энсон – английский джентльмен и главный констебль графства.

– Говорю же вам: следователь из меня никакой.

– погоди, зачем же так сразу отступить? Давай-ка посмотрим, как ты заполнишь пропуск номер два. Вопрос такой. Если не брать в расчет давний эпизод со служанкой, травля семьи Эдалджи велась в два этапа. Первый длится с тысяча восемьсот девяносто второго года по начало девяносто шестого. События зашли далеко и постоянно нагнетались. И вдруг все прекращается. Целых семь лет ничего больше не происходит. Потом все начинается сызнова; тогда-то и вспорото брюхо первой лошади. Февраль тысяча девятьсот третьего. Зачем потребовался этот промежуток, вот чего я не могу понять. Зачем потребовался этот промежуток? Что скажете, следователь Вуд?

Эта игра секретарю не по душе; такое впечатление, что ведется она с единственной целью – его посрамить.

– Возможно, инициатора там не было.

– Где?

– В Уэрли.

– А куда же он делся?

– Отсутствовал.

– И где находился?

– Право, не знаю, сэр Артур. Быть может, в тюрьме сидел. Или в Бирмингеме работал. Или уходил в море.

– Сомневаюсь. Опять же, это чересчур очевидно. Сельчане бы заметили. Начались бы пересуды.

– Семейство Эдалджи, по собственному утверждению, к пересудам не

прислушивается.

– Хм. Надо проверить, прислушивается ли к ним Гарри Чарльзуорт. И так, третий аспект, который мне неясен, – это волосы на одежде. Будь у нас возможность исключить очевидное...

– Спасибо, сэр Артур.

– Ох, ради всего святого, Вуди, только без обид. Ты для меня слишком ценен, чтобы обижаться.

Вуд подумал, что не зря всегда сочувствовал такому персонажу, как доктор Ватсон.

– Так в чем заключается проблема, сэр Артур?

– Проблема заключается в следующем. Полицейские, осмотрев одежду Джорджа в доме vicария, сказали, что на ней есть волосы. Сам vicарий, его жена и дочь, осмотрев одежду Джорджа, сказали, что никаких волосков на ней нет. Судебно-медицинский эксперт доктор Баттер – а судебно-медицинские эксперты, по моим сведениям, народ чрезвычайно дотошный – в своем заключении написал, что обнаружил двадцать девять волосков, «сходных по длине, цвету и структуре» с волосками изувеченного пони. Здесь налицо явное противоречие. Выходит, Эдалджи в один голос лжесвидетельствовали, чтобы выгородить Джорджа? По всей вероятности, из этого исходили присяжные. А объяснения Джорджа сводились к тому, что он мог прислониться к воротам какого-нибудь выпаса, где есть загон для коров. Неудивительно, что присяжные ему не поверили. Это больше похоже на паническую отговорку, чем на описание событий. А кроме того, это оставляет родных в положении лжесвидетелей. Если бы к его одежде и впрямь прилипли волосы, мыслимо ли было их не увидеть?

Вуд призадумался. С момента его поступления на службу сэр Артур возлагал на него все новые функции. Секретарь, переписчик, имитатор подписи, помощник автомобилиста, партнер по гольфу, соперник-бильярдист; а отныне еще и образцовый слушатель, изрекающий очевидное. Причем готовый к насмешкам. Что ж, так тому и быть.

– Если при осмотре одежды семьей Эдалджи волосков на куртке не было...

– Так-так...

– И если им неоткуда было взяться, поскольку Джордж не прислонялся ни к каким воротам...

– Так-так...

– Значит, они прилипли к одежде после.

– После чего?

– После того, как одежду изъяли из дома vicария.

– По-твоему, их налепил доктор Баттер?

– Нет. Не знаю. Но если вам нужен очевидный ответ, они прилипли к одежде после. Каким-то образом. А если так, то лгут полицейские. Или некоторые из них.

– Ничего невозможного в этом нет. Знаешь, Альфред, надо отдать тебе должное: не так уж ты не прав.

А ведь это похвала, рассудил Вуд; доктор Ватсон мог бы ею гордиться.

На другой день они приехали в Уэрли почти без маскировки и заявили на молочную ферму к Гарри Чарльзуорту. Им пришлось прокладывать себе путь через стадо коров к небольшой пристройке у задней стены фермерского дома, где, собственно, располагалась контора. Всю обстановку составляли три колченогих стула, небольшой письменный стол, грязная циновка из пальмового волокна и покосившийся настенный календарь за прошлый месяц. Гарри, светловолосый парень с открытым лицом, был, судя по всему, только рад отвлечься от конторских дел.

– Стало быть, вы насчет Джорджа приехали?

Артур сурово посмотрел на Вуда, но тот отрицательно помотал головой.

– А откуда у вас такие сведения?

– Так вы же давеча у викария побывали.

– Разве?

– Ну, во всяком случае, люди видели, как двое чужаков уже в потемках шли к дому викария: один – рослый джентльмен, прятал усы под шарфом, другой поменьше ростом, был в шляпе-котелке.

– Надо же, – вырвалось у Артура. Как видно, стоило все-таки обратиться к театральному костюмеру.

– А теперь эти двое джентльменов, особо не таясь, пришли ко мне по делу – до поры до времени конфиденциальному, но ожидающему скорой огласки. – Гарри Чарльзуорт был необычайно доволен. И с радостью пустился в воспоминания. – Да, в детстве мы с ним за одной партой сидели. Джордж тихоней был. Ни в какие истории не ввязывался, не то что мы все. И соображал неплохо. Получше меня, а я тоже в ту пору и сам неглуп был. Теперь, конечно, по мне не скажешь. Если день-деньской на коровьи зады пялиться, ума не прибудет, сами понимаете.

Сей вульгарный автобиографический экскурс Артур оставил без внимания.

– А были у Джорджа враги? Быть может, его недолюбливали – например, из-за цвета кожи?

Гарри задумался.

– Не припомню. Но вы же знаете, как у мелюзги бывает: им взрослые не указ. Да и отношения у них что ни месяц разные. Если Джорджу и доставалось, так за то, что слишком умный был. Или за то, что папаша его, викарий, мальчишкам спуску не давал. Или за близорукость. Учитель его за первую парту сажал – иначе он не видел, что на доске написано. Может, из-за этого и любимчиком считался. Но уж всяко не за то, что цветной.

Уэрлийские бесчинства Гарри оценивал попросту. Дело против Джорджа – дурость. Полиция – сплошная дурость. А слухи о неведомой банде, орудовавшей под покровом ночи по указке неведомого Капитана, – это всем дуростям дурость.

– Гарри, нам необходимо побеседовать с конным полицейским, Грином. Ведь он, единственный во всей округе, признался, что на самом деле полоснул ножом лошадь.

– Не иначе как вам охота подальше прокатиться, верно?

– Куда же?

– В Южную Африку. Ох, вы ж не в курсе. Через пару недель после суда Гарри Грин купил билет до Южной Африки. В один конец.

– Интересно. А кто оплатил, не знаете?

– Уж всяко не сам Гарри Грин, это точно. Кому-то выгодно было спровадить его от греха подальше.

– Полицейским?

– Возможно. Он у них был как бельмо на глазу. Признательные показания свои назад взял. Я, говорит, лошадей отродясь не резал, из меня, дескать, в полиции признание выбили.

– Так и сказал? Ничего себе. Как это понимать, Вуди?

Вуд послушно высказал очевидное:

– Мне думается, он лгал либо в первом случае, либо во втором. А может, – добавил он с ноткой лукавства, – в обоих.

– Гарри, не могли бы вы узнать у мистера Грина адрес его сына Гарри в Южной Африке?

– Попробовать можно.

– И еще один вопрос: кому в Уэрли приписывали эти злодеяния, коль скоро Джордж их не совершал?

– Люди всегда языками чешут. Да только этому грош цена. Я вот что скажу: такое под силу лишь тому, кто к скотине подход имеет. Попробуй-ка подойди хоть к овце, хоть к корове и скажи: постой смирно, красава, я тебе сейчас кишки выпущу. Посмотрел бы я, как Джордж Эдалджи ко мне в доилку заходит: да его первая же корова... – Гарри от смеха ненадолго сбился с мысли. – Не успеет он табуретку под вымя пододвинуть, как его

залигают до смерти или в навоз опрокинут.

Артур подался вперед.

– Гарри, вы не откажетесь помочь нам вернуть честное имя вашему другу и однокласснику?

Отметив про себя пониженный голос и вкрадчивый тон, Гарри Чарльзуорт насторожился.

– Да мы с ним никогда в друзьях не ходили. – Тут он просветлел лицом. – Мне, конечно, придется выходной брать...

В начале их встречи Артур приписал ему более широкую натуру, но переживать не стал. После внесения аванса и утверждения дальнейшего порядка выплат Гарри Чарльзуорт, уже в новом качестве помощника детектива-консультанта, показал им дорогу, по которой предположительно шел Джордж темной дождливой августовской порой три с половиной года назад. Они отправились через луг, раскинувшийся за усадьбой викария, перелезли через забор, пробились сквозь живую изгородь, спустились в подземный переход, чтобы преодолеть железнодорожное полотно, перелезли через другой забор, пересекли очередной луг, не спасовали перед цепкими шипами следующей живой изгороди, оставили позади еще один загон и оказались на краю луга, принадлежавшего шахте. По предварительной оценке, путь их составил примерно три четверти мили.

Вуд достал карманные часы:

– Восемнадцать с половиной минут.

– Притом что мы в хорошей форме, – прокомментировал Артур, все еще выдергивая шипы из своего пальто и счищая грязь с ботинок. – Притом что сейчас ясный, сухой день и у нас отличное зрение.

На молочной ферме, когда очередная сумма перешла из рук в руки, Артур поинтересовался, как вообще обстоит в здешних местах дело с преступностью. Ничего особенного он не услышал: кражи скота, нахождение в общественных местах в нетрезвом виде, поджог стогов. А бывают ли какие-нибудь жестокие преступления, помимо резни домашнего скота? Гарри с трудом припомнил один случай – примерно в то же время, когда приговорили Джорджа. Нападение на мать с маленькой девочкой. Двое парней, вооруженных ножом. Это вызвало некоторые волнения, но до суда так и не дошло. Да, хорошо бы ознакомиться с делом.

Они скрепили договоренность рукопожатием, и Гарри проводил их до скобяной лавки, предлагавшей также бакалейные товары, мануфактуру и почтовые услуги.

Уильям Брукс оказался невысоким, пухлым человечком с пышными седыми усами, которые уравнивали лысый череп. Зеленый фартук от

времени пошел пятнами. Лавочник не проявил ни явного радушия, ни явной подозрительности. Он уже собирался провести гостей в подсобное помещение, когда сэр Артур, ткнув локтем секретаря, объявил, что ему срочно требуется скребок для обуви. Предложенные образцы, имевшиеся в наличии, вызвали у него серьезный интерес; а по завершении покупки и упаковки он повел себя так, словно вся остальная часть их визита была просто счастливым озарением.

В подсобке Брукс так долго рылся в ящиках, бормоча себе под нос, что сэр Артур уже начал опасаться, как бы ему для ускорения процесса не пришлось купить еще цинковую ванну и пару швабр в придачу. Но хозяин в конце концов извлек на свет небольшую, перетянутую шпагатом стопку изрядно помятых писем. Артур мгновенно узнал дешевую бумагу – все те же тетрадные листы, на которых были написаны письма, доставленные в дом викария.

Как мог, Брукс припомнил неудачную попытку шантажа трехлетней давности. Его сын Фредерик и еще один парнишка якобы оплевали какую-то старуху на станции Уолсолл, и лавочнику настоятельно советовали отправить денежный перевод на адрес тамошнего почтового отделения, дабы избавить сына от судебного преследования.

– И вы на это не пошли?

– Еще чего. Да вы только посмотрите на эту писанину. Один почерк чего стоит. На шармачка меня взять хотели.

– У вас даже в мыслях не было откупиться?

– Нет, не было.

– А вы не хотели заявить в полицию?

Брукс презрительно надул щеки.

– Нет, не хотел. Ни минуты. Выбросил это из головы, а потом все рассосалось само собой. А викарий – тот кашу заварил. Обивал пороги, жаловался, писал главному констеблю, одно, другое – и чего добился? Еще хуже сделал и себе, и сыну своему. Поймите, я его не виню, да только он никогда не понимал нашенскую деревню. Слишком уж он для нее... засушенный, если вы меня понимаете.

Артур не стал это комментировать.

– Как вы считаете, почему шантажист выбрал именно вашего сына и его приятеля?

Брукс опять надул щеки.

– Говорю же, сэр, времени-то сколько минуло. Лет десять? А то и больше. Вам бы парня моего поспрошать, он уж взрослый стал.

– Не вспомните ли, кто был тот второй мальчик?

- Я такими вещами голову не забиваю.
- А ваш сын живет где-нибудь поблизости?
- Фред? Нет, Фред давно уехал. В Бирмингеме теперь обретается. На канале работает. А магазин побоку. – Лавочник замялся, а потом выпалил с неожиданной горячностью: – Паразит.
- Нет ли у вас его адреса?
- Может, и есть. А у вас нет ли желания чего-нибудь прикупить к этому скребку?

На обратном пути Артур пребывал в отличном расположении духа. В поезде он то и дело косился на три упакованных в вощеную бумагу и перетянутых шпагатом свертка, лежащие рядом с Вудом, и улыбался своим мыслям об устройстве мира.

- Итак, что ты думаешь о наших сегодняшних достижениях, Альфред? А что он думает? Каков очевидный ответ? Ну то есть каков правдивый ответ?
- Если честно, я думаю, что достигли мы немногого.
- Нет, ты недооцениваешь. Пусть мы достигли немногого, зато по многим направлениям. А скребок – просто необходимая штука.
- Разве? Мне казалось, в «Подлесье» такой уже есть.
- Не занудствуй, Вуди. Скребок для обуви лишним не бывает. Мы назовем его «скребок Эдалджи» и будем еще долго вспоминать это приключение.
- Как скажете.

Предоставив Вуду размышлять о своем, Артур смотрел в окно на проносящиеся мимо поля и живые изгороди. Он пытался представить, как этим же маршрутом ездил Джордж Эдалджи: сначала в Мейсон-колледж, потом в фирму «Сангстер, Викери энд Спейт» и, наконец, в свою собственную контору на Ньюхолл-стрит. Он пытался представить Джорджа Эдалджи в деревне Грейт-Уэрли: как тот гулял по улицам, ходил к сапожнику, делал покупки у Брукса. Красноречивый и хорошо одетый, этот молодой поверенный выглядел бы белой вороной даже в Хайндхеде, а уж в стаффордширской глубинке – тем более. Сомнений нет, это достойный парень, наделенный ясным умом и стойким характером. Но вероятнее всего, что на первый взгляд – особенно на взгляд дремучего батрака, туповатого деревенского полисмена, ограниченного англичанина-присяжного или настороженного председателя уголовного суда – в глаза бросятся только смуглая кожа и непривычный глазной дефект. Странная личность – вот что подумают о таком человеке. И случись в округе какие-нибудь странные события, деревенская косность, подменяющая собой

логику, недолго думая, свяжет их с этой странной личностью.

А когда разум – истинный разум – отодвигают в сторону, тем, кто это делает, выгодно задвинуть его как можно дальше. Чтобы достоинства человека обернулись его недостатками. Чтобы самообладание выглядело скрытностью, а ум – хитростью. В итоге из уважаемого юриста, подслеповатого, как крот, и слабого телом, получается выродок, который под покровом ночи шныряет по лугам и обводит вокруг пальца два десятка специальных констеблей, чтобы умыться кровью располосованных животных. А что перевернуто с ног на голову, то уже видится логичным. И вызвал эту метаморфозу, по мнению Артура, редкий дефект зрения, отмеченный им у Джорджа еще в вестибюле Гранд-отеля на Черинг-Кросс. В нем коренилась и моральная уверенность Артура в невинности Джорджа Эдалджи, и причина, по которой солиситор стал козлом отпущения.

В Бирмингеме они разыскали Фредерика Брукса: тот снимал жилье неподалеку от канала. Оценив внешность двух джентльменов, от которых на него повеяло столицей, он признал упаковку трех свертков, зажатых под мышкой у того типа, что поменьше ростом, и заявил, что информация обойдется им в полкроны. Сэр Артур, уже свыкшийся с местными нравами, предложил скользящую шкалу от одного шиллинга трех пенсов – и аккурат до двух с половиной шиллингов, в зависимости от ценности сведений. Брукс согласился.

Фред Уинн, сказал он, так звали его приятеля. Да, имел он какое-то отношение к водопроводчику и газовщику из Уэрли. Не то племянник, не то троюродный брат. Уинн жил в двух остановках по той же самой железнодорожной ветке; они с ним в Уолсоллской гимназии вместе учились. Нет, с тех пор не виделись. А что до того старого поклепа, насчет плевков, так это как пить дать месть одного мальчика, который вагонное окно разбил и пытался на них свалить. Ну, они тут же на него обратно свалили, а потом железнодорожное начальство всех троих допросило плюс еще и отцов. Кто был прав, кто виноват, начальство разобраться не сумело, и всей троице просто вынесли порицание. Тем дело и кончилось. А парня того звали Шпек. Жил где-то близ Уэрли. Нет, его тоже Брукс потом не встречал.

Серебряным автоматическим карандашом Артур делал записи. По его прикидкам, информация тянула на два шиллинга три пенса. Фредерик Брукс не протестовал.

В отеле «Империал фэмили» Артуру передали записку от Джин.

Дорогой мой Артур,

пишу узнать, как продвигается твое великое расследование. Жаль, что не могу быть рядом, когда ты собираешь доказательства и беседуешь с подозреваемыми. Все, что ты делаешь, для меня столь же важно, как моя собственная жизнь. Я по тебе скучаю, но радуюсь при мысли о том, чего ты намерен добиться для своего юного знакомца. Обо всех твоих открытиях желает поскорее узнать

с любовью и обожанием

твоя Джин.

Артур был ошарашен. Для любовного письма такая прямота не характерна. Вероятно, это вообще не любовное письмо. Нет, любовное, конечно. Пожалуй, Джин изменилась... изменилась по сравнению с тем, какой он знал ее прежде. Она его удивила, даже после десяти лет знакомства. Он ею гордился, как гордился и тем, что сам еще способен удивляться.

Позже, когда Артур на сон грядущий в последний раз перечитывал записку, Альфред Вуд лежал без сна в своем номере поскромнее на одном из верхних этажей. В темноте он с трудом различал на своем прикроватном столике три нераспакованных свертка, которые всучил им хитрюглавочник. Помимо этого, Брукс вытянул из сэра Артура «залог» за передачу ему во временное пользование стопки анонимных писем. Вуд намеренно умалчивал об этом и тогда, и позднее; не потому ли на обратном пути работодатель обвинил его в занудстве.

Сегодня он играл роль помощника следователя; партнера, если не друга сэра Артура. После ужина, в гостиничной бильярдной, соперничество сделало двух мужчин почти равными. А завтра ему предстояло вернуться к своему привычному положению секретаря и переписчика, чтобы, подобно девице-стенографистке, писать под диктовку. Разнообразие обязанностей и уровней мышления его нисколько не задевало. Преданный своему боссу, он служил ему усердно и с пользой в любом необходимом качестве. Если Вуд требовался сэру Артуру для того, чтобы изрекать очевидное, он это делал. Если Вуд требовался сэру Артуру для того, чтобы не изрекать очевидного, он становился нем как рыба.

От него также требовалось не замечать очевидного. Когда в вестибюле

отеля портье бросился им навстречу с каким-то письмом, Вуд не заметил, как дрожит рука сэра Артура, принявшая записку, и с какой детской неловкостью он засовывает ее в карман. Он не заметил, с какой поспешностью его работодатель перед ужином направился к себе в номер и с каким оживленным видом потом сидел за столом. Это был важный профессиональный навык – наблюдать, не замечая, и за истекшие годы полезность его только возросла.

Он думал, что не скоро приспособится к мисс Лекки; впрочем, не пройдет и двенадцати месяцев, думалось ему, как девичья фамилия окажется ей без надобности. А он будет служить второй леди Конан Дойл так же старательно, как служил первой, пусть и без прежней сердечности. Альфред еще не определил свое отношение к Джин Лекки. Понятно, что это не имело большого значения – школьному учителю вовсе не обязательно любить директорскую жену. А мнения его никто не спросит. Значит, никакой роли оно не играет. Но за те восемь или девять лет, что мисс Лекки наезжала в «Подлесье», он не раз ловил себя на мысли, что сквозит в ней какая-то неискренность. Как только до нее дошло, что в повседневной жизни сэра Артура секретарь занимает важное место, она тотчас же стала проявлять к нему доброжелательность. И не просто доброжелательность. То за локоть его тронет, то – в подражание сэру Артуру – обратится к нему «Вуди». Право на такое обращение еще заслужить надо. Даже миссис Дойл (как он ее всегда называл про себя) к нему так не обращалась. Мисс Лекки изо всех сил старается изображать естественность, а временами делает вид, будто с трудом сдерживает свою безграничную душевную теплоту; но Вуд видит в этом лишь род кокетства. Он мог бы поспорить на что угодно: сэр Артур ничего такого не замечает. Его работодатель любит повторять, что партия в гольф – это кокетство; а Вуд всегда считал, что любая спортивная игра поступает с тобою куда честней большинства женщин.

Но и это не имеет никакого значения. Если сэр Артур получил желаемое и мисс Лекки также, если им хорошо вместе, никакого вреда тут нет. Но Альфред Вуд чаще обычного вздыхал с облегчением оттого, что сам и близко не стоял к институту брака. Никаких преимуществ такого союза он не видел, за исключением разве что гигиенических. Женишься на прямодушной – скоро начнешь маяться от тоски; женишься на притворщице – не заметишь, как из тебя начнут веревки вить. А другого выбора у мужчины, пожалуй, и нет.

Порой сэр Артур упрекает его за перепады настроения. Но сам-то он чувствует: на него иногда просто накатывают периоды молчания – ну и

очевидные мысли. Касающиеся, например, миссис Дойл: какие счастливые дни были в Саутси, какие напряженные – в Лондоне и какие долгие, печальные месяцы пришли напоследок. Посещают его и мысли о будущей леди Конан Дойл, о том, как она повлияет на сэра Артура и на весь уклад домашней жизни. И мысли о Кингсли и Мэри – как они встретят мачеху, вернее, именно эту мачеху. За Кингсли можно не беспокоиться: в нем уже проявилось отцовское мужское жизнелюбие. А вот Мэри вызывала у Вуда некоторое беспокойство: девушка она неловкая, трепетная.

Что ж, на сегодня достаточно. Да, вот еще что: утром неплохо было бы случайно забыть где-нибудь и скребок, и другие приобретения.

В «Подлесье» Артур удалился к себе в кабинет, набил трубку и стал продумывать стратегию. Ясно, что атаку нужно вести с двух флангов. С одной стороны, установить раз и навсегда невиновность Джорджа Эдалджи; не просто показать, что его несправедливо осудили на основании заведомо ложных сведений, но добиться признания его полной, стопроцентной невиновности. С другой стороны, установить истинного преступника, заставить Министерство внутренних дел признать свои ошибки и начать новый процесс.

Погрузившись в эти планы, Артур оказался в своей стихии. Он как будто задумал новую книгу: сюжет уже есть, но не весь, персонажи есть, но не все, есть и кое-какие причинно-следственные связи. Начало есть, концовка есть. Придется держать в голове большое количество тем одновременно. Одни предстанут в развитии, другие статично; одни выстроятся сами собой, другие будут сопротивляться любым направленным на них мыслительным усилиям. Что ж, ему не привыкать. А потому он свел основные пункты в таблицу и сопроводил краткими пометками.

1. СУД

Йелвертон. Использовать мат-лы дела (с разреш.), выстроить, заострить. С осторожностью – адвокат. Вачелл? Нет – избегать возобновл. линии защиты. Жаль, нет официальной стенограммы (начать кампанию за получение?). Достоверные газетные репортажи? (помимо «Арбитра»)

Волоски/Баттер. У., видимо, прав!! Не ранее (иначе – лжесвид. семьи Эдалджи)... позже. Ненамеренно, намеренно? Кто? Когда? Как? Баттер?? Беседа. Также: найденные волосы, какая-л. натяжка/ допущение? Или

обязательно пони?

Письма. Рассмотреть: бумага/мат-лы, орфография, стиль, содержание, психология. Гаррин, обман. Дело Бека. Предложить более квалиф. эксперта (хор./плохая тактика?). Кого? С процесса Дрейфуса? Тж: писал один? Больше? Тж. писал = изувер? Писал Х изувер? Связь/пересечение?

Зрение. Отчет Скотта. Достаточно? Др.? Показания матери. Воздействие светл./темн. времени на зрение Дж. Э.?

Грин. Кто выбивал? Кто оплатил? След /беседа.

Энсон. Беседа. Предубежд.? Сокрытие улик? Давление на полиц. управл. Встр-ся с Кэмпбеллом. Попросить полиц. протоколы?

Одно из преимуществ славы, как понимал Артур, состоит в том, что твое имя открывает многие двери. Требовался ему лепидоптеролог или специалист по истории большого лука, судебно-медицинский эксперт или главный констебль – все его просьбы обычно встречались благосклонно. И в основном благодаря Холмсу – притом что благодарить Холмса Артур не особенно любил. Мог ли он знать, придумывая этого героя, что детектив-консультант послужит ему ключом от всех замков?

Вновь раскурив трубку, он перешел ко второй части своей тематической таблицы.

2. ВИНОВНИК

Письма. См. выше.

Скот. Рабочие на бойне? Мясники? Фермеры? Ср. сходные дела. Способ типичный/нетипичный? Спец – кто? Сплетни/подозрение (Гарри Ч.)

Орудие. Не бритва (суд)... что? Баттер? Льюис? «кривое с вогн. боками» Нож? Садовый инстр.? назначение? Приспособленный инстр-т?

Промежуток. 7 лет тишина 96–03. Почему?? Намеренно/ненамеренно/вынужд.? Кто отсутствовал? Кто мог знать?

Уолсолл. Ключ.

Гимназия

Грейторекс. Др. подростки. Окно/плевки. Брукс. Уинн. Шпек. Связаны? Не связаны? Обычно? Любые дела/связи Дж. Э. в данном р-не (спросить). Директор?

Предыд./последующ. Др. случаи изуверства. Фаррингтон.

На данный момент это все. Попыхивая трубкой, Артур пробежал глазами таблицы, пытаясь найти сильные и слабые позиции. Взять хотя бы Фаррингтона. Фаррингтон – грубиян-шахтер, трудился на уэрлийской шахте и угодил за решетку весной четвертого года (примерно в то время, когда Джорджа перевели из Льюиса в Портленд) за нанесение увечий лошади, двум овцам и ягненку. Естественно, полицейские тут же заявили, что этот буян, неграмотный, не вылезавший из питейных заведений, был подручным известного преступника Эдалджи. Явно родственные души, саркастически подумал Артур. Подскажет ли Фаррингтон ему ответ или заведет в тупик? Не было ли его преступление чисто подражательным?

Возможно, что-нибудь сообщат наемник Брукс и таинственный Шпек. Странная фамилия – Шпек; в настоящий момент на ум приходила только Южная Африка. На военной службе Артур объедался шпеком – так на местном наречии называли шпиг. Этот продукт, в отличие от английского бекона, получали от любых животных: как-то раз Артуру довелось попробовать даже гиппопотамовый шпек. Где же это было? В Блумфонтейне или в экспедиции на север страны?

Мысли его блуждали. А опыт показывал, что единственный способ сосредоточиться – это первым делом очистить ум. Холмс мог бы сыграть на скрипке, а возможно, предаться порочной страсти, которую, к своему нынешнему смущению, приписал ему его создатель. Кокаиновый шприц – это не для Артура: он полагался на комплект клюшек для гольфа со стержнями из дерева пекана.

Теоретически эту игру, как он считал, изобрели специально для него. В ней участвовали глаз, мозг и тело: подходящее сочетание для офтальмолога, который переключился на литературу, но, как прежде, поддерживал свою физическую форму. Во всяком случае, теоретически. На практике эта игра постоянно тебя манит, а сама не дается. Вот в таком танце она и водит его по всему свету.

Подъезжая к гольф-клубу в Хэнкли, Артур вспомнил убогую площадку перед отелем «Мена-хаус». Посланный резаным ударом мяч вполне мог впиться в землю у пирамиды какого-нибудь Рамзеса или Тотмеса. Как-то

раз случайный прохожий, понаблюдав за мощной, но беспорядочной игрой Артура, язвительно заметил, что, по его сведениям, в Египте введен особый налог на раскопки. Но еще большей странностью отличалась игра в Вермонте, у Киплинга. Близился День благодарения, землю уже замело снегом, и после удара мяч тотчас же исчезал из виду. К счастью, один из игроков (они до сих пор спорили, кто именно) придумал раскрасить мячи в красный цвет. Странности этим не ограничивались, потому что снежный наст придавал мячу совершенно фантастическую траекторию после вполне приличных, даже самых легких ударов. В какой-то момент они с Редьярдом вышли на склон; аляповатые мячи, не встречая никаких препятствий, летели за добрых две мили, прямо в реку Коннектикут. Две мили: так всегда считали они с Редьярдом – и к черту скепсис некоторых клубов.

Кокетка-игра сегодня была к нему благосклонна, и он вскоре оказался на восемнадцатом фервее, не теряя надежды набрать свыше восьмидесяти очков. Если бы он сумел провести удар так, чтобы потом достаточно было подтолкнуть мяч к лунке... Вспоминая тот удар, он вдруг понял, что играть на этом поле ему осталось считанные разы. По той простой причине, что из «Подлесья» придется уехать. Расстаться с «Подлесьем»? Это невозможно, машинально ответил он. Да, и вместе с тем неизбежно. Он построил этот дом для Туи, которая оставалась здесь первой и единственной хозяйкой. Нельзя же привезти сюда Джин как невесту? Это было бы не только бесчестно, но попросту неприлично. Одно дело, когда Туи в своей неизбывной святости намекала на его повторный брак, и совсем другое – привести вторую жену в тот же самый дом и предаваться с нею тем ночным радостям, которые были недоступны для него и Туи на протяжении всех лет, прожитых под этой крышей.

Об этом не могло быть и речи. Но до чего же тактично и умно вела себя Джин, которая ни словом не обмолвилась об этой ситуации, предоставив ему сделать собственный вывод. Поистине необыкновенная женщина. Трогало его также и то, что она близко к сердцу приняла дело Эдалджи. Проводить сравнения – это не по-джентльменски, но для Туи, которая безусловно одобрила бы эту миссию мужа, мало что изменилось бы с его победой или поражением. Для Джин, конечно, тоже, но ее интерес меняет все дело. Он придает Артуру решимости добиваться победы – ради Джорджа, во имя справедливости, во имя – забирай выше – чести его страны; и, конечно, во имя его любимой. Этот трофей он положит к ее ногам.

Воодушевленный такими эмоциями, Артур забросил первый мяч футов на пятнадцать дальше лунки, второй не добросил на шесть футов, а

потом ухитрился по нему промазать. Восемьдесят два вместо семидесяти девяти; в самом деле, женщинам не место на поле для гольфа. Не только на фервеях и гринах, но и в головах игроков, а иначе наступит хаос, как только что и случилось. Джин когда-то намекнула, что собирается заняться гольфом; у Артура это не вызвало энтузиазма. Но идея была явно неуместная. Это ведь даже не кабинка на избирательном участке, куда не следует допускать прекрасный пол в интересах гражданской гармонии.

Вернувшись в «Подлесье», он обнаружил в дневной почте сообщение от мистера Кеннета Скотта с Манчестер-Сквер.

– Есть! – вскричал он, распахивая ногой дверь в кабинет Вуда. – Есть!

Секретарь посмотрел на развернутый перед ним листок бумаги. На нем читалось:

П.: дптр сф. 8.75

дптр цил. 1.75. Ось 90°

Л.: дптр сф. 8.25

– Смотри: я поручил Скотту парализовать аккомодацию атропином, чтобы пациент не мог повлиять на результаты. На тот случай, если кто-нибудь станет утверждать, будто Джордж симулировал слепоту. И вот пожалуйста: именно на это я и рассчитывал. Стопроцентно! Неопровержимо!

– Позвольте спросить, – начал Вуд, которому в этот день роль Ватсона давалась легче, – о чем именно это свидетельствует?

– Это свидетельствует, это свидетельствует... За все годы моей врачебной практики мне ни разу не доводилось корректировать такую высокую степень астигматизма. Вот, послушай, что пишет Скотт. – Он выхватил у секретаря письмо. – «Как и все миопики, пациент Эдалджи постоянно испытывает трудности при необходимости различения любых предметов, находящихся на расстоянии нескольких дюймов и далее, а в сумерках практически не способен ориентироваться на местности, незнакомой ему досконально». Иными словами, Альфред, иными словами, господин присяжный, он слеп, как пресловутый крот. Только крот, естественно, способен – в отличие от нашего друга – под покровом ночи найти луг. Я знаю, что надо делать. Я брошу вызов. Закажу по этому рецепту очки, и если какой-нибудь защитник полиции нацепит их в темноте, он, гарантирую, не сможет пройти от дома викария до луга и обратно в пределах одного часа. Готов поставить на кон свою репутацию.

Почему я вижу на вашем лице сомнение, господин присяжный?

– Я просто внимательно слушаю, сэр Артур.

– Нет, ты выражаешь сомнение. Мне ли не видеть. Ну же, задавай свой очевидный вопрос.

Вуд вздохнул:

– Мне всего лишь подумалось, что зрение у Джорджа могло ухудшиться за три года тюремного заключения.

– Ага! Так я и знал, что это придет тебе в голову. Нет, исключено. Слабое зрение Джорджа – это неизменное структурное состояние. Подтверждено официально. Так что с тысяча девятьсот третьего никаких изменений не произошло. А в то время у него даже не было очков. Еще вопросы есть?

– Вопросов нет, сэр Артур.

Было, впрочем, одно наблюдение, которое он не решился высказать вслух. Возможно, его работодатель в бытность свою глазным врачом и впрямь никогда не встречал такой степени астигматизма. Но он сам в присутствии Вуда за ужином неоднократно развлекал гостей историей о том, как его приемная на Девоншир-Плейс вечно пустовала и вследствие полного отсутствия пациентов у него появилась возможность писать книги.

– Думаю запросить три тысячи.

– Три тысячи чего?

– Фунтов, друг мой, фунтов стерлингов. Мои расчеты основываются на деле Бека.

Выражение лица Вуда была красноречивее любого вопроса.

– Дело Бека, неужели не помнишь дело Бека? Серьезно? – Сэр Артур с насмешливым осуждением покачал головой. – Адольф Бек. По происхождению, как мне помнится, норвежец. Был осужден за мошенничество в отношении женщин. Его сочли бывшим каторжником по имени – ты не поверишь – Джон Смит, который отбывал срок за аналогичные преступления. Бек получил семь лет каторжной тюрьмы. Освобожден по особому решению лет пять назад. Через три года арестован вновь. И вновь приговорен. У судьи оставались некоторые сомнения, он назначил отсрочку исполнения приговора, а тем временем объявился не кто иной, как первоначальный мошенник – мистер Смит. Припоминаю одну подробность. Каким образом было установлено, что Бек и Смит – не одно и то же лицо? Один подвергся обрезанию, второй нет. Вот на каких подробностях зачастую базируется правосудие... Так-так. Вид у тебя еще более недоуменный, чем в самом начале. Оно и понятно. Итак, основная тема. Две главные темы. Во-первых, Бека осудили на основании

ошибочных показаний многочисленных свидетельниц. Десяти или одиннадцати, представь себе. Я не комментирую. Но основанием для вынесения обвинительного приговора послужило также безапелляционное заключение некоего графолога, специалиста по измененному и анонимному почерку. Этим специалистом был наш старый знакомый Томас Гаррин. Его обязали явиться в комиссию по пересмотру дела Бека и признать, что проведенная им экспертиза дважды привела к осуждению невиновного. А менее чем за год до этого признания своей некомпетентности он с пеной у рта свидетельствовал против Джорджа Эдалджи. С моей точки зрения, такого человека следует лишить права свидетельствовать в суде, а каждое дело, которое рассматривалось с его участием, должно быть направлено на пересмотр. Однако продолжим. Во-вторых, после доклада комиссии Бек был помилован и получил от казны пять тысяч фунтов. Пять тысяч фунтов за пять лет. Вычислить тариф несложно. Я запрошу три тысячи.

Кампания не стояла на месте. Сэр Артур намеревался обратиться к доктору Баттеру с просьбой о личной беседе; к директору Уолсоллской гимназии – для наведения справок о юном Шпеке; к капитану Энсону – за полицейскими протоколами; наконец, к Джорджу – чтобы проверить, не было ли у него каких-нибудь продолжительных дел в Уолсолле. Он собирался ознакомиться с докладом комиссии по делу Бека, чтобы подтвердить, как низко пал Гаррин, и официально потребовать от министра внутренних дел нового и окончательного расследования.

День-другой он планировал посвятить изучению анонимных писем, с тем чтобы сделать их менее анонимными за счет перехода от графологии к психологии, а оттуда, возможно, и к установлению личности. После этого он собирался передать собранное досье доктору Линдсею Джонсону для профессионального сравнения с образцами почерка Джорджа. В Европе Джонсон был признанным авторитетом: мэтр Лабори привлекал его к процессу по делу Дрейфуса. Да, думал Артур: к моменту осуществления моих планов дело Эдалджи получит такой же резонанс, как дело Дрейфуса во Франции.

С лупой, блокнотом и неизменным автоматическим карандашом он уселся за стол, положив перед собой стопки писем. Сделал глубокий вдох, а потом медленно, осторожно, словно боясь выпустить джинна, развязал ленточки на стопке викария и шпагат на стопке Брукса. Письма в стопке викария были датированы и пронумерованы карандашом в порядке поступления; у лавочника письма хранились без видимого порядка.

Артур прочел от начала до конца эту ядовитую ненависть, издевательскую фамильярность, это бахвальство и подступающее безумие,

эти широковещательные заявления во всей их пошлости.

Я Бог и я Господь Всемогущий я дурень враль клеветник подлипала Ох и задам я жару почтальону.

Это было смехотворно, однако нелепицы, нагроможденные одна на другую, выросли в какую-то дьявольскую жестокость, способную надломить умы жертв. Артур читал дальше; его гневное отвращение стало утихать; он сделал попытку переварить эти фразы.

Вы грязные подлипалы вам светит двенадцать лет каторги... Я шарпей зубы всех острее... Ты чучело неуклюжее подлюга я тебя раскусил ты грязное дрянцо, мерзкая обезьяна... У меня наверху связи и пусть рожка у меня протокольная она ничем не хуже твоей... Кто в среду вечером стырил яйца зачем ты или твой подручный это сделал но меня-то посадить не должны...

Он вчитывался и перечитывал, сортировал и пересортировывал, анализировал, сравнивал, резюмировал. Мало-помалу зацепки перерастали в подозрения, а потом и в гипотезы. Прежде всего, не важно, существовала шайка потрошителей или нет, но шайка бумагомарателей вырисовывалась определенно. Артур насчитал троих: двух взрослых и подростка. Кое в чем двое взрослых пересекались, но различие, по его мнению, было налицо. Один кипел злобой, а у другого сквозили всплески религиозной мании, переходящей от истерической набожности в гнусное богохульство. Этот подписывался именами Сатана, Бог и их теологическим сращением: Бог Сатана. Что до младшего, тот сквернословил напропалую; Артур давал ему от двенадцати до шестнадцати лет. Взрослые также бахвалились своими способностями к подлогу. «Думаешь нам не под силу изобразить почерк твоего мальчишки?» – написал один из них викарию в тысяча восемьсот девяносто втором году. И в доказательство умело испещрил целую страницу вполне правдоподобными подписями всех домашних Эдалджи, Брукса и других местных жителей.

Для значительной части писем использовались одинаковые листы бумаги и одинаковые конверты. Иногда письмо начинал один злопыхатель, а заканчивал другой: на одной странице излияния Бога Сатаны перемежались с грубыми каракулями и непотребными – непотребными во всех смыслах – рисунками, сделанными мальчишеской рукой. Это наводило на мысль, что все трое живут под одной крышей. Где же ее искать? Поскольку ряд писем пришел к уэрлийским жертвам, минуя почту, резонно было предположить, что находится эта крыша неподалеку, в радиусе одной-двух миль.

Далее, под какой же крышей могла уживаться тройка таких

бумагомарателей? В каком-нибудь учреждении, где обитают лица мужского пола, причем разного возраста? Например, в скученном учебном заведении? Просмотрев справочники образовательных учреждений, Артур не нашел в округе ничего похожего. А что мешало троице злоумышленникам работать клерками в одном офисе или быть на подхвате в какой-нибудь конторе? В ходе своих рассуждений Артур все больше склонялся к мысли, что имеет дело с членами одной семьи, где есть два старших брата и один младший. Некоторые письма оказались чрезвычайно длинными: как видно, тут постаралась семейка бездельников, которым некуда девать время.

Ему требовались более конкретные сведения. Например, здесь постоянно фигурировала Уолсоллская гимназия, но насколько это важный фактор? Или взять такое письмо. Религиозный маньяк с полной очевидностью ссылаясь на Мильтона. «Потерянный рай», книга первая: падший ангел и геенна огненная, которую бумагомаратель объявлял своим последним пунктом назначения. Будь на то воля Артура, так бы и произошло. Так вот, еще один вопрос к директору: входит ли «Потерянный рай» в программу по литературе, и если да, сколько учеников к нему приобщилось и не принял ли кто-нибудь один это произведение слишком близко к сердцу? А что сейчас делал Артур: цеплялся за соломинку или отмечал для себя любую возможность? Трудно сказать.

Он прочел все письма с начала до конца, потом от конца к началу, рассматривал в произвольном порядке, тасовал, словно карточную колоду. А потом его глаз зацепился за нечто такое, отчего Артур через пять минут едва не вышиб дверь в кабинет своего секретаря.

– Альфред, поздравляю. Ты попал в самую точку.

– Кто, я?

Артур бросил ему на стол одно письмо.

– Смотри сюда. А теперь сюда и вот сюда.

Ничего не понимая, Вуд следил за постукивающим пальцем Артура.

– И в какую же точку я попал?

– Полюбуйся, друг мой: *«мальчишку надо отослать в море»*. А вот здесь: *«сомкнутся над тобою волны»*. Это же первое письмо Грейторекса, неужели не доходит? И вот здесь: *«вряд ли меня повесят скорее отправят в море»*.

По лицу Вуда было видно, что на сей раз очевидное от него ускользает.

– Интервал, Вуди, интервал. Семь лет. Я тебя спрашивал: почему такой промежуток? А ты отвечал: потому, что этого человека здесь не было. А я спрашиваю: и где его носило? А ты: *«Не иначе как в море сбежал»*. И это –

первое анонимное письмо после того семилетнего перерыва. Я еще не раз проверю, но готов поспорить на твое недельное жалование, что в первой волне травли не было ни слова насчет моря.

– Пожалуй, – сказал Вуд, позволив себе малую толику самодовольства: его предположение действительно звучало вполне правдоподобно.

– И подкрепляется это, если у тебя есть хоть малейшие сомнения, – получив такие похвалы за свой блестящий ум, секретарь не склонен был сомневаться, – тем, откуда пришла заключительная фальшивка.

– Боюсь, без вашей подсказки не соображу, сэр Артур.

– Декабрь девяносто пятого, помнишь? Объявление в блэкпулской газете о продаже с торгов дома викария.

– Так-так?

– Ну же, друг мой, ну же! Блэкпул: что такое Блэкпул? Курорт близ Ливерпуля. Оттуда он отплывал – из Ливерпуля. Это же ясно как день.

В послеобеденные часы у Альфреда Вуда была масса дел. Он составил запрос директору Уолсоллской гимназии о преподавании Мильтона; отправил инструкции Гарри Чарльзуорту, чтобы тот выяснил, кто из местных жителей уходил в море между тысяча восемьсот девяносто шестым и тысяча девятьсот третьим годами, а также установил личность подростка или мужчины по фамилии Шпек; напоследок он обратился к доктору Линдсею Джонсону с просьбой о срочном сопоставлении писем в прилагаемом досье и ранее присланных материалах, написанных рукой Джорджа Эдалджи. Тем временем Артур написал матушке и Джин, как продвигается дело.

На другой день с утренней почтой пришло письмо в знакомом конверте, причем с кэннокским штемпелем:

Милостивый государь,
мы, полицейские осведомители, коротко извещаем вас, что лошадь убил Эдалджи и письма тоже написал он сам. Незачем сваливать вину на других. Виноват один Эдалджи, и это будет доказано, тем паче что он не тутошний и к тому же...

Перевернув лист, Артур стал читать дальше – и взревел.

...никакого образования в Уолсолле получить не

мог, потому как в гимназии директорствовал этот гад Олдис. Недаром ведь он пулю словил, когда попечителей стали жалобами на него засыпать. Ха-ха.

Директору Уолсоллской гимназии тотчас же послали дополнительный запрос – насчет тех обстоятельств, при которых его предшественник покинул свой пост, – а свежая улика была отправлена доктору Линдсею Джонсону.

В имении царило затишье. Дети были в отъезде: Кингсли заканчивал свой первый семестр в Итоне, а Мэри обучалась в пансионате «Прайорз-филд», что в Годалминге. Погода стояла хмурая; Артур садился обедать в одиночестве, при пылающем камине, а вечерами сражался с Вуди на бильярде. На горизонте уже маячило его пятидесятилетие – если считать, что до горизонта оставалось всего два года. Как прежде, Артур играл в крикет и временами превосходно выполнял кавер-драйв, что любезно отмечали даже капитаны противников. Но все чаще он, стоя у криза, видел, как размахивает руками нагловатый боулер, чувствовал глухой удар по своим щиткам, бросал гневный взгляд через весь питч на судью и слышал с расстояния двадцати двух ярдов прискорбное «сожалею, сэр Артур». Решение, не допускающее апелляции.

Настало время признать, что его золотая пора миновала. Один сезон – семь за 61 против Кембриджшира, другой – калитка У. Г. Грейса. Допустим, этот великий мастер уже выиграл сотню, когда Артур вышел на поле в качестве боулера пятой смены и выбил его из игры стандартным дилетантским приемом. И все равно: У. Г. Грейс набрал 110. На радостях Артур написал пародийно-героическую поэму в девятнадцати строфах, но ни стихи, ни описанное в них достижение не обеспечили ему места на страницах «Уиздена». Капитан сборной Англии, как некогда пророчил Партридж? Нет, его потолок – капитан команды писателей в прошлогоднем матче против команды актеров на стадионе «Лордз». В тот июньский день он отбивал в паре с Вудхаусом, который шутовски позволил себя выбить. Сам Артур получил два иннинга, тогда как Хорнунг – ни одного. Хорас Бликли как-то набрал пятьдесят четыре очка. Наверное, чем лучше писатель, тем хуже из него крикетист.

Да и в гольфе происходило примерно то же самое: разрыв между мечтой и реальностью увеличивался с каждым годом. Зато бильярд... пожалуй, в такой игре, как бильярд, угасание не подразумевалось само собой. У игроков, которым перевалило за пятьдесят, шестьдесят и даже

семьдесят, не наблюдается заметного снижения мастерства. Сила не играет решающей роли; на первый план выходят опыт и тактика. Абриколь, рикошет, рокамболь, карамболь... – вот это игра. Если немного попрактиковаться и, возможно, взять несколько уроков у профессионала, почему бы, собственно, не выступить в любительском чемпионате Англии? Придется, конечно, отработать длинные удары. Каждый раз он внушал себе: высмотри шар на линии балки для простого удара в полшара в верхнюю лузу, а потом сыграй с тонкой резкой через всю поляну. У Вуда длинные удары получались как нельзя лучше, зато дуплет изрядно хромал, на что постоянно указывал ему Артур.

Скоро пятьдесят; начнется, хотя и с запозданием, вторая половина жизни. Он потерял Туи, но обрел Джин. Он отошел от научного материализма, на котором был воспитан, и нашел способ чуть-чуть приоткрыть великую дверь в запределье. Остряки любили повторять, что англичане, лишенные духовности, изобрели крикет, дабы прочувствовать вечность. Близорукие наблюдатели воображали, что бильярд – это бесконечное повторение одного и того же удара. Оба утверждения – полная чушь. Англичане действительно народ сдержанный, не то что итальянцы, зато духовности у них не меньше, чем у любой другой нации. А двух одинаковых ударов кием просто не бывает, как не бывает и двух одинаковых человеческих душ.

Он съездил в Грейшотт, на могилу Туи. Возложил цветы, всплакнул, а повернувшись, чтобы уйти, задался вопросом: когда он окажется здесь в следующий раз? Через неделю, через две? А после этого? А потом? Сначала он перестанет приносить цветы, а потом и приезжать будет все реже. У него начнется новая жизнь с Джин – возможно, в Кроуборо, по соседству с ее родителями. И навещать Туи станет... не с руки. Он внушит себе, что достаточно хранить в памяти ее образ. Джин, дай-то Бог, сможет родить ему детей. Кто же тогда станет навещать Туи? Он тряхнул головой, прогоняя эту мысль. Что толку раньше времени рассуждать о предстоящих угрызениях совести? Надо поверять свою жизнь самыми высокими принципами, а затем поступать сообразно с теми условиями, которые начнет диктовать тебе будущее.

Тем не менее, вернувшись в «Подлесье», в опустевший дом Туи, он невольно устремился в спальню жены. Никаких перестановок и ремонта он не затевал – мыслимое ли дело? Здесь по-прежнему стояла кровать, на которой в три часа ночи, когда в воздухе плыл запах фиалок, умерла Туи, вложив хрупкую ладонь в его огромную, неуклюжую пятерню. Мэри и Кингсли, обессилевшие и перепуганно-вежливые, сидели рядом. Туи

приподнялась и буквально из последних сил наказала Мэри заботиться о брате... Артур со вздохом подошел к окну. Десять лет назад он выбрал для жены комнату с самым прекрасным видом: на сад, на принадлежащую им долину, стрелой уходящую в лес. Спальня Туи, больничная палата, последнее пристанище – ему всегда хотелось, чтобы здесь все радовало глаз и ограждало от боли.

Так много раз он повторял это себе... повторял себе и другим... что в конце концов сам этому поверил. Неужели он всегда себя обманывал? Ведь в этой самой комнате за считанные недели до своей кончины Туи сказала их дочери, что отец вступит в повторный брак. Когда Мэри пересказывала ему тот разговор, он пытался отшутиться – глупое решение, как сейчас до него дошло. Ведь это был шанс воздать должное Туи, а также подготовить почву; вместо этого он задержался, стал отмахиваться и спрашивать, не наметила ли она конкретную кандидатуру. На это Мэри бросила: «Отец!» Неодобрение, заключавшееся в одном этом слове, нельзя было спутать ни с чем.

Он не отходил от окна, разглядывая заброшенный теннисный корт и долину, некогда причудливым образом напомнившую ему о немецкой сказке. Сейчас этот клин выглядел обычным пейзажем графства Суррей, ни больше ни меньше. Возобновить тот разговор с дочерью не представлялось возможным. Но одно было ясно: если Туи знала, он раздавлен. А если знала не только Туи, но и Мэри, то он раздавлен вдвойне. Если Туи знала, Хорнунг был прав. Если Тут знала, матушка ошибалась. Если Туи знала, то с Конни он вел себя как отъявленный ханжа и позорно манипулировал престарелой миссис Хокинс. Если Туи знала, то все его понятия о чести и достоинстве оказались профанацией. На холмах Мейсонгилла он сказал матушке, что честь и бесчестье стоят очень близко, ближе, чем можно себе представить, а матушка ответила, что именно это и делает честь архиважной. А что, если все эти годы он барахтался в бесчестье, обманывая себя, но не окружающих? Что, если в свете его считали заурядным прелюбодеем – пусть даже по сути он таковым не был, но ведь разницы это не делало? Что, если Хорнунг был прав и вина в подобном случае мало чем отличается от невинности?

Тяжело опустившись на кровать, Артур стал вспоминать свои непозволительные путешествия в Йоркшир: как они с Джин, изображая невинность, прибывали и уезжали разными поездами. Инглтон находился в двухстах пятидесяти милях от Хайндхеда; там было безопасно. Но он смешивал безопасность и честь. С годами это, по всей вероятности, поняли все. А что такое английская провинция, если не водоворот сплетен? Пусть

Джин находилась там под неусыпным присмотром, пусть они с нею ни разу не ночевали под одной крышей, он оставался знаменитым Артуром Конан Дойлом, который некогда венчался в местной церкви, а нынче разгуливает по горам и долам с посторонней женщиной.

А ведь был еще Уоллер. В своем блаженном самодовольстве Артур даже не задавался вопросом, как смотрит на это Уоллер. Матушка одобряла – вот что главное. Кого заботило мнение Уоллера? А тот, человек безмятежный и легкий в общении, никогда не опускался до грубостей. Он держался так, словно верил в любую предлагаемую ему легенду. Якобы чета Лекки давно состоит в дружбе с Дойлами, а матушка всегда тепло относилась к их дочурке. Уоллер привычно ограничивался тривиальными любезностями вкупе с тривиальной предусмотрительностью. При игре в гольф не говорил ему под руку, что Джин Лекки – привлекательная девушка. Но Уоллер сразу заметил бы подводные течения. Не исключено (боже упаси), что за спиной у Артура он обсуждал ситуацию с матушкой. Нет, лучше об этом не думать. Но в любом случае Уоллер что-нибудь заметил бы и все понял. А кроме всего прочего, – для Артура это осознание было самым болезненным, – Уоллер получил бы право смотреть на него с чудовищным самодовольством. Когда они стреляли куропаток или выбирались на хорьковую охоту, ничто не мешало Уоллеру припомнить вернувшегося из Австрии школяра, который, узрев в нем кукушонка в чужом гнезде, но ничего не зная наверняка, заносился, строил неистовые домыслы и сгорал от неистового смущения. Однако по прошествии многих лет Артур стал наезжать в Мейсонгилл, чтобы украдкой провести время с Джин. И теперь Уоллер получил все основания для молчаливого, безропотного и оттого еще более нестерпимого и высокомерного морального отмщения. Ты еще смел меня осуждать? Ты мнил, будто знаешь жизнь? Ты отважился подвергать сомнению честь родной матери? А теперь заявляешься к нам, чтобы использовать и меня, и родную мать, и всю деревню для прикрытия своих шашней? Берешь материнскую двуколку и вдвоем с возлюбленной катаешься мимо церкви Святого Освальда. Думаешь, люди ничего не замечают? Думаешь, у твоего шафера отшибло память? И ты еще твердишь себе и другим, что поступаешь по чести?

Нет, хватит. Артур слишком хорошо знал эту спираль, знал ее нисходящие искушения и к чему конкретно они ведут: к летаргии, отчаянию и самоосуждению. Нет, нужно придерживаться фактов. Его действия матушка одобряла. Равно как и все окружающие, кроме Хорнунга. Уоллер помалкивал. Туи всего лишь предостерегла Мэри, чтобы для девочки не стал потрясением его повторный брак, – так выразилась

любящая, заботливая жена и мать. Больше Туи не сказала ничего, а следовательно, ничего и не знала. Мэри тоже ничего не знала. Ни живым, ни мертвым не будет легче от его самоистязания. А жизнь должна продолжаться. Туи это понимала; Туи не противилась. Жизнь должна продолжаться.

От доктора Баттера пришло согласие на встречу в Лондоне; другие корреспонденты не проявили такой отзывчивости. У Джорджа никаких дел в Уолсолле никогда не было. Мистер Митчелл, директор Уолсоллской гимназии, сообщил, что за последние двадцать лет ученика по фамилии Шпек в списках у них не значилось и, далее, что предшественник его, мистер Олдис, достойно отдал своему делу шестнадцать лет, а потому любые домыслы о его позоре или смещении с директорского поста – это нонсенс. Министр внутренних дел мистер Герберт Гладстон, выразив свое восхищение и уважение сэру Артуру, добавил несколько абзацев похвал и пустословия, чтобы затем с сожалением отклонить возможность очередного пересмотра дела Эдалджи, уже неоднократно направлявшегося на пересмотр. Последний из полученных ответов был написан на фирменном бланке полицейского управления Стаффордшира. «Уважаемый господин, – начиналось оно, – мне было бы необычайно интересно узнать мнение Шерлока Холмса на предмет реального дела...» Но шутливый тон не означал готовности к содействию: капитан Энсон не намеревался идти навстречу сэру Артуру. Для передачи полицейских протоколов частному лицу, пусть даже самому выдающемуся, прецедентов не имелось, как не имелось их и для допуска частного лица к опросу подчиненных капитана Энсона. Более того, поскольку в намерения сэра Артура явно входила дискредитация Управления полиции Стаффордшира, руководитель этого подразделения не усматривал ни стратегической, ни тактической целесообразности взаимодействия с противником.

Воинственная прямолинейность этого отставника-артиллериста была, с точки зрения Артура, предпочтительнее экивоков политика. В будущем он не исключал возможности расположить к себе Энсона; впрочем, военные метафоры навели Артура на размышления о том, что вместо общепринятого ответа своим оппонентам – выстрелом на выстрел, экспертизой на экспертизу – он вполне способен начать массированный артиллерийский обстрел и разнести их позиции. Собственно, почему бы и нет? У них есть один графолог – Артур, со своей стороны, выставит нескольких: не только доктора Линдсея Джонсона, но еще, возможно, мистера Гоуберта и мистера Дугласа Блэкберна. А если у кого-то не вызовет доверия мистер Кеннет Скотт с Манчестер-Сквер, Джорджа

проконсультируют несколько других специалистов по глазным болезням. Если Йелвертон брал противника измором и добивался удовлетворительных результатов, пока не оказался в патовой ситуации, то Артур теперь прибегнет к максимально силовым методам и двинется в наступление по всем фронтам.

С доктором Баттером они встретились в Гранд-отеле на Черинг-Кросс-роуд. На сей раз Артур, вошедший со стороны Нортумберленд-авеню, появился вовремя и не стал исподтишка разглядывать судебно-медицинского эксперта. О личности этого человека он заранее составил представление по его свидетельским показаниям: уравновешен, осмотрителен, не склонен к безосновательным или произвольным спекуляциям. В зале суда он утверждал лишь то, что подкреплялось его наблюдениями; для защиты это было выгодно в отношении точек крови, но невыгодно в отношении волосков. В итоге показания Баттера в большей степени, чем свидетельства шарлатана Гаррина, способствовали отправке Джорджа в Льюис и Портленд.

– Очень любезно с вашей стороны, что вы нашли для меня время, доктор Баттер. – Они устроились в том же салоне с письменным столом, где не далее как пару недель назад Артур составил первое представление о Джордже Эдалджи.

Судебно-медицинский эксперт улыбнулся. Этот интересный седовласый мужчина был лет на десять старше Артура.

– Я только рад. Мне представилась возможность поблагодарить того, кто написал... – здесь, если только Артуру это не померещилось, образовалась микроскопическая пауза, – «Белый отряд».

В ответ Артур улыбнулся. Общение с полицейскими медиками всегда оказывалось для него не только поучительным, но и приятным.

– Доктор Баттер, могу ли я рассчитывать на откровенный разговор? То есть я высоко ценю ваши показания, но у меня остались некоторые вопросы и, так сказать, соображения, которые хотелось бы обсудить именно с вами. Разговор будет сугубо конфиденциальным; я обязуюсь не повторять ни единого вашего слова, не предоставив вам возможности его подтвердить, исправить или попросту взять назад. Это приемлемо?

Заручившись согласием доктора Баттера, Артур для начала перебрал с ним те показания, которые на суде прозвучали наименее противоречиво или, во всяком случае, непровержимо с точки зрения защиты. Бритвы, обувь, различные пятна.

– Учитывая характер преступления, которое инкриминировалось Джорджу Эдалджи, не удивило ли вас, доктор Баттер, что следы крови на

одежде оказались столь незначительными?

– Нет, не удивило. Точнее, вы слишком широко ставите вопрос. Если бы Эдалджи заявил: да, это я покалечил пони, вот орудие преступления, вот одежда, в которой я пошел на преступление, и сообщников у меня не было, то я был бы вправе высказать собственное мнение. И тогда я бы вынужден был вам ответить: да, меня это удивило и даже поразило.

– Но?

– Но мои показания, как всегда, ограничивались тем, что мною установлено: на таком-то предмете одежды имеется такое-то количество крови млекопитающего и так далее. Об этом я и заявил. А если мною не установлено, каким образом и в какой промежуток времени туда попала кровь, то я и не позволяю себе дальнейших комментариев.

– Со свидетельской трибуны – определенно нет. Но если между нами...

– Если между нами, я считаю, что при нанесении резаной раны кровотечение у лошади будет сильным и человек не сможет регулировать направление кровотока, особенно в ночной темноте.

– Значит, вы со мной согласны? Он не мог этого сделать?

– Нет, сэр Артур, я с вами не согласен. Совершенно не согласен. Эти две позиции разделяет огромная дистанция. Например, человек, имеющий умысел располосовать лошадь, непременно запасется фартуком наподобие тех, в которых работают на скотобойне. Это очевидная мера предосторожности. Но единичные капли крови могут попасть куда угодно и остаться незамеченными.

– Фартук на процессе не фигурировал.

– Не важно. Я просто предлагаю вам точку зрения, отличную от вашей. Другая возможность: на месте преступления мог находиться кто-либо еще. Если существует банда – а такое предположение звучало, – то ваш молодой человек, возможно, и не орудовал ножом, а просто стоял рядом, и в ходе этого изуверства на его одежду могли попасть отдельные капли крови.

– Опять же, таких показаний не было.

– Но банда упоминалась настойчиво, разве нет?

– Это делалось умышленно. Доказательств никаких.

– Но был же другой человек, полоснувший ножом свою лошадь?

– Грин. Однако даже Грин не заявлял о существовании банды.

– Сэр Артур, мне вполне понятны и ваши доводы, и ваше желание получить доказательства в их поддержку. Я всего лишь показываю вам другие возможности, независимо от того, озвучивались они в зале суда или нет.

– Вы совершенно правы. – Артур решил больше не настаивать. – Можно теперь спросить насчет волосков? Согласно вашему заключению, на одежде вы обнаружили их двадцать девять штук и микроскопическое исследование показало, если я ничего не путаю, что они «сходны по длине, окрасу и структуре» с теми волосками, которые имелись на лоскуте кожи, срезанном с шахтерского пони.

– Верно.

– «Сходны». Вы не сказали «полностью идентичны».

– Нет.

– По той причине, что они не были полностью идентичны?

– Нет, по той причине, что это заключение, а не наблюдение. Но для обывателя «сходны по длине, окрасу и структуре» звучит как признание их полной идентичности.

– И у вас не осталось никаких сомнений?

– Сэр Артур, на свидетельской трибуне я всегда осторожничаю. Между нами и на предложенных вами условиях беседы, могу вас заверить, что волоски на одежде и на лоскуте кожи, который я исследовал под микроскопом, принадлежали одному животному.

– И одной и той же его части?

– Не понимаю вас.

– Источником их было не просто одно и то же копытное, но и одно и то же место его туши, а именно живот?

– Да, верно.

– Так вот, волосяной покров на различных частях туши лошади или пони различается по длине, а возможно, и по толщине, а возможно, и по структуре. Ведь конский волос, например, из хвоста или из гривы будет разным?

– Опять же, это верно.

– Но тем не менее все двадцать девять исследованных вами волосков оказались совершенно одинаковыми и относились к одной и той же части конской туши?

– Да, в самом деле.

– Мы можем поразмыслить вместе, доктор Баттер? Опять же, совершенно конфиденциально, исключительно в этих стенах, на условиях анонимности. Давайте вообразим... хотя в этом мало приятного... что вы или я задумали выпустить кишки лошади.

– Разрешите вас поправить: у пони не были выпущены кишки.

– Разве?

– В показаниях говорилось, что животное получило резаную рану,

истекало кровью и в силу необходимости было пристрелено. Но кишки из раны не выпадали, как могло бы произойти при другом способе нападения.

– Благодарю вас. Итак, представим, что мы задумали полоснуть ножом пони. К животному нужно подойти, нужно его успокоить. К примеру, погладить по морде, поговорить, похлопать по боку. Далее, представим, как мы будем его удерживать во время нанесения раны. Чтобы полоснуть копытное поперек живота, надо, видимо, обхватить его за спину и удерживать, а тем временем подобраться под брюхо и воспользоваться заготовленным орудием.

– Не знаю. Никогда не присутствовал при таком варварстве.

– Но вы не оспариваете, что это возможный способ? У меня у самого есть конюшня: лошади в большинстве своем нервные создания.

– Мы с вами на лугу не присутствовали. И животное было не из вашей конюшни, сэр Артур. Это был шахтерский пони. Разве шахтерские пони не славятся своей покладистостью? Разве они не привычны к шахтерскому обращению? Разве они не доверяют каждому, кто к ним приближается?

– Действительно, на лугу мы с вами не присутствовали. Но хотя бы на минуту сделайте мне одолжение. Вообразите, что преступление было совершено так, как я описал.

– Хорошо. Только учитывайте, что оно могло быть совершено иначе. Например, в присутствии другого лица.

– Я с вами согласен, доктор Баттер. Но и вы должны со мной согласиться: если это деяние было совершено примерно так, как я описал, то уму непостижимо, почему источником всех волосков, попавших на одежду, оказалась одна и та же часть туши, а именно живот – совсем не то место, по которому гладят такое животное, чтобы его успокоить. И далее, совершенно одинаковые волоски оказались на разных частях одежды: и на рукаве, и на левом борту куртки. Разве не логично предположить, что волоски, как минимум, окажутся с какой-нибудь другой части туши?

– Возможно. Если все происходило в точности так, как вы описываете. Но вы постоянно рассматриваете только две версии: версию обвинения и вашу собственную. Между ними – огромная дистанция. Например, на одежде могли оказаться и более длинные волоски, но преступник их заметил и удалил. В этом не было бы ничего удивительного, правда? Или они были унесены ветром. Опять же, на лугу могла орудовать банда...

Тут Артур с большой осторожностью подвел разговор к «очевидному» решению, предложенному Вудом.

– Я правильно понимаю, вы работаете в Кэнноке?

– Да.

- Этот лоскут кожи срезали не вы?
- Нет, это сделал мистер Льюис, находившийся рядом с животным.
- После чего лоскут кожи был отправлен вам в Кэннок?
- Да.
- И одежда тоже?
- Да.
- До или после?
- В каком смысле?
- Одежду доставили раньше, чем кожу, или кожу – раньше, чем одежду?
- А, понимаю. Нет, они были доставлены вместе.
- Одновременно?
- Да.
- Одним и тем же полицейским?
- Да.
- В одном и том же пакете?
- Да.
- И кто был этот полицейский?
- Понятия не имею. Их вокруг меня мелькают толпы. Кроме того, они, на мой взгляд, все нынче молоды, а потому на одно лицо.
- Не припомните, что он сказал?
- Сэр Артур, с той поры минуло более трех лет. Не вижу причины, почему я должен помнить хоть слово из того, что он сказал. Наверное, доложил, что принес пакет от инспектора Кэмпбелла. Вполне мог упомянуть содержимое. Вполне мог сказать, что оно направляется на экспертизу, но это и так понятно, разве нет?
- И пока эти предметы находились у вас, они тщательно хранились по отдельности – лоскут кожи и одежда? Я не строю из себя дознавателя.
- Но получается, вы уж простите, весьма убедительно. И естественно, я понимаю, к чему вы ведете. У меня в лаборатории контаминация произойти не могла, уверяю вас.
- Я ни на миг этого не допускаю, доктор Баттер. И веду я совершенно к другому. Не могли бы вы описать полученный вами пакет?
- Сэр Артур, я прекрасно вижу, куда вы клоните. Если я уже два десятка лет подвергаюсь перекрестным допросам со стороны защиты, то, наверное, знаком с такими подходами и не беру на себя ответственность за действия полиции. Вы хотели услышать, что лоскут кожи и одежда были свернуты в рулон и упакованы в кусок старой рогожи по небрежности полицейских. А значит, вы ставите под сомнение не только их

добросовестность, но и мою.

Учтивость доктора Баттера подернулась ледяной жесткостью. Такого свидетеля всегда лучше иметь на своей стороне.

– Я бы до этого никогда не додумался, – смиренно выговорил Артур.

– Только что вы додумались именно до этого, сэр Артур. Вы дали понять, что я мог упустить из виду возможность контаминации. Предметы были герметично запечатаны по отдельности – сколько ни тряси, волоски не могли перелететь из одной упаковки в другую.

– Я вам очень обязан, доктор Баттер, за прояснение этого вопроса.

Следовательно, оставались две возможности: либо полиция проявила халатность, перед тем как упаковать вещественные доказательства по отдельности, либо полиция проявила злонамеренность в процессе упаковки. Что ж, он выжал из Баттера достаточно. Впрочем...

– Можно задать еще один вопрос? Сугубо фактического свойства.

– Конечно. Простите мой выпад.

– Он вполне понятен. По вашему замечанию, я вел себя как адвокат защиты.

– Не в этом дело. Суть в другом. Я более двадцати лет сотрудничаю со Стафффордширским управлением полиции. Двадцать с лишним лет являюсь в суд, где вынужден отвечать на каверзные вопросы, основанные, как мне известно, на ложных посылках. Двадцать лет наблюдаю, как стороны играют на слабостях невежественных присяжных. Двадцать лет даю показания – по мере своих сил четкие и недвусмысленные, основанные на строго научных исследованиях, а потом со мной обращаются если не как с мошенником, то как с дилетантом, который просто высказывает какое-то мнение, ничем не отличающееся от мнения простых обывателей. Разве что у простых обывателей нет микроскопа, а если бы и был, они бы не сумели его настроить. Я констатирую то, что наблюдал... то, что знаю... и должен выслушивать презрительные обвинения в произвольности моих суждений.

– Глубоко вам сочувствую, – сказал сэр Артур.

– Не заметно. Хорошо, задавайте свой вопрос.

– В какое время суток вам доставили этот пакет?

– В какое время суток? Часов в девять.

Артура поразила такая оперативность. Пони был обнаружен примерно в шесть двадцать. Когда Джордж выходил из дому, чтобы успеть на поезд в 7:39, Кэмпбелл еще оставался на лугу, но незадолго до восьми часов уже явился вместе с Парсонсом и группой добровольцев в дом викария. Они произвели обыск, поспорили с домочадцами Эдалджи...

– Простите меня, доктор Баттер, не хочу снова изображать из себя

дознавателя, но не могло ли это произойти позже?

– Позже? Ни в коем случае. Я знаю, в котором часу принесли пакет. Помню, еще посетовал. Полиция настаивала, чтобы пакет был передан мне в собственные руки в тот же самый день. Я сказал, что после девяти принимать отказываюсь. И когда явился полицейский, я достал часы. Было ровно девять.

– Как я мог так ошибиться? Мне подумалось, вы говорили о девяти утра.

Теперь настал черед судебно-медицинского эксперта выразить свое удивление.

– Сэр Артур, по моим наблюдениям, в полиции служат компетентные, работоспособные люди. И к тому же честные. Но творить чудеса они не способны.

Сэр Артур согласился, и мужчины расстались на дружелюбной ноте. Однако через некоторое время Артур поймал себя на том, что рассуждает именно такими словами: полицейские все же способны творить чудеса. Они способны одной лишь силой мысли переместить двадцать девять конских волосков из одного герметично запечатанного пакета в другой. Прямо хоть пиши о них статью для Общества парапсихологических исследований.

Ни дать ни взять спириты, которые якобы достигают дематериализации объекта с последующей его рематериализацией, а также обрушивают на круглый стол дождь из старинных монет, не говоря уже об ассирийских табличках и камнях-самоцветах. К этой ветви спиритуализма Артур относился с изрядной долей скепсиса: самый заурядный сыщик-любитель обычно без труда мог установить, что старинные монеты происходят из ближайшей нумизматической лавки. Что же до тех спиритов, которые являют собравшимся змей, черепах и живых птиц, то место таким скорее в цирке или в ярмарочном балагане. Или же в Стаффордширском полицейском управлении.

Его заносило. Но это от избытка чувств. Двенадцать часов – вот где собака зарыта. Прежде чем вручить вещественные доказательства доктору Баттеру, полиция держала их у себя двенадцать часов. Где они были все это время, кто за них отвечал и что с ними делал? Была ли контаминация делом случая или намеренным актом, направленным исключительно против Джорджа Эдалджи? Этого почти наверняка узнать не удастся, разве что из чьих-нибудь признаний на смертном одре, но Артур всегда с осторожностью относился к таким признаниям.

Его радостное волнение только возросло, когда в «Подлесье»

доставили отчет доктора Линдсея Джонсона. К отчету прилагались две общие тетради, в которых был подробно описан весь ход проведенной графологической экспертизы. Ведущий европейский специалист установил, что ни одно из предоставленных в его распоряжение писем, вышло ли оно из-под пера злонамеренного интригана, религиозного маньяка или безнравственного юнца, не обнаруживало никаких принципиальных совпадений с подлинными документами, написанными самим Джорджем Эдалджи. Были зафиксированы отдельные случаи видимого сходства, не выходявшие, впрочем, за пределы банальной фальсификации чужого почерка. Местами сходство могло показаться убедительным, но ни в одном случае не было выявлено доказательств того, что Джордж в буквальном смысле слова приложил руку к этим посланиям.

Более половины пунктов из первой части своего списка Артур уже пометил галочками: *Йелвертон – Волоски – Письма – Зрение*. Далее шли *Грин* (над этим еще предстояло поработать) и *Энсон*. Главного констебля нужно как следует взять за бороду. «Мне было бы необычайно интересно узнать мнение Шерлока Холмса на предмет реального дела...» – саркастически писал Энсон. Что ж, Артур поймает его на слове: сведет воедино то, что на данный момент удалось выяснить, и отправит Энсону с просьбой о комментариях.

Усевшись за письменный стол, чтобы набросать черновик, Артур впервые после смерти Туи ощутил правильность хода вещей. После депрессии, угрызений совести, летаргии, после брошенного вызова и начала действий он занял привычную позицию: сел к столу, взялся за перо и приготовился рассказать историю, чтобы люди увидели события в новом свете; а между тем в Лондоне его ждала (оставалось уже недолго) женщина, которой предстояло стать для него первой читательницей и первой свидетельницей его жизни. Он зарядился энергией; в голове бурлил материал; цель виделась ясно. Начал он с той фразы, драматичной и широковещательной, которую обдумывал и в поездах, и в гостиницах, и в такси:

Мне хватило одного взгляда на мистера Джорджа Эдалджи, чтобы решительно усомниться в совершении им того преступления, за которое он был осужден, и выдвинуть по крайней мере ряд причин, вследствие которых подозрение пало именно на него.

А дальше отчет начал разворачиваться сам по себе, как огромная цепь с прочнейшими звеньями. За два дня Артур написал пятнадцать тысяч слов, предусмотрев дополнительное место для новых сообщений от окулистов и графологов. Предполагаемой роли Энсона в этом деле он коснулся лишь вскользь: если крепко прижать человека еще до личного знакомства, вряд ли можно будет рассчитывать на полезный отклик. Потом Вуд перепечатал текст начисто и отправил один экземпляр заказным письмом главному констеблю.

Через два дня пришел ответ из поместья Грин-Холл в Стаффорде: сэра Артура приглашали отужинать с капитаном Энсоном и его супругой в любой удобный день на следующей неделе. Хозяева дома выказывали полную готовность устроить гостя у себя на ночлег. Составленный Артуром отчет в этом письме не упоминался; загадочный постскриптум гласил: «Если Вам будет угодно, приезжайте вместе с мистером Шерлоком Холмсом. Миссис Энсон будет очень рада с ним познакомиться. Дайте мне знать, если для него потребуется приготовить комнату».

Сэр Артур передал письмо секретарю.

– Судя по всему, держит порох сухим.

Вуд согласно кивнул и благоразумно воздержался от комментариев насчет постскриптума.

– Сдается мне, Вуди, ты не жаждешь отправиться к нему под видом Холмса.

– Если прикажете, могу вас сопровождать, сэр Артур, но мое отношение к парадной одежде вам известно. – Помимо всего прочего, Вуд чувствовал, что, будучи назначенным на роль Ватсона, уже слишком далеко вышел за пределы своих актерских возможностей, чтобы сыграть еще и Холмса. – От меня будет больше толку, если я потренируюсь в игре на бильярде.

– И то верно, Альфред. Держи оборону. И отрабатывай дуплет. А я погляжу, из какого теста сделан Энсон.

Пока Артур планирует поездку в Стаффордшир, Джин заглядывает еще дальше в будущее. Настало время вплотную заняться своим преобразованием из выжидающей девушки в невыжидающую жену. На дворе январь. Туи умерла в июле прошлого года; понятно, что жениться до истечения двенадцати месяцев Артур не сможет. Точную дату венчания они еще не обсуждали, но осень – вполне реальный срок. Год и три месяца: такой промежуток времени мало кого возмутит. Люди сентиментальные предпочли бы весеннюю свадьбу, но для повторного брака осень, по мнению Джин, подходит больше. А потом – медовый месяц в Европе. На

первом месте, конечно, Италия; впрочем, и Константинополь давно манит.

Где венчание – там подружки невесты, но здесь сложностей не предвидится: Лесли Роуз и Лили Лоудер-Саймондс давно утверждены на эту роль. Однако венчание также предполагает церковь, а церковь предполагает вероисповедание. Артур был воспитан матушкой в католичестве, но и мать, и сын давно ушли от этой веры: матушка – в англиканство, Артур – в воскресный гольф. Артур даже начал скрывать свое среднее имя: Игнатий. Значит, у Джин, с колыбели впитавшей в себя католичество, почти нет шансов сочетаться браком по католическому обряду. Родители, наверное, расстроятся, особенно мать; но если такова будет цена, придется ее заплатить.

Что еще потребует своей цены? Если Джин собирается всегда быть рядом с Артуром, нужно будет принять все то, от чего она до сих пор бежала. В тех редких случаях, когда Артур упоминал свой интерес к паранормальным явлениям, она просто отворачивалась. И внутренне содрогалась от пошлости и глупости такого времяпрепровождения: слабоумные старики притворяются, будто впадают в транс, дряхлые ведьмы в жутких париках таращатся в хрустальные шары, участники впотьмах берутся за руки и друг за дружкой вздрагивают... К религии, которая неотделима от нравственности, это не имеет никакого отношения. А сама мысль о том, что ее любимого Артура влечет подобная... ахинея, не только огорчительна, но просто не укладывается в голове. Как может такой человек, обладающий уникальными мыслительными способностями, якшаться с этой публикой?

Если совсем честно, ее лучшая подруга Лили Лоудер-Саймондс тоже принадлежит к энтузиастам столоверчения, но Джин считает это прихотью. И разговора о сеансах не поддерживает, хотя Лили утверждает, что на них собираются весьма интеллигентные люди. Видимо, надо будет вначале обсудить это с Лили, просто чтобы преодолеть свою неприязнь. Нет, малодушию поддаваться нельзя: в конце-то концов, она выходит за Артура, а не за Лили.

Поэтому, когда он заезжает к ней по пути на север, она его усаживает, добросовестно выслушивает новости расследования, а потом, к его вящему изумлению, говорит:

- Как бы мне хотелось познакомиться с этим твоим подопечным.
- Правда, милая? Он вполне порядочный молодой человек, которого бессовестно оклеветали. Я уверен, знакомство с тобой он почтет за честь.
- Кажется, ты упоминал, что по происхождению он парс?
- Не совсем так. Его отец...

– Какую религию исповедуют парсы, Артур? Индуизм?

– Нет, они зороастрийцы.

Артур любит такие вопросы. Глубинную тайну женщин можно, по его мысли, обойти и обуздать, открывая им глаза на подобные вещи. Со спокойной уверенностью он излагает историю парсов, описывает характерные черты их внешности, головные уборы, либеральное отношение к женщинам, традицию родов на нижнем этаже дома. Ритуал очищения он опускает, поскольку в нем используется коровья моча, но подробно останавливается на центральной роли астрологии в жизни парсов, а затем переходит к башням молчания и к растерзанию покойников грифами, но тут Джин останавливает его, подняв ладонь. Она понимает, что это тупик. История зороастризма не способствует плавному переходу, на который она понадеялась. А кроме того, получается как-то нечестно, вразрез с ее осознанием себя.

– Артур, дорогой мой, – перебивает она, – хочу кое-что с тобой обсудить.

Он удивлен и слегка встревожен. Хотя ему всегда импонировала ее прямота, сейчас у него возникает смутное подозрение, что женщина, заявляя о своем намерении кое-что обсудить, редко выбирает такую тему, которая будет приятна и выгодна мужчине.

– Объясни мне, чем тебя захватил... как правильно сказать: спиритизм или спиритуализм?

– Я предпочитаю термин «спиритизм», но он, кажется, выходит из употребления. И вообще у меня сложилось впечатление, что эта область тебе претит.

Он недоговаривает: эта область – вместе со своими приверженцами – вызывает у нее страх и брезгливость.

– Артур, мне не может претить то, чем ты интересуешься.

Она преувеличивает: это всего лишь слабая надежда, что его интересы не вызовут у нее отторжения.

И он пускается в объяснения своей вовлеченности: здесь и эксперименты по обмену мыслями на расстоянии с будущим архитектором «Подлесья», и беседа с сэром Оливером Лоджем в Букингемском дворце. Артур подчеркивает научные основы и процедуры парапсихологических исследований. Он тщательно подбирает слова, чтобы это звучало солидно и без агрессии. Мало-помалу она успокаивается и от его тона, и от слов.

– Сказать по правде, Артур, Лили немного рассказывала мне о столоверчении, но должна признаться, я всегда считала, что это противоречит учению Церквы. Нет ли здесь ереси?

– Эти практики в самом деле противоречат церковным институтам. И не в последнюю очередь потому, что исключают посредника.

– Артур! Мыслимо ли так говорить о служителях Церкви?

– Но исторически сложилось именно так. Они – посредники, промежуточное звено. На ранних этапах – передатчики истины, но чем дальше, тем больше – контролеры мысли, затемнители, политиканы. Катары были на правильном пути: они шли непосредственно к Богу, минуя уровни иерархии. Неудивительно, что Рим стер их с лица земли.

– Значит, твои... можно говорить «верования» или нет?.. настраивают тебя против Церкви?

И, подразумевает она, против верующих. Против одной конкретной верующей.

– Нет, моя дорогая. Я никогда не стану отговаривать тебя ходить в церковь. Но мы движемся за пределы любых вероисповеданий. Скоро – по историческим меркам даже очень скоро – они отойдут в прошлое. Задумайся: почему религия должна быть единственной сферой мысли, где нет прогресса? Это было бы странно, да? Неужели нас вечно будут отсылать к застывшим постулатам двухтысячелетней давности? Почему люди не понимают, что эволюция человеческого мозга неизбежно влечет за собой расширение взглядов? Несформированный ум предполагает несформированную идею Бога, но кто может поручиться, что наш мозг сформировался хотя бы наполовину?

Джин молчит. Она считает, что застывшие постулаты двухтысячелетней давности верны и им надо следовать; а еще – что мозг, конечно, развивается и служит залогом многочисленных научных открытий, но душа, искра Божия – это нечто совершенно особое и неизменное, не подверженное эволюции.

– Помнишь, я когда-то судил конкурс силачей? В Альберт-Холле. Победителем тогда стал некий Мюррей. Я шел за ним в ночи. Он еще держал под мышкой золотую статуэтку. Самый сильный человек во всей Британии. И все же он заплутал в тумане...

Нет, метафора – неверный подход. Метафорами живут официальные религии. Метафора – это подтасовка.

– Мы, Джин, занимаемся очень простым делом. От великих религий мы берем самую суть, которая представляет собою жизнь духа, и делаем ее более зримой, а оттого более понятной.

Для нее это слова искуителя; в ее тоне начинает сквозить резкость:

– За счет сеансов и столоверчения?

– Для непосвященного, готов признать, это выглядит странно. Точно

так же, как все обряды твоей Церкви показались бы странными случайно заглянувшему в храм зороастрийцу. Тело и кровь Христовы – на блюде и в чаше: он бы подумал, что это форменное надувательство. Религии – все религии – увязли в ритуалах и деспотизме. Мы не говорим: приходи к нам, молись вместе с нами, следуй нашим предписаниям, и, возможно, когда-нибудь наградой тебе станет вечная жизнь. Так торгуется продавец ковров. А мы покажем тебе сейчас, при жизни, реальность некоторых паранормальных явлений, которые продемонстрируют физическую победу над смертью.

– Значит, вы не верите в возрождение тела?

– В то, что мы ложимся в землю, гнием, а потом вдруг возвращаемся целыми и невредимыми? Нет. Тело – это шелуха, оболочка, которую мы сбрасываем. Истина заключается в том, что после смерти некоторые души какое-то время блуждают в темноте, но это происходит лишь по той причине, что они не готовы к переходу на оборотную сторону. Подлинный спирит, которому свойственно понимание процесса, совершит этот переход легко и безболезненно. И быстрее приспособится к общению с миром, который он покинул.

– Ты видел это своими глазами?

– О да. И надеюсь, что с углублением понимания буду видеть это гораздо чаще.

По спине Джин пробегают внезапный холодок.

– Надеюсь, дорогой Артур, ты не метишь в спириты.

Перед ее мысленным взором возникает любимый муж в обличье престарелого мошенника, впадающего в транс и бормочущего на разные голоса. А новую леди Доил будут называть женой мошенника.

– О нет, я не наделен такими способностями. Истинный медиум – очень и очень большая редкость. Зачастую им оказывается скромный человек из низов. Такой, например, как Иисус Христос.

Джин пропускает это сравнение мимо ушей.

– А как же нравственность, Артур?

– Нравственность незыблема. То есть подлинная нравственность, та, что имеет в своей основе человеческую совесть и любовь к Богу.

– Речь не о тебе, Артур. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Если у людей – у простых людей – не будет Церкви, которая учит их, как поступать, то они вернуться к звериным мерзостям и своекорыстию.

– По-моему, это вовсе не единственная альтернатива. Спиритов, подлинных спиритов, как мужчин, так и женщин, отличает высокий уровень нравственности. Могу привести примеры. И нравственность их

определяется тем, что они стоят ближе других к пониманию духовной истины. Если простые люди, о которых ты говоришь, непосредственно приобщатся к миру духов, если поймут, как он всегда к нам близок, то звериные мерзости и своекорыстные утратят свою притягательную силу. Сделай истину наглядной – и нравственность будет сама себя оберегать.

– Артур, не так быстро, я за тобой не успеваю. – Если точнее, Джин чувствует близкую головную боль и даже опасается приступа мигрени.

– Конечно, конечно. Спешить некуда – у нас вся жизнь впереди. А потом мы останемся вместе на веки вечные.

Джин улыбается. Хотелось бы ей знать, что будет поделывать Туи, когда они с Артуром останутся вместе на веки вечные. Впрочем, от этого вопроса никуда не деться, к кому ни обращайся – хоть к Церкви, хоть к этим низкородным спиритам, которые так пленили ее будущего мужа.

У Артура голова не болит. Жизнь налаживается: вначале дело Эдалджи, теперь внезапный интерес Джин к глубинным, поистине важным материям. Пройдет совсем немного времени – и жизнелюбие вернется к нему в полной мере. На пороге он обнимает свою бессменную подругу и впервые со дня смерти Туи ощущает у себя реакцию будущего жениха.

Энсон

Артур приказал кэбмену остановиться у старой арестантской тюрьмы неподалеку от гостиницы «Белый лев». Гостиница находилась как раз напротив ворот Грин-Холла. Тактика эта – прибыть пешком – была выбрана им инстинктивно. С саквояжем в руке он проследовал по ведущей слегка в гору от Личфилд-роуд подъездной дороге, осторожно ступая кожаными туфлями по гравии. Когда впереди показался освещенный косыми лучами предзакатного солнца дом, Артур отступил в тень какого-то дерева. Почему-то архитектура, в отличие от физиологии, не спешила раскрывать свои тайны последователю доктора Джозефа Белла. Итак: особняк постройки, видимо, двадцатых годов девятнадцатого века; побеленный; фасад в псевдогреческом стиле; внушительный портик с двумя парами ионических колонн без каннелюр; по три окна с каждой стороны. Три этажа... Впрочем, на пытливый взгляд Артура, третий этаж вызывал некоторые подозрения. Да, будь сейчас здесь Вуд, можно было бы поспорить с ним на фору в сорок очков, что за шеренгой из семи мансардных окон никакой мансарды нет – это просто архитектурная

уловка, зрительно добавляющая особняку высоты и солидности. Но эта обманка, вполне возможно, и не была задумана нынешним владельцем. Вглядываясь с правой стороны в прилегающую к дому часть усадьбы, Дойл различил заглубленный розарий, теннисный корт и беседку с двумя молодыми привитыми грабами по бокам.

О чем повествовало это зрелище? О деньгах, воспитании, вкусах, истории, власти. Этот род прославил в восемнадцатом веке мореплаватель Энсон, который также заложил основы фамильного благосостояния при захвате богатств испанского галеона. Племянник мореплователя получил титул виконта в 1806 году, а в 1831-м стал графом. Если этот особняк служил резиденцией второго сына, чей старший брат был владельцем Шагборо, то Энсоны знали, как распределить наследство.

На втором этаже дома, в нескольких шагах от окна, капитан Энсон негромко окликнул жену:

– Бланш, великий сыщик почти добрался. Он изучает подъездную дорожку на предмет отпечатков лап огромной собаки.

Миссис Энсон редко видела мужа в таком игривом настроении.

– Слушай, когда он появится, ты не особенно нахваливай его книжки.

– Чтобы я да нахваливала? – Она больше делала вид, чем обижалась.

– Его и так до умертвия захвалили поклонники со всех концов страны.

Мы должны проявлять гостеприимство, но не заискивать.

За долгие годы миссис Энсон научилась отличать признаки нервозности мужа от его беспокойства за ее манеры.

– Я приказала подать бульон, запеченную мерлузу и бараньи котлетки.

– А на гарнир?

– Брюссельскую капусту и картофельные крокеты, что же еще? Мог бы не спрашивать. Далее – манное суфле и яйца, фаршированные анчоусами.

– Идеально.

– А что на завтрак: жареный бекон и заливное или сельдь на гриле и рулет из говядины?

– В такую погоду второй вариант, наверное, более уместен. И запомни, Бланш: за ужином надо воздержаться от разговоров о процессе.

– Для меня это не составит труда, Джордж.

Как бы то ни было, Дойл оказался пунктуальным гостем, охотно согласился подняться в отведенную ему спальню и столь же охотно спустился точно в назначенное время, чтобы успеть засветло осмотреть усадьбу. Как землевладелец землевладельцу, он высказал свою озабоченность тем, что река Соу подтопляет заливные луга, а потом спросил о назначении необычного земляного вала, наполовину скрытого

беседкой. Энсон объяснил, что это бывший ледник, который стал ненужным с появлением холодильной техники, но еще может послужить как винный погреб. Вслед за тем они обсудили, как грунтовое покрытие теннисного корта выдерживает зиму, и дружно посетовали на краткость теннисного сезона в условиях английского климата. Энсон принимал похвалы и высокие оценки, которые свидетельствовали, что Дойл видит в нем владельца Грин-Холла, тогда как в действительности он всего лишь арендатор; но так ли уж необходимо сообщать об этом Великому Сыщику?

– Я вижу, вот те молодые грабы у вас привиты.

– Вас не проведешь, Дойл, – заулыбался главный констебль. Это было тончайшим намеком на дальнейшее.

– Было время, я и сам увлекался посадками.

За ужином Энсоны заняли места в торцах стола, а Дойла усадили напротив центрального окна с видом на спящий розарий. На вопросы миссис Энсон гость отвечал с должным вниманием; подчас, как ей казалось, даже с преувеличенным.

– Вы хорошо знаете Стаффордшир, сэр Артур?

– Не так хорошо, как следовало бы. Но с этим графством связано фамильное древо моего отца. Первоначально фамилию Дойл носила кадетская ветвь стаффордширских Дойлов, от которой, как вам, наверное, известно, произошли многие выдающиеся личности, в том числе и Фрэнсис Гастингс Дойл. Этот кадет был участником ирландского похода и в награду получил земли в графстве Уэксфорд.

Миссис Энсон ободряюще улыбнулась, хотя в этом не было видимой необходимости.

– А по материнской линии?

– О, история довольно интересная. Моя мать, которая необычайно увлекается археологией, сумела при поддержке сэра Артура Викарса, ольстерского герольдмейстера, тоже состоявшего с нами в родстве, проследить свою родословную на пять веков назад. Это предмет ее – нашей – особой гордости: на ветвях нашего генеалогического древа есть немало имен великих мира сего. Дядя моей бабушки – сэр Денис Пэк, командовавший Шотландской бригадой в битве при Ватерлоо.

– Подумать только. – Миссис Энсон твердо верила в классовые ценности, обязанности и функции. Но джентльмена она узнавала не по архивным документам, а по его нраву и осанке.

– Что же касается по-настоящему романтической истории нашего рода, она прослеживается с середины семнадцатого века, когда преподобный Ричард Пэк взял в жены Мэри Перси, наследницу ирландской ветви Перси

Нортумберлендских. С той поры по меньшей мере три брачных союза связывают нас с Плантагенетами. Поэтому в нас есть особая жилка благородного происхождения и, хочется верить, благородных устремлений.

– Хочется верить, – поддакнула миссис Энсон.

Сама она, дочь мистера Дж. Миллера из Брентри, что в Глостершире, не проявляла любознательности в отношении своих далеких предков. Ей казалось, что стоит только заплатить специалисту – и он рано или поздно установит твою связь с каким-нибудь великим родом. Обычно знатоки генеалогии не выставляют счетов за подтверждение твоего родства со свинопасами по одной линии и с лоточниками – по другой.

– К сожалению, – продолжал сэр Артур, – к тому времени, когда в Эдинбурге овдовела Кэтрин Пэк, племянница сэра Дениса, семейство оказалось в чрезвычайно стесненных обстоятельствах. Ей даже пришлось пускать жильцов. Именно так мой отец, снимавший у нее комнату, познакомился с моей матерью.

– Очаровательно, – прокомментировала миссис Энсон. – Совершенно очаровательно. Стало быть, вы сейчас восстанавливаете благосостояние семьи.

– В детстве меня крайне угнетала материнская бедность. Я чувствовал, что такое положение противно маминой натуре. Память об этом всегда заставляет меня идти вперед.

– Очаровательно, – повторила миссис Энсон, но уже без прежней убежденности.

Благородная кровь, тяжелые времена, восстановление фамильного состояния. Она считала, что таким сюжетам место в библиотечном романе, а не в жизни, где они малоправдоподобны и сентиментальны. У нее возник вопрос: сколько же времени займет на этот раз восхождение к вершинам? Как там говорится про быстрые деньги?

Отцы сколотили, дети прокутили, внуки по ветру пустили.

Зато сэр Артур, даром что слегка кичился своими предками, оказался добросовестным сотрапезником. Он продемонстрировал здоровый аппетит, хотя ни словом не отозвался о предложенных ему блюдах. Миссис Энсон так и не поняла: то ли он считает плебейством нахваливать еду, то ли просто лишен вкусовых рецепторов. За столом также не упоминались ни дело Эдалджи, ни состояние уголовной юстиции, ни правительство сэра Генри Кэмпбелл-Баннермана, ни подвиги Шерлока Холмса. Но присутствующим, словно троим гребцам без рулевого, удавалось держаться на плаву: сэр Артур энергично махал веслом с одного борта, а с другого Энсоны достаточно умело табанили, выравнивая курс.

Фаршированные анчоусами яйца закончились, и Бланш Энсон почувствовала, как на противоположном конце стола нарастает беспокойство. Мужчинам не терпелось удалиться в зашторенный кабинет, пошевелить кочергой угли в камине, раскурить сигары и за стаканчиком бренди, пользуясь случаем, в самой цивилизованной форме повырывать друг из друга изрядные куски плоти. Ароматы застолья не могли перебить запахов чего-то первобытно-зверского. Поднявшись из-за стола, миссис Энсон пожелала противникам спокойной ночи.

Джентльмены перешли в кабинет капитана Энсона, где жарко полыхал камин. Дойл отметил поблескивание свежего угля в медном ведерке, глянецовые корешки переплетенных журналов, замкнутую на ключ искрящуюся подставку для трех графинов, лакированное брюхо раздутого рыбьего чучела в стеклянном футляре. Кругом все сияло; горничная не обошла своим вниманием даже рога какого-то нездешнего сохатого – скандинавского лося, предположил сэр Артур.

Достав из пододвинутого к нему ящичка сигару, он покатал ее в пальцах. Энсон передал гостю нож и коробок сигарных спичек.

– Не признаю никаких гильотин для обрезки сигар, – объявил хозяин кабинета. – Я всегда выбираю добрый старый нож.

Кивнув, Дойл занялся делом и вскоре щелчком отправил кончик сигары в огонь.

– Как я понимаю, прогресс науки принес нам новое изобретение: электрическую зажигалку для сигар?

– Если так, до Хайндхеда она еще не дошла, – отвечал Дойл.

Он отказывался брать на себя роль метрополиса, снисходящего до провинций. Но при этом отметил у хозяина потребность главенствовать в собственном кабинете. Что ж, в таком случае не грех ему подыграть.

– Этот лось, – предположил он, – не иначе как из Южной Канады?

– Из Швеции, – поправил главный констебль с почти чрезмерной торопливостью. – Ваш сыщик не допустил бы такой оплошности.

Так-так, заходим с этого боку, да? Дойл наблюдал, как Энсон раскуривает сигару. Под огоньком спички коротко полыхнул стаффордский узел булавки для галстука.

– Бланш читает ваши книги, – сообщил главный констебль и слегка покивал, словно поставив точку в этом вопросе. – А еще она сама не своя до миссис Брэддон.

Дойла пронзила внезапная боль – этакая литературная подагра. Энсон между тем нанес следующий удар:

– Сам-то я предпочитаю Стэнли Уэймена.

– Замечательно, – ответил Дойл. – Замечательно. – Под этим подразумевалось: с моей точки зрения, это просто замечательно, что ваш выбор пал именно на него.

– Видите ли, Дойл... надеюсь, я могу высказаться без экивоков? Вы бы, наверное, не отнесли меня к ценителям беллетристики, но я, будучи главным констеблем, по необходимости смотрю на вещи с профессиональной точки зрения, в отличие от многих ваших читателей. Если у вас в книжках выведены полицейские, которые не справляются со своими обязанностями, то в моем понимании это продиктовано логикой ваших умопостроений. Где еще блеснуть вашему ученому сыщику, если не в окружении болванов?

На это даже не требовалось возражать. Кому бы пришло в голову называть болванами таких, как Лестрейд, и Грегсон, и Хопкинс, и... и... в общем, не требовалось, и все.

– Нет, я вполне понимаю ваши соображения, Дойл. Но в реальном мире...

С этого места Дойл по большому счету слушать перестал. Во всяком случае, мыслями его завладела фраза «в реальном мире». С какой же легкостью все судят о том, что реально, а что нет. Мир, в котором припозднившегося на прогулке молодого солиситора отправили в портлендскую каторжную тюрьму... Мир, в котором Холмс вновь и вновь распутывал загадки, которые не по зубам Лестрейду и его коллегам... или мир потусторонний, мир, отгороженный дверью, куда без усилий скользнула Туи. Кто-то верит лишь в один из этих миров, кто-то – в два и мало кто – во все три. С чего люди взяли, что суть прогресса в том, чтобы сужать границы веры, а не в том, чтобы их расширять, все более открывая себе Вселенную?

– ...именно поэтому, друг мой, без приказа Министерства внутренних дел я не стану выдавать инспекторам кокаиновые шприцы, а сержантам и констеблям – скрипки.

Склонив голову, Дойл будто бы признал чувствительный удар. Но на этом лицедейство и гостеугодничество нужно было заканчивать.

– Теперь к делу. Мои выкладки вами прочитаны.

– Мною прочитаны ваши... записи, – отвечал Энсон. – Печальная, должен сказать, история. Цепь ошибок. Можно было принять меры гораздо раньше.

Дойл удивился такой откровенности.

– Рад слышать столь прямые суждения. Какие ошибки вы имеете в виду?

– Ошибки этого семейства. С них все и пошло наперекосяк. Родственники жены. Что им ударило в голову? Ну что им ударило в голову? Вообразите, Дойл: ваша племянница надумала выйти за парса... уперлась... и что вы предпринимаете? Вы даете этому типу возможность подкормиться... здесь, в Грейт-Уэрли. Это же все равно что назначить фения на пост главного констебля Стаффордшира – и дело с концом.

– Склонен с вами согласиться, – ответил Дойл. – Несомненно, его покровитель стремился продемонстрировать терпимость Англиканской церкви. Викарий, насколько можно судить, человек доброжелательный и глубоко набожный, он служит приходу в меру всех своих сил. Но назначение темнокожего священнослужителя в такой приход, где царят грубость и косность, закономерно привело к печальным последствиям. Такие эксперименты лучше не повторять.

Энсон с внезапным уважением взглянул на гостя, пропустив мимо ушей «грубость и косность». Выходит, у них больше точек соприкосновения, чем он ожидал. Ему следовало предвидеть, что сэр Артур вряд ли покажет себя отъявленным радикалом.

– По его милости в деревню внедрились трое детей-полукровок.

– Джордж, Хорас и Мод.

– Трое детей-полукровок, – повторил Энсон.

– Джордж, Хорас и Мод, – повторил Дойл.

– Джордж, Хорас и Мод Эда-а-алджи.

– Вы прочли мои выкладки?

– Я прочел ваши... выкладки. – На сей раз Энсон решил пойти на уступку в отношении этого слова. – И восхищен как вашим упорством, сэр Артур, так и пафосом. Обещаю, что ваши дилетантские рассуждения останутся между нами. Если они получают огласку, это не пойдет на пользу вашей репутации.

– Позвольте мне самому это решать.

– Как угодно, как угодно. Бланш на днях зачитала мне ваше давнее интервью «Стрэнду» относительно ваших методов. Полагаю, ваши слова там безбожно переврали?

– Не припоминаю. Впрочем, у меня нет привычки перечитывать ради сличения.

– Вы описали процесс создания своих историй – мол, в первую голову вас занимает финал.

– От конца к началу. Невозможно выбрать правильный путь, если тебе неизвестен пункт назначения.

– Вот именно. Как говорится в ваших... выкладках, при первой

встрече с молодым Эдалджи – если не ошибаюсь, в вестибюле какой-то гостиницы – вы некоторое время за ним понаблюдали, но еще до личного знакомства были убеждены в его невинности, это так?

– Совершенно верно. Причины изложены мною во всех деталях.

– Я бы сказал, причины *прочувствованы* вами во всех деталях. Ваши умозаключения основаны на чувствах. Вы внушили себе, что несчастный юноша ни в чем не повинен, – и все встало на свои места.

– А вы внушили себе, что юноша виновен, – и все встало на свои места.

– Мои умозаключения основывались не на интуитивных догадках, озаривших меня в гостиничном вестибюле, а на донесениях полицейских и на многолетних отчетах.

– Вы изначально сделали этого парня своей мишенью. В письме вы угрожали ему каторгой.

– Я пытался предостеречь этого парня и его отца, явно ступивших на криминальный путь. Вряд ли я совершаю ошибку, считая, что на полицию возложены не только карательные, но и профилактические функции.

Дойл покивал: эта фраза, как он подозревал, была заготовлена специально для него.

– Вы забываете, что еще до знакомства с Джорджем я читал его отличные статьи в «Арбитре».

– Мне еще не встречался тот, кто при аресте именем Его Величества не привел бы убедительных обоснований своей невинности.

– По вашему мнению, Джордж Эдалджи рассылал письма, порочащие его самого?

– Среди множества прочих писем. Да.

– По вашему мнению, он возглавлял банду, которая калечила скот?

– Кто знает? Банда – это газетное словцо. Но без сообщников, я уверен, здесь не обошлось. Не сомневаюсь также, что солиситор был умней их всех.

– По вашему мнению, его отец, священник Англиканской церкви, желая обеспечить алиби своему сыну, пошел на лжесвидетельство?

– Дойл, позвольте личный вопрос. У вас есть сын?

– Да. Четырнадцать лет.

– И попади он в передрагу, вы ему поможете.

– Да. Но если он совершит преступление, я не пойду на лжесвидетельство.

– Но все же будете защищать его и поддерживать всеми иными способами.

– Да.

– Тогда, наверно, ваше воображение подскажет, что кто-нибудь другой пойдет и на большее.

– Не могу вообразить, чтобы служитель Англиканской церкви, положив руку на Библию, сознательно пошел на лжесвидетельство.

– Тогда попытайтесь вообразить следующее. Представьте, что парсотец ставит верность своим родным, таким же парсам, выше верности чужой для него стране, пусть даже предоставившей ему убежище и поддержку. Он захочет спасти шкуру своего сына, Дойл. Шкуру.

– По вашему мнению, мать и сестра тоже лгали под присягой?

– Что вы заладили, Дойл, «по вашему мнению»? Мое мнение, как вы изволите выражаться, – это не мое личное мнение, а мнение стаффордширского полицейского управления, и прокурора, и должным образом утвержденных англичан-присяжных, и представителей суда квартальных сессий. Не пропустив ни одного дня заседаний, могу утверждать следующее, хотя вам неприятно будет это слышать, но куда деваться? Присяжные не поверили показаниям семейства Эдалджи, и в первую очередь – отца с дочерью. Показания матери, видимо, не играли существенной роли. Решение коллегии присяжных не принимается с кондачка. Англичане-присяжные садятся за стол и с полной ответственностью обсуждают свой вердикт. Взвешивают доказательства. Исследуют характер. Не ждут знака свыше, как... при столоверчении во время сеанса.

Взгляд Дойла сделался колючим. Случайно ли собеседник обронил эту фразу или сознательно рассчитывал вывести его из равновесия? Ну, он тоже не так-то прост.

– Предмет наших с вами обсуждений – не какой-нибудь подручный из мясной лавки, а солиситор, образованный англичанин, настоящий профессионал, который в свои неполные тридцать лет уже является автором книги по железнодорожному праву.

– Тем серьезнее совершенное им правонарушение. Если вам кажется, что уголовные суды занимаются исключительно преступным элементом, то вы наивнее, чем я думал. Бывает, авторы книг тоже оказываются на скамье подсудимых. И приговор, несомненно, соответствовал тяжести преступления, совершенного тем, кто беззастенчиво попрали все нормы законности, хотя и присягал служить им верой и правдой.

– Семь лет каторжной тюрьмы. Даже Уайльд получил только два.

– Не зря же приговор выносится судом, а не мною и не вами единолично. Вероятно, я бы не скостил назначенный Эдалджи срок, а

Уайльду определенно добавил бы. Он был виновен по всем статьям, включая, кстати, и лжесвидетельство.

– Как-то раз мы с ним вместе ужинали, – сказал Дойл. Антагонизм сгущался, как туман над рекой Соу, и все инстинкты подсказывали, что нужно слегка отыграть назад. – Году, наверное, в восемьдесят девятом. Золотые воспоминания. Я ожидал встретить самовлюбленного говоруна, однако увидел безупречно воспитанного джентльмена. За столом нас было четверо, и он, будучи на голову выше остальных, ничем не выдавал своего превосходства. Говорун, даже неглупый, не может в душе быть джентльменом. Уайльд держался с нами на равных, он умел проявлять интерес к чужому мнению. А в преддверии нашей встречи даже прочел моего «Михея Кларка». Помню, разговор зашел о том, как удачи друзей порой вызывают у нас странное недовольство. Уайльд рассказал притчу о дьяволе в Ливийской пустыне. Слышали? Нет? Так вот: как-то раз дьявол, обходя собственные владения и верша свои козни, наткнулся на ватагу бесенят, которые осаждали святого отшельника. Святой легко отмахивался от извечных вредоносных искушений и соблазнов. «Кто же так делает? – обратился к бесенятам дьявол. – Давайте я покажу. А вы учитесь». Подкрался он к отшельнику со спины и медоточиво шепнул ему на ухо: «Твой брат назначен епископом Александрийским». И тотчас же лик отшельника исказила неудержимая зависть. «Вот, – сказал дьявол своим бесенятам, – как нужно творить подобные дела».

Энсон посмеялся вместе с Дойлом, хотя и слегка натужно. Его не увлекали циничные байки лондонского содомита.

– Как бы то ни было, – сказал он, – в лице самого Уайльда дьявол определенно нашел легкую добычу.

– Добавлю, – продолжал Дойл, – что в речах Уайльда я ни разу не заметил ни намека на пошлость и в то время он даже не ассоциировался у меня с чем-либо подобным.

– Иными словами, настоящий профессионал.

Дойл проигнорировал издевку.

– Через несколько лет мы столкнулись на лондонской улице, и у меня возникло впечатление, что Уайльд помешался. Он спросил, смотрел ли я в театре такую-то и такую-то его пьесу. Я ответил, что, к сожалению, еще нет. «Непременно сходите, – мрачно потребовал Уайльд. – Она великолепна! Она гениальна!» Ничто в нем не напоминало о былой интуиции джентльмена. Тогда мне подумалось, и я до сих пор так считаю, что в основе чудовищных перемен, которые его подкосили, лежала какая-то патология, а потому выяснять их сущность следовало в больнице, а не в

суде.

– При вашем либерализме в тюрьмах было бы пусто, – сухо заметил Энсон.

– Вы неправильно меня трактуете, сэр. Я дважды брался за такое малопочтенное занятие, как предвыборная кампания, хотя сам не принадлежу ни к одной из партий. И горжусь, что я неофициальный англичанин.

Эта фраза, в которой Энсон узрел самодовольство, повисла между ними облачком сигарного дыма. Главный констебль решил, что пора нажать.

– Тот молодой человек, которого вы, сэр Артур, так благородно отстаиваете, не в полной мере – должен предостеречь – отвечает вашим представлениям. Есть различные нюансы, которые не оглашались в суде...

– Значит, на то имелись очень веские причины, предусмотренные нормами доказательного права. Или же эти нюансы носили столь сомнительный характер, что были бы легко опровергнуты защитой.

– Между нами, Дойл: ходили слухи...

– Слухи ходят всегда.

– Слухи о карточных долгах, о злоупотреблениях денежными средствами клиентов. Поинтересуйтесь у своего юного друга, не было ли у него серьезных неприятностей за пару месяцев до ареста.

– В мои планы это не входит.

Неторопливо поднявшись, Энсон подошел к своему письменному столу, достал из одного ящика ключ и отпер им другой ящик, откуда вытащил папку.

– Я вам кое-что покажу, но строго конфиденциально. Письмо, адресованное сэру Бенджамину Стоуну. Вне всякого сомнения, не единственное.

Письмо было датировано двадцать девятым декабря тысяча девятьсот второго года. В верхнем левом углу печатными буквами – адрес конторы Джорджа Эдалджи и его же адрес для телеграфных сообщений; в верхнем правом углу – «Грейт-Уэрли, Уолсолл». Тут даже не требовалось показаний этого шарлатана Гаррина: Дойл и без того узнал почерк Джорджа.

Сударь, мои обстоятельства изменились от вполне благополучных до совершенно бедственных, и прежде всего потому, что мне пришлось выплатить крупную сумму (около 220 ф. ст.) за своего друга, для которого я выступил поручителем. В надежде поправить свои дела

я взял ссуды у троих ростовщиков, но их непомерные проценты лишь усугубили мое положение, и двое из них сейчас добиваются объявления меня несостоятельным должником, но готовы отозвать свое ходатайство при условии единовременной выплаты мною суммы в 115 ф. ст. Знакомых, которые были бы способны оказать мне помощь, у меня нет, а поскольку банкротство грозит мне полным разорением и еще долго не позволит вернуться к адвокатской практике, я потеряю всю свою клиентуру; потому-то в качестве крайней меры я и обращаюсь к нескольким посторонним господам.

У друзей я смогу занять лишь 30 ф. ст., мои собственные сбережения составляют примерно 21 ф. ст., а потому буду чрезвычайно признателен Вам за любую поддержку, даже незначительную, так как она позволит мне выполнить нелегкие обязательства.

Приношу извинения за беспокойство и рассчитываю на Вашу посильную помощь.

Остаюсь, с уважением к Вам,

Дж. Э. Эдалджи

Энсон наблюдал за Дойлом, когда тот читал письмо. Стоило ли говорить, что написано оно было за месяц и одну неделю до первого преступления. Теперь мяч оказался на площадке Дойла. Вернувшись к первой странице, он перечитал некоторые фразы и в конце концов сказал:

– Вы, конечно же, провели расследование?

– Разумеется, нет. В обязанности полиции это не входит. Попрошайничество на дороге общественного пользования – это правонарушение, а попрошайничество в среде лиц свободных профессий нас не касается.

– Я не вижу здесь указаний на карточные долги или злоупотребления денежными средствами клиентов.

– Такие указания вряд ли тронули бы сердце сэра Бенджамина Стоуна. Читайте между строк.

– Отказываюсь. Я вижу здесь отчаянную просьбу достойного молодого человека, который пострадал от собственного великодушия по отношению

к другу. Парсы известны своей отзывчивостью.

– Ах вот оно что: он вдруг заделался парсом?

– О чем вы?

– Он не может по вашему желанию становиться то образованным англичанином, то парсом. Разумно ли поступает достойный молодой человек, когда берет на себя такое серьезное финансовое обязательство, а потом отдается на милость трех ростовщиков? Много ли вы знаете солиситоров, которые так поступают? Читайте между строк, Дойл. И попытайте своего друга.

– В мои планы не входит его пытаться. Ясно же, что он не обанкротился.

– Да, в самом деле. Подозреваю, что его выручила мать.

– Или же в Бирмингеме нашлись люди, которые оказали ему такое же доверие, какое он оказал своему другу, выступив поручителем.

Энсон счел Дойла столь же упрямым, сколь и наивным.

– Аплодирую вашей... романтической жилке, сэра Артур. Она делает вам честь. Но уж простите, мне она видится нереалистичной. Равно как и ваша кампания. Вашего подопечного выпустили из мест заключения. Он на свободе. Зачем будоражить народные умы? Вы хотите добиться от министерства пересмотра этого дела? Министерство пересматривало его бесчисленное количество раз. Вы добиваетесь создания комиссии? Почему вы так уверены, что получите от нее желаемое?

– Комиссию мы создадим непременно. Мы добьемся полного оправдания. Добьемся компенсации. А в довершение установим личность подлинного преступника, вместо которого отбывал наказание Джордж Эдалджи.

– Даже так? – Энсон начал раздражаться всерьез. Могли ведь с приятностью провести время: два светских человека, каждому около пятидесяти, один – сын графа, другой – рыцарь королевства, каждый, кстати, заместитель председателя своего графства по делам территориальной армии. У них куда больше точек соприкосновения, чем расхождений... А получается сплошная свара. – С вашего разрешения, Дойл, подчеркну два момента. Вы явно вообразили себе какую-то многолетнюю, непрерывную цепь ужасов: письма, фальсификации, изуверства, новые угрозы. Итак, по-вашему, полиция сваливает всю вину на вашего друга. Тогда как вы сваливаете всю вину на известных или неизвестных, но одних и тех же преступников. Где же логика, будь то в первом или во втором случае? Мы предъявили Эдалджи два обвинения, причем второе было отклонено. Я лично полагаю, что ко многим эпизодам он вообще не имел отношения. Разгул преступности редко бывает делом

рук одного человека. Один человек может оказаться как главарем, так и просто сообщником, пособником. Возможно, он увидел, какое действие возымели анонимные письма, и решил тоже попробовать. Возможно, он увидел, какое действие возымела фальсификация, и решил поиграть в фальсификатора. Услышал, как некая банда калечит скот, и решил к ней примкнуть. А второй пункт заключается в следующем. За свою жизнь я не раз видел, как людей, судя по всему виновных, оправдывали, а тех, кто, судя по всему, невиновен, объявляли виновными. Что вас так удивляет? Мне известны примеры ошибочных обвинений и ошибочного лишения свободы. Но в подобных случаях жертва редко оказывается столь безгрешной, как хотелось бы ее заступникам. Позвольте, к слову, выдвинуть одно предположение. Вы впервые увидели Джорджа Эдалджи в гостиничном вестибюле. На эту встречу, как я понял, вы опоздали. И сделали вывод о невиновности этого юноши из его позы. Надо подчеркнуть: Джордж Эдалджи явился туда раньше вас. Он вас ожидал. Знал, что вы станете его разглядывать. И принял соответствующую позу.

На это Дойл не ответил, он лишь выпятил подбородок и затянулся сигарой. Энсон еще раз подумал: упрямый черт, этот шотландец, или ирландец, или кем он там себя объявляет.

– Вы хотите, чтобы он оказался полностью безвинным, так? Не просто безвинным, а полностью безвинным? Как показывает мой опыт, Дойл, каждый хоть в чем-то да повинен. Если вердикт гласит «невиновен», это не то же самое, что «безвинен». Полностью безвинных практически нет.

– А Иисус Христос?

«Ох, умоляю, – подумал Энсон. – Я ведь тоже не Понтий Пилат».

– Ну, с сугубо юридических позиций, – мягким, сытым тоном заговорил он, – можно было бы утверждать, что Господь споспешествовал тому, чтобы навлечь на Себя гонения.

Теперь уже Дойл почувствовал, что они уклоняются от темы.

– В таком случае разрешите спросить: что же, по вашему мнению, произошло в реальности?

Энсон рассмеялся, причем чересчур откровенно.

– Боюсь, это вопрос из детективной литературы. Из области того, что потребно вашим читателям и в подкупающей манере предоставляется вами. «Расскажите нам, что же произошло в реальности». Большинство преступлений, Дойл, подавляющее большинство, совершается без свидетелей. Взломщик дожидается ухода хозяев. Убийца дожидается, чтобы рядом с жертвой никого не было. Изувер, вспарывающий брюхо лошади, дожидается ночной темноты. А когда есть свидетель, это чаще

всего сообщник – второй злоумышленник. Когда преступник схвачен, он лжет. Всегда. Допросите пару сообщников по отдельности – и услышите две лживые истории. Если одного вынудят стать свидетелем обвинения, он сочинит новую ложь. Можно бросить все силы полицейского управления Стаффордшира на раскрытие уголовного дела – мы все равно не узнаем, что же, как вы вопрошаете, «произошло в реальности». Я не философствую, а рассуждаю чисто практически. Для вынесения приговора достаточно того, что нам известно, – того, что в конечном счете стало нам известно. Извините, что позволил себе лекцию о положении дел в реальном мире.

Дойл мог только гадать, настанет ли такой день, когда его прекратят попрекать за создание Шерлока Холмса. Все поправляют, советуют, наставляют, поучают – будет ли этому конец? Но отступать нельзя. Просто не нужно поддаваться на провокации.

– Оставим это в стороне, Энсон. И допустим – боюсь, такое допущение необходимо, – что к концу вечера ни одному из нас не удастся сдвинуть другого с места. Напрашивается вопрос. Верите ли вы, что уважаемый молодой солиситор, никогда прежде не проявлявший признаков жестокости, вдруг выбирается из дома среди ночи, чтобы нанести подлое, жестокое увечье шахтерскому пони? Я прошу вас ответить: зачем?

Энсон мысленно взвыл. Мотив. Преступный склад ума. Опять начинается. Встав, он подлил в стаканы бренди.

– За игру воображения платят не мне, а вам, Дойл.

– И все равно я не считаю его виновным. Мне не под силу сделать скачок, какой совершили вы. В данный момент вы не на свидетельской трибуне. Мы с вами, двое английских джентльменов, сидим за превосходным коньяком и, смею сказать, еще более превосходными сигарами, в прекрасном доме посреди этого славного графства. Все сказанное вами останется в этих стенах, даю слово. Я просто спрашиваю: с вашей точки зрения – зачем?

– Ну хорошо. Начнем с известных фактов. Дело Элизабет Фостер, прислуги за все. Туда, по вашим утверждениям, уходит корнями эта история. Естественно, мы подняли то старое дело, но расследование не возобновляли за недостаточностью улик.

Дойл в недоумении посмотрел на главного констебля.

– Не понимаю. Расследование было. Она во всем призналась.

– Расследование проводилось в частном порядке – самим викарием. А девушку запугали нанятые им адвокаты, вот она и призналась. Вряд ли такое придется по душе прихожанам.

- Значит, полиция уже тогда отказалась защищать эту семью?
- Дойл, мы назначаем расследование только при наличии улики. Как и произошло в тот раз, когда сам солиситор сделался жертвой нападения. Ага, вижу, он вам не докладывал.
- Он не ищет жалости.
- Вот, кстати. – Энсон достал из папки какой-то документ. – От ноября девятисотого года. Подвергся нападению двух молодых жителей Уэрли. Те двое в Лендивуде протащили его сквозь живую изгородь, а один из них испортил ему зонт. Оба признали свою вину. Выплатили сумму ущерба. По решению кэннокского суда. А вы не знали, что он там бывал?
- Можно взглянуть?
- К сожалению, нельзя. Полицейские протоколы.
- Тогда назовите хотя бы фамилии осужденных. – Видя, что Энсон колеблется, он добавил: – Я всегда смогу пустить по следу моих ищек.
- К удивлению Дойла, Энсон шутливо твякнул.
- Значит, вы тоже охотитесь с ищечками? Ладно, фамилии такие: Уокер и Глэдуин. – Он понял, что для Дойла они пустой звук. – Вообще говоря, мы можем предположить, что это не единичный случай. Видимо, нападения случались и до, и после – ну, вероятно, не столь злостные. Наверняка и оскорбления были. В Стаффордшире молодежь не святая.
- Если хотите знать, Джордж Эдалджи категорически отрицает, что в основе его злоключений лежит расовая неприязнь.
- Тем лучше. Значит, мы спокойно можем на ней не останавливаться.
- Но я, разумеется, – добавил Дойл, – не согласен с его анализом ситуации.
- Воля ваша, – невозмутимо ответил Энсон.
- А как это нападение связано с делом?
- Очень просто, Дойл: нельзя понять конца, не зная начала. – Теперь Энсон благоденствовал. Его удары один за другим достигали цели. – У Джорджа Эдалджи были серьезные основания ненавидеть Уэрли и окрестности. Во всяком случае, он так считал.
- И поэтому взялся калечить скот, чтобы отомстить? Где связь?
- Сразу видно, что вы горожанин, Дойл. Корова, лошадь, овца, свинья – это не просто домашний скот. Это средства к существованию. Скажем так, экономическая мишень.
- А вы можете продемонстрировать связь между теми, кто напал на Джорджа в Лендивуде, и каким-либо изувеченным впоследствии животным?
- Нет, не могу. Но от преступников и нельзя ожидать логики.

– Даже от умных?

– От умных – тем более, как показывает мой опыт. В общем, у нас есть молодой человек, любимчик своих родителей, который застрял в отчем доме, хотя его младший брат давно выпорхнул из гнезда. Наш молодой человек затаил злобу на всю округу, перед которой чувствует свое превосходство. У него катастрофические долги. Ростовщики угрожают ему судом, а это уже полный крах карьеры. Он вот-вот потеряет все, к чему так долго шел...

– И что из этого следует?

– Из этого следует... что он, вероятно, помешался, совсем как ваш друг мистер Уайльд.

– Уайльда, с моей точки зрения, развратил собственный успех. Ежевечерние овации в Вест-Энде по силе воздействия несопоставимы с рецензиями на справочник по железнодорожному праву.

– Вы обмолвились, что Уайльд – это патологический случай. Почему бы не признать то же самое в отношении Эдалджи? Мне видится, что солиситор долгое время метался от отчаяния. Он жил в сильном, если не сказать невыносимом, напряжении. Вы же сами усмотрели в его вымогательском письме «отчаяние». У него могли произойти некоторые патологические сдвиги, могла проявиться неодолимая тяга к злодеяниям.

– Он наполовину шотландец.

– Совершенно верно.

– И наполовину парс. Парсы – наиболее образованная и экономически преуспевающая народность в Индии.

– Ничуть не сомневаюсь. Не зря же их прозвали «бомбейскими евреями». И точно так же я не сомневаюсь, что корень всех зол – смешение кровей.

– В моих жилах течет шотландская и ирландская кровь, – сказал Дойл. – Разве это побуждает меня калечить животных?

– Вы сами предлагаете мне довод. Какой англичанин... какой шотландец... какой полушотландец... стал бы бросаться с клинком на лошадь, корову, овцу?

– Вспомним шахтера Фаррингтона, который именно это и совершил, когда Джордж был в заключении. Но я задам вам встречный вопрос: какой индеец стал бы это делать? Разве в Индии не чтят домашний скот как богов?

– Но когда смешивается кровь, жди беды. Возникают непримиримые расхождения. Почему в человеческом обществе повсеместно не выносят полукровок? Да потому, что у них душа разрывается между стремлением к

цивилизации и тягой к варварству.

– И какая же кровь, по-вашему, ответственна за варварство: шотландская или парсская?

– Шутить изволите, Дойл. Ведь лично для вас кровь – не пустой звук. Раса – не пустой звук. За ужином вы сами рассказывали, как ваша мать с гордостью проследила свою родословную на пять веков назад. Извините, если неточно вас процитирую, но, помнится мне, на ветвях вашего генеалогического древа есть немало имен великих мира сего.

– Все точно. Вы хотите сказать, что Джордж Эдалджи вспарывал брюхо лошадям по той простой причине, что пять веков назад его предки в Персии или где-то еще проделывали то же самое?

– Понятия не имею, практиковались ли у них варварские или обрядовые действия. Не исключено. Сам Эдалджи, вполне возможно, не догадывался, что именно подталкивало его к таким действиям. Какой-то зов из глубины столетий, вырвавшийся наружу вследствие такого неожиданного и прискорбного смешения кровей.

– Вы всерьез считаете, что все произошло именно так?

– Примерно так, да.

– А как же Хорас?

– Хорас?

– Хорас Эдалджи. Родился все от того же смешения кровей. В настоящее время – уважаемый государственный служащий в налоговом ведомстве Его Величества. Не хотите ли вы сказать, что Хорас тоже состоял в банде?

– Нет.

– А почему, собственно? У него те же данные.

– И опять вы шутите. Для начала, Хорас Эдалджи проживает в Манчестере. Далее, я всего лишь указываю, что в определенных экстремальных обстоятельствах смешение кровей обуславливает некую тенденцию, некую предрасположенность к варварству. А так, конечно, многие полукровки ведут вполне respectable образ жизни.

– До той поры, пока что-нибудь их не спровоцирует.

– Как полная луна провоцирует лунатизм у некоторых цыган и ирландцев.

– Почему-то со мной такого не случилось.

– У ирландцев из низов, любезный Дойл. Ничего личного.

– Но какая разница между Джорджем и Хорасом? Отчего, с вашей точки зрения, первый вернулся к варварству, а второй – нет... вернее, пока еще нет?

- У вас есть брат, Дойл?
- Да, есть. Младший. Иннес. Кадровый офицер.
- Отчего же он не сочиняет детективные рассказы?
- Сегодня теоретик из меня никакой.
- Да оттого, что обстоятельства складываются по-разному, даже у братьев.
- Вопрос остается: почему не Хорас?
- Доказательства налицо, Дойл. Их представили суду сами родственники. Меня удивляет, что вы это проглядели.
- «Жаль, не снял номер в гостинице „Белый лев“, прямо через дорогу, – подумал Дойл. – На тот случай, если до наступления ночи возникнет желание покрушить какую-нибудь мебель».
- Дела такого рода, вызывающие недоумение и даже отторжение у сторонних лиц, чаще всего упираются, как показывает мой опыт, в такие темы, которые по очевидным причинам не муссируются в зале суда. Обычно такие темы обсуждаются в курительной комнате. Но вы, как показывают ваши рассказы об Оскаре Уайльде, человек, умудренный опытом. А к тому же, насколько мне помнится, получили медицинское образование. И даже, если не ошибаюсь, побывали в Южной Африке, чтобы поддержать нашу армию в Англо-бурской войне.
- Все это так. – «К чему он клонит, этот тип?»
- Вашему другу, мистеру Эдалджи, тридцать лет. Он до сих пор не женат.
- Как и многие его сверстники.
- И скорее всего, останется холостяком.
- Тем более что у него за плечами срок тюремного заключения.
- Нет, Дойл, это не помеха. Всегда находятся невзыскательные дамочки, которых влечет дух Портленда. Загвоздка в другом. Загвоздка в том, что ваш подопечный – лупоглазый полукровка. На такого охотниц нет, а уж тем более в Стаффордшире.
- А как это относится к делу?
- Но переходить к делу Энсон явно не спешил.
- В суде квартальных сессий обвиняемый сам показал, что у него нет друзей.
- Как, разве он не входит в пресловутую уэрлийскую банду?
- Энсон проигнорировал этот укол.
- Ни приятелей, ни, между прочим, приятельниц. Его никогда не видели под ручку с девушкой. Хотя бы с горничной.
- Вот не думал, что вы так внимательно за ним следили.

– Спортом не занимается. Вы отметили? Славные, мужественные английские виды спорта – крикет, футбол, гольф, теннис, бокс – ему совершенно чужды. Стрельба из лука, – продолжил главный констебль и, поразмыслив, добавил: – Гимнастика.

– Вам нужно, чтобы человек с близорукостью минус восемь выходил на ринг, а иначе вы упечете его за решетку?

– Ах да, зрение – вот ответ на все вопросы. – Чувствуя нарастающее раздражение Дойла, он умышленно провоцировал его и дальше. – Да, несчастный, одинокий мальчуган-книголюб с выпученными глазенками.

– И что дальше?

– Вы, если не ошибаюсь, по специальности окулист?

– В течение непродолжительного времени у меня был кабинет на Девоншир-Плейс.

– И много ли встречалось в вашей практике случаев пучеглазости?

– Не слишком много. По правде говоря, наплыв пациентов был невелик. Они меня не обременяли, тем самым давая мне возможность заниматься литературным творчеством. Так что их отсутствие, вопреки ожиданиям, обернулось для меня благом.

Отметив знакомые нотки самодовольства, Энсон продолжал наступать:

– И с какими состояниями у вас ассоциируется экзофтальм?

– Иногда он возникает вследствие коклюша. И конечно, свидетельствует о странгуляции.

– Обычно экзофтальм связывают с нездоровой степенью полового влечения.

– Чушь!

– Само собой разумеется, сэр Артур, к вашим рафинированным пациентам на Девоншир-Плейс это не относится.

– Это абсурд.

Полицейские во главе со своим начальником опустили до предрассудков и бабьих домыслов?

– Такое наблюдение, естественно, в суде не озвучивают. Но оно широко известно в среде тех, кто расследует преступления определенного рода.

– Тем не менее это сущий вздор.

– Воля ваша. Далее, стоит задуматься над расположением спальных мест в доме викария.

– Которое однозначно указывает на невиновность парня.

– Мы согласились, что сегодня нам ни на йоту не изменить мнение друг друга. И все же давайте задумаемся, как домочадцы устраивались на

ночь. На момент заболевания младшей сестры мальчику было... лет десять, правильно? С этого времени мать с дочерью ночуют вместе; у отца со старшим сыном тоже общая спальня. И только у счастливчика Хораса отдельная комната.

– И вы подразумеваете... вы подразумеваете, что в той комнате происходили какие-то мерзости? – «Куда, черт возьми, он клонит? Совсем с ума сошел?»

– Нет, Дойл. Как раз наоборот. Я твердо уверен, что в той комнате ничего не происходило. Она служила только для сна и молитвы. Вот и все. Так что вы, уж извините, попали пальцем в небо.

– Следовательно?..

– Как я уже сказал, доказательства налицо. Мальчик с десяти лет спит под замком в одной комнате с папой. Из ночи в ночь, из ночи в ночь, в период полового созревания и возмужания. Его брат уезжает из родительского дома – и что же? Юноше достается освободившаяся комната? Ничуть не бывало: заведенный порядок, как ни странно, сохраняется. Одинокий мальчуган становится одиноким молодым человеком гротескной наружности. Его никогда не видят в компании с прекрасным полом. Между тем естественно предположить, что ему свойственны нормальные желания и аппетиты. Невзирая на ваш скепсис, мы все же считаем, что его экзофтальм выдает желания и аппетиты, выходящие за рамки обычного. Мы же с вами мужчины, Дойл, и понимаем эту сторону жизни. Мы знаем, как опасна пора отрочества и юности. Как приходится зачастую делать выбор между потаканием плотским инстинктам, которое подтачивает нравственные и физические силы, а порой даже перерастает в криминальное поведение, и борьбой с низменными позывами за счет здоровых форм досуга, то есть занятий мужественными видами спорта. Эдалджи в силу своих жизненных обстоятельств успешно избежал первого пути, а по второму идти не захотел. Я согласен: бокс вряд ли стал бы его козырем, но есть же, например, гимнастика, физическая культура, да хотя бы это американское новшество – бодибилдинг.

– По-вашему, то изуверство было сопряжено... с некими плотскими целями или проявлениями?

– Непосредственным образом – нет. Но вы спрашиваете, что, по моему мнению, произошло в действительности и почему. Давайте на минуту признаем большую часть ваших утверждений по поводу этого молодого человека. Прилежно учился, чтит родителей, молился в отцовской церкви, не пил, не курил, много работал у себя в конторе. Тогда вы должны сделать

встречный шаг и признать, что у него, вероятно, есть двойное дно. Да и может ли быть иначе ввиду особенностей его воспитания, полной изоляции, замкнутого образа жизни и чрезмерных позывов? Днем это добросовестный член общества. А ночью над ним то и дело берет верх нечто варварское, скрытое в недрах его темной души, нечто такое, что, по всей вероятности, непонятно даже ему самому.

– Голословные рассуждения, – ответил Джордж, но от Энсона не ускользнула какая-то перемена в его голосе: тон стал ниже, уверенности поубавилось.

– Вы сами призывали меня порассуждать. Согласитесь, я больше вашего сталкивался с криминальным поведением и криминальными намерениями. На них и основаны мои рассуждения. Вы стояли на том, что Эдалджи – человек с профессиональным образованием. Часто ли – угадывался ваш вопрос – люди с профессиональным образованием совершают преступления? И я ответил: намного чаще, нежели вам хочется верить. А теперь, сэр Артур, тот же вопрос, но в несколько измененной форме я адресую вам. Часто ли мужчины, которые счастливы в браке – что, естественно, предполагает регулярное удовлетворение полового желания, – совершают жестокие преступления извращенного характера? Мыслимо ли поверить, что Джек-потрошитель был счастлив в браке? Нет, немислимо. Пойду дальше и предположу, что у нормального, здорового мужчины, если он никогда не получает полового удовлетворения – не важно, по какой причине и в силу каких обстоятельств, – могут (заметьте, я говорю «могут», избегая более резких выражений) проявиться некоторые изменения склада ума. Я считаю, с Эдалджи так и произошло. Он ощущал себя в жуткой клетке с железными прутьями. Когда он смог бы вырваться? Когда смог бы получить хоть какое-нибудь удовлетворение? Как я понимаю, долгая, тянущаяся из года в год половая неудовлетворенность рано или поздно повредит рассудок. Мужчина станет поклоняться чуждым богам, совершать чуждые обряды.

Именитый гость промолчал. Более того, он залился краской. Может, бренди подействовал. Видимо, при всей своей искушенности Дойл на поверку оказался ханжой. Но скорее всего, он спасовал перед незыблемой силой предъявленных ему доводов. Как бы то ни было, он, уставившись на пепельницу, загасил сигару, которую едва успел раскурить. Энсон выжидал, но гость, который не пожелал или не смог ответить, только перевел взгляд на огонь в камине. Что ж, эта тема, пожалуй, себя исчерпала. Пришло время для более обыденных вопросов.

– Надеюсь, вы сегодня хорошо выспитесь, Дойл. Только

предупреждаю: многие считают, что в Грин-Холле водятся привидения.

– Надо же, – был ответ.

Энсон понимал, что мыслями Дойл сейчас далеко.

– Поговаривают, что гостям является всадник без головы. С подъездной дорожки доносится скрежет колес по гравию, но кареты не видно. Слышится таинственный колокольный звон, но никаких колоколов поблизости не обнаружено. Все это бред, конечно, сущий бред. – Энсон блаженствовал. – Но я не думаю, что вам являются фантомы, зомби и полтергейсты.

– Духи мертвых меня не тревожат, – устало, невыразительно произнес Дойл. – Более того, я приветствую их появление.

– Если возражений нет, завтрак в восемь.

Когда Дойл удалился, потерпев, как считал Энсон, сокрушительное поражение, главный констебль смахнул окурки сигар в огонь и полюбовался краткой вспышкой. Бланш еще не спала – перечитывала миссис Брэддон. В смежной со спальней гардеробной супруг ее набросил пиджак на костюмную стойку и прокричал:

– Шерлок Холмс посрамлен! Загадку раскрывает Скотленд-Ярд!

– Джордж, зачем так вопить?

В халате с отделкой позументом капитан Энсон на цыпочках прошествовал в спальню, сияя широкой улыбкой.

– Меня не волнует, если Великий Сыщик сидит на корточках под дверью, приложив ухо к замочной скважине. За сегодняшний вечер я ему преподаю пару уроков на темы реального мира.

Бланш Энсон, редко видевшая мужа в такой эйфории, сочла за лучшее до выходных конфисковать ключик от подставки с тремя графинами.

Артур

Выйдя из дверей Грин-Холла, Артур закипал все сильнее. Первый отрезок обратного пути до Хайндхеда почти не умерил его ярости. Ветка Уолсолл – Кэннок – Ружли Лондонской Северо-Западной железной дороги выросла в сплошной ряд провокаций: Стаффорд, где Джорджу вынесли приговор; затем Ружли, где он учился в школе; Хеднесфорд, где подвизается сержант Робинсон, которому он якобы угрожал прострелить голову; Кэннок, где эти олухи-магистраты решили передать его дело в уголовный суд; Уэрли – Чёрчбридж, откуда все началось; мимо лугов, где –

не исключено – паслись стада Блуитта; а дальше через Уолсолл, где, скорее всего, и коренился этот заговор, в Бирмингем, где Джордж был арестован. Каждая остановка на этой линии возвещала голосом Энсона: «Я и иже со мной здесь и хозяева, и народ, и правосудие».

Джин еще не видела Артура в таком состоянии. До вечера еще далеко, а он уже гремит сервизом, рассказывая о своей поездке.

– И как ты думаешь, что еще он заявил? Он посмел утверждать, что моей репутации не пойдет на пользу, если... если мои дилетантские рассуждения получат огласку. С такой надменностью я не сталкивался с той поры, когда в бытность свою нищим эскулапом в Саутси пытался убедить толстосума-пациента, считавшего себя смертельно больным, что он здоров как бык.

– И что ты предпринял? Я имею в виду – тогда, в Саутси?

– Что я предпринял? Повторил, что он в добром здравии, а в ответ услышал, что он не для того платит врачу, чтобы такое выслушивать; тогда я посоветовал ему обратиться к другому специалисту, который по заказу диагностирует у него любой недуг.

Джин смеется, рисуя в своем воображении эту сцену; ее веселье омрачается лишь легким сожалением оттого, что ее там не было и быть не могло. Впереди у них совместное будущее, это правда, но ей вдруг становится обидно, что на ее долю не выпало даже мизерного прошлого.

– И что ты теперь будешь делать?

– Я уже точно знаю, что буду делать. Энсон думает, что я подготовил свои выкладки с намерением отправить их в Министерство внутренних дел, где они, покрываясь пылью, будут небрежно упомянуты в каком-нибудь служебном обзоре, который если и увидит свет, то после нашей смерти. Я в эти игры не играю. Мои выводы получают максимально возможную огласку. В поезде я все продумал. Свой отчет я направлю в «Дейли телеграф», где его, надо думать, охотно напечатают. Но этим я не ограничусь. Я попрошу сопроводить мой материал пометкой «Авторское право не защищено», чтобы другие газеты, и прежде всего мидлендские, смогли его перепечатать в полном объеме и без выплаты гонорара.

– Потрясающе. И очень великодушно.

– Это так, к слову. Еще неизвестно, что окажется наиболее эффективным. Помимо всего прочего, я теперь четко обозначу позицию капитана Энсона в этом деле, его изначально предвзятое отношение, которое бросается в глаза. Если он пожелает услышать мои «дилетантские рассуждения» о своих действиях, пусть получит. А если надумает привлечь меня за клевету в печати, я еще оглашу их в суде. А когда я с ним

разделаюсь, он увидит, что его служебные перспективы не столь радужны, как ему кажется.

– Артур, ты позволишь?..

– Да, дорогая?

– Быть может, не стоит превращать эту кампанию в единоличную вендетту против капитана Энсона.

– А почему бы и нет? Считай, все зло – от него.

– Я что хочу сказать, Артур, милый: нельзя допустить, чтобы капитан Энсон отвлек тебя от главной цели. Если у него это получится, то сам же капитан Энсон порадуется больше всех.

Артур взглянул на нее с гордостью и удовольствием. До чего же дельная мысль и вдобавок чертовски разумная.

– Ты совершенно права. Я прижму Энсона ровно настолько, насколько потребуется в интересах Джорджа. Но он не выйдет сухим из воды. На втором этапе я ослаблю и его самого, и все полицейское управление. Вокруг истинного виновника кольцо сжимается, и если я покажу, что все это время он орудовал под носом у Энсона, который пальцем не шевельнул, чтобы его остановить, то главному констеблю останется одна дорога – в отставку. А напоследок я добьюсь реорганизации полицейского управления Стаффордшира снизу доверху. Полный вперед!

Он подмечает улыбку Джин, в которой ему видится и восхищение, и снисходительность – мощное сочетание.

– И кстати, дорогая, сдается мне, что нам пора назначить дату бракосочетания. Иначе тебя сочтут бессовестной кокеткой.

– Меня, Артур? Меня?

Коротко посмеявшись, он берет ее за руку. Полный вперед, говорит он себе, а то, не ровен час, в машинном отделении случится взрыв.

Вернувшись в «Подлесье», Артур берет за перо, чтобы стереть Энсона в порошок. То письмо приходскому священнику: «...верю, что смогу отправить оскорбителя на каторжные работы» – слыханное ли дело: такая вопиющая предвзятость со стороны ответственного лица? Переписывая эти слова, Артур чувствовал, как в нем закипает злость; чувствовал он и отрезвление от совета Джин. Действовать нужно так, чтобы добиться максимальной пользы для Джорджа: с одной стороны, не скатываться до клеветы, а с другой – выразить неопровержимое суждение об Энсоне. Давненько не сталкивался он с такой пренебрежительностью. Ну ничего, Энсон прочувствует то же самое на своей шкуре.

В настоящее время [начал он] у меня нет сомнений

в том, что капитан Энсон был совершенно честен в своей неприязни к Джорджу Эдалджи и не отдавал себе отчета в своих предубеждениях. Ожидать иного было бы неразумно. Но человек, занимающий такой пост, не имеет права на подобные чувства. Они слишком сильны, его подчиненные слишком слабы, а результаты ужасающи. Если проследить весь ход событий, то начальственная неприязнь изливалась наружу, пока не пропитала всех его подчиненных. Когда к ним попал Джордж Эдалджи, к нему не проявили даже самой элементарной справедливости.

Ни до возбуждения дела, ни в ходе судебного разбирательства, ни потом. Самонадеянность Энсона оказалась столь же безграничной, сколь и его предвзятость.

Мне неизвестно, какие последующие донесения капитана Энсона помешали отправлению правосудия на уровне Министерства внутренних дел, но я твердо знаю, что поверженного человека не только не оставили в покое, но и приложили все усилия к тому, чтобы очернить его имя, а также имя его отца, чтобы запугать всякого, кто мог бы вникнуть в обстоятельства дела. Когда к ним проявил внимание мистер Йелвертон, ему пришло письмо за подписью капитана Энсона, датированное восьмым ноября 1903 года: «Справедливо будет Вас предупредить: Вы лишь впустую потратите время, если попытаетесь доказать, что Джордж Эдалджи не мог, в силу своей профессии и предположительной порядочности, взяться за написание оскорбительных и гнусных писем. Его отец и я лично в равной степени уверены в тяге Эдалджи к анонимным пасквилям; некоторые лица прочувствовали эту его склонность на собственном опыте».

Между тем и сам Эдалджи, и его отец под присягой заявляют, что первый никогда в жизни не писал анонимных писем; мистер Йелвертон, запросив фамилии

«некоторых лиц», ответа не получил. Примите во внимание, что процитированное письмо, отправленное непосредственно после вынесения приговора, имело своей целью пресечь любое движение в защиту милосердия, что немного сродни избиению лежащего.

Если даже это не выведет Энсона на чистую воду, подумал Артур, значит до него и вовсе не добраться. Ему уже виделись газетные передовицы, запросы парламентариев, невнятные ответы Министерства внутренних дел и, возможно, длительная зарубежная командировка бывшего главного констебля перед назначением его на какое-нибудь теплое, хотя и отдаленное местечко. К примеру, на Вест-Индских островах. Миссис Энсон, которую Артур считал оживленной сотрапезницей, наверное, огорчится, но ей, несомненно, будет легче пережить заслуженное низвержение мужа, чем матери Джорджа было пережить незаслуженное низвержение сына.

«Дейли телеграф» опубликовала изыскания Артура в двух номерах, от одиннадцатого и двенадцатого января. Газета выигрышно расположила эти материалы, да и наборщики расстарались. Артур перечитал собственные слова вплоть до громоподобного завершения:

Нам в лицо хлопнули дверью. Теперь мы взываем к последней инстанции – к инстанции, которая никогда не ошибается, если факты изложены честно, и спрашиваем общественность Великобритании, может ли такое продолжаться?

Обе статьи вызвали бурю откликов. Разносчик телеграмм уже с закрытыми глазами находил дорогу в «Подлесье». О своей поддержке заявили Барри, Мередит и другие профессиональные литераторы. Газетная полоса «Телеграф», отведенная переписке с читателями, пестрела суждениями о зрении Джорджа и о несостоятельности защиты, упустившей из виду этот факт. Мать Джорджа дополнила свои показания:

Я неоднократно указывала нанятому для защиты солиситору на высокую степень близорукости нашего сына, которая была выявлена у него еще в детстве. Мне

сразу показалось, что даже в отсутствие других доказательств одно это позволяло утверждать, что он никак не мог бы дойти до поля, когда так называемая дорога стала непроходимой в темноте даже для людей с хорошим зрением. Я прочувствовала это так сильно, что пришла в отчаяние, когда мне во время дачи свидетельских показаний не предоставили возможности упомянуть его слабое зрение. Времени было крайне мало, а люди, как видно, устали от этого процесса... У моего сына зрение всегда было настолько слабым, что он вынужденно склонялся едва ли не вплотную к бумаге при письме, книгу или газету держал совсем близко к глазам, а на прогулке с трудом узнавал людей. Когда мы с ним назначали встречу, я всегда понимала, что сама должна его разыскивать, а не он меня.

В других письмах содержались требования розыска Элизабет Фостер, подробные отзывы о личности полковника Энсона, размышления о засилье бандитизма в Стаффордшире. Один корреспондент объяснял, как легко конские волоски могут отделиться от подкладки верхней одежды. Поступили письма от попутчика Джорджа по уэрлийскому поезду, от «Наблюдателя» из северо-западного Хэмпстеда и от «Друга парсов». Мистер Арун Чандер Датт, доктор медицины с кембриджским дипломом, посчитал нужным указать, что преступления против домашнего скота глубоко чужды восточному характеру. Чоури Мутху, доктор медицины, проживающий на Нью-Кавендиш-стрит, напомнил читателям, что вся Индия внимательно следит за развитием дела и что сейчас на карту поставлены доброе имя и честь Англии.

Через три дня после второй публикации в «Телеграф» Артура и мистера Йелвертона пригласили в Министерство внутренних дел, где их приняли мистер Гладстон, сэр Маккензи Чемберс и мистер Блэкуэлл. Договорились, что встреча будет считаться конфиденциальной. Беседа длилась в течение часа. Впоследствии сэр А. Конан Дойл заявил, что им с мистером Йелвертоном был оказан любезный и сочувственный прием и что он уверен в решимости министерства сделать все возможное для прояснения дела.

Отказ от авторского права обеспечил распространение этой истории не только в масштабе Центральных графств, но и по всему миру. Агентство,

которому Артур заказал сбор газетных вырезок, было перегружено; из раза в раз повторялся один и тот же заголовок, из которого Артур выучил перевод конкретного глагола на разные языки: «РАССЛЕДУЕТ ШЕРЛОК ХОЛМС». С каждой доставкой почты приходили выражения поддержки (и реже – несогласия). Предлагались самые невероятные толкования: например, что травля семьи Эдалджи была предпринята другими парсами как месть за отступничество Шапурджи. И конечно, не обошлось без послания, написанного уже хорошо знакомым почерком:

От одного сыщика из Скотленд-Ярда мне известно, что стоит вам выразить Гладстону свое мнение о виновности Эдалджи – и вам уже в следующем году даруют титул лорда. Разве не лучше получить титул, чем рисковать потерей почек и печени. Вспомните сколько совершается злостных убийств почему тогда вы надеетесь уцелеть?

Отметив орфографическую ошибку, Артур рассудил, что его человек пустился в бега, и перевернул страницу:

Доказательства сказанного – в статейках, разосланных им в разные газеты по выходе из тюрьмы, где ему и папаше его было самое место, наравне со всякими черномазыми и желтолицыми евреями. Такой почерк не больно-то подделаешь, слепой ты дурень.

Столь грубая провокация лишь подтверждала необходимость идти вперед по всем фронтам. Расслабляться было недопустимо. Откликнулся мистер Митчелл, который подтвердил, что в интересующий сэра Артура период программа Уолсоллской гимназии действительно включала произведения Мильтона, но при этом подчеркнул, что творчество великого поэта преподавалось в Стаффордшире испокон веков, сколько помнит старейший учитель, и, вообще говоря, преподается по сей день. Гарри Чарльзуорт сообщил, что напал на след Фреда Уинна, бывшего одноклассника Брукса, а ныне маляра в Чеслин-Бэй, и собирается поспросить его насчет Шпека. Через три дня доставили телеграмму с условленным текстом: «ПРИГЛАШАЮ ОТУЖИНАТЬ ХЕДНЕСФОРДЕ

ВТОРНИК ЧАРЛЬЗУОРТ ТЧК».

Встретив сэра Артура и мистера Вуда на вокзале в Хеднесфорде, Гарри Чарльзуорт проводил их до паба «Восход». У стойки бара их представили долговязому парню с целлулоидным воротничком и обтрепанными манжетами. На одном рукаве его пиджака белели какие-то пятна, которые, по мнению Артура, ничем не напоминали ни конскую слюну, ни даже молоко с хлебом.

– Расскажи им все, что мне рассказывал, – попросил Гарри.

Уинн медленно поднял глаза на приезжих и постучал пальцем по стакану. Артур отправил Вуда за необходимым средством укрепления голосовых связок информанта.

– Со Шпекком мы вместе в школу бегали, – начал тот. – Учился он хуже всех. Вечно в какие-то заварухи попадал. То скирду подожжет, то пристрастится табак жевать. Как-то раз ехали мы с Бруксом вечерним поездом в одном купе, и тут врывается к нам в купе Шпек, бросается в торец – и головой в окно. Только осколки брызнули. А ему смешно. Мы потом все в другой вагон перешли. Через пару дней заявляется какой-то субъект из железнодорожной полиции и говорит: вам, дескать, придется заплатить за разбитое окно. Мы ему в один голос: это Шпек сделал, пусть он и платит, тем более что его застукали, когда он уплотнительную резину с оконных рам срезал, так пусть еще и за это платит. Потом Бруксову папаше стали письма приходить, что, дескать, мы с Бруксом на вокзале в Уолсолле оплевали какую-то старушку. Он вечно какие-то каверзы придумывал, Шпек этот. А потом из школы его куда-то увезли. Вроде бы официально не исключили, но что-то вроде того.

– И что с ним стало? – спросил Артур.

– Слыхал я, пару лет назад его в плаванье отправили.

– В плаванье? Вы уверены? На все сто?

– Поговаривали, что так. Короче, исчез он.

– Когда примерно это произошло?

– Говорю же, пару лет назад. А поджог скирды еще году в девяносто втором был, я бы так сказал.

– Значит, он ушел в плаванье в конце девяносто пятого – начале девяносто шестого?

– Точно не знаю.

– Приблизительно?

– Приблизительно я уже сказал.

– Не помните, из какого порта он отбывал?

Уинн покачал головой.

– А вернулся когда? Если вообще вернулся?

Уинн опять покачал головой.

– Чарльзуорт так и говорил, что вам будет интересно. – Он снова постучал по стакану.

На этот раз Артур не спешил реагировать.

– Мне-то интересно, мистер Уинн, но, вы уж простите, в рассказе у вас неувязочка вышла.

– Вот, значит, как?

– Вы учились в Уолсоллской гимназии?

– Ну.

– И Брукс тоже?

– Ну.

– И Шпек?

– Ну.

– Тогда как вы объясните, что, по словам мистера Митчелла, нынешнего директора, ученика с такой фамилией за последние двадцать лет в гимназии не было?

– А, понял, – отозвался Уинн. – Шпек – это прозвище его. Он коротышка был, ему как раз подходило. А так-то нет. Шарп его фамилия.

– Шарп?

– Ройден Шарп.

Артур взял со стойки стакан мистера Уинна и передал своему секретарю.

– Покрепче ничего не желаете, мистер Уинн? Виски, например, для блезиру?

– Это было б очень благородно с вашей стороны, сэра Артур. Очень благородно. А я тут подумал: нельзя ли к вам обратиться за ответным одолжением? – Он полез в небольшой ранец, и Артур унес с собой из «Восхода» полдюжины прозаических зарисовок из местной жизни («Озаглавить думал „Виньетки“»), пообещав дать отзыв об их литературных достоинствах.

– Ройден Шарп. Так-так, новое имя в деле. С чего начнем поиски? Есть какие-нибудь соображения, Гарри?

– А как же, – ответил Гарри. – Я при Уинне говорить не хотел, а то бы он все здешние запасы высосал. Могу дать наводку. Ройден у мистера Грейторекса подопечным был.

– У Грейторекса!

– Их двое было, братьев Шарп: Уолли и Ройден. Один с Джорджем и со мной в начальной школе учился, только теперь уж не вспомню, который

из двоих. А вот мистер Грейторекс вам в подробностях расскажет.

Они сели в поезд, проехали две остановки в обратную сторону, до станции «Уэрли-Чёрчбридж», и прошли пешком до фермы «Литтлуорт». Мистер и миссис Грейторекс, спокойные, легкие в общении пожилые супруги, проявили гостеприимство и открытость. Артур впервые почувствовал, что ему не придется покупать пиво и скребки для обуви, а также прикидывать, потянет добытая информация на два шиллинга три пенса или же на два шиллинга четыре пенса.

– Уолли и Ройден Шарп были сыновьями моего арендатора, Питера Шарпа, – начал мистер Грейторекс. – Мальчики довольно хулиганистые. Нет, это, наверное, несправедливо. Хулиганил в основном Ройден. Помню, отцу как-то пришлось раскошелиться, когда сын скирду поджег. Уолли – тот просто со странностями был. Его даже из гимназии исключили, из уолсоллской. Они оба там учились. Ройден, как я понимаю, ленился, вредничал, хотя подробности мне неизвестны. Питер устроил его в Уисбетскую гимназию, но там все такие были. В конце концов определил он сына в подручные к одному кэннокскому мяснику по фамилии, если не ошибаюсь, Мелдон. А в конце девяносто третьего и я от него пострадал. Отец мальчишек был при смерти и попросил меня стать опекуном Ройдена. Это было самое меньшее, что я мог сделать; конечно, пообещал я Питеру, что мог. Потом делал все, что в моих силах, но Ройден просто от рук отбился. Одни неприятности от него были. Воровал, имущество портил, постоянно лгал... ни на одной работе не удерживался. В конце концов пришлось поставить его перед выбором: либо я прекращаю ему пособие выплачивать и заявляю в полицию, либо пусть уходит в море.

– Его решение нам известно.

– Пристроил я его юнгой за проезд на судно «Генерал Робертс», принадлежавшее пароходству «Льюис Дэвис и компания».

– Примерно когда это было?

– В конце девяносто пятого. В самом конце. Если не ошибаюсь, уходили они в рейс тридцатого декабря.

– А из какого порта, мистер Грейторекс? – Уже зная ответ, Артур в нетерпении подался вперед.

– Из Ливерпуля.

– И сколько времени он ходил на «Генерале Робертсе»?

– В кои-то веки закрепился на одном месте. Прослужил юнгой четыре года, вырос до третьего штурмана. Потом домой вернулся.

– В девятьсот третьем?

– Нет-нет, раньше. В девятьсот первом, как сейчас помню. Только

пробыл он тут недолго. Вскоре устроился на скотовоз, что курсировал между Ливерпулем и Америкой. Прослужил десять месяцев. А уж после этого списался на берег. Вот это уже в девятьсот третьем было.

– Подумать только: на скотовозе ходил. А сейчас он где обретается?

– Да в отцовском доме. Остепенился. Женатым человеком стал.

– А у вас были подозрения, что это он или его братья писали письма от имени вашего сына?

– Нет, не было.

– Почему?

– Оснований не видел. Да и ленив он был, без воображения.

– Давайте я угадаю: у них еще младший братишка подрастал, этакий сквернослов, точно?

– Нет-нет. Их двое было.

– Ну или дружок какой-нибудь к ним прибился?

– Нет. Ничего такого.

– Понятно. А Ройден Шарп злился, что вы стали его опекуном?

– Да, частенько. Он отказывался понимать, с какой стати я не отдаю ему всех отцовских денег разом. Наследство-то небогатое было. От этого я еще пуще эти деньги берег, чтобы он их по ветру не пустил.

– А второй мальчик, Уолли, – он был старше?

– Да, сейчас уже ему под тридцать.

– Это с ним ты в одном классе учился, Гарри? – (Чарльзуорт кивнул.) – Ты упоминал, что он со странностями был. В каком отношении?

– Просто странный. Не от мира сего. Точнее не скажу.

– У него не проявлялась религиозная мания?

– Я не замечал. Вообще-то, он неглупый был, Уолли. Башковитый.

– В Уолсоллской гимназии он увлекался Мильтоном?

– Этого я не знаю.

– А после выпуска?

– После выпуска он некоторое время учеником электрика был.

– И ездил по окрестным городкам?

Мистера Грейторекса озадачил этот вопрос.

– Ездил. Как все, так и он.

– А... сейчас братья по-прежнему вместе живут?

– Нет, Уолли пару лет назад из страны уехал.

– Куда же?

– В Южную Африку.

Артур повернулся к своему секретарю:

– С чего это всех в Южную Африку потянуло? Нет ли у вас, случайно,

его адреса, мистер Грейторекс?

– Может, и есть. Да только слышали мы, что он помер. Не так давно. В том году, в ноябре.

– Вот ведь какая жалость. Скажите, тот дом, где они вместе росли, а Ройден и сейчас живет...

– Туда могу вас проводить.

– Нет, еще не время. Я хотел спросить... он на отшибе стоит?

– Пожалуй. Как и многие другие.

– То есть можно входить и выходить, не попадаясь на глаза соседям?

– Вполне.

– А за пределы городка легко выйти?

– Проще простого. За домом чистое поле тянется. Да у всех так.

– Сэр Артур. – Это впервые вступила в разговор миссис Грейторекс; повернувшись к ней, Артур заметил, что она залилась краской и разволновалась. – Вы его в чем-то подозреваете? Или их обоих?

– Улики, мягко говоря, копятяся, мэм.

Артур приготовился, что миссис Грейторекс вот-вот преданно бросится на защиту братьев, отмахнувшись от его подозрений и наветов.

– Тогда я лучше расскажу вам, что мне известно. Года три с половиной тому назад – помню, дело было в июле, перед арестом Джорджа Эдалджи, – прохожу я как-то днем мимо дома Шарпов и думаю: дай зайду. Уолли где-то болтался, а Ройден дома был. Разговорились мы насчет резни скота – это у всех на устах было. Слово за слово – открывает Ройден кухонный шкаф и показывает мне... инструмент. Прямо у меня перед носом держит. А сам говорит: «Вот чем скот убивают». Мне чуть дурно не стало. «Убери, – говорю. – А то еще на тебя подумают, ты этого добиваешься?» И он эту штуку обратно в шкаф спрятал.

– Почему ты мне не сказала? – спросил ее муж.

– Да я подумала: слухи – что мухи, зачем еще лишние плодить? Да к тому же мне хотелось это поскорей забыть.

С трудом сдерживаясь, Артур нейтральным тоном поинтересовался:

– А о том, чтобы заявить в полицию, вы не подумали?

– Нет. Когда потрясение прошло, отправилась я побродить, чтоб собраться с мыслями. И решила, что Ройден прихвастнуть хотел. Делал вид, будто что-то знает. Вряд ли он стал бы мне эту вещь показывать, если б сам ею орудовал, правда? И потом, я его с рождения знаю. Да, рос он хулиганистым, муж верно сказал, но ведь остепенился же, вернувшись из плаванья? Девушку сосватал, к свадьбе готовился. Нынче-то он женатый человек. Однако у полиции всегда был на заметке: заяви я насчет этого

инструмента – там бы тотчас же дело состряпали и никаких доказательств искать не стали.

«Ну-ну, – подумал Артур, – из-за вашего молчания дело состряпали против Джорджа».

– Не могу взять в толк, мне-то ты почему не рассказала? – повторил мистер Грейторекс.

– Да потому... потому что ты, в отличие от меня, всегда этого мальчишку шпынял. И я знала, что ты быстренько выводы сделаешь.

– Причем, скорее всего, правильные, – с некоторой желчностью ответил ее муж.

Артур хотел ускорить ход событий. Семейные разногласия вполне могли быть улажены без него.

– Миссис Грейторекс, а какого вида был тот... инструмент?

– Лезвие примерно вот такой длины. – Она показала: сантиметров тридцать. И продолжила: – Складывалось и в футляр убиралось, как огромный перочинный ножик. Инструмент не фермерский. А лезвие так просто жуть. Такое, с изгибом.

– Вы хотите сказать, как сабля? Или серп?

– Нет-нет, само лезвие прямое и заточено не остро. Но ближе к концу на нем как бы выступ такой, с виду острейший.

– Вы не могли бы его нарисовать?

– Пожалуйста. – Выдвинув ящик кухонного стола, миссис Грейторекс достала линованную бумагу и уверенной рукой сделала набросок:

– Вот здесь край тупой, здесь тоже – где прямо. А вот тут, где выступ, – до ужаса острый.

Артур перевел взгляд на мужчин. Мистер Грейторекс и Гарри покачали головами. Альфред Вуд повернул бумажку к себе и сказал:

– Ставлю два к одному – это конский ланцет. Из самых больших. Сдается мне, украден с судна-скотовоза.

– Вот видишь, – обратилась к мужу миссис Грейторекс. – Твой знакомый не чурается поспешных выводов. Как и полицейские.

На этот раз Артур не сдержался:

– Из-за поспешных выводов пострадал Джордж Эдалджи. – (Миссис Грейторекс вновь залилась краской.) – Простите за такой вопрос, мэм, но не возникало ли у вас желания заявить в полицию потом, когда были выдвинуты обвинения против Джорджа?

– Возникало, да.

– Но вы бездействовали.

– Сэр Артур, – ответила миссис Грейторекс, – что-то я не припомню,

чтобы вы находились в наших краях, когда начались изуверства. Все были в истерическом состоянии. Поползли слухи сперва об одном человеке, потом о другом. Слухи насчет грейт-уэрлийской банды. Слухи, что после домашней скотины изуверы примутся за девушек. Пошли разговоры о языческом жертвоприношении. Все эти ужасы, как поговаривали в деревне, были связаны с новолунием. И впрямь, жена Ройдена мне как-то шепнула, что на него странно действует новая луна.

– И то правда, – задумчиво вставил ее муж. – Я и сам замечал. Как новолуние, так его дикий хохот разбирает. По первости я думал, притворяется, но как-то застукал его, когда он в одиночестве гоготал.

– Неужели вы не понимаете... – начал Артур.

Но его перебила миссис Грейторекс:

– Смех покуда преступлением не считается. Хоть дикий, хоть какой.

– Но вам не показалось...

– Сэр Артур, стаффордширские констебли ни умом, ни уменьем не вызывают у меня большого уважения. Думаю, это единственное, в чем мы с вами сходимся. А если вы беспокоитесь, что вашего юного друга несправедливо посадили, то я точно так же беспокоилась, как бы такое не случилось с Ройденом Шарпом. Где гарантия, что вашего друга можно было спасти от тюрьмы? Скорее всего, они бы вдвоем отправились за решетку как члены одной банды, настоящей или вымышленной.

Артур решил проглотить эту отповедь.

– А что насчет орудия преступления? Вы посоветовали парню его уничтожить?

– Ни в коем разе. До сегодняшнего дня мы вообще о нем больше не вспоминали.

– Тогда можно попросить вас, миссис Грейторекс, не вспоминать о нем еще несколько дней? И последний вопрос. Вам что-нибудь говорят такие фамилии: Уокер и Глэдуин? В связи с братьями Шарп?

Супруги отрицательно покачали головами.

– А тебе, Гарри?

– Вроде Глэдуина припоминаю. У ломового извозчика работал. Правда, мы сто лет не виделись.

Гарри было сказано ожидать дальнейших инструкций, тогда как Артур в компании своего секретаря вернулся в Бирмингем, чтобы там заночевать. В Кэнноке предлагалась более уютная гостиница, но Артур хотел завершить этот трудный день бокалом доброго бургундского. За ужином в отеле «Империял фэмили» ему вдруг вспомнилась фраза из одного письма. Он с лязгом бросил на стол нож и вилку.

– Потрошитель хвалился своей неуловимостью. Он написал: «Я шарпей, зубы всех острей».

– Шарпей... – повторил Вуд. – Шарп? Всех острей?

– Вот именно.

– А кто такой был мальчишка-сквернослов?

– Понятия не имею. – Артур огорчился, что в этом вопросе интуиция его подвела. – Вероятно, соседский сын. Или плод фантазии одного из братьев Шарп.

– Итак, что мы теперь будем делать?

– Продолжать.

– Но мне казалось, мы уже... вы уже нашли ответы. Потрошитель – Ройден Шарп. Письма писали сообщая Ройден Шарп и Уолли Шарп.

– Согласен, Вуди. А теперь ты сам расскажи мне, почему злодеем был Ройден Шарп.

– Потому, что именно он показал миссис Грейторекс конский ланцет. – Вуд отвечал по пунктам, загибая пальцы. – Потому, что те раны, какие обнаружили у животных, – с рассечением кожи и мышц, но без проникновения в брюшную полость, – можно было нанести только таким вот необычным орудием. Потому, что он работал подручным мясника и ходил на скотовозе, а соответственно, знал подход к животным и умел их резать. Потому, что у него была возможность своровать ланцет на судне. Потому, что схема уэрлийских вивисекций и рассылки писем совпадает с периодами его присутствия и отсутствия. Потому, что в письмах содержатся прозрачные намеки на его передвижения и действия. Потому, что он известен как местный хулиган. Потому, что на него действует новолуние.

– Превосходно, Вуди, превосходно. Ответы исчерпывающие, хорошо сформулированы – и основаны сплошь на умозаключениях и косвенных уликах.

– Вот так раз. – Секретарь был разочарован. – Я что-то упустил?

– Нет, ничего. Ройден Шарп и есть наш злодей, ничуть не сомневаюсь. Только конкретных доказательств не хватает. В частности, нам потребуется конский ланцет. Нам потребуется его сберечь. Шарп знает о нашем приезде и при малейшем подозрении мог забросить этот инструмент в самое глубокое озеро.

– А если не забросил?

– Если не забросил, то вам с Гарри Чарльзуортом придется найти его под ногами и приберечь.

– Найти под ногами?

– Под ногами.

– И приберечь?

– Именно так.

– У вас есть предложения по поводу нашего способа действий?

– Откровенно говоря, чем меньше я буду знать, тем лучше. Но сдается мне, в этих краях люди, как прежде, оставляют двери незапертыми. А если начнется торг, я бы предложил вписать необходимую сумму в статью расходов «Подлесья» – в любую графу, на твое усмотрение.

Вуда сильно раздосадовало такое прекраснотушие.

– Едва ли Шарп окажет нам содействие, надумай мы постучаться к нему в дом и сказать: «Извините за беспокойство, нельзя ли приобрести у вас ланцетик, которым вы резали животных, – нам бы его полицейским предъявить?»

– Да, это вряд ли, – усмехнулся Артур. – Так не пойдет. Придется вам, и одному, и другому, проявить изобретательность. И чуть больше тонкости. Или, наоборот, чуть больше прямоты. Пусть, к примеру, один из вас отвлечет его разговорами, хотя бы в пабе, а другой тем временем... Она же ясно сказала: в кухонном шкафу, верно? Нет, я, право, должен оставить решение за вами.

– В случае чего вы внесете за меня залог?

– Я даже подберу кого-нибудь, кто засвидетельствует в суде твой безупречный моральный облик.

Вуд размеренно покачал головой:

– Не могу опомниться. Ровно сутки назад мы не располагали практически ничем. Кроме пары подозрений. Теперь мы узнали все. За одни сутки. Уинн, Грейторекс, миссис Грейторекс – вот и вся цепочка. Может статься, мы ничего не докажем, но знаем все. И управились за одни сутки.

– Нет, так не должно быть, – сказал Артур. – Уж я-то разбираюсь. Сколько раз излагал это на бумаге. Задача не должна решаться за счет примитивных шагов. Она до последней минуты должна выглядеть совершенно нерешаемой. А потом ты развязываешь узел одним блистательным дедуктивным движением, абсолютно логичным, но совершенно поразительным, и купаешься в ощущении великого торжества.

– Которого у вас нет?

– В данный момент? Конечно нет, я почти разочарован. А если честно – полностью разочарован.

– Что ж, – заключил Вуд, – в таком случае предоставьте более простой душе купаться в ощущении триумфа.

– Охотно.

Позже, выкурив последнюю трубку и устроившись в кровати, он предался следующим размышлениям. Перед ним стояла труднейшая цель, и сегодня он ее достиг, но ликования почему-то не испытывал. Гордость, да, и то особое тепло, которое дается отдыхом от трудов, но удовлетворения не чувствовалось, а триумфа тем более.

Он вспомнил день своего бракосочетания с Туи. Естественно, он ее любил, а на той ранней стадии беззаветно обожал и не мог дождаться консумации супружества. Но когда они венчались в Торнтон-ин-Лонсдейле и у его локтя стоял этот Уоллер, его охватило... как бы поточнее выразиться, чтобы не оскорбить память жены... Он был счастлив лишь потому, что она выглядела счастливой. Такова была правда. Через день-два он, конечно, начал испытывать тот прилив счастья, на который рассчитывал. Но сам заветный миг не оправдал его ожиданий.

Вероятно, поэтому на каждом новом повороте судьбы он всегда искал новую цель. Новое дело, новую кампанию – потому что был способен испытывать быстротечную радость только от успеха предыдущего свершения. В такие минуты он завидовал простодушию Вуди, завидовал тем, кто умеет почивать на лаврах. Но ему это никогда не было близко.

Итак, что еще оставалось? Раздобыть ланцет. Получить образец почерка Ройдена Шарпа – возможно, у мистера и миссис Грейторекс. Проверить, будут ли в дальнейшем полезны Уокер и Глэдуин. Уточнить, что это было за нападение на женщину с ребенком. Изучить академические успехи Ройдена Шарпа в Уолсолле. Более тщательно сопоставить перемещения Уолли Шарпа с географией рассылки писем. Показать конский ланцет (как только удастся его заполучить) ветеринарам, которых вызывали на место истязания животных, и выслушать профессиональные суждения. Вытянуть из Джорджа все, что тот помнит о братьях Шарп.

Написать матушке. Написать Джин.

А когда задачи перестали уместаться в голове, он погрузился в безмятежный сон.

В «Подлесье» Артур вернулся с таким же ощущением, какое испытывал перед завершением книги: главное на своих местах, пик творческого подъема позади, теперь остается только доработать, чтобы максимально свести концы с концами. В последующие дни начали поступать результаты его инструкций, запросов и напоминаний. Первый результат прибыл в виде бандероли, которая была упакована в вощеную оберточную бумагу и перевязана шпагатом, наподобие покупки из скобяной

лавки Брукса. Еще не вскрыв пакет, Артур по выражению лица Вуда понял, что найдет внутри.

Он развернул бумагу и не торопясь раскрыл на всю длину складной конский ланцет. Инструмент этот выглядел особенно зловещим из-за контраста между тупым спрямленным краем и остро заточенным смертоносным выступом – вот уж действительно, зуб всех острей.

– Зверская штука, – выговорил Артур. – Могу я узнать?..

Но секретарь, отрицательно помотав головой, пресек этот вопрос. Сэр Артур слишком многого хочет: сперва ничего не знать, а потом вдруг передумать и дознаться.

Пришел ответ от Джорджа Эдалджи: братьев Шарп он совершенно не помнил, ни в школьные годы, ни в дальнейшем; ему даже в голову не приходило, по какой причине они могли бы питать неприязнь к нему самому или его отцу.

Более удовлетворительным оказалось письмо от мистера Митчелла с выписками из школьных характеристик Ройдена Шарпа:

Зимний триместр, 1890

Подготовительная ступень. Средний балл: низший. Аттестация: 23-й из 23. Умственное развитие низкое, знания слабые. Французский и латинский не посещает.

Весенний триместр, 1891

Подготовительная ступень. Аттестация: 20-й из 20. Непонятлив, домашние задания не выполняет. Показывает некоторые успехи в рисовании.

Летний триместр, 1891

Подготовительная ступень. Аттестация: 18-й из 18. Намечается повышение успеваемости. Подвергался телесным наказаниям за нарушение дисциплины на уроках, жевание табака, обман учителя, обзывание.

Зимний триместр, 1891

Подготовительная ступень. Аттестация: 16-й из 16. Успеваемость неудовлетворительная. Часто лжет. Постоянно жалуется или вызывает жалобы одноклассников. Пойман на пользовании шпаргалкой. Частые прогулы без уважительной причины. Успехи по рисованию.

Весенний триместр, 1892

Начальная ступень. Аттестация: 8-й из 8. Ленив,

непослушен, ежедневно подвергался телесным наказаниям, отец поставлен в известность. Подделывает оценки одноклассников, своей вины не признает. 20 раз в текущем триместре подвергался телесным наказаниями.

24 июня 1892

Прогуливал уроки, подделывал записки и подписи, исключен по заявлению отца.

Вот так-то, подумал Артур: подлог, обман, лживость, обзывание – безобразник по всем статьям. А далее, отметим дату, когда его исключили или, если угодно, забрали из школы: середина лета 1892 года. Именно тогда начались гонения на семью Эдалджи, на семью Брукса и на Уолсоллскую гимназию. Артур досадовал: он получил эти сведения в результате обыкновенных, логичных запросов, а те болваны... Выстроить бы вдоль стены весь личный состав Стаффордширского полицейского управления, начиная с главного констебля и комиссара Барретта, продолжая инспектором Кэмпбеллом, сержантами Парсонсом и Аптоном и заканчивая последним новичком, и задать элементарный вопрос. В декабре 1892 года был похищен больших размеров ключ от Уолсоллской гимназии, который затем обнаружился в Грейт-Уэрли. Кого в первую очередь можно заподозрить: мальчишку, с позором исключенного считанные месяцы тому назад за тупость и злобу, или прилежного, хорошо успевающего пасторского сына, который никогда не учился в Уолсоллской гимназии, даже близко к ней не подходил и имел столько же оснований вынашивать злобу на это учебное заведение, как пришелец с Луны? Ответьте, главный констебль, комиссар, инспектор, сержант и рядовой констебль Купер. Ответьте, дюжина славных и честных мужей, заседающих в суде квартальных сессий.

От Гарри Чарльзуорта пришло описание инцидента, имевшего место в Грейт-Уэрли в конце осени или начале зимы тысяча девятьсот третьего. Вечером жена Джериуса Хэндли шла со станции в Уэрли, где купила какие-то газеты на продажу. С ней находилась ее малолетняя дочь. На дороге к ним пристали двое. Один схватил девочку за горло и занес какой-то блестящий предмет. Но мать с ребенком подняли крик, и мужчина обратился в бегство, крича своему сообщнику, пустившемуся бежать первым: «Все нормально, Джек, я тут». Девочка заявила, что тот же самый парень уже останавливал ее мать на улице. По описаниям это был круглолицый, безусый человек невысокого роста, в темной одежде и блестящей фуражке. Такому описанию вполне отвечал Ройден Шарп,

носивший в то время матросскую форму, от которой впоследствии отказался. Далее, высказывались предположения, что «Джек» – это Джек Харт, беспутный мясник, известный как дружок Шарпа. Полиция располагала этими сведениями, но арестов не последовало.

Гарри сделал приписку, что Фред Уинн снова вышел на связь и за пинту стаута припомнил кое-что из того, о чем в первый раз запомнил. Когда они с Бруксом и Шпеком учились в Уолсоллской гимназии, всем было известно, что Ройдена Шарпа нельзя оставлять без присмотра в железнодорожном вагоне, а иначе он непременно перевернет подушку сиденья и вспорет ножом, чтобы выпустить конский волос. А потом с диким хохотом уложит ее на прежнее место.

В пятницу первого марта, с полуторамесячным промедлением – призванным, очевидно, показать, что министр внутренних дел ни у кого не идет на поводу, – было объявлено о создании следственной комиссии. В ее задачи входило рассмотрение тех аспектов дела Эдалджи, которые вызвали обеспокоенность в обществе. Наряду с этим Министерство внутренних дел подчеркивало, что действия комиссии ни в коей мере не направлены на отмену прежнего судебного решения. Заслушивать свидетелей не планировалось, присутствия мистера Эдалджи не требовалось. Комиссии предписывалось рассмотреть материалы, имеющиеся в распоряжении министерства, и вынести заключение по ряду процедурных вопросов. Незамедлительный доклад мистеру Гладстону должны были подготовить сэр Артур Уилсон, кавалер ордена Индийской империи, почтенный Джон Ллойд Уортон, председатель суда кварталных сессий графства Дарем, и сэр Альберт де Ратцен, председатель лондонского магистрата.

Артур не хотел, чтобы эти джентльмены благодушно пережевывали в своем кругу «ряд процедурных вопросов». Он решил доработать опубликованные в «Телеграф» статьи, которые сами по себе уже доказывали невиновность Джорджа, и приложить к ним конфиденциальный меморандум о целесообразности возбуждения дела против Ройдена Шарпа. В нем Артур намеревался описать предпринятое расследование, суммировать доказательства и дать список тех, от кого можно получить дальнейшие свидетельства, включив туда прежде всего мясника Джека Харта, проживающего в Бриджтауне, и Гарри Грина, в настоящее время находящегося в Южной Африке. А также миссис Ройден Шарп, которая может подтвердить влияние новолуния на ее мужа.

Копию меморандума надо направить Джорджу и выслушать его соображения. А Энсон пусть подергается. При воспоминании о той долгой перепалке за бренди и сигарами у Артура всякий раз подступал к горлу

неудержимый рык. Противоборствовали они долго, но, в сущности, без толку, как два скандинавских лося, сцепившиеся рогами в лесу. И все равно он тогда был поражен самодовольством и предрассудками человека, которому положено быть выше этого. А под конец Энсон еще надумал пугать его привидениями. Сколь же мало главный констебль знал своего гостя. У себя в кабинете Артур вынул конский ланцет, раскрыл и обвел лезвие карандашной линией на листе бумаги. Этот контур – с пометкой «в натуральную величину» – он собирался послать главному констеблю и поинтересоваться его мнением.

– Что ж, комиссия у вас есть, – изрек Вуд, когда тем же вечером вытаскивал из стойки бильярдный кий.

– Лучше сказать, комиссия есть у *них*.

– То есть вы находите ее совершенно неудовлетворительной?

– Я не теряю надежды, что даже эти джентльмены не смогут отрицать того, что бросается в глаза.

– Но?

– Но... вам известно, кто такой Альберт де Ратцен?

– Если верить моей газете, «председатель лондонского магистрата».

– Так-то оно так. А по совместительству – двоюродный брат капитана Энсона.

Джордж и Артур

Джордж многократно перечитал статьи в «Телеграф», прежде чем написать благодарственное письмо сэру Артуру; а перед следующей встречей в Гранд-отеле на Черинг-Кросс обратился к ним заново. Недолго прийти в замешательство, когда тебя описывает не какой-нибудь провинциальный щелкопер, а самый именитый литератор современности. От этого Джордж заподозрил у себя едва ли не расщепление личности: он и пострадавший, намеренный восстановить справедливость, и солиситор, готовый предстать перед высшей судебной инстанцией государства, и персонаж какого-то романа.

А тут сам сэр Артур разъясняет, почему он, Джордж, никак не мог состоять в предполагаемой банде уэрлийских негодяев. «Прежде всего, он убежденный трезвенник, что само по себе вряд ли располагало бы к нему такую банду. Он не курит. Он очень застенчив и нервичен. У него незаурядные способности к учению». Все так – и вместе с тем не так;

лестно – и вместе с тем нелестно; достоверно – и вместе с тем недостоверно. Незаурядных способностей у него никогда не было: учился он не более чем хорошо, прилежно; получил диплом с отличием второго класса, а не первого; награжден бронзовой, а не серебряной и не золотой медалью Бирмингемского юридического общества. Спору нет, он неплохой поверенный, Гринуэй и Стентсон вряд ли до него дорастут, но выдающимся ему не быть. Точно так же он, по собственным оценкам, не *очень* застенчив. А если во время предыдущей встречи его сочли нервическим, так на то были смягчающие обстоятельства. Он долго сидел в вестибюле, читал газету и уже начал беспокоиться, что перепутал назначенный час, а то и день, когда заметил, что в нескольких ярдах стоит могучий человек в пальто и пристально его изучает. А кто бы не занервничал под взглядом великого писателя? Джорджу подумалось, что характеристику его как застенчивого и нервического, весьма вероятно, подтвердили, а то и выдвинули его родители. Как обстоит дело в других семьях, он не знал, но в доме викария родительские оценки не поспевали за ростом самих детей. Джордж имел в виду не только себя: родители, похоже, не учитывали, как взрослеет Мод, как набирается сил и способностей. А если вдуматься, не так уж он и нервничал во время встречи с сэром Артуром. Был случай, в большей степени провоцирующий нервозность, когда он «с полным самообладанием повернулся лицом к переполненному залу» – разве не так писала бирмингемская «Дейли пост»?

Он не курит. Да, верно. По его мнению, это бессмысленная, отталкивающая, расточительная привычка. Не связанная, кстати, с криминальным поведением. Как известно, Шерлок Холмс курил трубку, и сэр Артур, надо понимать, тоже себе не отказывает, но это же не делает ни первого, ни второго кандидатом в банду. Верно и то, что Джордж – убежденный трезвенник: не вследствие какого-то принципиального отказа от алкоголя, а вследствие своего воспитания. Но он признавал, что любой присяжный, любой из членов какой-нибудь комиссии сможет истолковать этот факт двояко. Трезвый образ жизни можно воспринимать либо как доказательство умеренности, либо как крайность. Как признак того, что ты способен контролировать свои человеческие наклонности, и в равной степени того, что ты сопротивляешься пороку, дабы сосредоточить свой ум на других, более основополагающих материях, то есть как признак некоторой бесчеловечности, даже одержимости.

Он ни в коей мере не принижал ценность и качество проделанной сэром Артуром работы. В этих газетных статьях с редкостным мастерством описывалась «цепь обстоятельств, которые выглядят настолько

неординарными, что выходят далеко за пределы фантазии беллетриста». С благодарной гордостью Джордж читал и перечитывал такие заявления, как: «Вплоть до решения этих вопросов, всех до единого, в административных анналах нашей страны останется темное пятно». Сэр Артур обещал, что наделает много шума, и этот шум отозвался эхом далеко за пределами Стаффордшира, Лондона и самой Англии. Не начни сэр Артур, по его собственному выражению, сотрясать деревья, Министерство внутренних дел, скорее всего, не назначило бы комиссию; другое дело, что комиссия эта могла как угодно откликнуться на шум и на сотрясение деревьев. Джорджу казалось, что сэр Артур чересчур жестко прошелся насчет обращения министерства с петицией мистера Йелвертона, когда отметил, что «даже в условиях восточной деспотии невозможно представить себе ничего абсурднее и несправедливее». Поставить клеймо деспота – это, вероятно, не лучший способ умерить деспотизм заклеяменного. Что же касается изложения оснований иска против Ройдена Шарпа...

– Джордж! Прошу прощения. Нас задержали.

Сэр Артур появился не один. Рядом с ним интересная молодая женщина; наряд зеленоватого оттенка, определить который Джорджу не под силу, придает ей смелый и самоуверенный вид. В таких нюансах цвета женщины лучше разбираются. С легкой улыбкой она протягивает ему руку.

– Это мисс Джин Лекки. Мы... были заняты покупками. – Сэру Артуру, похоже, неловко.

– Нет, Артур, вы были заняты беседой. – Голос ее звучит приветливо, но твердо.

– Ну хорошо, я беседовал с приказчиком. Он служил в Южной Африке; простая вежливость требовала спросить...

– Но это называется беседовать, а не делать покупки.

От этого обмена репликами Джордж приходит в недоумение.

– Как видите, Джордж, мы готовимся вступить в законный брак.

– Очень рада с вами познакомиться. – Мисс Джин Лекки улыбается чуть шире, отчего Джордж замечает довольно крупные передние зубы. – А теперь мне пора. – Она качает головой, бросая шуточный укор Артуру, и исчезает.

– Законный брак, – повторяет Артур, опускаясь в кресло все в том же салоне для писем.

Вопросом это счесть трудно. Тем не менее Джордж отвечает, причем на удивление четко:

– Я мечтаю о таком семейном положении.

– Хочу предостеречь: положение это бывает неоднозначным.

Блаженство, конечно. Только в большинстве случаев чертовски неоднозначное блаженство.

Джордж кивает. Он не столько соглашается, сколько признает, что не располагает достаточными доказательствами. Во всяком случае, родительский брак он бы всяко не назвал чертовски неоднозначным блаженством. Ни одно из этих трех слов не применимо к укладу жизни в доме викария.

– Ладно, к делу.

Они обсуждают статьи в «Телеграф», читательские отклики, гладстоновскую комиссию, сферу ее полномочий и состав. Артур не уверен, что лучше: либо ему самому пролить свет на родственные связи сэра Альберта де Ратцена, либо обронить намек при встрече с главным редактором в клубе, либо просто оставить этот вопрос без внимания. Он смотрит на Джорджа, ожидая незамедлительного мнения. Но незамедлительного мнения у Джорджа нет. То ли оттого, что он «очень застенчив и нервичен»; то ли оттого, что он солиситор; то ли оттого, что не так-то просто переключиться с роли знамени сэра Артура на роль его тактического советника.

– Думаю, на этот счет лучше посоветоваться с мистером Йелвертоном.

– Но я советуюсь с вами, – отвечает Артур, как будто Джордж мямлит.

У Джорджа мнение (если можно назвать это мнением – ощущается оно всего лишь как интуиция) таково: первая возможность чересчур провокационна, третья чересчур инертна, так что по большому счету он, вероятно, склонен был бы посоветовать вторую, среднюю... Если, конечно, не... и он тут же начинает ее переосмысливать, видя нетерпение сэра Артура. Отчего и впрямь слегка нервничает.

– Выскажу одно предсказание, Джордж. С докладом комиссии дело будет обстоять непросто.

Джордж еще не успел понять, требуется ли от него мнение по предыдущему вопросу. И полагает, что нет.

– Но его так или иначе обнаружат.

– А как же, непременно. Но я знаю, как действуют правительственные органы, особенно в неловкой или позорной ситуации. Его постараются как-нибудь спрятать. А если удастся, то похоронить.

– Как такое возможно?

– Ну, для начала решат огласить его в пятницу вечером, когда многие разъедутся на выходные. Или во время парламентских каникул. Много есть разных уловок.

– Но если доклад будет положительным, он послужит к чести членов

комиссии.

– Доклад не может быть положительным, – твердо возражает Артур. – Не такова их позиция. Если они подтвердят вашу невиновность, как обязаны поступить, то это будет означать, что в течение последних трех лет Министерство внутренних дел сознательно мешало отправлению правосудия, невзирая на все предоставленные в его распоряжение данные. А в самом невероятном, я бы сказал, невозможном случае, если вас все же сочтут виновным – другой альтернативы нет, – поднимется такая несусветная вонь, что на карту будут поставлены карьеры многих.

– Да, понимаю.

Разговор длится уже полчаса, и Артур озадачен, почему Джордж еще ни словом не отозвался насчет его «Меморандума о целесообразности возбуждения дела против Ройдена Шарпа». Нет, более чем озадачен: раздосадован и близок к тому, чтобы счесть это оскорбительным. У него мелькает мысль расспросить Джорджа насчет того вымогательского письма, виденного в Грин-Холле. Но нет, подыгрывать Энсону он не собирается. А Джордж, видимо, полагает, что список вопросов формирует инициатор встречи. Скорее всего, так и есть.

– Далее, – говорит Артур. – Ройден Шарп.

– Да, – произносит Джордж. – Как я указал в своем письме, никогда его не знал. Должно быть, в начальной школе я учился с его братом. Хотя и его не помню.

Артур кивает. «Давай, давай, парень, – мысленно торопит он Джорджа. – Я не только восстановил твою репутацию, но и связал преступника по рукам и ногам – осталось только арестовать и отдать под суд. Надеюсь, для тебя это не новость?» Вопреки своему темпераменту, он выжидает.

– Не понимаю, – в конце концов произносит Джордж, – с какой стати ему желать мне зла?

Артур молчит. Он уже предлагал свои варианты ответов. Теперь пускай Джордж немного поработает на себя.

– Я знаю, сэр Артур, вы считаете, что в основе этой истории лежат расовые предрассудки. Но повторяюсь, я не могу с этим согласиться. Мы с Шарпом незнакомы. Чтобы кого-нибудь невзлюбить, требуется его узнать. Найти причину для неприязни. А уж если удовлетворительная причина не сыщется, то можно, наверное, прицепиться к какой-нибудь особенности этого человека, такой как цвет кожи. Но как я уже сказал, Шарп меня не знает. Я старался понять, не мог ли какой-нибудь мой поступок выглядеть как причинение обиды или вреда. Не исключено, что Шарп состоит в

родстве с кем-нибудь из клиентов, получивших у меня профессиональную консультацию... – (Артур не комментирует; он не считает нужным до бесконечности твердить об очевидном.) – И не могу взять в толк, зачем ему понадобилось таким способом калечить лошадей и других животных. И как вообще такое может прийти в голову. А вы это понимаете, сэр Артур?

– Как отмечено в моем «Меморандуме», – с каждой минутой неудовлетворенность Артура нарастает, – я подозреваю, что на него влияет новолуние.

– Возможно, – отвечает Джордж. – Хотя не все эпизоды имели место в одной той же фазе Луны.

– Вы правы. Но бо́льшая часть.

– Да.

– Значит, логично будет заключить, что эти уму непостижимые истязания совершались умышленно – с тем, чтобы ввести в заблуждение следователей?

– Да, возможно.

– Мистер Эдалджи, судя по всему, я вас не убедил.

– Простите меня, сэр Артур, если я не сумел или, как может показаться, не пожелал выразить вам свою безмерную признательность. Виной тому, наверное, то обстоятельство, что я юрист.

– Наверное.

Быть может, он слишком давит. Только вот что странно: создается впечатление, будто он отправился за тридевять земель и принес этому парню мешок золота, а в ответ слышит: если честно, я предпочитаю серебро.

– Орудие преступления, – говорит Джордж. – Конский ланцет.

– Да?

– Разрешите спросить: вы установили, как он выглядит?

– А как же? В два приема. Во-первых, попросил, чтобы этот предмет нарисовала для меня миссис Грейторекс. Именно после этого мистер Вуд опознал в нем конский ланцет. А во-вторых... – для пущего эффекта Артур выдерживает паузу, – я получил его в свое распоряжение.

– Он у вас?

Артур кивает:

– Хотите – могу показать.

Лицо Джорджа искажается тревогой.

– Да не здесь, не бойтесь. Я его с собой не ношу. Он хранится в «Подлесье».

– Можно спросить, как вы его раздобыли?

Артур потирает нос. Потом сдается.

– На него набрели Вуд с Гарри Чарльзуортом.

– Набрели?

– Понятно, что орудие преступления требовалось заполучить до того, как Шарп успеет от него избавиться. Он знал, что я приезжал в их края и напал на его след. Он даже тщился посылать мне примерно такие же письма, какие раньше писал вам. Угрожал мне изъятием жизненно важных органов. Будь у него возможность пошевелить мозгами обоих полушарий, он бы запрятал эту штуковину так, чтобы ее сто лет было не найти. Вот я и дал поручение Вуду и Гарри на нее набрести.

– Понимаю. – Такое ощущение возникает у него в тех случаях, когда клиент начинает доверительно рассказывать ему такие вещи, каких ни один клиент не должен открывать поверенному, даже своему... в особенности своему. – А с Шарпом вы беседовали?

– Нет. Полагаю, это ясно из моего «Меморандума».

– Да, конечно. Прошу меня простить.

– Тогда, если нет возражений, я приложу «Меморандум о возбуждении дела против Шарпа» к остальным материалам, подготовленным для подачи в Министерство внутренних дел.

– Сэр Артур, у меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность за...

– И не надо. Я, черт побери, затеял эту волокиту не потому, что ждал вашей благодарности, которую уже слышал многократно. Я затеял ее потому, что вы невиновны и мне стыдно за работу судебно-бюрократической машины этого государства.

– И все же никто другой не смог бы сделать столько, сколько сделали вы. Да еще в такие сжатые сроки.

«У него это звучит примерно так, будто я провалил дело, – думает Артур. – Нет, не глупи – просто он куда больше заинтересован в своем оправдании, причем гарантированном, нежели в обвинении Шарпа. Оно и понятно. Прежде заверши пункт первый, а уж потом переходи ко второму – как еще может рассуждать осмотрительный юрист? А я веду наступление по всем фронтам одновременно. Его просто тревожит, как бы я не упустил из виду мяч».

Но позднее, когда они распрощались и Артур взял кэб, чтобы ехать к Джин, его начали одолевать сомнения. Как там говорится? Люди готовы простить тебе все, но только не оказанную тобой помощь. Как-то так. А здесь, вероятно, реакция оказалась еще и преувеличенной. При ознакомлении с делом Дрейфуса его поразило, что многие из тех, кто пришел на помощь этому французу, кто страстно выступал в его защиту и

расценивал его дело не столько как великую битву Правды с Ложью или Законности с Беззаконием, сколько как объяснение или даже определение их родной страны, – что многие из них были далеки от восхищения полковником Альфредом Дрейфусом. Его считали сухарем, холодным педантом, отнюдь не источавшим нектара благодарности и человеческого доброжелательства. У кого-то сказано: жертва обычно недотягивает до мистического ореола того, что с ней приключилось. Типично французское изречение, но оттого не обязательно ошибочное.

Впрочем, и это, быть может, несправедливо. Впервые увидев Джорджа Эдалджи, он поразился, что такой subtilный, тщедушный молодой человек смог выдержать три года каторжной тюрьмы. От удивления он, конечно же, не задумался, чего стоили Джорджу эти три года. Вероятно, единственным способом выжить была всепоглощающая, с утра до ночи, сосредоточенность на подробностях собственного дела: чтобы в любой момент вызывать в памяти необходимые факты и доводы, нужно было выбросить из головы все остальное. Только так удалось вынести и чудовищную несправедливость, и омерзительные перемены всего уклада жизни. Так что не стоит ожидать от Джорджа Эдалджи слишком многого, в том числе реакции свободного человека. Стать таким, как прежде, он сможет лишь в случае полного оправдания и получения компенсации.

Прибереги свою досаду для других, сказал себе Артур. Джордж – хороший парень, да к тому же он невиновен, но это не повод требовать от него святости. Требовать от него большей благодарности, чем он может выразить, – это все равно что требовать от каждого критика провозглашения гениальности любой твоей новой книги. Да, прибереги свою досаду для других. К примеру, для капитана Энсона, чье письмо, доставленное нынче утром, содержало очередной пример хамства: категорический отказ признавать, что животных могли калечить при помощи конского ланцета. И в довершение всего – безапелляционное: «На вашем рисунке – примитивный медицинский ланцет для вен». Вот так-то! Артур не стал беспокоить Джорджа этой дополнительной провокацией.

Помимо Энсона, раздражение вызывал и Уилли Хорнунг. Зятек выдал новую шутку, которую за обедом пересказала Конни. «Что общего между Артуром Конан Дойлом и Джорджем Эдалджи? Не знаешь? Сдаешься? И одного и другого быстро выпускают». Артур беззвучно зарычал. «Быстро выпускают» – это остроумно? Если абстрагироваться, кое-кто, по мнению Артура, мог бы сказать, что да. Но на самом-то деле... Или он уже теряет чувство юмора? Говорят, в пожилом возрасте такое случается. Нет уж... дудки. Тут он уже начал раздражать сам себя. И впрямь очередная примета

пожилого возраста.

Тем временем Джордж оставался в Гранд-отеле, все в том же салоне с письменными принадлежностями. Настроение у него было хуже некуда. Он выказал сэру Артуру позорную непочтительность и неблагодарность. И это после долгих, долгих месяцев, в течение которых тот работал над его делом. Джордж сгорал со стыда. Необходимо отправить ему письмо с извинениями. И все же... все же... добавлять что-либо к тому, что он уже сказал, было бы нечестно. Точнее так: скажи он больше того, что уже сказано, пришлось бы волей-неволей быть честным.

«Меморандум о возбуждении дела против Ройдена Шарпа», подготовленный сэром Артуром для отправки в Министерство внутренних дел, он прочел. И конечно же, неоднократно. Причем с каждым разом утверждался в своем впечатлении. Вывод, неизбежный профессиональный вывод сводился к тому, что этот документ никак ему не поможет. А вдобавок, по его разумению (о чем он даже заикнуться не посмел во время их беседы), позиция сэра Артура, требовавшего возбудить дело против Шарпа, смахивала, как ни странно, на позицию Стаффордширского полицейского управления, возбудившего дело против него самого, Джорджа Эдалджи.

Прежде всего, позиция эта – один к одному – основывалась на письмах. Сэр Реджинальд Харди в своей заключительной речи на заседании суда в Стаффорде заявил, что автор писем, по всему, и есть тот изувер, который калечил скот. Эта в открытую обозначенная связь подверглась справедливой критике со стороны мистера Йелвертона и его единомышленников. А теперь сэр Артур устанавливает точно такую же связь. Отправной точкой для него стали письма, и уже через их посредство он выявил руку Ройдена Шарпа, все его приезды и отъезды. Эти письма сейчас изобличали Шарпа точно так же, как прежде изобличали Джорджа. И если сейчас сделан вывод, что Шарп вместе со своим братом умышленно написали эти письма, чтобы подставить Джорджа, то почему нельзя точно так же заключить, что написал их кто-то совсем другой, чтобы подставить Шарпа? Если в первом случае это оказались фальшивки, почему во втором случае они должны считаться подлинными?

Аналогичным образом все приведенные сэром Артуром доказательства являются косвенными, а многие – еще и производными. Вполне возможно, что нападение на женщину с ребенком совершил Ройден Шарп, да только его имя нигде не фигурировало, и полиция никаких следственных действий не предприняла. Три с лишним года назад миссис Грейторекс услышала некое заявление, которое не сочла нужным предать

гласности, а теперь вдруг вспомнила – при упоминании имени Ройдена Шарпа. Вспомнила она и некие слухи, если не сказать досужие сплетни, дошедшие до нее от жены Шарпа. Ройден Шарп из рук вон плохо учился в школе, но, будь это достаточным доказательством преступных намерений, в тюрьмах было бы не протолкнуться. Якобы Ройден Шарп странным образом реагирует на фазы Луны – за исключением тех случаев, когда не реагирует на них вовсе. Далее, из дома, где живет Шарп, в темноте легко выскользнуть незамеченным – точно так же, как из дома викария и множества других окрестных домов.

От одних лишь этих соображений у любого солиситора упало бы сердце, но было кое-что и похуже, намного хуже. Единственным вещественным доказательством сэра Артура послужил оказавшийся в его распоряжении конский ланцет. Но какова юридическая значимость подобного предмета, добытого подобным способом? Третье лицо (а именно сэр Артур) побудило четвертое лицо (а именно мистера Вуда) к противоправному проникновению в жилище другого лица, Ройдена Шарпа, с целью хищения предмета, который затем пришлось везти через полстраны. Нетрудно понять, почему эта улика не была передана в полицейское управление Стаффордшира, но ее следовало оставить на хранение у официального лица, имеющего должный юридический статус. Хотя бы у адвоката-солиситора. А так действия сэра Артура только дискредитировали улику. Даже полицейские знают, что для входа в дом необходимо либо предъявить ордер на обыск, либо заручиться четким и недвусмысленным разрешением домовладельца. Признавая, что в уголовном праве он не специалист, Джордж все же подозревал, что сэр Артур подбил сообщника на кражу со взломом и тем самым обесценил самое важное вещественное доказательство. Ему еще очень повезет, если он избежит обвинения в сговоре с целью совершения кражи.

Вот куда завела сэра Артура чрезмерная увлеченность. А виной всему, решил Джордж, не кто иной, как Шерлок Холмс. Сэр Артур оказался под пятой своего творения. Холмс, проявив чудеса дедукции, тут же передавал официальным лицам злодея, у которого вина была написана на лбу. Но Холмсу ни разу не довелось стоять на свидетельской трибуне, где в считанные часы все предположения, и догадки, и безупречные умопостроения разбиваются в пух и прах такими, как мистер Дистэрнал. Действия сэра Артура оказались равносильны тому, чтобы выйти на луг, где могли остаться следы преступника, и исходить его вдоль и поперек, сменив несколько пар башмаков. Из-за своей горячности он разрушил судебное дело против Ройдена Шарпа, невзирая на стремление к обратному.

И все это – по вине мистера Шерлока Холмса.

Артур и Джордж

Держа в руках «Доклад Комиссии Гладстона», Артур может лишь порадоваться, что дважды не прошел в парламент. По крайней мере, он избавлен от прямого стыда. Вот, значит, как они обстряпывают свои дела, вот как зарывают в землю дурные вести. «Доклад» был обнародован без предупреждения, в пятницу, накануне Духова дня. Кто станет читать о судебной ошибке, направляясь поездом к морскому побережью? Кто останется в пределах досягаемости, чтобы дать квалифицированный отзыв? Кто вообще вспомнит этот доклад, вернувшись к работе после Троицы? Дело Эдалджи – в нем же поставили точку несколько месяцев назад, разве нет?

Джордж тоже держит в руках доклад комиссии. На титульном листе он читает:

ДОКУМЕНТЫ

ПО ДЕЛУ ДЖОРДЖА ЭДАЛДЖИ,

представленные в обеих палатах парламента
по распоряжению Его Величества

А внизу:

Лондон: отпечатано по заказу Государственной канцелярии типографией «Эйр энд Споттисвуд», печатниками Его Королевского Величества

[Заказ 3503]

Цена 1 1/2 п.

1907

Звучит внушительно, только цена говорит сама за себя. Полтора пенса за правду о его деле, о его жизни... Джордж настороженно открывает брошюру. Сам доклад – четыре страницы, потом два кратких приложения. Полтора пенса. У него перехватывает горло. Перед ним, уже не впервые, его жизнь в компактном изложении. На сей раз – не для читателей «Кэннок-Чейс курьер», бирмингемской «Дейли газетт», или бирмингемской же «Дейли пост», или «Телеграф», или «Таймс», а для обеих палат парламента и для Его Королевского Величества...

Артур, не читая, берет доклад с собой к Джин. И это правильно. Как сам доклад был представлен в парламенте, так и последствия этой затеи должны быть представлены Джин. Ее интерес к этому начинанию превзошел все ожидания Артура. Если честно, у него самого никаких ожиданий не было. Но она все время была рядом если не в буквальном, то в переносном смысле. Так что ей и присутствовать при развязке.

Джордж наливает себе стакан воды и садится в кресло. Мать вернулась домой, в Уэрли, а он в данный момент остался один в квартире мисс Гуд – адрес зарегистрирован в Скотленд-Ярде. На подлокотнике лежит блокнот: испещрять пометками текст не хочется. Возможно, над ним еще довлеют правила пользования библиотечными книгами в Льюисе и Портленде. Артур стоит спиной к камину, а Джин что-то шьет, склонив голову набок в ожидании отрывков, которые будет читать ей вслух Артур. Она подумывает, что в такой день надо было проявить внимание к Джорджу Эдалджи – например, позвать его на бокал шампанского, да только он не пьет; впрочем, они лишь сегодня утром узнали, что доклад готов к выходу в свет...

«Джордж Эдалджи находился под судом по обвинению в преступном нанесении резаных ран...»

– Ха! – восклицает Артур, не дойдя и до середины абзаца. – Ты только послушай. «Заместитель председателя суда квартальных сессий, председательствовавший на процессе, в ответ на вопрос о приговоре сообщил, что он и его коллеги придерживаются твердого убеждения в справедливости вынесенного приговора». Дилетанты. Жалкие дилетанты. Среди них нет ни одного юриста. У меня порой возникает ощущение, дорогая моя Джин, что всей страной управляют дилетанты. Послушай, как излагают. «Данные обстоятельства заставляют нас серьезно колебаться, прежде чем выразить несогласие с приговором, вынесенным и одобренным в первоначальном виде».

Джорджа в меньшей степени волнует зачин; его правоведческого образования вполне хватает, чтобы ожидать, когда из-за угла появится

«однако». А вот и оно: да не единственное, а сразу три. Однако в тот период времени в населенном пункте Уэрли бытовало значительное возмущение; однако полиция, долгое время находившаяся в тупике, проявляла *естественно большое желание* произвести арест; однако полиция начинала и продолжала расследование *с целью нахождения улик против Эдалджи*. Ну вот, это высказано: в открытую и теперь вполне официально. Полиция с самого начала была настроена против него.

И Артур, и Джордж читают: «В содержательном отношении дело является весьма сложным, так как по нему невозможно занять такую позицию, которая не включает крайних маловероятностей». Бред, думает Артур. Что еще за крайние маловероятности в невинности Джорджа? А Джордж думает: «Это просто запутанный слог; они хотят сказать, что здесь нет середины; и это правда, так как я либо полностью невиновен, либо полностью виновен, а поскольку в деле содержатся „крайние маловероятности“, значит его можно и нужно закрыть».

Погрешности процесса... по ходу дела сторона обвинения изменила два существенных момента. Надо же. Во-первых, касательно предполагаемого времени совершения преступления. Свидетельства полицейских непоследовательны и даже противоречивы. Аналогичные расхождения в отношении бритвы... Следы. *Мы считаем, что значимость следов обуви как улики практически ничтожна*. Бритва как орудие преступления. Нелегко соотнести со свидетельством ветеринара. Кровь застарелая. Волоски. *Доктор Баттер, свидетель вне подозрений*.

Доктор Баттер – вечный камень преткновения, думает Джордж. Но пока что все справедливо. Далее, письма. Письма Грейторекса – ключ, и присяжные изучали их подробно. *Они уделили значительное время обсуждению вердикта, и мы считаем, что, по их утверждениям, все эти письма написал Эдалджи. Тщательно рассмотрев указанные письма и сравнив их с подтвержденным почерком Эдалджи, мы не готовы пренебречь выводами, которые сделаны присяжными*.

Джордж близок к обмороку. Хорошо еще, что рядом нет родителей. Он перечитывает эти слова. «*Мы не готовы пренебречь*». Они считают, что письма рассылал он сам! Комиссия объявляет всему свету, что его рукой написаны письма Грейторекса! Джордж делает глоток воды. Опустив доклад на колени, он пытается прийти в чувство.

Тем временем Артур читает дальше и закипает гневом. Впрочем, тот факт, что Эдалджи написал эти письма, еще не означает, что он совершал злодеяния. «Ах, до чего же благородно с их стороны!» – восклицает он. Это не письма виновного человека, который пытается переложить вину на

других. Как, во имя всех земных и неземных сил, могло быть иначе, беззвучно рычит Артур, ибо вину главным образом возлагают на самого Джорджа. «Мы считаем весьма вероятным, что эти письма написал невиновный человек, но вместе с тем упрямый и злонамеренный, который позволяет себе недопустимые выходки, делая вид, что знает то, чего знать не может, с тем чтобы направить полицию по ложному пути, усложнив и без того чрезвычайно сложное расследование».

– Белиберда! – кричит Артур. – Бе-ли-бер-да!

– Артур.

– Белиберда, белиберда, – твердит он. – Мне еще не встречался более трезвомыслящий и открытый парень, чем Джордж Эдалджи. «Недопустимые выходки» – похоже, эти идиоты не читали отзывы о нем, собранные Йелвертоном? «Упрямый и злонамеренный». И эта... эта... повестушка, – он швыряет доклад на каминную полку, – защищена парламентской неприкосновенностью? Если нет, я их привлеку за клевету. Всех до единого. И заплачу из своего кармана.

Джорджу кажется, что у него галлюцинации. Кажется, что весь мир сошел с ума. Он вновь в Портленде, в «сухой бане». Ему приказали раздеться до рубахи, задрать ноги, открыть рот. Ему залезли под язык и... как это понимать, D-462? Что ты прячешь под языком? Да это же ломик. Взгляните, офицер, вы согласны, что у этого заключенного под языком спрятан ломик? Нужно доложить по начальству. Ты основательно влип, D-462, предупреждаю заранее. А еще заявлял, что во всей тюрьме не сыщется человека, который менее твоего стремился бы к побегу. Тоже мне святоша, книголюб. Мы взяли на карандаш твой номер, Джордж Эдалджи: номер D-462.

Он вновь останавливается. Артур продолжает. Вторая погрешность стороны обвинения проистекает из непроясненности вопроса о том, действовал ли Эдалджи в одиночку; обвинение меняло свою позицию в зависимости от собственной выгоды. Что ж, хотя бы это не ускользнуло от назначенных сверху болванов. Существенная проблема зрения. Эта тема неоднократно муссировалась в некоторых сообщениях, поступивших в Министерство внутренних дел. Да уж, муссировалась ведущими специалистами с Харли-стрит и Манчестер-Сквер. Мы внимательно ознакомились с докладом выдающегося эксперта, который осмотрел Эдалджи в тюрьме, и с предоставленными нам справками окулистов; собранные на данный момент материалы, по нашему мнению, совершенно недостаточны для установления предполагаемой невозможности.

– Дебилы! «Совершенно недостаточны». Тупицы и дебилы!

Джин не поднимает головы. С этого, как ей помнится, начиналась кампания Артура: он не думал, что Джордж Эдалджи невиновен, – он это знал. До чего они еще дойдут в своем неуважении, если с такой легкостью отмахиваются от работ и суждений Артура!

Но он читает дальше, торопится, словно решив забыть этот пункт. «По нашему мнению, вынесенное решение неудовлетворительно... мы не можем согласиться с вердиктом...» Ха!

– Значит, ты победил, Артур. Его честное имя восстановлено.

– Ха! – Артур даже не поясняет это восклицание. – А теперь слушай дальше. «В своей позиции по данному делу мы исходим из того, что на более ранних этапах вмешательство Министерства внутренних дел было бы неправомерным». Лицемеры. Лжецы. Сплошные лакировщики.

– В каком смысле, Артур?

– В том смысле, дорогая моя Джин, что никто ни в чем не виноват. В том смысле, что здесь применено великое британское решение всех проблем. Произошло нечто ужасающее, но никто ни в чем не виноват. Эту историю надо задним числом вписать в Билль о правах. «Ни в чем нет ничьей вины, в особенности нашей».

– Но они же признают, что вердикт был ошибочным.

– Они говорят, что Джордж невиновен, однако в том, что он провел три года жизни на каторге, ничьей вины не усматривают. Раз за разом министерству указывалось на огрехи следствия, и раз за разом министерство отказывало в пересмотре дела. Виноватых нет. Ура-ура.

– Артур, нужно немного успокоиться, прошу тебя. Выпей чуть-чуть виски с содовой или чего-нибудь другого. Если хочешь, можешь даже закурить трубку.

– В присутствии дамы – никогда.

– Охотно сделаю для тебя исключение. Но прежде всего чуточку успокойся. А потом посмотрим, как они обосновали свое утверждение.

Но Джордж доходит до этого места первым. *Предложения... прерогатива помилования... полное оправдание... С одной стороны, мы считаем, что такой приговор выносить не следовало, по вышеизложенным причинам... полный подрыв его профессионального положения и перспектив... под наблюдением полиции... сложно, а то и невозможно вернуть себе утраченные позиции.* Тут Джордж останавливается и отпивает еще воды. Он знает, что после «с одной стороны» всегда идет «с другой стороны», и опасается не выдержать этой другой стороны.

– «С другой стороны»! – гремит Артур. – О господи, министерские

крючкотворы отыщут здесь столько сторон, сколько рук у этого индуистского бога, как там его...

– У Шивы, дорогой мой.

– Да, у Шивы... пожелай они только доказать, что ни в чем не виноваты. «С другой стороны, не имея оснований не согласиться с тем мнением, к которому, как нам видится, пришли господа присяжные в отношении того, что автором писем тысяча девятьсот третьего года был Эдалджи, мы, признавая его невиновность, обязаны вместе с тем отметить, что он в некоторой степени сам спровоцировал такое положение...» Нет, нет, нет, НЕТ.

– Артур, прошу тебя. Соседи подумают, что мы скандалим.

– Извини... Дело в том, что... а-а-ах, «Приложение номер один», да-да, петиции, причины, по которым Министерство внутренних дел вечно бездействует. «Приложение номер два», давай-ка посмотрим, как министерский царь Соломон выражает благодарность Комиссии. «Подробный, исчерпывающий доклад». Исчерпывающий! Целых четыре страницы, без единого упоминания Энсона и Ройдена Шарпа! Трескотня... спровоцировал такое положение... тра-та-та... принять сделанные выводы... однако... исключительное дело... еще бы... бессрочная дисквалификация... Ага, вижу, больше всего они боятся юридического сообщества, которое видит здесь грубейшую судебную ошибку со времен... со времен... да, значит, если они восстановят его в правах... тра-та-та... тра-та-та... всестороннее и самое пристальное внимание... полное оправдание.

– Полное оправдание, – повторяет Джин, поднимая голову.

Значит, победа за ними.

– Полное оправдание, – читает Джордж, видя, что в «Докладе» остается еще одно предложение.

– Полное оправдание, – повторяет Артур.

Последнее предложение они с Джорджем читают вместе. «Но я также заключаю, что данное дело не принадлежит к разряду требующих какого-либо возмещения или компенсации».

Джордж опускает «Доклад» и сжимает голову ладонями. Артур сардонически-похоронным тоном зачитывает подпись: «Остаюсь преданный Вам, Г. Дж. Гладстон».

– Артур, милый, к концу ты сильно заторопился. – Она еще не видела его в таком состоянии; это ее тревожит. Не хотелось бы ей, чтобы такие эмоции когда-нибудь обернулись против нее.

– На фасаде Министерства внутренних дел нужно сменить таблички.

Вместо «Вход» и «Выход» написать «С одной стороны» и «С другой стороны».

– Артур, может быть, ты попробуешь выразиться не столь туманно и попросту объяснить мне, в чем тут смысл.

– Смысл в том... смысл в том, дорогая моя Джин, что это министерство, это правительство, эта страна, эта наша Англия открыли новое правовое понятие. В прежние времена человек считался либо виновным, либо невиновным. Если вина за тобой есть, то, следовательно, ты виновен, а если вины за тобой нет, то, следовательно, ты невиновен. Достаточно простой расклад, проверенный и испытанный на протяжении веков, усвоенный судьями, коллегиями присяжных и рядовыми гражданами. Но сегодня в английской юриспруденции появилось новое понятие: виновен *и* невиновен. Первопроходцем в этом направлении стал Джордж Эдалджи. Единственный человек, полностью оправданный как не совершавший вмененного ему преступления и в то же время вполне заслуженно отсидевший три года в каторжной тюрьме.

– Выходит, это компромисс?

– Компромисс! Ничуть не бывало, это ханжество. То, в чем более всего преуспела наша страна. Отшлифованное многовековым опытом бюрократов и политиков. Теперь имя ему – «Доклад правительственной комиссии». Имя ему – «Трескотня», имя ему...

– Артур, раскури трубку.

– Ни за что. Как-то раз я застукал одного субъекта, курившего в присутствии дамы. Я выхватил трубку прямо у него изо рта, переломил пополам и швырнул обломки ему под ноги.

– Но мистер Эдалджи сможет вернуться к профессии солиситора?

– Сможет. И каждый потенциальный клиент, способный читать газеты, будет думать, что ему предлагает свои услуги какой-то ненормальный, вздумавший рассылать подметные письма, дабы обвинить самого себя в гнусном преступлении, к которому он, даже по мнению министра внутренних дел, а также двоюродного брата достопочтенного Энсона, совершенно непричастен.

– Но это, быть может, забудется. Ты сам сказал: они зарывают в землю дурные вести, публикуя их в предпраздничный день. Так что у многих, вероятно, отложится в памяти лишь то, что мистер Эдалджи полностью оправдан.

– Коль скоро за это дело взялся я, такого не произойдет.

– Хочешь сказать, ты намерен пойти дальше?

– Им от меня так просто не отделаться. Я не допущу, чтобы *такое*

сошло им с рук. Я дал слово Джорджу. Я дал слово тебе.

– Нет, Артур. Ты просто объяснил, что именно намереваешься сделать, и ты это сделал: добился для Джорджа полного оправдания и возможности вернуться к работе, а это, по словам его матери, единственное, к чему он стремился. Это большой успех, Артур.

– Джин, умоляю, не будь такой разумной.

– Ты хочешь, чтобы я стала неразумной?

– Только через мой труп.

– А с другой стороны? – поддразнивает его Джин.

– С тобой, – отвечает Артур, – другой стороны быть не может. Есть только одна сторона. Причем очень простая. И это единственное, что в моей жизни оказалось простым. Наконец. В кои-то веки.

Джорджа никто не утешает, никто не поддразнивает, никто не избавляет от бесконечного перекатывания в голове одних и тех же слов: человек *«упрямый и злонамеренный, который позволяет себе недопустимые выходки, делая вид, что знает то, чего знать не может, с тем чтобы направить полицию по ложному пути, усложнив и без того чрезвычайно сложное расследование»*. Вот суждение, представленное обеим палатам парламента и Его Королевскому Величеству.

В тот же вечер некий представитель прессы обратился к Джорджу за комментариями по поводу доклада комиссии. Джордж заявил, что «глубоко разочарован результатом». Охарактеризовав доклад как «только первый шаг в верном направлении», он назвал все попытки приписать ему авторство писем Грейторекса «клеветническими и оскорбительными... беспочвенными инсинуациями, с которыми нельзя мириться до полного их опровержения и принесения извинений». Далее, «никакой компенсации не предложено. Признание судебной ошибки с необходимостью предполагает компенсацию за три года отбытого тюремного заключения. Я этого так не оставляю. Я потребую компенсации за причиненный мне вред».

Артур написал в «Дейли телеграф», назвав позицию комиссии «совершенно нелогичной и несостоятельной». Можно ли вообразить нечто более подлое и более неанглийское, вопрошал он, чем полное оправдание без возмещения ущерба? Он вызывался «за полчаса» продемонстрировать, что те анонимные письма не могли быть написаны Джорджем Эдалджи. Считая несправедливым перекладывать выплату компенсации для Джорджа Эдалджи на плечи налогоплательщиков, он предлагал, «чтобы соответствующая сумма была взыскана в равных долях с полиции Стаффордшира, суда квартальных сессий и Министерства внутренних дел – трех инстанций, которые равно повинны в этом фиаско».

Написал в «Дейли телеграф» и викарий Грейт-Уэрли, отметивший, что сами присяжные не вынесли суждения об авторстве тех писем и что все ложные выводы остаются на совести сэра Реджинальда Харди, который проявил «опрометчивость и нелогичность», когда заявил присяжным, что «написавший эти письма и есть тот, кто совершил преступление». Один видный судейский адвокат, присутствовавший на процессе, назвал заключительную речь председателя «прискорбным выступлением». Викарий указал, что и полиция, и Министерство внутренних дел обошлись с его сыном «в высшей степени возмутительно и бессердечно». О поведении и выводах министра внутренних дел и членов его комиссии: «Возможно, это дипломатия, государственная мудрость, но, будь он сыном английского сквайра или английского аристократа, они бы с ним так не поступили».

Высказал неудовлетворенность «Докладом» и капитан Энсон. В интервью стаффордской «Сентинел» он ответил на критику, задевшую «честь полицейского мундира». В ходе идентификации так называемых «противоречивых показаний» он просто-напросто обнаружил непонимание сущности оперативных действий. Помимо всего прочего, «неправда», что полицейские исходили из презумпции виновности Эдалджи. Напротив, Эдалджи попал под подозрение «лишь через несколько месяцев» после начала злодеяний. «В число возможных подозреваемых входили различные лица», которые постепенно отсеивались. И лишь на заключительном этапе «все подозрения сошлись на Эдалджи вследствие его пресловутой манеры скитаться по округе в темное время суток».

Это интервью процитировала «Дейли телеграф», которой Джордж в своем письме дал отпор. «Шаткие основания», на которых базировалось сфабрикованное против него дело, теперь стали явными. Что же касается фактов, он «никогда и ни под каким видом не „скитался по округе“ в ночное время» и, за исключением тех случаев, когда позже обычного возвращался из Бирмингема или посещал какое-либо местное празднество, «неизменно приходил домой около половины десятого вечера». В округе нет ни одного человека, которого с меньшей вероятностью можно бы встретить на улице в ночное время, а полицейские, очевидно, восприняли всерьез чью-то неудачную шутку. Далее, будь у него манера появляться на улицах в позднее время суток, об этом знал бы «многочисленный отряд» патрульных полицейских.

После Троицы и Духова дня установилась не по сезону холодная погода. Во время мотогонок трагически погиб сын миллионера, управлявший автомобилем в двести лошадиных сил. Наследники

зарубежных престолов прибыли в Мадрид по случаю крестин инфанта. В Безье бунтуют виноградари: местная ратуша разграблена и сожжена крестьянами. И ни слова, причем уже много лет, о мисс Хикмен, женщине-хирурге.

Сэр Артур предложил взять на себя, полностью или частично, любые издержки, если Джордж надумает вчинить иск о диффамации капитану Энсону, министру внутренних дел или членам комиссии Гладстона. Джордж, сызнова выразив свою признательность, вежливо отказался. Некоторое возмещение ущерба ему уже выплачено заботами сэра Артура, благодаря его целеустремленности, самоотверженным усилиям, логике и склонности поднимать шум. Но шум, подумал про себя Джордж, не лучший способ достижения целей. Не от всякого жара бывает свет, не от всякого шума – движение. «Дейли телеграф» призывает к открытому рассмотрению всех аспектов дела; с точки зрения Джорджа, этого сейчас и нужно добиваться. Кроме того, газета начала кампанию по сбору средств в его пользу.

Артур между тем продолжал свою собственную кампанию. Никто не заинтересовался его предложением «за полчаса» продемонстрировать непричастность Эдалджи к написанию тех писем – даже Гладстон, публично заявивший обратное. Поэтому Артур вознамерился самолично доказать это Гладстону, членам комиссии, Энсону, Гаррину и всем читателям «Дейли телеграф». Этой теме он посвятил три пространные статьи со множеством собственноручных иллюстраций. Он показал, из чего видно, что письма определенно написал человек «совершенно иного круга», нежели Эдалджи: «сквернослов, грубиян, не знающий ни грамматики, ни приличий». Кроме того, Артур заявил, что Комиссия Гладстона уязвила его лично: в ее докладе «не содержится ни слова, которое позволило бы мне заключить, что мои доказательства приняты во внимание». Относительно зрения Эдалджи комиссия процитировала мнение «тюремного врача, фамилия которого не разглашается», оставив без внимания представленные Артуром заключения пятнадцати экспертов, «в числе которых ведущие окулисты страны». Члены комиссии просто-напросто включили себя в «длинный список полицейских, официальных лиц и политических деятелей», которые должны «смирно извиниться перед этим человеком за ненадлежащее обхождение». Но пока не принесены такие извинения и не выплачена компенсация, «никакое взаимное украшательство хвалебной лакировкой никогда их не отчистит».

В течение мая и июня в парламенте непрерывно задавались вопросы. Сэр Гилберт Паркер поинтересовался, есть ли прецеденты невыплаты

компенсации необоснованно осужденному и впоследствии полностью оправданному лицу. Мистер Гладстон: «Аналогичные случаи мне неизвестны». Мистер Эшли пожелал узнать, считает ли министр внутренних дел, что Джордж Эдалджи невиновен. Мистер Гладстон: «С моей точки зрения, задавать мне такой вопрос едва ли уместно. Он касается сугубо личного мнения». Мистер Пайк Пиз спросил, какую характеристику получил мистер Эдалджи в местах лишения свободы. Мистер Гладстон: «Положительную». Мистер Митчелл-Томпсон попросил министра внутренних дел назначить новое исследование почерка. Мистер Гладстон ответил отказом. Капитан Крейг попросил предоставить парламенту для ознакомления какие-либо записи, сделанные в ходе процесса для использования в суде. Мистер Гладстон ответил отказом. Мистер Ф. Э. Смит спросил, верно ли, что мистер Эдалджи уже получил бы компенсацию, если бы не сомнения насчет его авторства писем. Мистер Гладстон: «К сожалению, ответа на этот вопрос у меня нет». Мистер Эшли спросил, почему этого человека выпустили на свободу, если его невиновность доказана не полностью. Мистер Гладстон: «Вообще говоря, это вопрос не по адресу. Решение об освобождении принимал мой предшественник; впрочем, с его мнением я согласен». Мистер Хармуд-Баннер попросил огласить подробности сходных нападений на домашний скот, совершенных в период тюремного заключения Джорджа Эдалджи. Мистер Гладстон ответил, что в районе Грейт-Уэрли таковых было три: в сентябре тысяча девятьсот третьего, в ноябре тысяча девятьсот третьего и в марте тысяча девятьсот четвертого. Мистер Ф. Э. Смит спросил, в каком количестве случаев и в каком объеме за последние двадцать лет выплачивалась компенсация после признания судебного решения неудовлетворительным. Мистер Гладстон ответил, что за истекшие двадцать лет таких случаев зафиксировано двенадцать, причем в двух случаях суммы выплат были значительными: «В первом случае выплата составила пять тысяч фунтов стерлингов, а во втором сумма в тысячу шестьсот фунтов стерлингов была разделена между двумя лицами. В остальных десяти случаях размер выплат варьировался от одного фунта до сорока». Мистер Пайк спросил, во всех ли упомянутых случаях имело место полное оправдание. Мистер Гладстон: «Я не уверен». Капитан Фейбер попросил напечатать все полицейские отчеты и донесения, поступившие в министерство в связи с делом Эдалджи. Мистер Гладстон ответил отказом. И наконец, двадцать седьмого июня мистер Винсент Кеннеди спросил: «Эдалджи подвергается такому обращению из-за того, что он не англичанин?» Согласно протоколам парламентских заседаний,

«[ответа нет]».

Артуру продолжали поступать анонимные письма и открытки с бранью; письма – в грубых желтых конвертах, заклеенных полосками гербовой бумаги. На всех стоял штемпель «Лондон С.-З.», но характер сгибов и помятостей указывал, что эти документы, по всей видимости, до отправки перевозились отдельно от конвертов – возможно, даже в чьем-то кармане, например контролера или проводника, – из центральных графств в Лондон. Артур объявил награду в двадцать фунтов за помощь в установлении личности автора.

Он обратился к министру внутренних дел и его заместителю мистеру Блэквеллу с просьбой о дополнительной беседе. В газету «Дейли телеграф» Артур сообщил, что приняли его «учтиво», но «с ледяным отсутствием сопереживания». А затем они «неприкрыто заняли сторону опорочивших себя должностных лиц» и создали вокруг него «атмосферу враждебности». Впоследствии лед не растаял и атмосфера не переменялась; правительственные чиновники выразили сожаление, что будут слишком заняты государственными делами, чтобы впредь уделять время сэру Артуру Конан Дойлу.

Объединенное юридическое общество проголосовало за возвращение Джорджу Эдалджи официального допуска к работе.

Газета «Дейли телеграф» произвела выплату собранных средств в сумме примерно трехсот фунтов стерлингов.

После этого, в отсутствие развития событий, новых разногласий, исков о диффамации, правительственных действий, дальнейших вопросов членов парламента к правительству, открытых разбирательств, извинений и компенсаций, сообщения в прессе почти иссякли.

Джин говорит Артуру:

– А ведь мы можем еще кое-что сделать для твоего друга.

– Что именно, дорогая моя?

– Мы можем пригласить его на нашу свадьбу.

От такого предложения Артур совсем смешался.

– Но мне казалось, мы решили позвать только родственников и ближайших друзей?

– То – венчание, Артур. А потом еще будет прием.

Неофициальный англичанин смотрит на свою неофициальную невесту.

– Тебе еще никто не говорил, что ты не только самая обворожительная из женщин, но и необычайно мудрая и куда более прозорливая в отношении правильного и необходимого, чем жалкий недотепа, которого ты берешь в мужья?

– Я буду рядом с тобой, Артур, всегда рядом. Чтобы смотреть в одном направлении. А какво оно – не столь важно.

Джордж и Артур

Когда лето стало близиться к концу и разговоры перешли на крикет и индийский кризис; когда Скотленд-Ярд перестал требовать от Джорджа ежемесячных заказных писем с подтверждением его местожительства; когда Министерство внутренних дел как в рот воды набрало, а неутомимый мистер Йелвертон и тот не выдвинул новых планов; когда Джорджу поступило уведомление, что ему предоставляется офис в доме номер два по Мекленбург-стрит вплоть до найма им собственной конторы, а послания сэра Артура ужались до кратких ободряющих или негодующих записок; когда отец Джорджа смог, как прежде, полностью посвятить себя окормлению прихода, а мать со спокойной душой оставила старшего сына и единственную дочь на попечение друг друга; когда капитан, достопочтенный Джордж Энсон, не заявил о возобновлении следствия по делу о Грейт-Уэрлийских Изуверствах, притом что официального изувера теперь не было; когда Джордж вновь научился читать газеты, не перескакивая с одной публикации на другую в поисках своей фамилии; когда близ Уэрли было покалечено еще одно животное, однако интерес уже медленно, но верно шел на убыль, и даже анониму наскучило сквернословить, – Джордж понял, что по его делу вынесен окончательный, официальный и, похоже, бесповоротный вердикт.

Невиновен и вместе с тем виновен – так заявила комиссия Гладстона, и так же заявило британское правительство устами своего министра внутренних дел. Невинен и вместе с тем виновен. Невинен и вместе с тем упрям и злонамерен. Невинен, но совершает недопустимые выходки. Невинен, но умышленно вмешивается в надлежащие следственные действия полицейских. Невинен, но сам навлекает на себя беды. Невинен, но извинения не заслуживает. Невинен, но полностью заслужил три года каторжной тюрьмы.

Но это был не единственный вердикт. Пресса большей частью встала на сторону Джорджа: «Дейли телеграф» назвала позицию Комиссии и министра внутренних дел «слабой, нелогичной и малоубедительной». Общественное мнение, насколько он мог судить, сводилось к тому, что с ним «ни на одном этапе не вели честную игру». Члены юридического

сообщества в большинстве своем его поддерживали. Наконец, один из величайших писателей эпохи многократно во всеуслышание заявлял о его невиновности. Суждено ли было этим вердиктам когда-нибудь перевесить официальный? Ко всему прочему, Джордж стремился более широко смотреть на свое дело и его уроки. Если от полицейских нельзя ожидать лучшей подготовленности, а от свидетелей – большей честности, то нужно хотя бы усовершенствовать судебные учреждения, где проверяются их слова. Его дело и другие дела подобного рода не должны рассматриваться под началом председателя, не имеющего юридического образования; требуется повысить квалификацию судейского корпуса. Даже суд кварталных сессий и выездные суды можно заставить работать лучше, но для этого все же необходимо обращение к более блестящим и мудрым юридическим умам, иными словами – в апелляционный суд. Это же абсурд: чтобы опротестовать ошибочный приговор, как в его случае, существует единственный способ: направить петицию в Министерство внутренних дел, где она затеряется среди сотен, нет, тысяч других, поступающих ежегодно, главным образом из тюрем Его Величества, от явно виновных заключенных, которым больше нечего делать, кроме как строчить прошения на имя министра. Само собой разумеется, безосновательные и фривольные прошения, направляемые в любой вновь созданный судебный орган, должны отсеиваться, но те, которые указывают на серьезное противоречие закону или истине либо на предвзятость или некомпетентность суда более низкой инстанции, должны приводить к направлению дела на пересмотр в суде более высокой инстанции.

Отец Джорджа в различных обстоятельствах давал ему понять, что страдания служат высокой цели. У Джорджа никогда не возникало желания стать мучеником, и все же никакого христианского объяснения своих мытарств он не находил. Но дело Бека вкупе с делом Эдалджи вызвало значительное волнение среди представителей его профессии, и все указывало на то, что его вполне могли объявить мучеником, пусть и простого, сугубо практического толка: мученика от юриспруденции, чьи страдания привели к совершенствованию всей системы отправления правосудия. Ничто, по мнению Джорджа, не могло бы искупить трех лет жизни, украденных у него в Льюисе и Портленде, и годичного чистилища после освобождения, и все же: можно ведь было увидеть некое утешение в том, что жуткое крушение его жизни в конечном счете пошло во благо его профессии?

С оглядкой, будто ловя себя на греховной гордыне, Джордж начал рисовать в своем воображении учебник юриспруденции, написанный лет

через сто. «Создание Апелляционного суда было обусловлено многочисленными случаями судебных ошибок, вызывавших неудовлетворенность в обществе. Не последнее место среди них занимало дело Эдалджи, подробностями которого сейчас можно пренебречь, но которое – попутно укажем – примечательно тем, что жертвой судебной ошибки в данном случае оказался автор пособия «Железнодорожное право для „человека из поезда“» – одного из первых изданий, внесших ясность в эту достаточно запутанную область правоведения и до сих пор остающимся...» Это не самая плохая судьба, решил Джордж: остаться примечанием к истории права.

Однажды утром на его адрес доставили продолговатую вертикальную карточку с серебристым гравированным текстом, имитирующим рукописный:

*Мистер и миссис Лекки
имеют честь пригласить
мистера Джорджа Эдалджи*

на прием по случаю бракосочетания их дочери,
Джин, и сэра Артура Конан Дойла,
который состоится в Белом зале отеля «Метрополь»
в среду 18 сентября в 14:45.
Глиб-хаус, Блэкхит

Просьба подтвердить Ваше присутствие

Джордж был невыразимо тронут. Поставив карточку на каминную полку, он тут же написал ответ. Как Объединенное юридическое общество ранее вернуло его в профессию, так и сэр Артур теперь вернул его в человеческое общество. Не то чтобы у него были какие-то светские амбиции – во всяком случае, так высоко он не метил, но в этом приглашении ему виделся благородный и символический жест по отношению к тому, кто еще год назад в Портлендской тюрьме, чтобы не лишиться рассудка, читал Тобайаса Смоллета. Джордж долго ломал голову над свадебным подарком и в конце концов остановил свой выбор на однотомниках Шекспира и Теннисона в элегантных переплетах.

Артур намерен пустить всех опостылевших журналистов по ложному следу. Никакие объявления о месте их с Джин венчания не публикуются;

предсвадебный ужин в ресторане «Гэйети» проходит без лишнего шума; полосатый тент у вестминстерской церкви Святой Маргариты натягивают в последнюю минуту. В этом дремотном, умытом солнцем уголке близ аббатства собирается лишь кучка случайных прохожих, чтобы посмотреть, кто это надумал венчаться в скромную среду, а не в картинную субботу.

На Артуре сюртук и белый жилет; в петлице крупная белая гардения. Его брат Иннес, получивший краткосрочный отпуск в дни осенних маневров, нервничает, оказавшись в роли шафера. Проводить венчание будет Сирил Энджелл, муж Додо, самой младшей из сестер Артура. Матушка, недавно отметившая семидесятилетие, приехала в сером парчовом наряде; Конни и Уилли уже здесь, и Лотти, и Ида, и Кингсли, и Мэри. Мечта Артура собрать вокруг себя всю семью под одной крышей так и не сбылась, но здесь они ненадолго оказались вместе. И в кои-то веки мистер Уоллер отсутствует.

Алтарь украшен стройными пальмами; у их основания – композиции из белых цветов. Служба ограничится хоровым пением, и Джин с позволения Артура, который по воскресеньям оказывает предпочтение гольфу, а не церкви, сама выбрала гимны: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних»^[7] и «Любовь чиста и мысли неподвластна». Стоя в первом ряду, Артур вспоминает последнее, что слышал от Джин: «Я не заставлю тебя ждать, Артур. Я и отца уже решительно предупредила». Некоторые сказали бы, что для тех, кто ждал друг друга десять лет, лишние десять-двадцать минут разницы не сделают, а, наоборот, придадут этому событию эффектности. Но Джин, к восхищению Артура, напрочь лишена псевдотрогательного кокетства невесты. Венчание назначено на без четверти два; значит, она появится в церкви без четверти два. В этом, думает он, заложена прочная основа брака. Глядя на алтарь, он размышляет о том, что не всегда понимает женщин, но отличает тех, кто играет в открытую, от тех, кто финтит.

Ровно в тринадцать сорок пять появляется Джин Лекки под руку с отцом. У входа ее встречают подружки невесты: Лили Лоудер-Саймондс, не чуждая спиритуализму, и Лесли Роуз. Шлейф невесты несет юный Брэнсфорд Энджелл, сын Сирила и Додо, одетый в кремово-голубой шелковый костюм придворного пажа. Полуевропейского фасона платье Джин, из шелковых испанских кружев цвета слоновой кости, приталенное спереди в стиле «принцесс», по линиям кроя изысканно расшито жемчугом. Чехол – из серебристой парчи; шлейф, с оборкой из белого крепдешина, ниспадает от шифонового узла любви, схваченного белой кожаной подковкой; под фатой – венок из флердоранжа.

Артур почти ничего этого не замечает, когда Джин останавливается подле него. В женских нарядах он не силен, а потому его вполне устраивает примета, что жених не должен видеть подвенечного платья, пока оно не всплывет в церковь на его избраннице. Он понимает, что Джин чертовски хороша, а в остальном отмечает лишь нечто кремово-жемчужное, с длинным шлейфом. Но истина заключается в том, что он был бы не менее счастлив видеть ее в костюме для верховой езды. Жених отвечает страстно; невеста – едва слышно.

Парадная лестница отеля «Метрополь» ведет в Белый зал. Шлейф становится изрядной помехой; подружки невесты и маленький Брэнсфорд беспрестанно путаются под ногами, и Артур теряет терпение. Он отрывает невесту от пола и с нею на руках без усилий поднимается по ступеням. Вдыхая запах флердоранжа, он чувствует, как ему в щеку впечатываются жемчужины, и впервые за этот день слышит тихий смех невесты. От подножья лестницы раздаются одобрительные возгласы тех, кто был в церкви, а с верхней площадки – ответные возгласы приглашенных на банкет.

Джорджу сильно не по себе оттого, что он не знаком здесь ни с кем, кроме сэра Артура (да и с тем встречался ровно два раза) и невесты, которая однажды коротко пожала ему руку в Гранд-отеле на Черинг-Кросс-роуд. Сомнительно, что среди приглашенных окажется мистер Йелвертон, а Гарри Чарльзуорт – тем более. Передав распорядителю свой подарок, он отказался от алкогольных напитков, хотя все остальные стоят с бокалами. Он обводит взглядом зал: у длинного фуршетного стола хлопочут повара в белых колпаках, оркестр «Метрополя» настраивает инструменты, кругом высокие пальмы в папоротниках и живых гирляндах, с купами белых цветов у основания. Белыми цветами украшены и небольшие столики, расставленные вдоль стен зала.

К удивлению – и немалому облегчению – Джорджа, его узнают и приветствуют гости, подходят, обращаются почти как к старому знакомому. Альфред Вуд, представившись, рассказывает, как ездил в приход Уэрли, где имел искреннее удовольствие познакомиться с родными Джорджа. Мистер Джером, писатель-юморист, поздравляет его с победой в битве за справедливость, знакомит с мисс Джером и указывает на других знаменитостей: вот там – Дж. М. Барри, дальше Брэм Стокер, дальше Макс Пембертон. Подходит, чтобы пожать руку Джорджу, и мистер Гилберт Паркер, не раз загонявший в тупик министра внутренних дел в Палате общин. Джорджу ясно, что все обходятся с ним как с человеком, пострадавшим от вопиющей несправедливости; никто не косится на него

как на автора серии безумных, непотребных писем. В открытую собеседники ничего не говорят, а просто подразумевают, что он из тех, кто обычно воспринимает жизнь так же, как обычно воспринимают ее они сами.

Под негромкие звуки оркестра в зал вносят три корзины с телеграммами и каблограммами; их распечатывает и читает вслух брат сэра Артура. Предлагается угощение, шампанское льется рекой – Джордж такого в жизни не видел; произносятся речи и тосты, а когда наконец слово берет жених, его слова искрятся у Джорджа в мозгу не хуже пузырьков шампанского и кружат ему голову приятным волнением.

– ...в такой день я счастлив представить находящегося среди нас моего молодого друга *Джорджа Эдалджи*. *Его присутствие вызывает у меня особую гордость...*

Джордж, видя обращенные к нему лица, расцветающие улыбками, и приподнятые бокалы, не знает, куда глаза девать, но понимает, что оно и не важно.

Под радостные вопли собравшихся жених с невестой делают традиционный тур вальса, а потом начинают циркулировать среди гостей, сначала вдвоем, затем по отдельности. Джордж оказывается возле мистера Вуда, прижавшегося спиной к пальме и по колено в папоротниках.

– Сэр Артур всегда советует не высовываться, – говорит он, подмигивая.

Они вместе разглядывают толпу.

– Счастливый день, – замечает Джордж.

– И конец очень долгого пути, – отвечает мистер Вуд.

Джордж не знает, как реагировать на эту фразу, и ограничивается согласным кивком.

– Вы давно служите у сэра Артура?

– Саутси, Норвуд, Хайндхед. Наверное, «дальше – Тимбукту».

– Неужели? – удивляется Джордж. – Там планируется медовый месяц?

Мистер Вуд хмурится, будто не улавливая смысла, и прихлебывает шампанское.

– Как я понимаю, вы теоретически не возражали бы против женитьбы. Сэр Артур считает, что жениться необходимо практиче-ски. – Последнее слово он произносит отрывисто, по слогам и отчего-то сам забавляется. – Или я говорю банальности?

Такой поворот беседы тревожит и немного смущает Джорджа. Мистер Вуд указательным пальцем потирает крыло носа.

– Сестра ваша – тихоня, – добавляет он. – Спасовала перед двумя

доморощенными сыщиками-консультантами.

– Мод?

– Да-да, именно так ее зовут. Славная девушка. А что тихая – это не беда. Я-то сам жениться не собираюсь, ни теоретически, ни практически. – Он улыбается сам себе. По мнению Джорджа, мистер Вуд старается вести себя не столько желчно, сколько игриво; впрочем, можно предположить, что он слегка навеселе. – Суета сует, я считаю. А расходы какие. – Мистер Вуд обводит бокалом оркестр, цветы, официантов; один из последних истолковывает этот жест как побуждение к действию и наполняет его бокал.

Джорджу остается только гадать, куда может завести такой разговор, но тут через плечо мистера Вуда он видит, что к ним направляется леди Конан Дойл.

– Вуди, – произносит она, и Джорджу чудится, что по лицу его собеседника пробегает странная тень.

Не успевает он этого осмыслить, как секретарь загадочным образом испаряется.

– Мистер Эдалджи, – его фамилию леди Конан Дойл произносит безукоризненно и дотрагивается рукой в перчатке до его локтя, – я так рада, что вы смогли приехать.

Джордж в растерянности: нельзя сказать, что ему пришлось отказаться от множества других приглашений, чтобы только оказаться здесь.

– Желаю вам всяческого счастья, – отвечает он, глядя на ее платье.

Ничего подобного он в своей жизни не видел. Ни у одной из невест в Стаффордшире, где обряд венчания совершал его отец, не было подвенечного платья, хотя бы отдаленно похожего на это. Ему кажется, что надо бы высказать похвалу, но как – непонятно. Впрочем, это уже не важно, поскольку леди Конан Дойл заговаривает вновь.

– Мистер Эдалджи, хочу вас поблагодарить.

И опять он теряется. Неужели они уже вскрыли свадебные подарки? Нет, не может быть. О чем же она говорит?

– Ну, я не был уверен, что вам может пригодиться...

– Нет-нет, – прерывает она, – я не о том.

И снова улыбается. Серо-зеленые глаза, отмечает про себя Джордж, золотистые волосы. Он на нее таращится?

– Я хочу сказать, что отчасти благодаря вам этот счастливый день наступил тогда, когда наступил, и так, как наступил.

Теперь Джордж окончательно сбит с толку. И – да, он на нее таращится и сам это понимает.

– Нас в любой момент могут перебить, и вообще я не собиралась ничего объяснять. Возможно, вы никогда не узнаете, что я имею в виду. Но я вам так благодарна, что вы даже представить себе не можете. А потому ваше присутствие здесь вполне закономерно.

Джордж все еще размышляет над этими словами, но тут вихрь шума уносит новоиспеченную леди Конан Дойл. *Я вам так благодарна, что вы даже представить себе не можете.* А через несколько мгновений уже сам сэр Артур пожимает ему руку, говоря, что каждое слово его речи было искренним, хлопает Джорджа по плечу и переходит к следующему гостю. Невеста исчезает, потом возвращается в другом платье. Провозглашен последний тост, осушены бокалы, звучат последние здравицы, и новобрачные отбывают. Джорджу остается только распрощаться со своими временными друзьями.

На другое утро он купил «Таймс» и «Дейли телеграф». В первой газете его имя значилось между именами мистера Фрэнка Буллена и мистера Хорнунга, во второй – мистера Буллена и мистера Хантера. Оказалось, те белые цветы, которые он так и не опознал, носят название бермудских лилий. А сэр Артур и леди Конан Дойл, как выяснилось, после приема уехали в Париж, откуда путь их лежал в Дрезден и Венецию. «Новобрачная, – прочел он, – выбрала для путешествия костюм цвета слоновой кости, отделанный белым сутажем, с гипюровыми рукавами и лифом и с тканевыми зарукавьями. На спине жакет был прихвачен в талии пуговицами с золотошвейным узором. Спереди по бокам гипюровой шемизетки ниспадали мягкие тканевые драпировки. Все элементы костюма изготовлены модным домом Дюпри-Ли».

Джордж почти ничего не понял. Описание звучало для него так же загадочно, как слова, услышанные им накануне от обладательницы этого костюма.

Он задумался, суждено ли ему самому когда-нибудь вступить в брак. Прежде, когда он на досуге воображал такую возможность, местом действия неизменно виделась ему церковь Святого Марка: венчание проводил его отец, а мать не сводила гордого взгляда с сына. Вообразить лицо невесты не получалось, но это его нисколько не тревожило. Впрочем, после его мытарств это место уже казалось ему неприемлемым, что подрывало возможность события как такового. Потом его мысли переключились на Мод: суждено ли ей вступить в брак? А Хорасу? О нынешней жизни брата он почти ничего не знал. Хорас отказался присутствовать на суде и ни разу не навестил его в тюрьме. Время от времени младший брат удосуживался прислать какую-нибудь несуразную

открытку. Домой Хорас не приезжал уже несколько лет. Как знать, может, и жениться успел.

Джордж не знал, увидит ли еще когда-нибудь сэра Артура и леди Конан Дойл. В ближайшие месяцы и годы в Лондоне ему предстояло отвоевать для себя тот образ жизни, какой он некогда вел в Бирмингеме, а новобрачным – начать новое существование, приличествующее всемирно известным писателям и их молодым женам. Он с трудом представлял, как у него могут сложиться отношения с супругами при отсутствии общего дела. Вероятно, в этом вопросе он проявлял излишнюю чувствительность или излишнюю застенчивость. Но он пытался вообразить, как приезжает к ним в Сассекс, или ужинает с сэром Артуром в его лондонском клубе, или принимает чету в своем жилище, самом скромном, какое только сможет себе позволить. Нет, это, по всей видимости, была недостижимая сцена из какой-то чужой жизни. Вероятнее всего, им больше не суждено было встретиться. Однако три четверти года их пути пересекались, и если вчерашнее торжество ознаменовало конец этих пересечений, Джордж, наверное, не особо возражал. Наоборот, отчасти он даже предпочитал, чтобы все сложилось именно так.

Часть четвертая

Окончания

Джордж

Во вторник Мод за завтраком без единого слова протянула через стол свою «Дейли геральд». Накануне утром, в девять часов пятнадцать минут, в своем сассекском имении Уинделшем скончался сэр Артур. «УМЕР, ВОСХВАЛЯЯ ЖЕНУ», – сообщает заголовок. А ниже: «„ТЫ – ЧУДО!“ – говорит создатель Шерлока Холмса». И далее: «БЕЗ СКОРБИ». Джордж читает, что в находящемся в Кроуборо особняке «мрака нет»; шторы намеренно не задергивают, и только Мэри, дочь сэра Артура от первого брака, «горюет».

Мистер Денис Конан Дойл свободно пообщался со специальным корреспондентом «Геральд»: «не приглушенным, а естественным голосом, испытывая радость и гордость от возможности рассказать о покойном. „Это был самый прекрасный муж и отец из всех живших на свете, – сказал он, – и один из величайших людей. Немногие понимали степень его величия, потому что он был необычайно скромн“». Далее, как положено, следовали два абзаца сыновних восхвалений. Но третий абзац поверг Джорджа в смущение; ему даже захотелось спрятать газету от Мод. Имеет ли право сын говорить такое о родителях, тем более для печати? «Они с моей матерью до последнего дня сохраняли влюбленность. Заслышав его шаги, она вскакивала, как девочка, поправляла прическу и бежала его встречать. Не было влюбленных более пылких, чем эта пара». Мало того что это просто неприлично, Артура покорило еще и бахвальство, особенно в соседстве с упоминанием о скромности самого сэра Артура. Тот никогда бы о себе такого не сказал. Сын продолжал: «Если бы не наша уверенность в том, что мы его не потеряли, моя мать не пережила бы его и на час».

Младший брат Дениса, Адриан, подтвердил постоянное присутствие отца в их жизни. «Я твердо знаю, что получу возможность с ним поговорить. Мой отец беззаветно верил, что после своего ухода будет и впредь с нами общаться. Верят в это и все члены его семьи. Не подлежит сомнению, что отцовские беседы с нами будут частыми, как и до его ухода». Но с долей осмотрительности: «Мы без труда узнаем его, когда он

заговорит, однако здесь необходима осторожность: шутников хватает и с той стороны, и с этой. Вполне возможно, что они попытаются выдать себя за него. Но есть отличительные признаки, известные только моей матери: например, мелкие особенности речи, воспроизвести которые невозможно».

Джорджа охватило смятение. Печаль – как будто он потерял третьего из родителей, – нахлынувшая на него с этой вестью, казалась непозволительной: «НИКАКОЙ СКОРБИ». Сэр Артур ушел легко; его родные – за единственным исключением – не поддавались унынию. Шторы не задергивались, мрака не было. Кто он такой, чтобы объявлять себя понесшим утрату? Он не знал, можно ли поделиться этими сомнениями с Мод, которая, наверное, судит о таких вещах более здраво, но, по всей видимости, с эгоистических позиций. Скромность покойного требовала скромности в проявлении скорби от тех, кто его знал.

Сэр Артур дожил до семидесяти одного года. Некрологи отличались солидностью и теплотой. Всю неделю Джордж следил за новостями и с чувством неловкости отмечал, что излюбленная его сестрой «Геральд» публикует не в пример больше сведений, чем его «Телеграф». Планировались «ПОХОРОНЫ В САДУ», рассчитанные на «СУГУБО СЕМЕЙНОЕ ПРОЩАНИЕ». Джордж все раздумывал, не позовут ли его; он надеялся, что тем, кто в свое время был приглашен на свадьбу сэра Артура, позволят засвидетельствовать и его... он едва не сказал «смерть», но в Кроуборо это слово было не в чести. Его уход; его перемещение, как выразились бы некоторые. Нет, ожидания эти напрасны, – как ни крути, он не сойдет за члена семьи. Решив для себя этот вопрос, Джордж был слегка уязвлен, когда на другой день вычитал в газете, что на похоронах будет толпа из трехсот человек.

Зять сэра Артура, преподобный Сирил Энджелл, который отпевал первую леди Конан Дойл и венчал вторую, взялся отслужить панихиду в розарии Уинделшема. Помогал ему преподобный С. Дрейтон Томас. Мало кто среди собравшихся пришел в черном; Джин была в летнем платье с цветочным рисунком. Сэр Артур упокоился вблизи садовой беседки, которая так долго служила ему кабинетом. Из всех уголков мира поступали телеграммы; по железной дороге пришлось пустить состав вне расписания для доставки цветов. Когда их разложили вокруг места захоронения, оно, по словам одного из очевидцев, стало похоже на причудливый голландский сад, вымахавший в человеческий рост. Джин распорядилась сделать изголовье из британского дуба и вырезать на нем такие слова: «Клинок прямой, и сталь надежна». Спортсмен и доблестный рыцарь до последнего.

Джордж ощущал, что все сделано надлежащим образом, хотя и

нетрадиционно; его благодетелю воздали должные почести. Но в пятницу «Дейли геральд» объявила, что точка еще не поставлена. «ПУСТОЕ КРЕСЛО КОНАН ДОЙЛА», – возвещал заголовок над четырьмя столбцами, а ниже приводилось объяснение, прыгавшее от шрифта к шрифту. «ЯСНОВИДЯЩАЯ посетит ВЕЛИКУЮ ВСТРЕЧУ. Шесть тысяч спиритуалистов на мемориальной встрече. ПОЖЕЛАНИЕ ВДОВЫ. ЖЕНЩИНА-МЕДИУМ, которая будет совершенно откровенной».

Гражданскую панихиду назначили в Альберт-Холле на 19:00 воскресенья тринадцатого июля 1930 года. Службу должен был организовать мистер Фрэнк Хокен, секретарь Мэрилебонской ассоциации спиритуалистов. Леди Конан Дойл, собиравшаяся прийти вместе с родственниками, сказала, что рассматривает это событие как свое последнее появление на публике вместе с мужем. В качестве символа присутствия сэра Артура на сцене установят пустое кресло, а она займет место слева от него, как неизменно делала в течение двух десятилетий.

Но этим дело не ограничивалось. Леди Конан Дойл попросила, чтобы во время прощальной церемонии устроили демонстрацию ясновидения. С этой целью пригласили миссис Эстеллу Робертс, которую сэр Артур ставил выше всех остальных спиритов. Мистер Хокен любезно согласился дать интервью «Геральд»: «Вопрос в том, сумеет ли сэр Артур явить себя достаточно отчетливо и вместе с тем продолжительно, чтобы спирит мог его описать, – заявил он. – Я бы сказал, он уже вполне способен себя явить. К своему уходу он подготовился». И далее: «Если он и впрямь явится, скептики вряд ли примут это как доказательство, но мы знаем, что у миссис Робертс, как у медиума, в этой связи не возникнет ни малейших сомнений. Мы знаем, что, не сумев его увидеть, она честно в этом признается». Джордж отметил, что угроза вмешательства шутников здесь не упомянута.

Мод не сводила глаз с брата, пока тот дочитывал статью.

– Тебе нужно пойти, – сказала она.

– Ты так считаешь?

– Определенно. Он называл тебя своим другом. Ты должен с ним проститься, пусть даже в таких необычных обстоятельствах. За билетом лучше всего будет обратиться в Мэрилебонскую ассоциацию. Прямо сегодня или завтра, чтобы тебе не волноваться.

Ей случалось проявлять удивительную, но приятную решимость. Сам Джордж имел привычку, хоть за конторским столом, хоть в других ситуациях, взвешивать один аргумент за другим, прежде чем принять решение. А Мод не теряла времени даром; она более четко видела – или, во всяком случае, быстрее схватывала – самую суть, и он доверял ей

принимать все решения по поводу домашнего хозяйства, как доверял и все деньги, которые не тратил на одежду и конторские нужды. Сестра держала под контролем текущие расходы и ежемесячно вносила определенную сумму на банковский счет, а остальное жертвовала на благотворительность.

– Тебе не кажется, что отец не одобрил бы... такое мероприятие?

– Отец двенадцать лет как умер, – ответила Мод. – А сама я привыкла думать, что представшие перед Господом уже не таковы, какими были на земле.

Его не переставало удивлять, что Мод умеет быть настолько прямолинейной; довод ее граничил с осуждением. Джордж решил пока не спорить, а сперва обдумать все на досуге. Он вернулся к газете. Источником его знаний о спиритизме были десять-двенадцать страниц, написанных сэром Артуром, да и те он, честно сказать, прочел без особого внимания. Его неприятно поражало, что шесть тысяч зрителей намерены ждать, чтобы ушедший корифей обратился к ним через посредство спирита.

Он чурался большого скопления людей в одном месте. На ум приходили толпы в Кэнноке и Стаффорде, а также празднующиеся грубияны, которые после его ареста осаждали родительский дом. Вспомнил он и тех, которые, размахивая дубинками, неистово колотили в дверь кэба; вспомнил скученность Льюиса и Портленда, от которой обострялись радости одиночного заключения. В отдельных случаях он посещал публичные лекции или общие собрания солиситоров, но в целом склонность человеческих существ сбиваться в кучу говорила ему о подступающем безумии. Живя в Лондоне, городе чрезвычайно многолюдном, он старался ограничивать контакты с согражданами. Предпочитал, чтобы они поодиночке приходили к нему в контору, где его отделяли от них письменный стол и знание законов. В доме 79 по Боро-Хай-стрит ему было спокойно: на нижнем этаже – офис, на верхнем – квартира, которую он делил с сестрой.

Отличная была идея – поселиться вместе, хотя он уже не помнил, от кого она исходила. В ту пору, когда сэр Артур помогал его реабилитировать, к Джорджу приехала мать и на некоторое время остановилась у него в квартире, снятой у мисс Гуд на Мекленбург-Сквер. Но вскоре стало ясно, что ей необходимо вернуться в Уэрли, и все сочли вполне логичным, что одну родственницу сменит другая. Мод, к большому удивлению родителей, но не к его собственному, оказалась на редкость практичной. Она вела хозяйство, готовила, подменяла секретаршу, когда та отсутствовала, и выслушивала его рассказы о повседневных делах с тем же

детским энтузиазмом, какой некогда проявляла в комнате для занятий. После переезда в Лондон она сделалась более общительной и более категоричной, а вдобавок, к его вящему удовольствию, научилась его поддразнивать.

– А в чем я пойду?

Ее незамедлительный ответ подразумевал, что этот вопрос она предвидела.

– В синем деловом костюме. Ты же не на похороны собираешься, да и вообще эта публика черного цвета не признает. Но проявить уважение нужно обязательно.

– Судя по всему, это огромный зал. Вряд ли мне достанется место близко к сцене.

За время их проживания под одной крышей Джордж привык выискивать возражения против уже решенных планов. Мод, со своей стороны, снисходительно смотрела на эти проволочки. Но сейчас она исчезла, и Джордж слышал, как у него над головой, в мансарде, передвигают какие-то предметы. Через несколько минут сестра поставила перед ним нечто такое, от чего у него по телу пробежала внезапная дрожь: его бинокль в запыленном футляре. Мод сбегала за тряпкой и стерла пыль; давно не чищенная кожа тускло блеснула влагой.

И в тот же миг он с сестрой оказался в Скалистом саду Аберистуита в последний абсолютно счастливый день своей жизни. Какой-то прохожий указывает им на пик Сноудон, но Джордж видит лишь восторженное личико сестры. Повернувшись к нему, она обещает купить для него бинокль. Через две недели начались его мытарства, а впоследствии, когда он вышел на свободу и они поселились на Боро-Хай-стрит, она подарила ему этот бинокль на самое первое их совместное Рождество; Джордж тогда чуть не расплакался о своей судьбе.

Он преисполнился благодарности, но вместе с тем пришел в недоумение, поскольку Сноудон был тогда за тридевять земель и ничто не сулило им с сестрой возвращения в Аберистуит. Заранее угадав такую реакцию, Мод предложила, чтобы он занялся наблюдением за птицами. Эта идея, как и все соображения Мод, поразила его своей необыкновенной практичностью, и он стал по воскресеньям после обеда выезжать в заболоченные и лесистые местности близ Лондона. Сестра считала, что ему необходимо хобби, а он считал, что ей необходимо время от времени выставлять его из дома. Пару месяцев Джордж послушно отдавал себя этому занятию, но, если честно, за птицами в полете уследить не мог, а те, что садились на ветки или на землю, как нарочно, маскировались. Кроме –

и сверх – всего прочего, наиболее выгодные, с его точки зрения, места для наблюдения за птицами непременно оказывались холодными и сырыми. Кто провел три года за решеткой, тот больше не захочет для себя холода и сырости, пока не ляжет в гроб, чтобы опуститься в самые холодные и самые сырые недра. Так, по зрелом размышлении, оценивал Джордж наблюдение за птицами.

– Мне в тот день было так тебя жалко.

Джордж поднял глаза: возникший перед его мысленным взором портрет девушки двадцати одного года на фоне огорчительно невзрачных развалин валлийского замка сменился образом сидящей немолодой женщины на фоне чайника. Заметив еще одну пылинку на кожаном футляре, Мод повторно прошлась по нему тряпкой. Джордж не сводил взгляда с сестры. Порой он затруднялся сказать, кто из них кого опекает.

– Счастливый был день, – твердо сказал он, держась за это воспоминание, которое от многократного повторения вслух переросло в уверенность. – Отель «Бель-вью. Фуникулер. Жареная курица. Нежелание собирать камешки. Поездка по железной дороге. Счастливый был день.

– Я по большей части притворялась.

У Джорджа не было уверенности, что он хочет растревожить свои воспоминания.

– А я никогда не мог понять, сколько тебе известно, – ответил он.

– Джордж, я тогда уже выросла. Возможно, я и была ребенком, когда начинались наши беды, но потом успела повзрослеть. Чем мне еще было заниматься, кроме как прокручивать все это в уме? От девушки двадцати одного года, которая почти не выходит из дома, утаить ничего нельзя. Утаивать ты можешь только от себя, притворяться только перед собой – и ждать, чтобы она на это купилась.

Уйдя мыслями в прошлое от нынешней Мод, Джордж понял, что в тогдашней девушке было намного больше от этой женщины, чем он мог бы вообразить в ту пору. Но сейчас ему не хотелось лишних сложностей. Для себя он давно решил, как было дело, и зазубрил историю собственного сочинения. Возможно, он и принял бы какое-нибудь уточнение общего характера, но меньше всего жаждал новых подробностей.

Мод это почувствовала. И если тогда, давно, он многое от нее скрывал, то теперь многое скрывала она. Она никогда не рассказывала, как однажды утром отец позвал ее к себе в кабинет и сказал, что сильно опасается за психику ее брата. Сказал, что Джордж пребывает в постоянном напряжении, но не соглашается взять ни единого выходного, а потому за ужином будет предложено, чтобы брат с сестрой съездили на день в

Аберистуит, и, хочет она того или нет, придется ей подыграть отцу и настоять, чтобы они непременно, непременно съездили развеяться. Сказано – сделано. Отцу Джордж вежливо, но непреклонно отказал, а мольбам сестры противиться не смог.

В доме викария такие интриги были не в ходу. Но еще больше потрясла Мод отцовская оценка состояния Джорджа. Для нее старший брат всегда был надежным и ответственным, не то что Хорас, легкомысленный и неуравновешенный. И оказалось, что она была права, а отец не прав. Разве смог бы Джордж вынести все испытания, не будь он наделен куда большими душевными силами, чем виделось отцу? Но эти мысли она твердо решила держать при себе.

– У сэра Артура был один существенный недостаток, – ни с того ни с сего заявил Джордж. – Он выступал против избирательного права для женщин.

Поскольку брат всегда разделял суфражистские принципы, пока этот вопрос стоял на повестке дня, его суждение ничуть не удивило Мод. Поразило ее другое: какое-то неистовство его тона. Теперь Джордж смущенно отводил глаза. Цепь этих воспоминаний, вкуче со всем, что было потом, вызвала у него волну нежности к Мод и осознание того, что чувство это было и будет самым сильным в его жизни. Но высказывать такие ощущения Джордж не привык, да и не умел; даже самые косвенные признания повергали его в тревогу. Поднявшись из-за стола, он без надобности сложил «Геральд», передал ее Мод и спустился в контору.

Его ждали дела, но он неподвижно сидел за столом и думал о сэре Артуре. В последний раз они виделись двадцать три года назад, но, как ни странно, связующая нить между ними не прерывалась. Он держался в курсе публикаций и действий сэра Артура, его поездок и кампаний, его вторжений в общественную жизнь страны. Со многими его заявлениями – о пересмотре процедуры развода, о необходимости строительства туннеля под Ла-Маншем, об угрозе, исходящей от Германии, о нравственном долге вернуть Гибралтар Испании – Джордж соглашался. Но вместе с тем позволял себе откровенно сомневаться в менее известных идеях сэра Артура относительно развития пенитенциарной системы: тот предлагал, чтобы всех закоренелых рецидивистов, содержащихся в тюрьмах Его Величества, вывезли на шотландский остров Тайри. Джордж делал вырезки из газет, читал «Стрэнд», где печатались рассказы о нескончаемых достижениях Шерлока Холмса, и брал в библиотеке новейшие книги сэра Артура. Два раза он даже сводил Мод в кино, и они оценили замечательную игру Эйла Норвуда в роли сыщика-консультанта.

Он вспомнил, как, только-только обосновавшись на Боро-Хай-стрит, купил «Дейли мейл» исключительно для того, чтобы прочесть специальный репортаж сэра Артура о марафонском забеге в рамках лондонской Олимпиады. Джорджа менее всего интересовали спортивные состязания, но он был вознагражден дополнительным подтверждением (хотя таковое ему не требовалось) талантов своего покровителя. Описания, выходявшие из-под пера сэра Артура, оказались настолько яркими, что Джордж перечитывал их снова и снова, пока они не сложились у него перед глазами в подобие кинохроники. Огромный стадион... зрители в ожидании... появляется щуплая фигурка, опередившая других бегунов... итальянец... в полуобморочном состоянии... падает, поднимается, снова падает, снова поднимается, ковыляет... и тут его начинает догонять ворвавшийся на стадион американец... упорному итальянцу остается двадцать ярдов до финишной ленты... толпа намагнетизирована... он вновь падает... ему помогают подняться... участливые руки проталкивают его за финишную линию, прежде чем с ним поравнялся американец. Но итальянский бегун, конечно же, нарушил правила, приняв постороннюю помощь, и победу присуждают американцу.

Любой другой специальный корреспондент на этом бы остановился, довольный, что сумел передать драматизм ситуации. Но сэр Артур не любой другой корреспондент; его настолько тронуло мужество итальянца, что он объявил сбор средств в пользу этого парня. По подписке было собрано триста фунтов, на которые итальянец в своей родной деревне смог открыть пекарню, – золотая медаль никогда бы не обеспечила ему такой возможности. Для сэра Артура был характерен такой поступок: равно великодушный и практичный.

После успешного завершения дела Эдалджи сэр Артур опротестовывал и другие судебные решения. Джордж, к стыду своему, признавал, что его чувства к последующим жертвам сводились к зависти, временами граничившей с неодобрением. Взять хотя бы такого Оскара Слейтера, чьему делу были отданы годы и годы жизни сэра Артура. Этого человека в самом деле несправедливо обвинили в убийстве, едва не казнили, и только вмешательство сэра Артура избавило его от виселицы, а впоследствии обеспечило ему выход на свободу; но Слейтер оказался низкой душонкой, профессиональным преступником, и не выказал ни грана благодарности тем, кто ему помогал.

Помимо этого, сэр Артур продолжал играть в сыщика. Года три-четыре назад было любопытное дело: пропала некая писательница. По фамилии Кристи. Очевидно, восходящая звезда детективного жанра, хотя Джордж

ничуть не интересовался восходящими звездами, покуда Холмс еще вел свою записную книжку. Миссис Кристи исчезла из дома в Беркшире; ее автомобиль нашли брошенным примерно в пяти милях от Гилдфорда. Когда три отряда полиции отчаялись напасть на ее след, главный констебль Суррея обратился к сэру Артуру, который в свое время был заместителем председателя совета этого графства по делам территориальной армии. Дальнейшее удивило многих. Быть может, сэр Артур взялся опрашивать свидетелей, выискивать следы на истоптанных участках или устраивать перекрестные допросы полицейским, как он поступал в нашумевшем деле Эдалджи? Ничуть не бывало. Он связался с мужем Кристи, позаимствовал у него перчатку исчезнувшей и отправился с ней к спириту, который приложил эту вещь ко лбу в попытке узнать местонахождение женщины. Да уж, одно дело – пускаться по следу настоящих ищеек, как советовал Джордж стаффордширским полицейским, и совсем другое – привлекать сидящих дома ищеек-спиритистовуалистов и давать им понюхать перчатки. Прочитав об этом нововведении сэра Артура, Джордж вздохнул с облегчением оттого, что в его деле применялись более традиционные следственные методы.

Но чтобы пробить брешь в глубочайшем уважении Джорджа к сэру Артуру, потребовалось бы нечто гораздо большее, чем пара таких чудачеств. Он проникся этим чувством еще в тридцать лет, недавно выйдя из тюрьмы, и, ныне седовласый и седоусый поверенный, не растратил его к пятидесяти четырем годам. Сегодня, в пятницу утром, он имел возможность сидеть за своим письменным столом исключительно благодаря высоким принципам сэра Артура и его готовности претворять их в действия. Джорджу была возвращена его жизнь. Он обзавелся полным набором юридических справочников, вполне удовлетворительной практикой, комплектом шляп на выбор и великолепной – кто-то, возможно, сказал бы «вычурной» – цепочкой для карманных часов, пущенной поверх жилета, который с каждым годом становился чуть теснее. Он превратился в домовладельца и составил собственное мнение по злободневным вопросам. Правда, он до сих пор не женился, а также не просиживал за ланчем с коллегами и не тянулся за счетом под их восклицания: «Браво, старина Джордж!» Зато его окружала своеобразная слава, а точнее, полуслава или, по прошествии лет, четвертьслава. Когда-то он хотел снискать известность как адвокат-солиситор, а в итоге снискал известность как судебный казус. Его дело способствовало учреждению Уголовного апелляционного суда, чьи решения за последние двадцать лет уточнили положения уголовного прецедентного права до революционной, по всеобщему признанию,

степени. Джордж гордился своей причастностью – хотя и непреднамеренной – к этому достижению. Но кто об этом знал? Считанные единицы реагировали на его фамилию теплым рукопожатием, признавая в нем человека, который в свое время, очень давно, был несправедливо осужден в результате пресловутого судебного процесса; некоторые смотрели на него глазами фермерских сыновей или специальных констеблей с деревенских улиц, а большинству он теперь и вовсе был неизвестен.

Порой ему становилось обидно – и совестно за эту обиду. Он помнил, что в годы своих мытарств ничего не желал так страстно, как безвестности. Капеллан в Льюисе спрашивал, чего ему не хватает более всего, и он отвечал, что ему не хватает его жизни. Теперь она ему возвращена; у него есть работа, водятся деньги, появились знакомые, которым можно кивнуть на улице. Но время от времени его будто толкала в бок мысль, что он заслуживает большего, что за свои испытания он не вознагражден по достоинству. Сначала злодей, потом мученик, потом никто, ничто и звать никак – разве это справедливо? Единомышленники уверяли, что его дело не менее значимо, чем дело Дрейфуса, что оно рассказало об Англии столько же, сколько дело француза – о Франции, что, подобно дрейфусарам и антидрейфусарам, теперь появились сторонники и противники Эдалджи. Далее, утверждали, что сэр Артур Конан Дойл оказался великим заступником и более талантливым писателем, нежели француз Эмиль Золя, который издавал, по отзывам, непристойные книги, а когда ему самому пригрозили тюрьмой, сбежал в Англию. Мыслимо ли вообразить сэра Артура бегущим в Париж от самодурства какого-нибудь политика или прокурора? Да он бы не просто остался в стране для продолжения борьбы, а поднял бы оглушительный шум, сотрясая решетки своей камеры вплоть до обрушения тюрьмы.

Как бы то ни было, вопреки всему, имя Дрейфуса постоянно прирастало славой и сделалось известно во всем мире, тогда как имя Эдалджи с трудом узнавали даже в Вулвергемптоне. Отчасти его судьба сложилась – вернее, не сложилась – в результате бездействия. После выхода на свободу его не раз просили выступить на собрании, написать статью для газеты, дать интервью. Он неизменно отвечал отказом. У него не возникало желания стать выразителем идей или представителем движений; не было кипучего темперамента для борьбы за общее дело, а единожды поведав о своих мытарствах газете «Арбитр», он теперь считал нескромным повторяться. Была у него мысль выпустить переработанное издание книжки по железнодорожному праву, но он счел, что и это может

оказаться эксплуатацией его пресловутых зловещих.

Более того, Джордж подозревал, что его более чем скромное положение как-то связано с самой Англией. Франция в его понимании оставалась страной крайностей, непримиримых мнений, непримиримых принципов и долгой памяти. Англия же была поспокойнее, тоже со своими принципами, но без особого желания трубить о них на всех углах; прецедентному праву здесь доверяли больше, чем правительственным уложениям, люди занимались своими делами и не стремились вмешиваться в чужие; здесь время от времени случались мощные всплески общественных настроений, всплески чувств, способных даже перерасти в насилие и беззаконие, но они быстро выветривались из памяти и редко встраивались в отечественную историю. Ну, было дело, а теперь пора о нем забыть и жить дальше, как прежде, – так уж повелось у англичан. Что-то пошло вкривь и вкось, что-то сломалось, но теперь исправлено, а посему для начала давайте-ка сделаем вид, будто ничего страшного и не происходило. Дело Эдалджи приняло бы совершенно иной оборот, будь тогда в стране апелляционный суд? Ну хорошо, простим Эдалджи, до истечения года учредим апелляционный суд – на что еще сетовать? Это ведь Англия, и Джордж мог понять точку зрения Англии, поскольку и сам был англичанином.

После того свадебного приема он дважды писал сэру Артуру. На последнем году войны скончался отец; неприятливым майским утром его похоронили рядом с дедом Компсоном, шагах в десяти-двенадцати от церкви, где он прослужил более сорока лет. По ощущениям Джорджа, сэр Артур, видевший его отца, наверное, не захотел бы остаться в неведении. В ответ пришла короткая записка со словами соболезнования. Но потом, несколько месяцев спустя, он прочел в газете, что сын сэра Артура, Кингсли, был ранен в битве при Сомме, так и не оправился от ран и, как многие другие, стал жертвой инфлюэнцы. За какие-то две недели до заключения мира. Он написал вторично: сын, потерявший отца, – отцу, потерявшему сына. В этот раз ему пришлось более длинное письмо. Кингсли оказался последним в горьком списке, оглашенном смертью. Жена сэра Артура потеряла брата, Малкольма, в первую неделю войны. Его племянник, Оскар Хорнунг, пал у Ипра, вместе с еще одним из его племянников. Муж его сестры Лотти умер в окопах в свой первый фронтный день. И так далее, и так далее. Сэр Артур перечислил своих близких и близких жены. А в заключение выразил уверенность, что они не потеряны, а всего лишь ждут на дальней стороне.

Джордж более не считал себя набожным. Если он и оставался в какой-

то степени христианином, то не из сыновнего почитания, а из братской любви. Он ходил в церковь, чтобы сделать приятное Мод. Что же касалось загробного мира, поживем – увидим, говорил он себе. Всякий фанатизм внушал ему подозрение. В Гранд-отеле, когда сэр Артур так истово говорил о своих религиозных чувствах, не имевших никакого отношения к насущным делам, Джордж встревожился. Но это, по крайней мере, подготовило Джорджа к будущему известию о том, что его благодетель стал убежденным приверженцем спиритуализма и планирует отдать этому движению оставшиеся силы и годы жизни. Многих здравомыслящих людей неприятно поразило это заявление. Они бы, вероятно, не возражали, ограничься сэр Артур, образцовый английский джентльмен, деликатным воскресным столоверчением в кругу друзей. Но не таков был нрав сэра Артура. Уж если он во что-нибудь верил, то хотел, чтобы все остальные тоже прониклись его верой. Это всегда было его сильной стороной, но изредка – слабостью. Насмешки сыпались со всех сторон; бесцеремонные газетные заголовки вопрошали: «Шерлок Холмс свихнулся?» Где бы ни случалось сэру Артуру выступать с лекциями, в зале начинались контрлекции от оппонентов всех мастей: иезуитов, плимутских братьев, сердитых материалистов. Как раз на прошлой неделе епископ бирмингемский Барнс обрушился на «причудливые вероучения», множащиеся день ото дня. Христианская наука и спиритуализм были названы ложными верованиями, которые «толкают простодушных оживлять агонизирующие идеи», прочел Джордж. Однако ни насмешки, ни клерикальные упреки не могли остановить сэра Артура.

Относясь к спиритуализму с безотчетным скепсисом, Джордж все же не разделял этих нападок. Пусть он даже не считал себя вправе судить о таких материях, но когда приходилось выбирать между епископом бирмингемским Барнсом и сэром Артуром Конан Дойлом, сомнений у него не было. Он помнил – и это было одним из его драгоценных воспоминаний, какими он мысленно делился со своей несуществующей женой, – завершение той первой встречи в Гранд-отеле. Они встали, чтобы распрощаться, и возвышавшийся, естественно, над ним сэр Артур, крупный, энергичный, благородный человек, глядя ему в глаза, произнес: «Нет, я не верю, что вы невиновны. Нет, я не думаю, что вы невиновны. Я знаю, что вы невиновны».

Это было нечто большее, чем стихи, нечто большее, чем молитва, это было выражение правды, о которую разбивается ложь. Если сэр Артур говорил, что знает какой-то факт, то бремя доказательства, по юридическому разумению Джорджа, переходило к собеседнику.

Он взял с полки «Воспоминания и приключения» – автобиографию сэра Артура, объемную полуночно-синюю книжку, выпущенную шестью годами ранее. Она сама собой открылась где всегда, на двести пятнадцатой странице. «В 1906 году, – уже в который раз прочел Джордж, – не стало моей жены, ее унес многолетний недуг... Некоторое время после этого удара я не мог взяться за работу, но потом дело Эдалджи заставило меня направить свою энергию в совершенно неожиданное русло»^[8]. Такое начало всегда немного смущало Джорджа. В нем словно подразумевалось, что его дело подвернулось в удобный момент и в силу своих особенностей оказалось как раз тем, что требовалось, дабы вытащить сэра Артура из трясины уныния; словно он отреагировал бы иначе (а то и вовсе не откликнулся), не умри незадолго перед этим первая леди Конан Дойл. Или так рассуждать несправедливо? Не слишком ли въедливо он вчитывался в одну простую фразу? По сути, так и было: на протяжении всей своей профессиональной жизни он день за днем читал въедливо. А сэр Артур, по всей видимости, писал для въедливых читателей.

В книге было еще много предложений, которые Джордж подчеркнул карандашом и прокомментировал на полях. Вот, для начала, о своем отце: «Как случилось, что викарий оказался парсом, а парс – викарием, не имею представления». Вообще говоря, когда-то сэр Артур имел представление, вполне отчетливое и верное представление, потому что Джордж сам рассказал ему в Гранд-отеле на Черинг-Кросс, какой путь проделал отец. А дальше так: «Возможно, какой-то покровитель решил таким образом утереть нос католикам и продемонстрировать терпимость Англиканской церкви. Надеюсь, больше никто не станет проводить подобных экспериментов, потому что, хотя викарий и был симпатичным и глубоко верующим человеком, появление темнокожего священника с сыном-полукровкой в глухом, малограмотном приходе рано или поздно должно было закончиться несчастьем». Джордж считал это утверждение несправедливым; в нем, можно сказать, вся вина за последующие события возлагалась на родных его матери, распорядившихся в приходе. Не нравилось ему и выражение «сын-полукровка». Сомнений нет, оно использовалось здесь как термин, но он больше не рассуждал о себе в таких терминах, равно как и не думал о Мод как о сестре-полукровке или о Хорасе как о брате-полукровке. Неужели нельзя было выразиться как-нибудь иначе? Вероятно, его отец, который верил, что будущее мира зависит от гармоничного смешения рас, нашел бы выражение получше.

«Что вызвало мое негодование и придало мне сил бороться до конца, так это полная беспомощность маленькой, затравленной семьи –

темнокожего викария в его двусмысленном положении, его мужественной голубоглазой седоволосой жены и юной дочери, которых изводили местные хамы». Полная беспомощность? Разве из этого можно понять, что его отец обнаружил свой собственный анализ дела еще до того, как сэр Артур появился на горизонте, или что мать и Мод постоянно писали письма, искали поддержки и заручались свидетельствами в его пользу? Джорджу казалось, что сэр Артур, который заслуживал благодарности и признания за проделанную работу, все же слишком решительно приписывал себе все заслуги и благодарности. Он, безусловно, преуменьшил роль длительной кампании мистера Ваулза из «Истины», не говоря уже о мистере Йелвертоне, и недооценил петиции и сбор подписей. Даже рассказ сэра Артура о его первом соприкосновении с делом грешил откровенными неточностями. «В конце 1906 года мне в руки попала малоизвестная газетка под названием „Арбитр“, и я обнаружил в ней статью, где молодой человек сам излагал обстоятельства случившегося». Но эта «малоизвестная газетка» лишь потому попала ему в руки, что Джордж прислал на его адрес все свои статьи вместе с сопроводительным письмом. Сэр Артур не мог этого не знать.

Нет, подумал Джордж, так нехорошо. Не иначе как сэр Артур писал по памяти, опираясь на ту версию событий, которую сам и пересказывал годами. По опыту собственных свидетельских показаний Джордж знал, что при многократном пересказе острые углы сглаживаются, рассказчик приобретает больший вес и наделяет все события излишней достоверностью в сравнении с тем, какими они выглядели на первых порах. Пробегая глазами повествование сэра Артура, Джордж больше не выискивал погрешности. После слов «Какое двуличие!» говорилось: «„Дейли телеграф“ провела сбор денег в его пользу, было собрано около трехсот фунтов». Здесь Джордж позволил себе чуть натянутую улыбку: точно такая же сумма была собрана на следующий год по инициативе сэра Артура в помощь итальянскому марафонцу. Эти два события тронули сердце британской общественности в совершенно одинаковой, измеримой степени: три года незаслуженной каторги – и падение у финиша спортивного забега. Слов нет, полезно увидеть свое дело в контексте реальности.

Но двумя строчками ниже было предложение, которое Джордж перечитывал чаще любого другого в этой книге; оно компенсировало все погрешности и неверные акценты, проливая бальзам на душу того, чьи муки были столь унижительно выражены в цифрах. Оно гласило: «Он был на моей свадьбе, и этим гостем я гордился больше, чем любым другим».

Да. Джордж решил взять «Воспоминания и приключения» с собой на церемонию прощания – вдруг кто-нибудь станет возражать против его прихода. Как выглядят спиритисты, а тем более в количестве шести тысяч, он не знал, но очень сомневался, что сам может сойти за одного из них. Если возникнет какая-нибудь заминка, книга станет ему пропуском. Смотрите, вот здесь, на двести пятнадцатой странице, это про меня, я пришел с ним проститься, я горжусь, что еще раз оказался у него в гостях.

В воскресенье днем, в начале пятого, он вышел из дома номер семьдесят девять по Боро-Хай-стрит и направился в сторону Лондонского моста: невысокий смуглый человек в синем деловом костюме, с темно-синей книгой, прижатой левым локтем, и с биноклем через правое плечо. Со стороны могло показаться, что он идет на скачки, да только по воскресеньям они не проводятся. А книгу у него под мышкой вполне можно было принять за справочник орнитолога-любителя, но кто же пойдет наблюдать за птицами, надев деловой костюм? В Стаффордшире он являл бы собой диковинное зрелище, и даже в Бирмингеме его бы сочли большим оригиналом, но Лондон – совсем другое дело: чудаков здесь и без него пруд пруди.

Переехав сюда жить, он терзался дурными предчувствиями. Насчет, естественно, своего будущего: как он уживется с Мод, как освоится в этом колоссальном городе, многолюдном, шумном; а главное – как здесь к нему отнесутся. Не будут ли привязываться к нему хулиганы вроде тех, которые в Лендивуде протащили его через живую изгородь, испортив ему зонт, или чокнутые полицейские, как Аптон, грозивший ему неприятностями; не вызовет ли он к себе расовую ненависть, которая, по убеждению сэра Артура, лежала в основе всех его бед. Но при переходе через Лондонский мост Джордж чувствовал себя вполне комфортно, как и все последние двадцать лет. Никто тебя не замечает, то ли из вежливости, то ли из равнодушия – Джорджа это устраивало в любом случае.

Правда, он постоянно слышал ошибочные предположения: что они с сестрой приехали в страну совсем недавно, что он индус, что торгует специями. И конечно, все интересовались, откуда он родом; впрочем, услышав ответ (во избежание ненужных географических подробностей Джордж говорил, что он из Бирмингема), его собеседники по большей части кивали и ничуть не удивлялись, будто изначально считали всех жителей Бирмингема похожими на Джорджа Эдалджи. Звучали, естественно, и шуточные намеки в духе Гринуэя и Стентсона (разве что без упоминаний Бечуаналенда), но Джордж считал их обыденной неизбежностью вроде дождя или тумана. Между прочим, кое-кто, узнав,

что ты родом из Бирмингема, даже высказывал разочарование, понадеявшись услышать заморские вести, – а откуда их взять?

Доехав на метро до станции «Хай-стрит Кенсингтон», он свернул налево, и через некоторое время впереди показалась громада Альберт-Холла. В силу своей пунктуальности (над которой любила подтрунивать Мод) он явился почти за два часа до начала и решил прогуляться по парку.

Этим погожим воскресным июльским днем, в начале шестого, там гремел духовой оркестр. Заполонившие парк семьи, туристы, солдаты нигде не сбивались в плотную толпу, а потому Джордж не испытывал никакой тревоги. И не завидовал, как случалось раньше, ни милующимся парочкам, ни благонравным родителям, пасущим малолетних детей. Впервые оказавшись в Лондоне, он не терял надежды жениться и даже задумывался, как его будущая жена поладит с Мод. Понятно, что бросить Мод одну он не мог, да и не хотел. Но годы шли, и он стал понимать, что ему важнее отношение сестры к его будущей супруге, нежели обратное. А еще через несколько лет общие неудобства от присутствия жены стали для него еще очевидней. Вдруг жена будет на лицо миловидной, а по характеру злющей; вдруг откажется понимать бережливость; жена, разумеется, захочет детей, а Джордж не привык к шуму и помехам в работе. И потом, есть же еще супружеские отношения, которые зачастую далеки от гармонии. Джордж не занимался бракоразводными делами, но как юрист повидал немало случаев, когда брак становился причиной несчастий. Сэр Артур вел продолжительную кампанию против драконовских законов о разводе и много лет был президентом Союза реформ, прежде чем передать этот пост лорду Биркенхеду. Кстати, от одного имени в почетном списке к другому: не кто иной, как лорд Биркенхед, прежде известный как Ф. Э. Смит, в парламенте задавал Гладстону острые вопросы о деле Эдалджи.

Но это – к слову. Джорджу исполнилось пятьдесят четыре года; жил он в относительном комфорте и к своему гражданскому состоянию относился в основном философски. Его брат Хорас был теперь отрезанный ломоть: он женился, переехал в Ирландию и сменил фамилию. В какой последовательности он это проделал, Джордж знать не мог, но все три этапа явно были взаимосвязаны, и нежелательность каждого из этих поступков перетекала в остальные. Что тут сказать: жизнь складывается по-разному, а положила руку на сердце, ни Джорджу, ни Мод семейная жизнь, по всей вероятности, не была написана на роду. Брат с сестрой походили друг на друга своей застенчивостью; каждый создавал видимость неприступности для тех, кто пытался с ними сблизиться. Но законных

браков в мире и так было предостаточно, да и убыль населения планете явно не грозила. Брат с сестрой могли сосуществовать не менее гармонично, чем муж и жена, а в отдельных случаях – более.

На первых порах они с Мод навевались в Уэрли два-три раза в году, но счастья эти визиты не приносили. Джорджу они навевали слишком много характерных воспоминаний. От одного вида дверной колотушки он вздрагивал, а вечерами, глядя в окно на сумеречный сад, вдруг замечал мелькающие под деревьями тени и, хотя умом понимал, что там никого нет, все равно сжимался от страха. У Мод было иначе. При всей своей преданности отцу и матери, в родительском доме она становилась замкнутой и нерешительной; мнения своего почти никогда не высказывала, смеха ее никто не слышал. Джордж готов был поручиться, что она заболевает. Но лечение было ему известно: называлось оно «вокзал Нью-стрит и поезд до Лондона».

Вначале, когда они с Мод вместе появлялись на людях, порой их принимали за мужа и жену; Джордж, не желавший, чтобы его считали неспособным к браку, отчетливо проговаривал: «Нет, это моя дорогая сестра Мод». Однако со временем он все реже исправлял эту ошибку, а Мод просто брала его под руку и тихонько посмеивалась. Вскоре, думалось ему, когда она поседет, как он сам, их будут принимать за пожилых супругов, и такое мнение можно будет вообще не оспаривать.

Он брел куда глаза глядят и теперь остановился перед мемориалом принца Альберта. Принц сидел под бронзовым золоченым киворием, в окружении знаменитостей всего мира. Джордж извлек из футляра бинокль, чтобы потренироваться. Он медленно направлял зрительные трубы вверх, выше уровней, на которых властвовали Искусство, Наука и Промышленность, выше сидячей статуи задумчивого принца-консорта, в направлении вышних сфер. Ребристое колесико проворачивалось с трудом, иногда в поле зрения попадала только несфокусированная листва, но в конце концов он добился четкой видимости основательного христианского креста. Потом стал медленно опускаться по шпилью, который оказался столь же густонаселенным, как и нижняя часть монумента. Дальше шли ярусы ангелов, а под ними, чуть ниже, – группа человеческих фигур в античных одеждах. Он обошел монумент кругом, часто теряя фокус и пытаясь угадать, кого изображают эти фигуры: женщина с книгой в одной руке и змеей в другой; мужчина в медвежьей шкуре, с большой дубинкой; женщина с якорем; некто в капюшоне, с длинной свечой в руке... Может, это святые? Или символические фигуры? Ага, наконец-то одну распознал, в углу пьедестала: меч в одной руке, весы в другой. Джорджу понравилось,

что скульптор не стал закрывать ей глаза повязкой. Эта деталь часто вызывала у него неодобрение: не потому, что сам не понимал ее смысла, а потому, что его не понимали другие. Повязка на глазах давала основания невеждам отпускать шуточки насчет его профессии. Этого Джордж не допускал.

Убрав бинокль в футляр, он переключился от одноцветных застывших фигур к подвижным и пестрым, окружавшим его со всех сторон; от скульптурного фриза – к живому. И тут его поразило осознание, что все они умрут. Временами он задумывался о собственной смерти; он оплакал родителей: отца – двенадцать лет назад, мать – шесть; он читал газетные некрологи и ходил на похороны коллег; да и здесь, собственно, оказался ради торжественного прощания с сэром Артуром. Но прежде он как-то не отдавал себе отчета – да и сейчас скорее почувствовал это нутром, нежели понял умом, – что умрут все. Ему, разумеется, объяснили это еще в детстве, правда в контексте того, что все – как тот же двоюродный дед Компсон – будут жить вечно либо на лоне Авраамовом, либо – если плохо себя вели – совсем в другом месте. Но сейчас он смотрел вокруг. Принца Альберта, естественно, уже нет в живых, равно как и Виндзорской Вдовы, которая его оплакала; но ведь умрет и эта женщина с зонтиком от солнца, а ее мать, идущая рядом, – и того раньше, а вот те ребяташки умрут позже, но если вспыхнет новая война, мальчики, видимо, умрут первыми; умрут и две их собаки, и невидимые музыканты духового оркестра, и младенец в коляске – даже младенец в коляске, даже если протянет до возраста старейшего жителя планеты, которому стукнуло то ли сто пять, то ли сто десять, не важно, этот младенец тоже умрет.

И хотя воображение Джорджа уже близилось к своему пределу, он пошел немного дальше. Если тебе известны люди, кого уже нет в живых, ты можешь рассуждать о них двумя способами: либо как о мертвецах, полностью угасших, и полагать, что смерть тела есть проверка и доказательство прекращения существования их «я», их сути, их личности; или же ты можешь, сообразно своей вере, сообразно ее истовости или прохладце, считать, что в каком-то месте, каким-то образом они продолжают жить, как это описано в священных текстах, но нами еще не постигнуто. Либо так, либо этак; срединной, компромиссной позиции не бывает; и Джордж в глубине души склонялся к тому, что прекращение существования более вероятно. Но когда в теплый летний день ты стоишь в Гайд-парке, окруженный тысячами других человеческих существ, из которых лишь немногие задумывались о смерти, тебе уже труднее поверить, что напряженная и сложная штука под названием жизнь – это

всего лишь случайное стечение обстоятельств на какой-то безвестной планете, краткий миг света между двумя вечностями тьмы. В такие минуты тебя охватывает чувство, что вся эта энергия живого непременно продлится – где-то, как-то. Джордж знал, что не поддастся никакому приливу религиозных чувств – он не собирался обращаться в Мэрилебонскую ассоциацию спиритуалистов за какими-нибудь книжками и брошюрами из тех, что ему предлагали при получении билета. Знал он и то, что, несомненно, будет жить как прежде, соблюдая вместе со всей страной – в основном ради Мод – традиции Англиканской церкви, соблюдая их вполнакала, со смутной надеждой, вплоть до своей смерти, когда только и откроется тебе истина, а более вероятно, вообще ничего не откроется. Но сегодня, когда мимо него прогарцевал всадник (обреченный – вместе со своей лошастью – отправиться вслед за принцем Альбертом), Джордж, по собственному разумению, увидел самую малость того, что открылось сэру Артуру.

От этого у него участилось дыхание и началась паника; чтобы успокоиться, он присел на скамью. Глядя на прохожих, он видел только ходячих мертвецов, арестантов, которых ненадолго отпустили на свободу и вот-вот призовут обратно. Чтобы отвлечься от этих мыслей, он открыл «Воспоминания и приключения» и принялся перелистывать страницы. В глаза тут же бросилось название «Альберт-Холл», которое под его взглядом разросло чуть ли не вдвое. Более суеверный или доверчивый ум узрел бы здесь особый знак; однако Джордж не соглашался видеть в этом ничего, кроме совпадения. Но при всем том чтение помогало ему развеяться. Читал он про то, как лет тридцать назад сэру Артуру был приглашен судить выступления силачей в Альберт-Холле. После позднего ужина с шампанским он вышел на опустевшую темную улицу и увидел впереди силача-победителя, удалявшегося в лондонскую ночь. Этот простой крестьянин решил побродить по улицам, чтобы скоротать время до отхода поезда в Ланкашир. Джордж будто погружается в яркую страну снов. Опустился туман, дыхание вырывается изо рта белыми облачками, а у силача, бредущего с золотой статуэткой, нет денег на ночлег. Джордж видит победителя со спины, как видел его сэру Артуру; видит заломленную шляпу, и натянутую мощными плечами ткань пиджака, и статуэтку, небрежно зажатую под мышкой ногами назад. Скрываемый туманом, он бредет впереди спасителя – статного, благородного, говорящего с шотландским акцентом, всегда готового действовать. Что теперь станет с ними со всеми – с несправедливо осужденным поверенным, с обессиленным марфонцем, с заплутавшим силачом, – когда с ними нет сэра Артура?

До начала оставался еще час, но к Альберт-Холлу уже стекались зрители, и Джордж к ним присоединился, чтобы избежать толкучки. У него был билет в ложу второго яруса. Ему указали на неприметную лестницу, выходящую в дугообразный коридор. Отворилась какая-то дверь, и его засосала узкая воронка ложи. В ней было пять мест, которые пока пустовали: одно сзади, два рядом и еще два впереди, у латунного поручня. Джордж заколебался, потом сделал глубокий вдох и шагнул вперед.

Этот золочено-красный колизей полыхает огнями. Не здание, а овалный каньон. Джордж смотрит далеко вперед, далеко вниз, далеко вверх. Сколько же сюда вмещается народу – тысяч восемь, десять? Борясь с головокружением, он занимает место в первом ряду. Хорошо, что Мод подсказала ему взять с собой бинокль. Джордж исследует сцену и поднимающийся амфитеатром партер, три яруса с ложами, гигантский орган над сценой, бельэтаж – более крутой амфитеатр, аркаду, поддерживаемую коричневыми мраморными колоннами, а над ними – основание взмывающего вверх купола, скрытого облаком подвешенного полотнища. Партер заполняется публикой: некоторые пришли в черных фраках, но большинство вняло желанию сэра Артура, не признававшего траура. Джордж опять направляет бинокль на сцену: там рядами расставлены, как ему представляется, гортензии, а также какие-то большие поникшие папоротники. Для членов семьи стоят стулья с квадратными спинками, поперек того, что в середине, положен продолговатый лист картона. Джордж наводит на него бинокль. На картоне надпись: «СЭР АРТУР КОНАН ДОЙЛ».

Народу прибавляется; Джордж убирает бинокль. В ложу слева входят зрители: Джорджа отделяет от них плюшевый барьер. Вновь прибывающие любезно здороваются, улыбок на лицах нет, но обстановка непринужденная. У Джорджа напрашивается вопрос: не единственный ли он в этом зале, кто не имеет отношения к спиритуализму? Оставшиеся в его ложе места занимает семья из четырех человек; он вызывается пересесть на отдельное место у задней стены. Соседи даже слышать об этом не хотят. С виду – рядовые лондонцы, супружеская чета и двое почти взрослых детей. Немного смущаясь, жена садится рядом с Джорджем: ей, на его взгляд, под сорок, одета во что-то темно-синее, лицо чистое, круглое, струящиеся каштановые волосы.

– Мы на этой верхотуре прямо-таки на полпути к небесам, верно? – дружески замечает она.

Он вежливо кивает.

– А вы откуда будете?

В порядке исключения Джордж решает дать конкретный ответ.

– Из Грейт-Уэрли, – говорит он. – Это близ Кэннока, в Стаффордшире.

Он уже готов услышать следующий вопрос в духе Гринуэя и Стентсона: «Нет, родом вы откуда?» Но она ждет, чтобы он назвал свою спиритуалистскую организацию. У Джорджа возникает искушение сказать: «Сэр Артур был моим другом», добавить: «Я присутствовал у него на свадьбе», а уж потом, если она усомнится, представить в качестве доказательства «Воспоминания и приключения». Но он не хочет показаться кичливым. Ведь соседка может любопытствовать: если он был другом сэра Артура, то почему сидит так далеко от сцены, рядом с простыми людьми, не имевшими такого счастья?

В зале яблоку негде упасть; меркнет свет, и на сцену выходят главные действующие лица. Джордж думает, что всем полагалось бы, наверное, встать, а то и поаплодировать. Он так привык к порядку церковной службы – когда подняться со скамьи, когда преклонить колени, когда оставаться сидеть, – что здесь теряется. Будь это театр, где заиграли бы государственный гимн, вопрос бы решился сам собой. Не нужно ли всем подняться со своих мест в память сэра Артура и из уважения к вдове; но распоряжений никто не дает, и все остаются сидеть. Леди Конан Дойл вышла не в траурном черном, а в сером платье; двое сыновей, рослые Денис и Адриан, пришли во фраках и держат в руках цилиндры; следом появляются их родная сестра Джин и единокровная сестра Мэри, уцелевшее дитя сэра Артура от первого брака. Леди Дойл устраивается по левую руку от пустого стула. Один сын – подле нее, другой – по правую сторону от именного плаката; молодые люди неловко опускают цилиндры на пол. Джордж не различает лиц и уже хочет достать бинокль, но опасается, что такой жест будет неправильно понят. Вместо этого он смотрит на часы. Ровно семь. Его подкупает такая пунктуальность; он почему-то ожидал от спиритуалистов некоторой несобранности.

Мистер Джордж Крейз из Мэрилебонской ассоциации спиритуалистов представляется залу как ведущий этого собрания. Вначале он делает заявление от имени леди Конан Дойл:

На всех собраниях во всех частях света я сижу подле своего возлюбленного мужа, и на этом торжественном собрании, куда люди пришли с уважением и любовью, чтобы воздать ему честь, место для него оставлено рядом со мной, и я знаю, что его духовное присутствие будет очень близко ко мне. Хотя

наш земной взор не способен проникнуть за пределы земных вибраций, тот, кто наделен дополнительным, богоданным зрением, что именуется ясновидением, сможет увидеть среди нас милый сердцу образ.

От имени своих детей, от своего имени и от имени моего возлюбленного мужа хочу сердечно поблагодарить вас за ту любовь, которую сегодня вы принесли с собою в этот зал.

По залу пробегают шепотки; Джордж затрудняется сказать, выражают они сочувствие к вдове или разочарование оттого, что сэр Артур не возникнет, как по волшебству, на сцене. Мистер Крейз подтверждает, что, вопреки глупейшим домыслам прессы, речь не идет о каких-то фокусах с физическим появлением сэра Артура. Он доводит до сведения неискушенных, а в особенности присутствующих в зале журналистов, что после ухода человека для духа зачастую наступает период смятения и он не сразу обретает способность к материализации. Впрочем, сэр Артур был полностью готов к своему уходу и воспринял его с безмятежным спокойствием, оставив родных продолжать долгое путешествие, но выразив уверенность, что все они встретятся вновь. В таких случаях можно ожидать, что дух обретет свое место и свои способности быстрее, чем обычно.

Джордж вспоминает интервью Адриана, сына сэра Артура, газете «Дейли геральд». Родным, сказал он, будет не хватать шагов нашего патриарха, его физического присутствия, но не более того. «В остальном все будет примерно так, как будто он всего лишь уехал в Австралию». Джордж знает, что его заступник однажды посетил этот далекий континент: несколько лет назад он брал в библиотеке «Странствия одного спирита». Если честно, подробности путешествий заинтересовали его куда больше, чем обсуждение вопросов богословия. Но он запомнил, что в Австралии, где сэр Артур и его семья – в сопровождении неутомимого мистера Вуда – пропагандировали свои идеи, их окрестили «Пилигримами». Теперь сэр Артур или, во всяком случае, его спиритуалистский эквивалент, что бы он собой ни представлял, вернулся туда же.

Со сцены зачитана телеграмма сэра Оливера Лоджа: «Наш добросердечный защитник будет продолжать свою кампанию на Другой Стороне, с умноженными знаниями и мудростью. „*Sursum corda*“^[9]». Затем миссис Сент-Клер Стобарт читает из «Послания к Коринфянам» и заявляет,

что слова святого Петра подходят к случаю, так как сэра Артура при жизни нередко величали «святым Павлом спиритуализма». Мисс Глэдис Рипли исполняет соло Лиддла «Пребуди со мной». Преподобный Г. Вейл Оуэн рассказывает о литературном творчестве сэра Артура и разделяет мнение автора, считавшего «Белый отряд» и его продолжение, «Сэр Найджел», своими лучшими произведениями; более того, докладчик высказывает мнение, что приведенное во втором романе описание рыцаря без страха и упрека, человека беззаветно преданного, может служить портретом самого сэра Артура. Преподобный С. Дрейтон Томас, который отслужил половину панихиды в Кроуборо, восхваляет неустанную деятельность сэра Артура как глашатая спиритуализма.

Потом все стоя поют излюбленный гимн спиритуалистского движения «Веди меня, о милосердный Свет». Джордж замечает некоторые отступления, но не сразу может их определить.

Веди меня, о милосердный Свет!
На шаг вперед, не в даль грядущих лет.

На миг его отвлекают эти слова: в его понимании не очень-то они согласуются со спиритуализмом: насколько известно Джорджу, сторонники этого движения как раз вглядываются в даль грядущих лет и указывают целый ряд шагов, способных туда привести. Вслед за тем он переключается с содержания на форму. Такое пение и в самом деле непривычно. В храме люди обычно поют гимны так, будто заново открывают для себя строки, затверженные много месяцев и лет назад, – строки, содержащие истины столь незыблемые, что нет нужды доказывать или даже обдумывать их заново. А в этом зале голоса звучат непосредственно и свежо; в них даже ощущается граничащая со страстью жизнерадостность, которая встревожила бы многих приходских священников. Каждое слово возвещается, будто содержит новейшую истину, которую требуется восславить и срочно передать дальше. Такая манера исполнения поражает Джорджа как совершенно неанглийская. И при этом, как он опасливо признает, великолепная.

...Как сгинет ночь,
Улыбкой лики ангелов цветут,
От века милые, все снова тут.

Допев гимн, зрители садятся, и Джордж адресует своей соседке мимолетное, неопределенное приветствие: достаточно скромное, оно было бы немислимо в храме. Та отвечает улыбкой, озаряющей ее лицо, все полностью. Ничего развязного, но и ничего миссионерского в ней нет. Как нет и открытого самодовольства. Лицо ее просто говорит: «Да, это так, это правильно, это радостно».

Джордж под впечатлением, но вместе с тем несколько ошарашен: радость ему подозрительна. В детстве с ней связывалось нечто, именуемое удовольствием, обычно с каким-нибудь эпитетом: «греховное», «тайное», «запретное». Единственные допустимые удовольствия определялись словом «простые». Что же касается радости, она ассоциировалась с ангелами, дующими в трубы, и законное место ее было не на земле, а на небе. Да будет радость безгранична – так ведь говорилось, да? Но Джордж из опыта знал, что радость всегда загоняется в узкие границы. Что же до удовольствия, ему было знакомо удовольствие от выполненного долга – перед родными, перед клиентами и временами перед Богом. Но он никогда не предавался типичным удовольствиям своих сограждан: не пил пива, не танцевал, не играл в футбол и крикет; не говоря уже о тех занятиях, которые приходят только с женитьбой. Но ему не суждено встретить женщину, которая вскакивала бы, как девочка, поправляла прическу и бежала его встречать.

Мистер Э. У. Оутен, в свое время с гордостью председательствовавший на первом многочленном собрании, где сэр Артур выступил с сообщением о спиритуализме, говорит, что не знает человека, который лучше сэра Артура сочетал бы в себе те добродетели, которые связываются с британским характером: смелость, оптимизм, верность, сочувствие, великодушие, любовь к истине и преданность Богу. Затем мистер Хэннен Суоффер вспоминает, как менее двух недель назад сэр Артур, неизлечимо больной, с трудом поднимался по ступеням Министерства внутренних дел, чтобы высказаться против Закона о колдовстве, который злокозненные недоброжелатели стремятся обратить против медиумов. Таков был его последний долг, а от преданности долгу он не отступал никогда. Это проявлялось во всех сферах его жизни. Многие знали Дойла-прозаика, Дойла-драматурга, Дойла-путешественника, Дойла-боксера, Дойла-крикетиста, который некогда посрамил великого У. Г. Грейса. Но всех превосходил своим величием тот Дойл, который добивался справедливости для безвинно осужденных. Именно благодаря

его влияния был создан апелляционный суд по уголовным делам. Тот Дойл триумфально завершил дела Эдалджи и Слейтера.

Заслышав свою фамилию, Джордж инстинктивно потупился, но сейчас же гордо поднимает глаза и украдкой косится по сторонам. Жаль, конечно, что его опять назвали в связке с этим низким и неблагодарным преступником; но, как ему кажется, у него есть все основания испытывать законное удовольствие от упоминания его фамилии на столь высоком собрании. Да и Мод будет довольна. Теперь Джордж более открыто разглядывает соседей, но момент упущен. Все глаза устремлены на мистера Суоффера, который по ходу своей речи предложил прославить еще одного Дойла, стоящего выше, чем Дойл – носитель справедливости. Этот величайший из Дойлов в час военного лихолетья доставлял женщинам утешительные вести о том, что их любимые не погибли.

Теперь присутствующих просят встать для двух минут молчания, дабы почтить память их великого рыцаря. Поднимаясь со своего места, леди Конан Дойл бросает быстрый взгляд на пустой стул рядом с собой, а потом замирает между двумя своими рослыми сыновьями и пристально вглядывается в публику. Шесть... восемь?... десять?... тысяч устремляют на нее ответные взгляды – с галерки, с балкона, с разделенных на ложи ярусов, из гигантской дуги партера и прямо со сцены. В храме прихожане, вспоминая усопших, опускают головы и закрывают глаза. Здесь нет подобной скромности и погруженности в себя: истинное сопереживание выражается взглядом в упор. Вдобавок Джорджу кажется, что молчание здесь носит какой-то иной, доселе неизвестный ему характер. В официальных случаях молчание всегда уважительное, суровое, а зачастую намеренно горестное. Здесь молчание действенное, проникнутое ожиданием, а то и страстью. Если молчание может быть уподоблено заглушенному крику, то это оно и есть. По истечении двух минут Джордж понимает: оно взяло над ним столь загадочную власть, что он едва не забыл про сэра Артура.

И снова у микрофона мистер Крейз.

– В этот вечер, – начинает он, пока многие тысячи усаживаются на свои места, – мы, набравшиеся смелости от нашего незабвенного вождя, намерены осуществить дерзновенный эксперимент. Среди нас находится посредница, наделенная сверхчувственным восприятием; с этой сцены она сделает попытку разделить с нами свои ощущения. Смущает нас лишь одно обстоятельство: такое исполинское собрание подвергает сверхчувственное восприятие сильнейшему напряжению. При скоплении десяти тысяч людей на медиума направляется колоссальная сила. Сегодня миссис Робертс

постарается описать кое-кого из особенных друзей, но на столь многолюдном собрании такая попытка будет предпринята впервые. Вы поможете ей своими вибрациями, если споете следующий гимн, «Открой мне глаза, чтоб видел я истины свет».

Никогда в жизни Джордж не посещал спиритических сеансов. И к слову сказать, не золотил ручку цыганке и не платил два пенса, чтобы на ярмарке усесться перед хрустальным шаром. В этих занятиях ему видится одно надувательство. Только глупец или представитель какого-нибудь отсталого племени способен поверить, что линии на ладони и кофейная гуща могут что-нибудь предсказать. Джордж уважает веру сэра Артура в то, что после смерти дух продолжает жить, и даже в то, что в особых обстоятельствах такие духи способны общаться с живыми. Он также готов допустить, что в телепатических экспериментах, описанных в автобиографии сэра Артура, что-то есть. Но, по мнению Джорджа, всему есть предел. Сам он, например, проводит границу, когда люди начинают рассказывать, как мебель скачет по комнате, как сами по себе звонят колокола, как из темноты возникает светящееся лицо покойника, чей предполагаемый образ оставлен рукой спирита на мягком воске. Понятно, что это какие-то фокусы. Не подозрительно ли, что наиболее благоприятные условия для общения с духами – задернутые шторы, погашенный свет, удерживание друг друга за руки, чтобы никто не мог встать и убедиться в происходящем, – в точности совпадают с условиями, наиболее благоприятными для процветания шарлатанства? По его мнению, сэр Артур проявлял излишнюю доверчивость. Джордж читал про одного американского иллюзиониста, Гарри Гудини, с которым сэр Артур познакомился в Соединенных Штатах: тот предлагал воспроизвести все без исключения эффекты, известные профессиональным спиритам. В ряде случаев его надежно связывали известные своей честностью люди, но когда загорался свет, оказывалось, что фокусник в достаточной степени ослабил путы, чтобы звонить в колокола, устраивать шумы, передвигать мебель и даже породить эктоплазму. Сэр Артур отклонил вызов мистера Гудини. Он не отрицал, что иллюзионист способен воспроизвести такие эффекты, но предпочитал трактовать эту способность по-своему: в действительности мистер Гудини наделен спиритическими способностями, в которых многие упрямо сомневаются.

Пение гимна «Открой мне глаза» смолкает, и к микрофону выходит стройная женщина с короткостриженными темными волосами, одетая в струящийся черный атлас. Это миссис Эстелла Робертс, любимый медиум сэра Артура. В зале воцаряется еще более сильное напряжение, чем при

двухминутном молчании. Миссис Робертс слегка покачивается; пальцы рук сплетены; голова опущена. Все глаза устремлены на нее одну. Медленно, очень медленно она поднимет голову; потом расцепляет пальцы и медленно разводит руки в стороны, все так же медленно раскачиваясь. Наконец звучит ее голос.

– Сегодня с нами пребывает множество духов, – начинает она. – Они неудержимо толкнутся у меня за спиной.

Впечатление и впрямь создается именно такое: можно подумать, она с трудом прямо стоит на ногах, подвергаясь мощному давлению с разных сторон.

В течение некоторого времени ничего не происходит; правда, амплитуда раскачиваний увеличивается с нарастанием незримой толчеи. Соседка Джорджа справа шепчет:

– Она ждет появления Красного Облака.

Джордж кивает.

– Это ее духовный проводник, – добавляет соседка.

Джордж не знает, что и сказать. В этом мире он чужой.

– Многие проводники – индийцы. – Соседка умолкает, а потом с улыбкой поправляется: – То есть индейцы.

Ожидание столь же активно, сколь молчание; как будто все присутствующие в этом зале давят на стройную фигуру миссис Робертс не хуже любых невидимых духов. Это ожидание нарастает, и раскачивающаяся фигура ставит ступни на ширину плеч, будто опасается потерять равновесие.

– Толкаются, ох как толкаются, многие из них несчастливы, да еще этот зал, огни, предпочитаемый ими мир... молодой человек: темные волосы зачесаны назад, военная форма, офицерская портупья, у него есть послание... женщина мать троих детей один умер и сейчас рядом с нею... пожилой облысевший господин работал врачом неподалеку отсюда темно-серый костюм внезапная кончина после страшной аварии... младенец, да, девочка жертва инфлюэнцы сучает по братьям одного зовут Боб и по родителям... Прекратите! Прекратите! – неожиданно выкрикивает миссис Робертс и заводит прямые руки за спину, словно оттесняя напирающих сзади духов. – Их великое множество, голоса сливаются, пожилой человек в темном пальто большую часть жизни провел в Африке... есть послание... седовласая бабушка разделяет вашу тревогу и хочет, чтобы вы знали...

Джордж вслушивается в эти сбивчивые описания толпы духов. Создается впечатление, будто все требуют внимания, соперничают за право высказать свои послания. Джорджу на ум приходит неведомо откуда –

шутливый, хотя и логичный вопрос, навеянный, очевидно, этим непривычным напряжением. Если здесь и в самом деле толпятся духи ушедших в мир иной англичан, как мужчин, так и женщин, то почему бы им не встать, как заведено, в очередь? Если они перенеслись в вышние сферы, то почему же теперь унизились до столь докучливой свалки? Но он решает не делиться этой мыслью с ближайшими соседями: те подались вперед и вцепились в латунный поручень.

– ...мужчина в двубортном костюме возраст от двадцати пяти до тридцати есть послание... девушка, нет, сестры ушли скоропостижно... престарелый господин за семьдесят жил в Хартфордшире...

Перечень не кончается; в разных концах зала кто-нибудь то и дело ахает, заслышав краткое описание. Напряженное ожидание, сковавшее Джорджа, перерастает в изнуренность и озноб, внушая нечто пугающее. Джордж раздумывает, каково это, когда в присутствии многотысячной толпы тебя выбирает ушедший родственник. Раздумывает, не предпочитают ли зрители в большинстве своем, чтобы это случилось в уединенной, темной, зашторенной комнате во время спиритического сеанса. А то и не случилось бы вовсе.

Миссис Робертс опять затихает. Можно подумать, за спиной у нее многоголосое соперничество на миг прекратилось. Потом она вдруг выбрасывает руки перед собой, указывая на последние ряды партера, по дальнюю сторону от Джорджа.

– Да, вот там! Я его вижу! Я вижу дух молодого военного. Он кого-то ищет. Он ищет почти безволосого джентльмена.

Вместе со всеми Джордж пристально вглядывается в указанный конец зала, полунадеясь увидеть зримые очертания духа, полустараясь распознать почти безволосого джентльмена. Миссис Робертс ладонью загораживает глаза, как будто дуговые лампы мешают ее восприятию очертаний духа.

– На вид ему двадцать четыре года. Форма цвета хаки. Держится прямо, хорошо сложен, аккуратные усы. Уголки рта слегка опущены. Ушел скоропостижно.

Сделав паузу, миссис Робертс резко опускает голову, как делает судебный адвокат, получая записку от сидящего рядом солиситора.

– Дает понять, что ушел в тысяча девятьсот шестнадцатом. Отчетливо называет вас дядей. Да, «дядя Фред».

Со своего места в последнем ряду вскакивает лысый человек; он кивает и так же резко садится, словно незнаком с этикетом.

– Рассказывает про своего брата Чарльза, – продолжает женщина-медиум. – Правильно? Он спрашивает, пришла ли с вами тетя Лилиан. Вы

понимаете?

Теперь мужчина остается сидеть и только энергично кивает.

– Он упоминает какой-то юбилей, день рождения кого-то из братьев. Домашние тревожатся. Причин для этого нет. Сообщение продолжается...

И тут миссис Робертс, внезапно нырнув вперед, едва не валится ничком, словно ее сильно толкнули сзади. Она отворачивается и кричит:

– Ладно тебе! – и, похоже, кого-то отталкивает. – Ладно! Кому говорю?

Но когда она вновь оказывается лицом к залу, становится ясно, что контакт с молодым военным прервался. Ясновидящая прячет лицо в ладони, большие пальцы упираются за уши, остальные прижаты ко лбу; вид такой, словно она пытается удержать равновесие. В конце концов она открывает лицо и вытягивает руки в стороны.

Следующим обнаружил себя дух женщины лет двадцати пяти – тридцати, имя начинается с «Дж.». Вознеслась после рождения дочки, ушедшей одновременно с ней. Миссис Робертс ведет взглядом вдоль сцены, следя за продвижением духа женщины с духом малышки на руках, а сама пытается найти покинутого мужа.

– Да, она сообщает свое имя – Джун и теперь ищет букву... букву «эр», да, «эр»... Ричардс, правильно?

Эти слова будто сдернули с места какого-то мужчину; тот кричит:

– Где она? Где ты, Джун? Джун, говори со мной. Покажи мне наше дитя!

В полной растерянности он озирается по сторонам, пока к нему со смущенным видом не подходит пожилая чета, которая пытается оттащить его назад.

Как ни в чем не бывало миссис Робертс, будто и не заметив этого вмешательства по причине своей полной концентрации на голосе духа, произносит:

– Ее послание: в постигшем вас горе они с малышкой наблюдают за вами и окружают заботой. Они ждут вас на дальней стороне. У них все хорошо, и вам они желают только хорошего; встреча уже близка.

Похоже, духи теперь ведут себя более организованно. Устанавливаются личности, передаются вести. Мужчина разыскивает дочку. Она увлекается музыкой. У него в руках раскрытая партитура. Сначала устанавливаются инициалы, потом имена. Миссис Роберт передает сообщение: дочери этого человека помогает дух великого музыканта; если она и впредь будет стараться, дух не оставит ее своим покровительством.

Для Джорджа вырисовывается определенная схема. Передаваемые вести, как утешительные, так и ободряющие, а иногда и смешанные, несут

самый общий характер. Равно как и установление личностей, по крайней мере на первых этапах. А потом возникает какая-то решающая подробность, которую женщина-медиум выискивает дольше обычного. Джорджу сомнительно, что эти духи, если они и впрямь существуют, на удивление малоспособны обозначить самих себя и так долго играют в угадайку с миссис Робертс. Не уловка ли эта предполагаемая трудность обмена сообщениями между двумя мирами? Не призвана ли она нагнетать драму, а точнее, мелодраму вплоть до кульминационного момента, когда кто-нибудь из зрителей кивает, или поднимет руку, или вскочит, словно вызванный по имени, или закроет лицо ладонями от изумления и радости?

Вполне возможно, это и есть хитро задуманная угадайка: должна же быть статистическая вероятность того, что в такой огромной аудитории у кого-нибудь инициалы, а там и имя совпадут с объявленными и медиум сможет умно выстроить фразы, чтобы навести мысль на этого кандидата. А может, это попросту откровенный обман: по залу распределены подставные лица для убеждения, а то и для заманивания особо доверчивых. Есть и третья возможность: те, кто кивает, поднимает руки, вскакивает или ахает, действительно застигнуты врасплох и действительно верят в установление контакта, но лишь потому, что некто из их окружения – не исключено, что истовый спиритуалист полон решимости распространять свою веру даже самыми беззастенчивыми способами, – заранее сообщил нужные сведения организаторам. Скорее всего, заключает Джордж, именно так и делается. А вероломство лучше всего удается там, где умело используется смесь правды и вымысла.

– А теперь весть от одного господина, очень уважаемого и достойного, который ушел десять-двенадцать лет назад. Да, приняла, он сообщает мне, что ушел в тысяча девятьсот восемнадцатом году. – («В точности как мой отец», – думает Джордж.) – Ему было семьдесят пять лет. – («Странно: отцу было семьдесят шесть...») Затяжная пауза, а потом: – Он был высокодуховным человеком.

Тут руки и шея у Джорджа покрываются гусиной кожей. Нет, быть такого не может. Он леденеет на месте, плечи застывают, неподвижный взгляд устремлен на сцену в ожидании следующего хода медиума.

Женщина поднимает голову и начинает разглядывать верхние части зала, между ложами яруса и галеркой.

– Он говорит, что ранние годы провел в Индии.

Джордж приходит в ужас. Никто, кроме Мод, не знал, где его корни. Вероятно, это была смутная догадка, но если точнее – совершенно правильная, исходящая от человека, который предположил, что в зале будут

присутствовать люди, так или иначе связанные с сэром Артуром. Да нет, взять хотя бы сэра Оливера Лоджа: он, как и многие из самых знаменитых и респектабельных, отделался телеграммой. Не мог ли кто-нибудь опознать Джорджа у входа? В принципе такое возможно... но тогда как организаторы узнали год смерти его отца?

Теперь миссис Робертс простерла руку и указывает на ложи верхнего яруса в противоположной стороне зала. У Джорджа начинается зуд, словно его бросили нагишом в крапиву. Он думает: «Я этого не вынесу, это близится, спасения нет». Взгляд и простертая рука медленно обводят гигантский амфитеатр, держась на одном уровне, как будто следя за духом, который вопрошающе переходит от ложи к ложе. Все логичные умозаключения Джорджа, сделанные минуту назад, гроша ломаного не стоят. Сейчас с ним заговорит отец. Его родной отец, всю жизнь служивший Англиканской церкви, собирается с ним заговорить через посредство этой... невероятной женщины. Чего же он хочет? Какая весть может оказаться настолько неотложной? Что-нибудь насчет Мод? Отеческий упрек сыну в ослаблении веры? Или же на него сейчас обрушится какой-то жуткий приговор? В состоянии, близком к паническому, Джордж ловит себя на том, что желал бы увидеть рядом с собой мать. Но мать умерла шесть лет назад.

По мере того как голова ясновидящей медленно поворачивается, а рука остается на прежнем уровне, Джорджу становится еще страшнее, чем в тот день, когда он сидел у себя в конторе, зная, что вот-вот раздастся стук в дверь и войдет полицейский, чтобы арестовать его за преступление, которого он не совершал. Теперь из него вновь делают подозреваемого, на которого сейчас укажут в присутствии десяти тысяч очевидцев. Он уже думает, что нужно просто вскочить со своего места и пресечь мучительное ожидание выкриком: «Это мой отец!» После этого он, скорее всего, лишится чувств и выпадет из ложи в партер. А может, у него случится припадок.

– Его имя... он сообщает мне свое имя... Начинается на «Ш»...

А голова все поворачивается, поворачивается, выискивая единственное лицо в верхних ложах, выбирая знаменательный миг узнавания. Джордж совершенно уверен, что все смотрят только на него – и вот-вот будут точно знать, кто он такой. Но если совсем недавно он жаждал узнавания, то сейчас сжимается от одной этой мысли. У него возникает желание укрыться в самом глубоком подземелье, в самой отвратительной тюремной камере. Он думает: «Этого не может быть, этого просто не может быть, мой отец никогда бы так не поступил, я, кажется, сейчас замараю

исподнее, как случилось в детстве по пути домой из школы, потому-то, наверное, он и направляется ко мне: хочет напомнить, что я ребенок, показать, что его авторитет пережил его самого... да, вот это, пожалуй, будет по-отцовски».

– Имя мне известно... – (Джордж сейчас завопит. Потеряет сознание. Свалится с балкона и ударится головой о...) – Его имя – Шон.

Тут в нескольких ярдах слева от Джорджа вскакивает какой-то мужчина, его ровесник, и начинает делать знаки в сторону сцены, сигнализируя, что признал этого рожденного в Индии старца, ушедшего семидесятипятилетним в тысяча девятьсот восемнадцатом году, и едва ли не требуя его в свое единоличное распоряжение, как ценный приз. Джордж ощущает над собой тень ангела смерти; холод пробирает до костей, тело покрывается липким потом, сил нет, а угроза не отступает, пришло невыразимое облегчение, а с ним глубочайший стыд. И в то же время какая-то часть его существа потрясена, заинтригована, пугливо недоумекает...

– А сейчас рядом со мной дама лет сорока пяти или пятидесяти. Она ушла в тысяча девятьсот тринадцатом. Упоминает город Морпет. Замужем никогда не была, но у нее весть для некоего джентльмена. – Миссис Робертс опускает взгляд на уровень сцены. – Она что-то говорит о лошади. – Пауза. Миссис Робертс вновь свешивает голову, поворачивает ее вбок, прислушивается к советам. – Теперь я знаю ее имя. Эмили. Да, она уточняет: Эмили Уилдинг Дэвисон. У нее имеется сообщение. Она устроила эту встречу для передачи послания некоему джентльмену. Думаю, она известила его с помощью планшетки или доски «уиджа», что сегодня появится именно здесь.

Со своего места у сцены вскакивает мужчина в рубашке с открытым воротом и, будто обращаясь ко всем присутствующим, зычно произносит:

– Все верно. Она мне так и сказала, что сегодня войдет в контакт. Эмили – та самая суфражистка, что бросилась под копыта королевской лошади и скончалась от полученных увечий. Как дух она мне хорошо знакома.

Зрители, все как один, громко ахают. Миссис Робертс начинает оглашать послание, но Джордж больше не вслушивается. К нему внезапно вернулся рассудок; свежий, бодрящий ветер здравого смысла вновь проветривает ему голову. Чистой воды жульничество, как он и подозревал. Скажут тоже: Эмили Дэвисон! Эмили Дэвисон, которая била окна, бросалась камнями, поджигала почтовые ящики, отказывалась подчиняться тюремному распорядку и не раз подвергалась принудительному

кормлению. По мнению Джорджа, глупая истеричка, целенаправленно искавшая смерти, чтобы привлечь внимание к своим требованиям; впрочем, поговаривали, будто она просто собиралась прицепить к конской сбруе флажок, да не рассчитала скорость бега жеребца. Если так, то она не просто истеричка, но еще и неумеха. А нарушать закон ради введения закона – это нонсенс. Для таких целей существуют петиции, доводы, в крайнем случае манифестации, но идущие от разума. Кто нарушил закон, добиваясь права голоса, тот лишь доказал, что не заслуживает этой привилегии.

И все же суть не в том, как оценивать Эмили Дэвисон: как глупую истеричку или как участницу движения, усилиями которого Мод получила всецело одобряемое Джорджем право голоса. Нет, суть в том, что сэр Артур был столь широко известен как противник избирательного права для женщин, что появление этого духа на церемонии прощания иначе как абсурдом не назовешь. Если, конечно, не признать, что духи покойных не только неуправляемы, но и лишены всякой логики. Возможно, Эмили Дэвисон просто хотела сорвать эту церемонию, как в свое время сорвала дерби. Но тогда ей следовало бы адресовать свое послание сэру Артуру либо его вдове, а не какому-то сочувствующему приятелю.

Довольно, говорит себе Джордж. Довольно логических рассуждений на эти темы. А если точнее, довольно оправдывать этих людей за недостаточностью улик. Ты пережил неприятное потрясение из-за ловко подстроенной ложной тревоги, но это еще не повод терять рассудок и выходить из себя. А вместе с тем он думает: «Если даже я настолько перепугался, даже я запаниковал, даже я подумал, что вот-вот умру, то что же говорить о воздействии такого трюкачества на более впечатлительных личностей и на более скудные умы». Джордж уже подумывает, не стоит ли все же сохранить Закон о колдовстве – с которым он, надо признаться, незнаком – в действующем законодательстве.

В течение получаса с лишним миссис Робертс занималась раздачей сообщений. Джордж замечает, что некоторые из сидящих в партере начинают вставать со своих мест. Правда, теперь они не соперничают за потерянного родственника и не поднимаются в едином порыве, чтобы приветствовать очертания любимых. Они просто-напросто покидают зал. Как видно, появление Эмили Уилдинг Дэвисон для них тоже стало последней каплей. Придя сюда в качестве поклонников жизни и творчества сэра Артура, они, вероятно, не желают иметь ничего общего с этим публичным жульничеством. Вот уже человек тридцать, сорок, пятьдесят решительно направляются к выходам.

– Я не могу продолжать, когда люди расходятся, – заявляет миссис Робертс.

В ее голосе сквозит обида, смешанная с раздражением. Она отступает на несколько шагов назад. Кто-то невидимый подает сигнал, по которому из огромного органа, установленного за сценой, неожиданно вырывается хриплый вопль. В чем его назначение: перекрыть топот удаляющихся скептиков или возвестить о конце собрания? Джордж полагается на разъяснения соседки справа. Она хмурится, оскорбленная таким хамством по отношению к медиуму. Что же до самой миссис Робертс, та повесила голову и обхватила себя руками, прекратив постороннее вмешательство в хрупкую череду контактов, установленных ею с миром духов. А потом происходит то, чего Джордж никак не мог ожидать. Орган вдруг умолкает на середине государственного гимна, миссис Робертс раскидывает руки, поднимает голову, уверенно подходит к микрофону и звенящим, страстным голосом возвещает:

– Он здесь! – И повторяет: – Он здесь!

Зрители, устремившиеся к выходу, останавливаются; некоторые возвращаются на свои места. Но до них уже никому нет дела. Все напряженно смотрят на сцену, на миссис Робертс – на пустое кресло с картонкой поперек. Создается впечатление, что вопль органа был призывом к вниманию, прелюдией к этому моменту. Весь зал умолкает, всматривается, ждет.

– В первый раз я его увидела, – говорит она, – во время двухминутного молчания. Он стоял вот здесь, сначала прямо за мной, а потом отдельно от прочих духов. Потом я увидела, как он подошел к своему пустующему креслу. Я видела его совершенно отчетливо. Он был во фраке. Выглядел он точно так же, как в последние годы. Сомнений нет. Он был готов к своему уходу.

После каждого краткого, драматического заявления она выдерживает паузу; Джордж вглядывается в родных сэра Артура, сидящих на сцене. Все они, кроме одной, не сводят глаз с миссис Робертс, замороженные ее объявлением. Только леди Конан Дойл не поворачивает головы. Издали Джордж не видит ее лица, но она сцепила руки на коленях, расправила плечи и выпрямила спину; сидя с гордо поднятой головой, она смотрит вдаль поверх голов публики.

– Он наш великий заступник – и здесь, и на дальней стороне. Он уже вполне способен к материализации. Уход его был мирным, и он успел подготовиться. Не было ни боли, ни смятения духа. Он уже может начинать свое заступничество. Когда я впервые увидела его, во время двухминутного

молчания, это был лишь мимолетный проблеск.

Зато во время передачи вестей я увидела его ясно и отчетливо.

Он приблизился, остановился позади и ободрял меня, пока я выполняла свое дело.

В который раз я узнала этот прекрасный, чистый голос, который не спутать ни с каким другим. Он вел себя как джентльмен, каким оставался всегда.

Он пребывает с нами постоянно, и преграда между двумя мирами не более чем временна.

Перехода бояться не нужно, и сегодня наш великий заступник доказал это своим появлением среди нас.

Соседка слева наклоняется через плюшевый подлокотник и шепчет:

– Он здесь.

Несколько человек наблюдают стоя, чтобы лучше видеть сцену. Все взгляды прикованы к пустующему креслу, к миссис Робертс и членам семьи Дойл. Джорджем вновь овладевает какое-то массовое чувство, которое пересекает и пронизывает эту тишину. Он больше не терзается страхом, как в тот миг, когда подумал, что к нему направляется отец, и не исполняется скепсиса, которым встретил появление Эмили Дэвисон. Наперекор самому себе он проникается каким-то настороженным благоговением. В конце-то концов, речь идет о сэре Артуре, который по доброй воле использовал свой следственный талант ради Джорджа, который рисковал своей репутацией для спасения репутации Джорджа, который помог ему вернуть отнятую у него жизнь. Сэр Артур, человек высочайших принципов и интеллектуальных способностей, верил в события, подобные тем, которые только что засвидетельствовал Джордж; в такой миг было бы бессовестно с его стороны отречься от своего спасителя.

У Джорджа нет ощущения, что он теряет рассудок или здравый смысл. Он спрашивает себя: а что, если в этой церемонии все же присутствует та смесь правды и лжи, которую он отметил ранее? Что, если отчасти это шарлатанство, а отчасти нечто подлинное? Что, если экзальтированная миссис Робертс, вопреки самой себе, и вправду доставляет вести из дальних пределов? Что, если для установления контакта с материальным миром сэр Артур, в каком бы виде и месте он ни существовал в настоящее время, по необходимости пользуется каналом тех, кто отчасти мошенничает? Не послужит ли это объяснением?

– Он здесь, – повторяет соседка слева обыденным, повседневным тоном.

Ее слова подхватывает мужчина местах в десяти-двенадцати от них.

– Он здесь.

Эти два слова, сказанные будничным тоном, были рассчитаны на ближайших соседей. Однако в заряженном воздухе они магически усилились.

– Он здесь, – повторяет кто-то на галерке.

– Он здесь, – откликается женщина с арены.

Потом из партера тоном проповедника-фундаменталиста неожиданно выкрикивает мужчина в черном:

– ОН ЗДЕСЬ!

Инстинктивно наклонившись, Джордж вынимает из стоящего в ногах футляра бинокль. Прижимая его к очкам, пытается навести фокус на сцену. Большой и указательный пальцы, которые нервно крутят колесико, промахиваются то в одну сторону, то в другую, но наконец останавливаются в срединном положении. Он рассматривает вошедшую в транс ясновидящую, пустое кресло, семью Дойл. С момента первого объявления о присутствии сэра Артура леди Конан Дойл остается в той же застывшей позе: прямая спина, расправленные плечи, голова поднята, смотрит вперед с неким – как сейчас видит Джордж – подобием улыбки. Златовласая, кокетливая молодая женщина, которую он мимолетно встречал много лет назад, стала более темноволосой и солидной; до сих пор он видел ее только рядом с сэром Артуром; по ее словам, там она и остается. Он переводит бинокль туда-обратно: на кресло, на ясновидящую, на вдову. Дыхание у нее, как он видит, учащенное и жесткое.

Кто-то касается его левого плеча. Он роняет бинокль. Качая головой, соседка говорит:

– Так вы его не увидите.

Она не упрекает, а просто объясняет положение дел.

– Его можно увидеть только зрением веры.

Зрение веры. Зрение, которое принес с собой сэр Артур на их первую встречу в Гранд-отеле на Черинг-Кросс. Он поверил в Джорджа; должен ли теперь Джордж поверить в сэра Артура? Слова его заступника: «я не думаю», «я не верю», «я знаю». Сэр Артур принес с собой завидную, успокоительную уверенность. Он знал, что к чему. А что знает он, Джордж? Знает ли он в конечном итоге хоть что-нибудь? Какова сумма знаний, накопленных им за пятьдесят четыре года? По большому счету он шел по жизни, обучаясь и ожидая инструкций. Для него всегда был важен чужой авторитет; а есть ли у него свой собственный? В пятьдесят четыре года он о многом думает, кое-чему верит, но может ли хоть о чем-нибудь с уверенностью сказать «знаю»?

Возгласы очевидцев материализации сэра Артура смолкли – наверное, потому, что со сцены не поступало подтверждения ответов. О чем говорила леди Конан Дойл в начале церемонии? Что наш земной взор не способен проникнуть за пределы земных вибраций; только тот, кто наделен дополнительным, богоданным зрением, что именуется ясновидением, сможет увидеть среди нас милый сердцу образ. Сумей сэр Артур наделить даром ясновидения самых разных людей, до сих пор стоящих в разных концах зала, это было бы настоящим чудом.

Теперь вновь заговаривает миссис Робертс:

– Для вас, дорогая, у меня есть весточка от сэра Артура.

И снова леди Конан Дойл не поворачивает головы. В медленном колыхании черного атласа миссис Робертс отступает влево, к семье Дойл и пустующему креслу. Она останавливается рядом с леди Конан Дойл, сбоку и чуть позади, лицом к той части зала, где сидит Джордж. Несмотря на значительное расстояние, слова ее легко различимы.

– Сэр Артур сказал мне, что кто-то из вас сегодня утром заходил в беседку. – Она выжидает, но, не получив ответа от вдовы, подсказывает: – Это верно?

– Конечно, а что такого? – отвечает леди Конан Дойл. – Это была я.

Кивнув, миссис Робертс продолжает:

– Послание звучит так: передай Мэри...

В этот миг из органа вырывается громогласный вопль. Склонясь пониже, миссис Робертс продолжает говорить под защитой шума. Время от времени леди Конан Дойл кивает. Потом переводит вопросительный взгляд на рослого сына в черном фраке, сидящего слева от нее. Тот в свою очередь смотрит на миссис Робертс, которая теперь обращается к ним обоим. Потом к ним присоединяется второй сын. Нещадно гремит орган.

Джордж не знает, зачем нужно топить сообщение в шуме: то ли для соблюдения семейной приватности, то ли для сценического эффекта. Он не знает, что именно засвидетельствовал: истину или ложь или смесь того и другого. Он не знает, что подтверждается чистой, удивительной, неанглийской истовостью тех, кто окружает его в этот вечер: шарлатанство или вера. И если вера, то истинная или ложная.

Закончив передачу сообщения, миссис Робертс поворачивается к мистеру Крейзу. Орган гремит себе, но заглушать ему больше нечего. Члены семейства Дойл переглядываются. Куда теперь повернет церемония? Гимны допеты, дань уважения воздана. Смелый эксперимент завершен, присутствующим явился сэр Артур, его весть доставлена.

Орган не смолкает. Теперь его модуляции, похоже, сближаются с

ритмами, какие провожают паству после свадьбы или похорон: настойчивые и неустойчивые, они подгоняют ее назад, в буднично-низкий, лишенный магии подлунный мир. Семейство Дойл спускается со сцены, за ними следуют руководители Мэрилебонской ассоциации спиритуалистов, ораторы и миссис Робертс. Зрители встают, женщины наклоняются за сумочками, мужчины во фраках не забывают свои цилиндры, шаркают подошвы, разносятся шепотки, приветствуют друг друга знакомые, и в каждом проходе выстраивается спокойная, неторопливая очередь. Люди вокруг Джорджа собирают свои вещи, поднимаются, кивают и одаривают его полнокровными, несомненными улыбками. Джордж возвращает им улыбку, не равную подаренной, и не поднимается с места. Вновь нагнувшись, он подбирает бинокль и прижимает окуляры к очкам. Еще раз наводит фокус на сцену, на гортензии, на ряд опустевших стульев и надписанный лист картона; есть вероятность, что сегодня здесь был сэр Артур. Джордж смотрит сквозь систему линз в воздух и далее.

Что он видит?

Что видел?

Что еще увидит?

Послесловие автора

Еще несколько лет медиумы всего мира вызывали Артура в ходе спиритических сеансов; впрочем, родные подтвердили только одно его появление – на домашнем сборе у миссис Осборн-Ленард в 1937 году, где он предупредил, что Англию ждут «громадные перемены». Джин, ставшая истовой спиритуалисткой после гибели своего брата в битве при Монсе, сохранила эту приверженность до самой смерти, последовавшей в 1940 году. Матушка уехала из Мейсонгилла в 1917-м; прихожане округа Торнтон-ин-Лонсдейл преподнесли ей «большие наручные часы со светящимся циферблатом, в кожаном футляре». В сыновнем доме она жить отказалась, хотя в конечном счете перебралась на юг страны и в 1920 году, когда Артур занимался распространением спиритуализма в Австралии, окончила свои дни в деревне Уэст-Гринстед. Брайан Уоллер пережил Артура на два года.

Уилли Хорнунг скончался в Сен-Жан-де-Люз в марте 1921-го; четыре месяца спустя он появился на семейном сеансе у Дойлов, извинился за свои былые сомнения в возможностях спиритуализма и объявил, что «избавился от мерзкой застарелой астмы». Конни умерла от рака в 1924-м. Достопочтенный Джордж Огастес Энсон возглавлял Управление полиции Стаффордшира в течение сорока одного года и вышел в отставку в 1929-м; в 1937 году по случаю коронационных торжеств он был удостоен рыцарского звания и умер в Бате в 1947-м. Его супруга Бланш погибла при налете немецкой авиации в 1941-м. Шарлотта Эдалджи после смерти Шапурджи вернулась в Шропшир, дожила до восьмидесяти одного года и в 1924-м скончалась в Этчеме, близ Шрусбери; согласно ее воле, именно там, а не рядом с Шапурджи она и была похоронена.

Всех пережил Джордж Эдалджи. До 1941 года он проживал и работал в доме номер 79 по Боро-Хай-стрит, а с 1942-го по 1953-й вел дела в конторе на Аргайл-стрит. Умер от инфаркта в доме номер 9 по Брокет-Клоуз, Уэлвин-Гарден-сити, 17 июня 1953 года. Свидетельство о смерти оформила Мод, которая в ту пору еще проживала совместно с братом. В последний раз она посетила Грейт-Уэрли в 1962-м и привезла с собой фотографии отца и брата. Портреты их по сей день висят в зале собраний церкви Святого Марка.

Четыре года спустя после смерти сэра Артура Конан Дойла некий Энок Ноулз, батрак пятидесяти семи лет, представший перед

Стаффордширским королевским судом, признал себя виновным в распространении писем с угрозами и непристойностями на протяжении тридцати лет. Ноулз сообщил суду, что стал участником травли в 1903 году, разослав пасквиль за подписью «Дж. Г. Дарби, капитан Уэрлийской банды». После того как Ноулза отправили за решетку, Джордж Эдалджи написал статью для «Дейли экспресс». В этом последнем публичном свидетельстве по своему делу, датированном 7 ноября 1934 года, Джордж не упоминает братьев Шарп и не указывает в качестве мотива преступления расовые предрассудки. Он заключает:

Впрочем, главная тайна осталась нераскрытой. Выдвигались самые разные версии. Согласно одной, эти бесчинства совершались безумцем, которого время от времени охватывала жажда крови. Другая гласила, что некто вознамерился опорочить приход и полицию; а возможно, это была месть разжалованного полисмена. Я слышал еще одну любопытную версию. Житель Стаффордшира уверял меня, что зверства совершались не человеком, а диким кабаном или даже целым кабаньим стадом. Предположительно, этих животных накачивали каким-то зельем, пробуждавшим в них агрессию, и среди ночи выпускали. По его словам, он своими глазами видел одного из тех кабанов. В ту пору версия с кабанам показалась мне (да и сейчас кажется) слишком фантастической, чтобы воспринимать ее всерьез.

Мэри Конан Дойл, первое дитя Артура, умерла в 1976 году. Всю жизнь она хранила от отца одну тайну. Туи на смертном одре не только предупредила дочку, что Артур вступит в повторный брак, но и назвала имя будущей невесты: мисс Джин Лекки.

Дж. Б.

Январь 2005 г.

За исключением письма Джин к Артуру, все цитируемые письма,

подписанные и анонимные, являются подлинными, равно как и выдержки из газет, правительственных отчетов, протоколов заседаний парламента и сочинений сэра Артура Конан Дойла. Хочу поблагодарить сержанта Алана Уокера из Управления полиции Стаффордшира, Городской архив Бирмингемской центральной библиотеки, Службу по управлению имуществом графства Стаффордшир; преподобного Пола Оукли, Дэниела Стэшауэра, Дугласа Джонсона, Джеффри Робертсона и Сумаю Партнер.

notes

Примечания

1

Книга пророка Софонии, 2: 3.

2

Евангелие от Матфея, 5: 5.

3

Здесь и далее цит. по: *Конан Дойл А.* Воспоминания и приключения. Ранние воспоминания / Пер. Л. Бриловой // *Конан Дойл А.* Этюд в багровых тонах. Приключения Шерлока Холмса. СПб.: Азбука, 2016.

4

Здесь и далее статья Гарри Хау «Один день с доктором Конан Дойлом» цитируется в переводе С. Сухарева по изданию: *Конан Дойл А. Этюд в багровых тонах. Приключения Шерлока Холмса*. СПб.: Азбука, 2016.

5

С первого взгляда, по первому впечатлению (*лат.*).

6

Quis custodiet ipsos custodes (*лат.*) – Кто устережет самих сторожей?

7

Псалом 148 из 20 кафизмы.

8

Здесь и далее «Воспоминания и приключения» (гл. 21 «Годы между войнами») цитируются, с необходимыми изменениями, по переводу А. Глебовской (СПб.: Азбука, 2011).

9

«Вознесем сердца» *(лат.)*.

Table of Contents

[Джулиан Барнс Артур и Джордж](#)

[Часть первая Начала](#)

[Часть вторая Начиная с конца](#)

[Часть третья Заканчивая началом](#)

[Часть четвертая Окончания](#)

[Послесловие автора](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)